Рассел Миллер

Приключения Конан Дойла

Предисловие

ВСЮ СВОЮ ДОЛГУЮ, НАСЫЩЕННУЮ СОБЫТИЯМИ жизнь сэр Артур Конан Дойл был на редкость усердным корреспондентом. Он написал тысячи писем — родным, друзьям, коллегам, знакомым. Он был из тех, кому проще было выражать себя на бумаге, а не в разговоре. Матери, которую он обожал, Артур отправил не менее полутора тысяч писем. В одном из них он, например, сообщал, что влюбился, и дальше продолжал держать ее в курсе мельчайших подробностей своего романа. Несмотря на то что жена его в то время была уже безнадежно больна туберкулезом.

Письма Конан Дойла, глубоко искренние и содержательные, позволяют проникнуть в его внутренний мир, и именно архив писателя составил костяк этой книги — первой биографии Дойла, основанной почти целиком на его собственных свидетельствах.

С архивом, однако, дела обстоят непросто.

Чтобы заработать денег, во время Первой мировой войны Дойл продал семь рукописей Красному Кресту. Затем, уже в 1922 году, еще шесть рассказов о Шерлоке Холмсе были выставлены на аукцион Американских художественных галерей в Нью-Йорке. После смерти писателя (7 июля 1930 года) все бумаги — рукописи, заметки, дневники, журналы и бесчисленная корреспонденция — хранились в его доме в Уиндлшеме в Восточном Суссексе. Он все завещал своей второй жене, и за последующие десять лет коллекция пополнилась также и ее записями и воспоминаниями.

Когда леди Конан Дойл скончалась в 1940 году, трое ее детей — сыновья Адриан и Дэнис и дочь Джин — вступили в права наследования. Но если Джин сделала блестящую карьеру, дослужившись до командира Женских королевских военно-воздушных сил, и получила титул леди, что соответствует мужскому “сэр”, то оба ее брата вели жизнь беспечных плейбоев, беззастенчиво транжиря наследство отца.

Адриан Конан Дойл, предпочитавший, чтобы его считали мотогонщиком и искателем приключений, был назначен душеприказчиком. В своем швейцарском загородном доме в Люцерне он, как это ни абсурдно, организовал музей Шерлока Холмса. Таким образом он вознамерился увековечить память отца, полагая вопреки очевидности, что тот сам и послужил прототипом знаменитого сыщика.

В конце сороковых годов Адриан предложил американцу Джону Диксону Карру, автору детективных романов, написать авторизованную биографию отца и предоставил ему доступ к архиву. Книга Карра “Жизнь сэра Артура Конан Дойла” вышла в 1949 году. В приложении были перечислены архивные документы, которые, впрочем, не сильно повлияли на содержание, — очевидно, издание осуществлялось под жестким контролем Адриана. А спустя десять лет французский критик Пьер Нордон написал о Дойле диссертацию и впоследствии опубликовал свой опус.

В пятидесятых — шестидесятых годах Адриан Конан Дойл периодически продавал рукописи отца, в основном в США, где уже сложился устойчивый спрос на архив писателя.

В 1969 году все оставшиеся материалы были подготовлены к тайной погрузке на корабль: Адриан намеревался продать их за огромную сумму богатому коллекционеру из Техаса. Но они не сошлись в цене, а спустя год Адриан умер от сердечного приступа. После этого все пятнадцать ящиков с личными бумагами Конан Дойла оказались в конторе лондонского адвоката, где им предстояло пролежать двадцать пять лет, пока продолжались судебные тяжбы между членами семьи.

Наверное, никто не был огорчен этим обстоятельством более, чем Ричард Ланселин Грин, один из крупнейших исследователей творчества Конан Дойла. Выдающийся ученый, член лондонского Общества Шерлока Холмса, он посвятил жизнь сбору материалов о Конан Дойле, имел репутацию блестящего остроумного рассказчика и обладал поистине энциклопедическими познаниями в данном вопросе. Он объездил весь мир, выступая с лекциями перед обществами поклонников Шерлока Холмса, а в 1983-м выпустил “Библиографию А. Конан Дойла”, которая была признана одной из наиболее полных и достоверных из всех существующих писательских библиографий.

Но главный труд своей жизни, то есть биографию Дойла, он не мог написать до тех пор, пока архив писателя оставался предметом споров между наследниками. Наконец, в 1990-м тяжба завершилась — умерли вдовы Адриана и Дэниса и наследство было поделено между Джин Конан Дойл и тремя кузенами: внуком сестры Конан Дойла Иды и внуками его брата Иннеса.

Джин достались письма Дойла к матери, которые она завещала Британской библиотеке.

Ланселин Грин полагал, что библиотеке следует передать все бумаги писателя, и был крайне огорчен, узнав в начале 2004 года, что трое кузенов намерены продать свою часть архива на аукционе “Кристи”. В “Санди тайме”, в заметке, посвященной будущим торгам, было сказано, что с молотка пойдут письма У. Черчилля, П.Г. Вудхауза, Т. Рузвельта и О. Уайльда, а также кожаный бумажник А. Конан Дойла и его содержимое: дневник с рисунками, который он вел, когда служил врачом на китобойном судне в Арктике; нарукавная повязка с красным крестом — ее Дойл носил в Южной Африке во время Англобурской войны; и рукопись неопубликованного романа — его первого романа, написанного в середине 1890-х.

В ужасе от того, что все эти материалы могут разойтись по миру, Ланселин Грин организовал мощную кампанию, пытаясь предотвратить торги. Он привлек на свою сторону членов парламента, писал страстные письма в газеты и журналы, но все усилия оказались тщетны: за два месяца до открытия аукциона его нашли повешенным в собственном доме в Кенсингтоне. Полиция не установила причины смерти, но многие из друзей ученого полагают, что он покончил с собой от отчаяния.

Торги прошли в мае, как и было запланировано. Останься Ланселин Грин жив, он, вероятно, был бы рад — большинство наиболее интересных лотов приобрела Британская библиотека. А вскоре выяснилось, что Грин завещал свою собственную огромную коллекцию, куда вошли раритетные первые издания писателя, его письма и заметки, властям Портсмута — города, где Дойл одно время имел врачебную практику и где написал два первых рассказа о Шерлоке Холмсе.

Благодаря тому что все эти документы оказались в открытом доступе, а также любезности Чарльза Фоли, внучатого племянника Дойла, который сегодня является хранителем его литературного наследия, смогла выйти в свет эта книга. Несмотря на то что большинство писем Дойла сегодня хранится в Британской библиотеке, копирайт по-прежнему принадлежит его потомкам, и без разрешения Ч. Фоли, который предоставил мне неограниченный доступ к архиву, я не смог бы воспользоваться многими материалами.

Я также стал первым биографом, получившим доступ к собранию документов Ланселина Грина в Портсмуте, за что выражаю сердечную признательность Саре Спеллер, координатору проекта, которая провела много часов вместе со мной и моей женой, разбирая содержимое многочисленных коробок.

Я очень благодарен О.Д. Эдвардсу за его поддержку и помощь в работе над этой книгой, между тем как сам он это время трудился над биографией Конан Дойла.

Спасибо моему дорогому другу Ф. Норману, предложившему мне идею этой книги, моей жене Ренате, трудившейся со мной бок о бок, разбиравшей рукописи и документы, терпеливой, спокойной и неизменно проявлявшей отличное чувство юмора; я никогда не сумею выразить им свою признательность в полной мере.

Глава 1

Гордость семьи и ее позор

ПО СТРАННОЙ ИРОНИИ СУДЬБЫ в Эдинбурге, где в Старом городе родился сэр Артур Конан Дойл (разумеется, задолго до того, как этот район был снесен), и по сей день нет памятника писателю, но зато стоит памятник его герою, знаменитому Шерлоку Холмсу — персонажу, который, по мнению самого его создателя, разрушил его серьезную литературную карьеру. Впрочем, ирония иронией, но в этом нет ничего удивительного: ведь из всех литературных персонажей на свете Холмс — наиболее популярный.

Достаточно взглянуть на орлиный профиль, охотничье кепи и трубку, чтобы узнать его. Его изображения украшают стены лондонской станции подземки Бейкер-стрит; Холмс смотрит на нас с сигаретных пачек и кухонных полотенец; он изображен на настольных играх, столовых приборах, почтовых марках, пивных этикетках, жевательной резинке; он персонаж компьютерных игр, он на упаковках таблеток и пачках с кукурузными хлопьями… Только Микки-Маус и Санта Клаус соперничают с ним в узнаваемости.

Его имя давно стало нарицательным, и в британской литературе популярней Холмса разве что только Гамлет. К нему относятся как к доброму знакомому Всем известно его знаменитое “Элементарно, дорогой Ватсон!” — правда, почти никто не знает, что на самом деле этой фразы нет ни в одном рассказе Дойла.

Его эксцентричная манера пришпиливать корреспонденцию к каминной полке карманным ножом и хранить табак в турецких шлепанцах — расхожий пример английского чудачества. Холмс неоценим для индустрии туризма, о нем знают 87 % всех иностранцев, приезжающих на Британские острова. Про Лондон и говорить нечего, недаром многие русские и японцы называют посещение Бейкер-стрит главной целью визита в английскую столицу. Более того, не иссякает поток писем, в которых наивные бедняги просят знаменитого сыщика разрешить их проблемы, — и это несмотря на то, что, даже будь Холмс реальным человеком, его давно уже не было бы в живых.

Разумеется, для многочисленных шерлокианцев Холмс — абсолютно реальная фигура. Реальная, но при этом культовая, и культ этот порой отдает мистикой. В мире насчитывается более четырехсот обществ Шерлока Холмса, их члены регулярно встречаются, чтобы поклониться местам, где обитал их великий детективный бог. Они бродят по лондонским кварталам конца XIX века, по той священной земле, где когда-то ездили кебы и клубился густой туман. Они одеваются подобно дойловским персонажам. С дотошностью судебных экспертов изучают так называемый “канон” — скрупулезно исследуют мельчайшие детали “жизни” Холмса, спорят о тех местах в рассказах, которые кажутся им не вполне внятными, а также анализируют вполне очевидные ошибки и несоответствия, которых тоже хватает в этих рассказах. Мало найдется в мире текстов, исключая, конечно, религиозные, которые были бы столь подробно разобраны, как эти канонические “предания о Холмсе”. Благодаря исследованиям шерлокианцев мы, например, можем узнать — если нам это зачем-нибудь понадобится, — сколько раз улыбнулся Шерлок Холмс. Сто три.

О Холмсе написано больше, чем о любом вымышленном персонаже, — гораздо больше, чем о нем написал сам Дойл.

И все это в попытке понять феномен его неиссякаемой популярности у каждого нового поколения читателей.

Пятьдесят четыре рассказа и четыре повести переведены практически на все языки мира, включая эсперанто. Создано великое множество фильмов, сериалов, радиопостановок, драматических спектаклей и даже балет. Количество “продолжений”, плагиаторских подражаний и прочих подделок под оригинальные тексты не поддается учету.

Во всех рассказах Дойла непременнно фигурирует находчивый, эксцентричный, великолепный, но — холодный и равнодушный сыщик, а также добродушный, невозмутимый доктор Ватсон, “довольно глупый приятель” Холмса (как однажды не слишком по-доброму отозвался о нем Конан Дойл). Простоватый Ватсон служит мишенью для едких насмешек Холмса, когда пытается проявить свои дедуктивные способности (“Великолепно, Ватсон! Сегодня вы просто блистательны!”), а порой и довольно жестких оценок (“В конце концов, вы всего лишь заурядный врач со скромной практикой, и притом средней квалификации”).

Но Ватсон по-настоящему верный товарищ. Его преданность вознаграждена лишь в последнем сборнике о Шерлоке Холмсе, в рассказе “Три Гарридеба”. Ватсон ранен, и Холмс наконец

проявляет свои истинные чувства: “Крепкие, словно стальные, руки моего друга подхватили меня, — он оттащил меня к стулу. “Вы не ранены, Ватсон? Скажите ради бога, вы не ранены?” Да, стоило получить рану, и даже не одну, чтобы узнать глубину заботливости и любви, скрывавшейся за холодной маской моего друга. Ясный, жесткий взгляд его на мгновение затуманился, твердые губы задрожали. На один-единственный миг я ощутил, что это не только великий мозг, но и великое сердце… Этот момент душевного раскрытия вознаградил меня за долгие годы смиренного и преданного служения”.

Ватсон превосходно оттеняет Холмса; их партнерство породило массу подражаний, более, чем любой другой дуэт в мировой литературе, и в итоге сформировался жанр детектива, который процветает и поныне. Поначалу Конан Дойл и помыслить не мог, что создает настоящего колосса, идола культуры. Впрочем, когда он это осознал, то не испытал ни малейшей радости.

Дойл (Doyle) — занимает двенадцатое место в списке наиболее распространенных ирландских фамилий. Считается, что она происходит от гаэльского Dubh-Ghail (“темный чужеземец”). Так местные кельты звали викингов, появившихся в Ирландии более тысячи лет назад.

Однако в семье Артура Конан Дойла бытовали самые разные версии насчет фамильных корней. Сам Конан Дойл сначала считал, что его предки жили в Ольстере, но впоследствии придерживался точки зрения, что ирландские Дойлы были младшей ветвью стаффордширских, принявших участие в англо-норманнском вторжении в Ирландию в 1169 году. Есть и другая версия, согласно которой его генеалогическое древо уходит корнями в Понт-д’Ойли, местечко близ Руана во Франции, и к норманнскому семейству д’Ойли, в XII веке получившему собственный герб, а в 1066-м участвовавшему во вторжении в Британию. Действительно, в 1333 году Эдуард III пожаловал земли в графстве Уэксфорд (юго-восток Ирландии) некоему Александру д’Ойли. Но были в роду Дойлов и те, кто предпочитал вести его от Фолкса д’Ойли, соратника Ричарда Львиное Сердце.

Как бы то ни было, в ранних хрониках Ирландии никакие выдающиеся Дойлы не встречаются. Разве что в 1313-м повесили Эркюля Дойла — за то, что он спалил поместье Фермой. А в 1642-м некий Джеймс Дойл был обвинен в государственной измене.

Лишь в XVIII веке Дойлы набирают силу — среди них уже четыре баронета, епископ, а также знаменитый художник и карикатурист Джон Дойл. Уроженец Дублина (родился в 1797 году), он внес немалый вклад в историю мирового искусства и литературы, положив начало выдающейся династии: его потомки — единственные представители одной фамилии, упомянутые в Британском национальном биографическом словаре в пяти различных статьях, причем речь идет о представителях трех поколений подряд.

Предкам Джона Дойла пришлось нелегко, их род обнищал из-за жестоких законов против католиков и в 1762-м потерял свое последнее родовое имение в Уэксфорде. Когда родился Джон, его отец Джеймс Дойл значился в городском реестре как торговец тканями, проживающий на Эндрю-стрит, 15. Брат Джона Джеймс стал священником, а обе его сестры монахинями, но Джон остался “в миру” — во многом благодаря способностям к рисованию, которые обнаружились у него в раннем детстве. Свою первую награду он получил уже в восемь лет, затем учился в Королевской Дублинской школе рисования, где брал персональные уроки у итальянского пейзажиста Гаспара Габриэлли и миниатюриста Джона Камерфорда. В основном Джон Дойл рисовал лошадей — животных чрезвычайно любимых в Ирландии как тогда, так и теперь, — и в 1814 году, когда ему было семнадцать лет, три его картины с лошадьми были выставлены в Ирландском сообществе художников, что принесло ему несколько заказов. Сам заядлый лошадник, он часто охотился верхом и мог с удивительной точностью нарисовать лошадь даже по памяти.

Много лет спустя католический журнал “Манф” привел забавный случай из жизни Джона Дойла: посмотрев на чьего-то коня, он объявил, что тот очень похож на жеребца, когда-то виденного им в Дублине. И вскоре выяснилось: конь был прямым потомком того самого ирландца!

В феврале 1820 года, в возрасте двадцати трех лет, Джон Дойл обвенчался с Марианной Конан в церкви Святого Андрея в Дублине. Семейство Конан полагало, что они потомки древнего герцогского рода из Бретани, но, как и Дойлы, семья переживала трудные времена. Отец Марианны тоже торговал тканями в Дублине. (Некоторые утверждают, что молодоженов пригласили провести медовый месяц в замок Арундел, поместье герцога Норфолкского, первого лорда-католика в королевстве, но, поскольку замок к тому времени был заброшен и там никто не жил, это сомнительно.) Через год после свадьбы Марианна родила дочь Аннет.

В те годы Дублин мало что мог предложить честолюбивому молодому художнику. Решение Британии покончить с “ирландской проблемой” путем создания Объединенного королевства Великобритании и Ирландии радикально снизило статус Дублина. Прежде это был один самых богатых и оживленных городов империи, но уния положила начало долгому периоду упадка. Джон, подобно многим его соотечественникам, решил перебраться в Лондон, в надежде обрести лучшее будущее в этом крупнейшем мировом центре — политическом, финансовом и торговом.

По всей видимости, Дойлы с младенцем переехали в Лондон в 1822 году и обосновались в Северном Сохо, в доме номер 60 по Бернес-стрит. Тогда это был приятный район, весьма популярный среди писателей и художников. Имущества у молодых было немного. Они привезли с собой лишь несколько семейных реликвий: серебряное блюдо с выгравированным фамильным гербом Дойлов, медицинскую ступку — также с гербом и поясной портрет графа Стаффордского, якобы кисти Ван Дейка. Томас Вентворт, граф Стаффордский, был протестантом, одним из ближайших соратников Карла I. Он правил Ирландией с 1633-го по 1641-й, когда был казнен по ложному доносу. Каким образом в семью убежденных католиков Дойлов попал портрет знаменитого протестанта, неизвестно.

Приступы безумия короля Георга привели к тому, что в 1811 году его сын принц Уэльский был провозглашен регентом. Эти десять лет регентства стали своего рода судорожными конвульсиями георгианской роскоши и разгула, после чего наступила Викторианская эпоха.

Принц, или, точнее, Принни, как снисходительно называли его подданные, вел жизнь праздную и безнравственную. Его брак с Каролиной Брансвик оказался неудачным, и он обзавелся множеством любовниц, которые старели и толстели вместе с ним. В 1820-м Георг III скончался, и Принни стал Георгом IV Первое, что он попытался сделать, став королем, — это развестись с Каролиной, обвинив ее в супружеской измене. Начался скандальный судебный процесс, чрезвычайно позабавивший всю нацию и предоставивший обильную пищу карикатуристам.

Во многом благодаря Принни период регентства стал золотым веком политической карикатуры, беспощадно высмеивавшей его излишества. При тогдашнем весьма смутном понятии о клевете и отсутствии внятных законов на сей счет, все и вся могло стать предметом насмешки. Но карикатуристы вели честную игру: например, знаменитые Томас Роулендсон и Джеймс Гиллрей (они были близкими друзьями) не просто развлекали публику, но пытались влиять на общественное мнение и призывали к социальной справедливости, разоблачая политиков и продажных судей. В их рисунках, как и в жизни, контраст между роскошью богатых и убожеством бедных разителен. Светские дамы щеголяли нарядами и драгоценностями на балах, денди проводили дни в лондонских клубах, а рабочий люд все громче заявлял о необходимости политических и социальных реформ.

Когда Дойлы перебрались в Лондон, период регентства уже закончился. В Дублине молодой Джон Дойл обзавелся влиятельными знакомыми. Среди них были, например, маркиз Слиго, генерал сэр Эдвард Керрисон и граф Талбот, вице-король Ирландии. Но в Лондоне Дойл почти никого не знал. Одной из первых его работ стала серия рисунков “Жизнь скаковой лошади”, которые он создал, побывав на ипподроме в Ньюмаркете. После чего начал писать портреты выдающихся современников, большей частью по памяти. Успех ему принес портрет герцога Йоркского верхом на коне.

Но вскоре Дойл понял, что прокормить все разрастающуюся семью — Джеймс Уильям Эдмунд родился в 1822-м, а два года спустя Ричард — одними портретами невозможно. А поскольку карикатуры были очень популярны и востребованы газетами и журналами, то к этому жанру он и решил обратиться. Он начал ходить в парламент на открытые заседания палаты общин, непременно с блокнотом, и к 1827 году уже вовсю продавал карикатуры в разные издания, в первую очередь “Таймс”.

Его техника была совсем иной, чем у карикатуристов времен регентства, которые работали в резкой, часто вульгарной манере. Пародии Дойла были изящны, отлично прорисованы, высмеивали политиков и дельцов умно, никогда не опускаясь до грубой пошлости. Избегая политических пристрастий, Дойл занял позицию развлекающегося наблюдателя. Остро подмечая слабости политических и общественных деятелей, он посмеивался, но не язвил. Его скетчи были забавны, но лишены злости и уродливого гротеска. Проще говоря, он не нажил себе ни одного врага. “Мой дед, — уверял Артур Конан Дойл много лет спустя, — был джентльмен и рисовал джентльменов для джентльменов, и сатира его заключалась не в том, чтобы искажать лица, а в остроумном сюжете”.

Рисунки Дойла и сегодня считаются нагляднейшими свидетельствами того, как выглядели и

вели себя знаменитости того времени. Свои работы он подписывал латинскими “Н. В.” и ревностно следил за соблюдением анонимности: он настаивал, чтобы его имя ни в коем случае не всплыло в печати, и отвозил заказы издателям в крытом экипаже, дабы никто не мог его выследить. И в салонах вскоре стали гадать, кто же так мастерски и так утонченно изображает государственных деятелей и светскую публику.

В семье Дойл бытовало предание: когда выходил очередной выпуск литографий за подписью Н. В., вокруг редакции собирались толпы народа, а по ближайшим улицам было не проехать из-за скопища карет и экипажей. В июле 1831-го Томас Маколей, только что избранный в парламент, писал сестре, что, ожидая приема у премьер-министра графа Чарльза Грея на Даунинг-стрит, 10, он прекрасно провел время, рассматривая карикатуры Н. В. — в приемной лежали две папки с его работами. “На каждом листе был граф Грей. Я здорово повеселился. Разумеется, я и раньше видел карикатуры Н. В., но тут мне попались совсем новые, все просто превосходные”.

Пренебрежение славой и нежелание раскрыть свое авторство привели к тому, что Дойл был куда менее известен, чем многие его современники. Вот что пишет о нем историк Д. М. Тревельян: “Этот художник оставил потомкам яркие, точные и забавные документы, в которых живо отражены виднейшие фигуры той великой эпохи”. А газета “Морнинг пост” утверждала, что к 1830 году карикатуры Н. В. перешли из разряда “предметов роскоши” в разряд “предметов первой необходимости”. Около шестисот листов графики Джона Дойла, посвященных ранним годам царствования королевы Виктории, сегодня хранятся в Британском музее.

В 1833-м супруги Дойл с детьми переехали на Кембридж-террас, 17 в большой удобный дом. Эта улица, обсаженная деревьями, расположена к северу от Гайд-парка. К тому времени к Аннет, Джеймсу и Ричарду прибавились Генри Эдвард (1827), Фрэнсис (1829), Аделаида (1831) и Чарльз (1832).

Часто приходили гости, многочисленные друзья Джона — писатели, политики, художники. Сэр Вальтер Скотт, Бенджамин Дизраэли, Уильям Мейкпис Теккерей, Данте Габриэль Россетти, Джон Миллиас, Эдвин Лэндсир и Чарльз Диккенс — все они сиживали за обеденным столом в гостеприимном доме Дойла.

В детском дневнике Чарльз Дойл так описывает одно из обычных воскресений: “День начался с того, что все дети, и большие и маленькие, Аннет, Джеймс, Дик, Генри, Фрэнк, Аделаида и я, к восьми утра пошли на мессу во Французскую часовню. Это означает — зимой пройти по Кембридж-террас, затем вверх по Эдвард-роуд, спуститься по Джордж-стрит… пару миль в темноте. И вернуться домой к завтраку около десяти. Потом день шел тихо и спокойно, пока в гостиной в восемь вечера не зажигали керосиновую лампу и свечи. Начали собираться гости, все больше известные литераторы и художники… Мы слушали прекрасную музыку: Аннет играла на пианино, а Джеймс на виолончели. В десять подавали ужин — холодное мясо и салат, а затем пунш. Тут мальчикам велели идти наверх, но, и лежа в постели, я слышал обрывки разговоров о самых интересных вещах часов до двух ночи…”

11 декабря 1839 года Марианна, обожаемая жена Дойла, внезапно скончалась — в сорок четыре года, от “порока сердца”. И он остался один с семью детьми, старшей из которых было восемнадцать, а младшему семь. Сестра Марианны Элизабет, а также ее брат Майкл Конан, незадолго до того получивший диплом адвоката, жили вместе с Дойлами на Кембридж-террас. Все заботы по хозяйству взяли на себя тетушка Элизабет и восемнадцатилетняя Аннет. Однако воспитанием мальчиков, рано проявивших художнические таланты, занимался отец. Выражалось это, например, в том, что каждую неделю они представляли ему иллюстрированный отчет о своей жизни. А по воскресеньям устраивался “просмотр”, когда дети приносили на суд отца свои работы. Обычно это были акварели на заданные сюжеты, в основном исторические.

Несмотря на внешнее благополучие, финансово семья жила на грани бедности. Исключительно популярные карикатуры за подписью Н. В. приносили совсем не много денег, и нередко Аннет (впоследствии ставшая монахиней) отсутствовала на ланче — чтобы остальным хватило еды. Но, как бы то ни было, мальчиков воспитывали должным образом, как истинных джентльменов: их учили фехтованию, танцам и музыке.

Возможно, чтобы заглушить горечь сиротства, пятнадцатилетний Ричард (по-домашнему Дикки) через два месяца после смерти матери взялся издавать иллюстрированный журнал, сегодня хранящийся в Британском музее. “Журнал Дика Дойла за 1840 год” — это забавные анекдоты, остроумные виньетки и наброски, в которых запечатлены истории из жизни семьи, рассказы о выходах в театр, оперу, зоопарк, Королевскую академию и Национальную галерею,

а также смешные зарисовки из тогдашней лондонской жизни. Например, такая картинка: трое старших мальчиков — Джеймс, сам Дик и Генри — на уроке танцев (которые они терпеть не могли) выделывают бестолковые па, учитель играет на скрипке, а Аннет невозмутимо наблюдает за происходящим. Или рассказ о пантомиме, поставленной Фрэнсисом, в которой тот исполнил все роли: “Это было так смешно, что все буквально изнемогали от хохота, и я, право, не знаю, чем бы это закончилось, если б нас не позвали к ужину”.

Так что даже после смерти матери веселье и смех не покинули дом на Кембридж-Террас. В иллюстрированном отчете Дика отцу, датированном 17 июля 1842 года, изображается домашний концерт: Аннет и Аделаида играют на пианино, Дикки на скрипке, а “мастер Чарльз Дойл поет свою любимую песню “Доброй ночи, любовь, доброй ночи”, а также играет в четыре руки Non piu mesta с мисс Аделаидой. Последнее привело публику в полнейший восторг, так что скромный юный джентльмен несколько раз порывался удрать со сцены, но, подбадриваемый восхищенными зрителями, был вынужден остаться.

К несчастью, Аделаида и Фрэнсис через несколько лет умерли: ей едва исполнилось 13, а ему еще не было 16 (причина их смерти неизвестна).

Вскоре после того, как в 1841 году был основан журнал “Панч”, Ричард и его отец стали рисовать для него карикатуры. “Защитник угнетенных, сурово бичующий любую власть”, журнал стал рупором нарождающегося среднего класса, и его направленность отлично сочеталась с сатирическими талантами Дойлов. Разом развлекательный и дерзкий, журнал, в частности, развернул кампанию против огромных затрат на содержание монархии, указывая, что только на принца-консорта Альберта ежегодно тратится 30 000 фунтов, между тем как на образование бедняков из бюджета выделяется лишь 10 000.

Политики также служили постоянной мишенью насмешек “Панча”, и в первую очередь премьер-министр сэр Роберт Пиль (Sir Robert Peel), которого издание именовало исключительно Sir Rhubarb Pill.

В 1843-м Дик Дойл проиллюстрировал знаменитое стихотворение Томаса Гуда “Песня о рубашке”, резко обличавшее капитализм и неравенство между богатыми и бедными. К 1848 году он делал уже почти треть карикатур в каждом номере журнала, а его обложка 1849-го, где изображен мистер Панч со своим псом Тоби, оставалась неизменной вплоть до окончания Второй мировой войны.

Однако в 1850-м в редакции возникли серьезные разногласия, которые привели к тому, что Дойл уволился: будучи, как и отец, убежденным католиком, он ушел в знак протеста против все возраставшей, как ему казалось, враждебности “Панча” по отношению к папе римскому. В том году папа Пий IX вознамерился создать в Англии архиепископство и двенадцать епархий, что в определенных кругах было воспринято как “папская агрессия”, и многие издания, включая “Панч”, решительно выступили в защиту протестантизма. Особенно возмутила Ричарда карикатура, где премьер-министр лорд Джон Рассел был изображен Давидом, поражающим Голиафа, в котором без труда угадывался Николас Уайзмен — видная фигура среди английских католических священников. Уайзмен был близким другом семьи, и Дик отверг все мольбы редакторов не уходить из журнала, пожертвовав при этом отличным ежегодным заработком в 800 фунтов.

Среди тех, кто уговаривал его остаться, был Теккерей, который в качестве аргумента приводил Дойлу в пример журналистов-католиков из “Таймс”, которые не уволились, хотя газета не менее активно, чем “Панч”, нападала на папу. На что получил ответ: “Что допустимо в “Таймс”, недопустимо в “Панче”… они там монархического толка, а “Панч” республиканского”.

Уйдя из журнала, Ричард Дойл иллюстрировал книги Ч. Диккенса, Д. Раскина, У. Теккерея, а также рисовал акварели, и его романтические, волшебные эльфы и феи пользовались огромным успехом у викторианской публики. Дик был членом общества “Менестрели Мюррея”, куда входили известные художники, музыканты и писатели. Обычно они собирались в Кемпден-Хилл, в роскошном доме лондонского богача, покровителя искусств Артура Льюиса. Видимо, на одном из таких собраний Дик познакомился с красавицей Бланш Стэнли и страстно влюбился в нее. Но в 1851-м она вышла замуж за Дэвида Огилви, графа Эйрли, и сердце Ричарда было разбито. Он постоянно воспроизводил милый образ в своих иллюстрациях, в частности к роману “Ньюкомы” У. Теккерея. Ричард так и не смирился с этой потерей и не женился. Он скончался в 1883 году.

Братья Ричарда были не менее талантливы. Джеймс Уильям Эдмунд Дойл стал ученым. Он был длинный, сутулый, носил черную бороду и неизменно был погружен в размышления, за

что получил прозвище Аббат. Джеймс был завсегдатаем политического салона в Холланд-хаус, где собирались виднейшие деятели того времени. Этот огромный дом в Кенсингтоне, принадлежащий Генри Фоксу, барону Холланду, в те годы служил своего рода штаб-квартирой интеллектуалов-реформаторов.

Человек по натуре скромный и застенчивый, Джеймс, однако, добился больших успехов: он был уважаемым историком, знатоком геральдики и при этом хорошим художником. Наиболее известны его живописное полотно “Литературный вечер у сэра Джошуа Рейнольдса”, а также цветные иллюстрации к его книге “Хроники Англии”. На протяжении тринадцати лет он работал над исследованием “Служилое дворянство Англии” и справочником Геральдической палаты, но в 1892 году умер, не успев довести свой труд до конца.

Генри Эдвард Дойл начал карьеру как художественный критик и живописец — ему доверили рисовать фрески Страшного суда в католическом храме в Ланкастере, — однако наибольшего признания добился, став директором Ирландской национальной галереи в Дублине. Его безупречный вкус, умение разглядеть талант, а заодно и заключать выгодные сделки сыграли огромную роль в подборе коллекции. Он покупал работы Дж. Беллини, А. Корреджо, Якоба ван Рейсдала и английских портретистов Дж. Рейнольдса и Т. Гейнсборо, прежде чем они стали высоко (во всех смыслах) цениться. При том что ежегодная дотация никогда не превышала тысячи фунтов, Генри сумел превратить Национальную галерею в превосходный музей, ничем не уступающий лучшим собраниям Европы. Три работы самого Г. Дойла включены в постоянную экспозицию — два портрета его друга кардинала Уайзмена и пастель, на которой изображен его отец, поражающий удивительным сходством с герцогом Веллингтоном. (В старости его нередко путали со знаменитым фельдмаршалом по прозвищу Железный герцог, а он радостно отвечал на приветствия публики, проезжая в экипаже по Гайд-парку.)

Джон Дойл умер в январе 1868 года. “Арт джорнал” посвятил ему большую статью, где помимо признания его таланта художника были и такие слова: “…он был истинным джентльменом”.

Чарльз Алтамонт Дойл родился 25 марта 1832 года. Не менее одаренный, чем братья, он, к сожалению, остался непонятым и неоцененным. Самый младший в семье, Чарльз, несомненно, испытывал неуверенность рядом со своими блестящими родственниками. Да и отец возлагал на него не слишком большие надежды. Джон Дойл состоял в переписке с премьер-министром и кроме соображений о том, как изменить общественную жизнь к лучшему, сообщал тому также и семейные новости.

В письме от 22 января 1842 года он замечает: “… хотя все пятеро моих сыновей обнаруживают склонность к искусству, лишь из троих старших может в этом смысле безусловно выйти толк”.

Чарльз дружил в основном с Аделаидой и Фрэнсисом, которые были ближе к нему по возрасту, и их ранняя смерть глубоко его потрясла. Впрочем, детство его было счастливым: он удил рыбу с друзьями на канале Паддингтон и в Темзе и очень любил животных. У него была своя собачка по прозвищу Принни и певчий дрозд; он мечтал об обезьянке, но, когда ее везли ему с Цейлона, бедняга сдохла.

Поскольку в художнические таланты Чарльза отец верил не сильно, то решил отправить сына на службу, и в семнадцать лет тот занял должность одного из трех помощников Роберта Матесона, управляющего делами ее величества в Эдинбурге, с ежегодной зарплатой в 180 фунтов. Он поселился в фешенебельном Новом городе в доме номер 8 по Скотланд-стрит, принадлежавшем Кэтрин Фоли. Кэтрин была вдова и, что немаловажно, католичка. Поначалу Чарльз был вполне счастлив в Эдинбурге, посылал домой веселые остроумные письма, разумеется с картинками, отмечая, что “шотландцы грубоваты, много пьют, но добры”, — не самое, надо признать, удачное общество для столь юного человека, к тому же творческого.

Летом 1850-го Чарльз, которому было тогда всего восемнадцать, удостоился немалой чести: поднять флаг на крыше дворца Холируд, официальной резиденции монархов в Шотландии, где располагалась и его контора. Это было во время визита королевы Виктории в Эдинбург.

Трудно точно определить обязанности Чарльза — это было нечто среднее между архитектором, инженером и секретарем. Некоторые биографы думают, что по его эскизам были созданы витражи в кафедральном соборе в Глазго, но документальных подтверждений этому нет. В основном он был занят чертежами, и, кажется, единственным свидетельством его работы в этом департаменте служат именно чертежи фонтана во дворе Холируда.

В июле 1855-го Чарльз обвенчался с семнадцатилетней дочерью своей домовладелицы в католическом соборе Святой Марии. Мэри Джозефин была хорошенькая миниатюрная блондинка с аккуратным пробором. Какое-то время она училась во Франции. Нельзя сказать,

что ее мать Кэтрин Фоли полностью одобрила этот брак: девушка была очень молода, а Чарльз — всего лишь скромный государственный служащий; но, с другой стороны, он благородных кровей, ирландец и католик…

Кэтрин Фоли родилась в Килкенни в 1809 году, ее отец, Уильям Пэк, был бакалейщик и виноторговец. Она необычайно гордилась своим происхождением: Пэки, протестанты, уверяли, что их предки пришли в Ирландию вместе с Кромвелем, а один из Пэков, генерал сэр Дэнис Пэк, командовал Шотландской бригадой в битве при Ватерлоо. В XVII веке некий преподобный Ричард Пэк женился якобы на урожденной Перси, породнившись таким образом с Плантагенетами и герцогами Нортумберлендскими, но, впрочем, документально эти притязания Кэтрин на родство с семейством Перси не подкрепляются.

В Килкенни Кэтрин вместе с сестрой содержала пансион для девочек, а в 1835-м вышла замуж за доктора Уильяма Фоли, выпускника Тринити-колледжа в Дублине. Поскольку Фоли были убежденными католиками, Кэтрин пришлось сменить веру и принять католичество. Но в 1841-м ее муж скоропостижно скончался на тридцать третьем году жизни, оставив Кэтрин вдовой с двумя маленькими дочерьми. Она вернулась в Килкенни, где вновь открыла частную школу. Однако дела шли неважно, и в 1847 году Кэтрин приняла мужественное решение начать новую жизнь в Эдинбурге, в то время бурно разраставшемся: ирландские иммигранты искали здесь спасения от голода, постигшего их страну из-за неурожаев картофеля.

Она открыла агентство по подбору гувернанток и кроме того брала жильцов, чтобы свести концы с концами. Несмотря на стесненные обстоятельства, Кэтрин ни на секунду не забывала о славном прошлом своей семьи (возможно, это отчасти помогало ей преодолевать трудности) и привила дочери глубокое уважение к нему. Мэри в полной мере унаследовала от матери фамильную гордость.

После свадьбы Дойлы некоторое время жили в доме Кэтрин, а затем перебрались на съемную квартиру. Не тратя даром времени, Чарльз с Мэри обзавелись потомством: уже в 1856 году, в июле, у них родилась дочь Энн Мэри Конан, которую в домашнем кругу звали Аннет. Затем последовали еще восемь детей, но двое умерли во младенчестве. При таком обилии ртов и весьма скромном заработке Чарльза жизнь была далеко не простой. Сильной, волевой Мэри приходилось самой сражаться с трудностями, поскольку нервный и неуравновешенный Чарльз мало интересовался бытом. Мягкий, задумчивый, страдающий головными болями и мучимый приступами депрессии, вечно занятый болезненным самоанализом, он обладал редким обаянием, присущим всем Дойлам, но частенько его называли “витающим в облаках”, “мечтателем” и “не от мира сего”. На досуге Чарльз рисовал, но продавать рисунки не умел и обычно просто раздаривал их, чтобы не торговаться. Поэтому доход семьи состоял из его жалованья (оно так и не поднялось выше двухсот пятидесяти фунтов в год) и случайных гонораров за книжные иллюстрации.

В 1858–1877 годах Чарльз рисовал для “Иллюстрейтед тайме”, “Ландон сосайети” и “График”, а также оформил несколько книг, в том числе “Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо” Д. Дефо (издание 1861 года). Но возможности зарабатывать на жизнь исключительно творчеством не представлялось. Тоскливое настроение Чарльза, прикованного в Эдинбурге к нескончаемой нудной работе, естественно, никоим образом не могли развеять бодрые письма его брата Ричарда, где тот расписывал свою насыщенную, яркую жизнь в Лондоне среди литераторов и художников. “Полагаю, ты знаешь издателей Смита и Элдера. Так вот они пригласили меня на ужин, где я познакомился с автором “Джейн Эйр” — хрупкая, умная женщина, лет ей около тридцати, зовут мисс Бронте… Эванс позвал меня на обед, который давало Общество взаимопомощи газетчиков, председательствовал Диккенс, произнес великолепную речь, были также Люк, Физ, Лемон, Ли и прочие. Вся компания, включая м-ра Питера Каннингема и Диккенса, затем перебралась в таверну “Радуга” на Флит-стрит, где и услаждала себя допоздна подогретым хересом и тостами с анчоусами…”

Чарльз о такой жизни мог только мечтать. Он иногда спрашивал у Аннет в письмах, нельзя ли получить в Лондоне работу, иногда говорил, что уедет в Австралию искать золото. Но он был в западне и сознавал это. Безмерно одинокий, замкнутый, разочарованный и вечно мающийся неудачник, привязанный к огромному семейству, которое нужно как-то содержать, Чарльз стал искать утешения в бутылке. В городе, где тяжелое пьянство было делом обычным, падение его оказалось стремительным.

В Шотландии в основном пили виски, но Чарльз предпочитал бургундское. Подобно всем алкоголикам, он готов был на все, чтобы найти денег на выпивку, даже опустошить детскую копилку. Ему едва исполнилось тридцать, а жесточайшие приступы белой горячки уже довели его до того, что целый год он практически не мог работать и жил на половинное жалованье. Впоследствии Мэри скажет докторам: “Случалось, муж месяцами не то чтобы ходить не мог, а

попросту ползал, был совершеннейшим идиотом и не знал, как его зовут”.

Запои следовали один за другим. Чарльз не только потихоньку выносил из дома все ценное, но и делал долги. Пил он уже все подряд, вплоть до жидкости для полировки мебели. После двадцати пяти лет службы, на которой он так ничего и не добился, в июне 1876-го Чарльз был вынужден уйти в отставку, с годовым содержанием в 150 фунтов. Впрочем, в его личном деле было отмечено — весьма великодушно, — что он никогда не прогуливал службу, исполнял обязанности “старательно и честно”.

В последующие годы он иногда умудрялся найти работу в качестве иллюстратора, но поскольку репутация в городе у него была соответствующая, то это было трудно, и Чарльз главным образом занимался тем, что искал, где бы раздобыть выпивку. Психика его была совершенно разрушена. Как-то раз он даже пытался раздеться прямо посреди улицы, чтобы продать одежду и купить вина.

В 1881 году супруги де-факто развелись: Чарльза поместили в лечебницу. Друзья и родственники убедили Мэри, что это для его же блага, и он оказался в Блайэрно-хаус, лечебнице для алкоголиков из приличного общества. Располагалась она в тихом местечке, на окраине поселка Драмлити, в Абердиншире. Лечебница регулярно размещала в “Медицинском справочнике” такое объявление: “Невоздержанность. Пансион для джентльменов. Загородный дом на севере Шотландии. Превосходная репутация. Домашний уют. Прекрасная охота, рыбалка и крикет”.

Чарльз присоединился к семнадцати другим постояльцам, среди которых были землевладелец, табачный фабрикант, несколько отставных армейских и флотских офицеров, профессор Эдинбургского университета и учитель музыки. Но ему трудно было смириться с трезвым образом жизни и с ограничением свободы, поэтому он неоднократно пытался сбежать. В мае 1885 года случился “инцидент”: Чарльз сумел раздобыть выпивку, а когда персонал попытался ее отобрать, он впал в ярость и разбил окно. Его заключили под арест за насилие и нанесение ущерба, и владелец клиники, вероятно чтобы избавиться от сложного пациента, заявил, что Чарльз представляет угрозу для себя и для общества, а посему его следует признать невменяемым. Для этого не требовалось согласия родственников — по тогдашнему шотландскому законодательству больной, находящийся в клинике, мог быть освидетельствован двумя врачами и, исходя из их рекомендаций, а также вердикта местного шерифа, отправлен в сумасшедший дом. Одному из врачей, обследовавших его, Чарльз сообщил, что “получает послания из мира духов”, а также, что “Господь повелел ему бежать”. Оба доктора поставили соответствующий диагноз, и шериф вынес приговор: “Признать Чарльза Алтамонта Дойла невменяемым”.

Чарльза под надзором отправили в Королевскую клинику для душевнобольных в Монтроузе, где его осмотрели. Он ничего о себе не помнил, был очень подавлен и напуган, ему слышались голоса, и он полагал, что стоит на пороге смерти. Долгие годы тяжелого пьянства не прошли даром.

Мэри Дойл была убеждена, что на свободе муж немедленно сопьется и погибнет, поэтому почла за лучшее оставить его под опекой врачей. Спустя полгода у него начались эпилептические припадки. В те годы болезнь эта была мало изучена, лечить ее не умели, а кроме того, эпилептиков боялись и презирали. Но Чарльзу отчасти повезло: именно в клинике Монтроуза, построенной на общественные деньги, царили гуманные нравы, сильно опережавшие свое время. Не следует забывать, что совсем незадолго до описываемых событий лондонцы платили, чтобы взглянуть на безумные “кривлянья” сумасшедших.

Последующие семь лет Чарльз провел в этой лечебнице. Он много рисовал и даже участвовал в изготовлении местного журнала “Саннисайд кроникл”. Нарисовал как-то акварельный автопортрет: он сидит в печальной задумчивости, а вокруг вьются какие-то злобные потусторонние твари.

Одна из тетрадей, в которых Чарльз зарисовывал свои навязчивые образы, неожиданно всплыла в 1977 году. В Нью-Форесте был выставлен на продажу дом, вместе с мебелью, посудой и книгами. Заезжий книготорговец из Лондона немедленно оценил редкую находку, и вскоре был издан “Дневник Дойла”. Беспорядочные заметки, подписи, каламбуры и головоломки сопровождают рисунки акварелью, карандашом и чернилами. Карикатуры соседствуют с удивительными фантастическими видениями. Это очень трогательное отражение его страданий, попытка доказать, что он здоров и несправедливо содержится взаперти. На первой странице, под 8 марта 1889 года, карандашом написано: “Имейте все время в виду, что эта книга создана, как говорят, абсолютно сумасшедшим человеком. Где же здесь, укажите, недостаток ума или вкуса? Если вы найдете либо то, либо другое, отметьте

это, и пусть это явится свидетельством против меня”.

Другая запись, от 22 мая, говорит о том, что Чарльз ощущал себя покинутым: “Я не… ладно, я отложу то, что хотел сказать, до завтра… я хотел сказать, что создал целую кучу, огромное множество работ, но мне ничего не известно об их судьбе. Я просил, чтобы их отослали миссис Дойл для издателей, но, поскольку ни она, ни другие родные не прислали мне мою книгу или альбом, наверное, они сочли, что выгоды им от этого не будет. В таком случае лучше пусть эти работы попадут к врачебной комиссии, чтобы они увидели плоды ума человека, которого считают вправе здесь держать”. Позже он снова просил, чтобы его записи переслали “бедной, дорогой Мэри”, чтобы она знала, он думает о ней. “Храни Господь ее и всех остальных, — пишет он, — которые, смею сказать, обо мне забыли”. И грустно добавляет: “А я их нет”.

На его рисунках изображены в основном феи и эльфы. Они разгуливают и порхают среди тщательно прорисованных растений и животных (вполне реальных, но значительно более крупных, чем в действительности).

На его автопортретах высокий мужчина, с длинной черной бородой и в круглых очках. А есть и такой: он протягивает правую руку Смерти с косой, а ангелы пытаются увлечь его прочь от нее. Смерть вообще нередко встречается в его рисунках. Например, он пожимает ее костлявую руку, а внизу подпись: “Уверен, для католика нет в жизни ничего лучше, чем уйти из нее”.

В тетради повсюду разбросаны словесные и карикатурные головоломки, с детским простодушным юмором. Уборщица драит пол, а внизу подпись: “Я тоже мечтаю смыться прочь отсюда…”Акварельный рисунок листа сикомора и подпись: “Рисуя этот лист, извел пять листов. Этот сикомор кого хочешь уморит”.

Он постоянно возвращается к теме своей заброшенности, грустит, что друзья и родные забыли о нем. Запись от 5 июня 1889 года: “Уверен, будь мои многочисленные работы правильно преподнесены публике, они имели бы успех, особенно у людей сходных со мной вкусов и суждений. И они принесли бы немало денег, которые я подарил бы дочерям, но, запертый здесь самым грубым образом, — что я могу? Полагаю, только в глазах ограниченных, узко мыслящих шотландцев мои шутки могут выглядеть безумием. Попадись им Чарльз Лэм или Томас Гуд, они обращались бы с ними не лучше… и ни “Очерки Элии”, ни “Песнь о рубашке” никогда не были бы написаны”.

О себе Чарльз говорит, что он “безобидный джентльмен”, и горько жалуется на свое заточение. Однако в его медицинской карте найдется немало подтверждений болезни: он периодически терял память, получал смертные знамения, нередко ложился умирать, его преследовали галлюцинации, что он в аду в окружении бесов. Он искал утешения в религии — однажды полдня провел на коленях в бильярдной с молитвенником в руках.

В январе 1891 года состояние Чарльза ухудшилось, теперь жестокие эпилептические припадки мучили его регулярно, раз в две-три недели, и, “чтобы сменить обстановку”, его перевели в Эдинбургскую клинику для душевнобольных. В отчетах врачей сказано, что он очень исхудал, поседел, по-прежнему страдает галлюцинациями и большими провалами в памяти.

Он проводил время за рисованием и молитвами. С семьей общался крайне редко. В письме к заведующему отделением Мэри называет мужа “мой дорогой, бедный Чарльз”, но ясно, что она плохо себе представляет его состояние и давно его не видела. Около полутора лет спустя Чарльза вновь перевели в другую больницу, на сей раз в Дамфри, где ему поставили диагноз “слабоумие”. Когда Мэри сообщили об этом, она написала главному врачу Дж. Рутерфорду (3 декабря 1892 года), что “душа ее скорбит по несчастному мужу, несмотря на все горе, которое принесло их семье его пьянство”. И подчеркивает, что он добродетельный, порядочный человек, “зная его, нельзя не любить”.

А вот отрывок из наблюдений лечащего врача (запись сделана 3 октября 1893 года): “Приятный, обходительный, общительный. В награду за хороший уход за ним торжественно вручил мне пустой лист, заверив, что он покрыт позолотой. Сказал, что собрал позолоту из солнечных лучей”.

Через неделю Чарльз Дойл скончался в возрасте шестидесяти одного года. Причина смерти: “долговременная эпилепсия”. В некрологе, помещенном 23 октября в журнале “Скотчмен”, были, конечно, упомянуты знаменитые родственники Чарльза, но немало добрых слов сказано и о его таланте художника, и о нем самом: “Он был дружелюбный, очень приятный в общении, добросердечный человек. Превосходный собеседник и великолепный рассказчик — человек незаурядного воображения, он отлично рассказывал истории, где вымысел и фантазия

гармонично сочетались с эрудицией хорошо образованного джентльмена. Одаренный, воспитанный, неизменно приветливый, Чарльз Дойл везде был желанным гостем… Его доброе сердце и светлый талант оставят в наших сердцах благодарную память”.

О том, что он долгое время провел в сумасшедшем доме, не было сказано ни слова, но коротко упоминалось, что сын его — “способный писатель доктор А. Конан Дойл”.

Глава 2

Детство

АРТУР ИГНАТИУС КОНАН ДОЙЛ родился в Эдинбурге, **в** доме номер и по улице Пикарди-Плейс 22 мая 1859 года. Через два дня его крестили в католическом соборе Святой Марии, тут же по соседству. Крестной матерью была его двоюродная бабушка Кэтрин Дойл, монахиня из Килларни (в монашестве носила имя мать Игнация), а крестным отцом двоюродный дед Майкл Конан, брат его бабушки Марианны, который в то время был литературным, музыкальным и театральным критиком “Морнинг геральд”, а переехав в 1854 году в Париж, начал писать для лондонского “Арт джорнал”.

Артур родился в удачное время. Викторианская эпоха, полная самоуверенности и оптимизма, была в расцвете; Британия не только превратилась в самую промышленно развитую страну в Европе, но и в самую мощную империю. Процветание государства, впрочем, никак не отразилось на его гражданах из низших слоев общества. Средневековый центр Эдинбурга был печально знаменит ужасающими трущобами — философ Томас Карлейль назвал их “омерзительной, зловонной, дымящейся кучей камней, известки и дерьма”, — и хотя Новый город, величественный и гордый, уже вовсю строился и к концу XVIII века был завершен, Старый был по-прежнему прибежищем нищих и крыс. “Даже на главных улицах, — писал Р.JI. Стивенсон в бытность студентом Эдинбургского университета, — в окнах повсюду сушится белье, а по тротуарам слоняются толпы бездельников”. Грязь и скученность вызывали различные эпидемии, и только в 1866 году, когда Артуру было семь лет, в городе по меньшей мере трижды вспыхивала холера.

Несмотря на то что у нее уже была дочь Аннет (вторая девочка, Кэтрин Амелия, родившаяся 22 апреля 1858 года, умерла в шесть месяцев от водянки головного мозга), Мэри Дойл нисколько не скрывала, что Артур ее любимчик: он был светлый, жизнерадостный ребенок, много смеялся и мало капризничал. Только Аннет и Артур получили двойную фамилию — Конан Дойл, и ее носили лишь два поколения: Аннет умерла молодой и бездетной, а сыновьям Артура некому было ее передать.

Вскоре после рождения сына семья перехала в Портобелло, в те годы маленькое курортное местечко под Эдинбургом. Там родился четвертый ребенок Дойлов, девочка, но в два года и она умерла от ларингита.

Миниатюрная Мэри Дойл, как и ее мать, безмерно гордилась своим происхождением, и в сына она вселила незыблемую веру в то, что он аристократ по рождению. Она рассказывала ему о традициях ушедших эпох, воспитывая его в духе рыцарства. От нее он много узнал о геральдике и вскоре уже отлично в этом разбирался. Мэри даже сама частенько просила его растолковать тот или иной герб. Это давало возможность на время забыть тяжелый быт, бедность, в которой они жили. Артур навсегда запомнил такую картину: он сидит за столом на кухне, а мать чистит камин и повествует о былой семейной славе: о родстве с Плантагенетами, с герцогами из Бретани, с родом Перси. “Я болтал ногами в коротких штанишках, раздуваясь от гордости, — вспоминал он, — в то время как моя одежда была мне так же тесна, как колбасе ее оболочка; я осознавал разницу между собой и всеми прочими мальчиками, так же болтающими ногами под столом”.

Мэри была прирожденной рассказчицей, и дети, слушая ее у камина, восхищались и трепетали. “С раннего детства, — писал потом Артур, — сколько я себя вообще помню, я слушал ее истории, и они были так ярки, что сегодня порой заслоняют реальные события той жизни. Дойдя до самого захватывающего момента, она переходила на громкий пугающий шепот… у меня и сейчас мурашки бегут при одном воспоминании. Оглядываясь назад, я хорошо понимаю, что, именно пытаясь подражать ее историям, я стал сочинять сам”.

Визиты преуспевающих братьев Чарльза несомненно вызывали неловкость в семье Артура: они принадлежали к разным социальным слоям. По легенде, как-то раз дядя Дикки привел с собой седовласого Уильяма Теккерея, автора знаменитой “Ярмарки тщеславия”, и тот, посадив мальчика на колени, развлекал его золотыми часами с репетиром, которые заставил прозвонить аж сто раз. (Теккерей и впрямь приезжал в Эдинбург к издателю Джону Блэквуду в 1859 году, но Артур был тогда грудным младенцем, так что на коленях у великого писателя могла сидеть только маленькая Аннет.)

Дик нарисовал прелестный карандашный портрет пятилетнего Артура — серьезный большеглазый ребенок задумчиво смотрит с него на художника. Сохранилась фотография 1865 года Артура с отцом: костюмчик (неизменные короткие штанишки) явно велик ему, куртка с отложным кружевным воротником, высокие ботинки. Он внимательно смотрит в

камеру, держа отца за руку. Чарльз Дойл в сюртуке и светлых брюках, он небрежно облокотился на этажерку с цветами, в одной руке — сверкающий цилиндр, в другой — ладошка Артура. Типичная картинка в респектабельном викторианском духе, глядя на нее, ни за что не подумаешь, что этот элегантный джентльмен страдает алкоголизмом.

Мэри делала все, чтобы пьянство Чарльза не омрачало детям жизнь. Она считала каждое пенни, и они худо-бедно всегда были сыты и прилично одеты. Дик говорил, что в глазах ее читалась “железная решимость” и “она ни в грош не ставила чужое мнение”. Всякий раз, как они перебирались с одной убогой съемной квартиры на другую, она старательно наводила там чистоту и уют, а по вечерам рассказывала детям свои волшебные истории. Когда вечером Чарльз, пошатываясь, возвращался домой, она всячески обихаживала его, несмотря на то что почти постояно была беременна очередным ребенком.

Главной отрадой ее жизни был обожаемый сын, ее гордость и надежда. Нельзя сказать, что она не любила дочерей, но к Артуру Мэри питала особую привязанность. Она рано научила его читать, и вскоре он открыл для себя “Айвенго” В. Скотта, которого перечитывал вновь и вновь, а также приключенческие рассказы М. Рида и Р. Баллантайна. Чтение стало его страстью. Он проглатывал книги одну за другой, и в местной библиотеке ему даже строго указали, что по их правилам книги нельзя менять чаще чем дважды в день. Совсем еще мальчишкой, даже не подростком, он уже избороздил с героями любимых книг все моря и океаны, знал Скалистые горы как свои пять пальцев, умел дышать под водой через тростник, сплавляться по горным рекам, скакать на необъезженном мустанге, запутывать следы, мог одолеть в рукопашной сколько угодно индейцев… Словом, не было такого подвига, который он мысленно не совершил бы.

Так что, по-видимому, он был обречен стать писателем. Первый рассказ Дойл сочинил в шесть лет — про бенгальского тигра. Исполненный величайшей гордости, он отослал свой шедевр крестному в Париж. “Я писал на больших листах, четким решительным почерком — по четыре слова на строчке — и рисовал на полях иллюстрации пером. Там был человек и был тигр. Кто из них главный герой, я не помню, но это не так и важно, ибо, встретившись, они стали одно. Я был реалистом в эпоху романтизма. Мой герой принял безвременный конец, что было описано и нарисовано, но, когда тигр проглотил его, я обнаружил, что не знаю, куда двигаться дальше.

“Очень просто загнать человека в ловушку, и очень трудно его оттуда вытащить”, — понял я тогда, и впоследствии не раз убеждался, сколь справедлив мой детский афоризм. В тот раз обстоятельства оказались сильнее меня, и тигр расправился не только с героем, но и с сюжетом”.

В семь лет Артура отправили в школу Ньюингтон в Эдинбурге. Он говорил потом, что там царили жестокие нравы, в духе романов Диккенса, “учитель, рябой одноглазый мошенник” нередко колотил учеников.

В те годы Артур жил у Мэри Бартон, друга их семьи. Ее дом находился в двух милях от центра города, и, хотя формальным поводом для переезда Артура была близость к школе, на самом деле мать наверняка хотела оградить его от семейных неурядиц и сложностей.

У брата Мэри, известного адвоката, библиофила и историка Джона Хилла Бартона, был сын Уильям, с которым Артур вскоре очень сдружился. Мальчики вместе удили рыбу в небольшом быстром ручье в саду рядом с домом, а еще Уильям познакомил его с искусством фотографии. (Потом Дойл посвятит ему свой второй роман “Торговый дом Гердлстон”.) В феврале 1866 года, пока Артур жил у Мэри Бартон, у него родилась сестра Кэролайн Мэри (Лотти) Бартон, которую Мэри Дойл назвала так в знак признательности своей подруге.

Прожив два года у Бартонов, Артур вновь присоединился к семье, когда та в очередной раз переехала — на сей раз на верхний этаж дома номер 3 по Сайеннес-Хилл-плейс. То был узкий мрачный тупик, застроенный высокими серыми домами, где жилье сдавали внаем беднякам. Рядом, на Сайеннес-Гарденс, в благоустроенных виллах жили те, кто побогаче.

Дойлы платили за жилье девятнадцать фунтов в год, лишь на треть меньше, чем на Пикарди-плейс, но и эта экономия была существенной при их скудном достатке, в первую очередь связанном с пьянством Чарльза. Это зло не раз упоминается в книгах Артура, но о своем отце он никогда не сказал ни одного худого слова, напротив, вспоминал его с неизменной симпатией. Между тем Мэри родила шестого ребенка, Констанс Амелию Монику (Конни), 4 марта 1868 года.

Мальчишки, жившие на Сайеннес-Гарденс, враждовали с обитателями Сайеннес-Хилл, и однажды было решено устроить кулачный поединок между вожаками от обеих сторон. Скорее всего, эта идея принадлежала Артуру, и поскольку он был высок и силен для своих лет, то его

и выбрали. Кто победил, нам неизвестно, но Дойл пишет, что битва, состоявшаяся в саду одной из вилл, была “замечательным состязанием во много раундов”. Домой Артур вернулся изрядно потрепанный, с синяком под глазом, но на причитания Мэри негодующе возразил: “Да вы пойдите поглядеть, какой фингал у Эдди Таллока!”

Всегда готовый пустить в ход кулаки — однажды это закончилось тем, что помощник сапожника огрел его тяжеленным мешком с обувью и Артур свалился без чувств, — он вел себя на грязных городских улицах так же, как герои историй его матери и приключенческих романов. Но, несмотря на драки, он по-прежнему был любимцем Мэри, и, нежно любя ее сам, пообещал однажды, что настанет время, когда он будет заботиться о ней: “Когда вы, маменька, будете старенькая, у вас будет бархатное платье, золотые очки, вы будете сидеть у камина и ничего не делать”. Светлая мечта для женщины, еле-еле сводящей концы с концами, с кучей детей и мужем, весьма далеким от реальности! “Боюсь, — пишет Артур в автобиографии, — что отец не сильно помогал ей, мысли его витали где-то в заоблачных высях и слабо соотносились с обыденной жизнью”.

Зато Майкл Конан был человек ответственный и часто посылал крестнику французские книги. “Мой дорогой мальчик, — обращается он к Артуру в письме, приложенном к исследованию о французских монархах, — ты получишь большое удовольствие и немалую пользу, изучив эту книгу внимательно, и я уверен, что под руководством твоей замечательной мамы, которая так хорошо знает французский, ты в недалеком будущем тоже выучишь этот язык и сможешь прочесть ее… Твой неизменно любящий крестный М.Е. Конан”.

Именно Майкл Конан посоветовал отдать мальчика в иезуитский колледж. По сути дела, в Англии у католиков, желавших отдать ребенка в привилегированное частное заведение, выбор был невелик: либо в Даунсайд, к бенедектинцам, либо в Стоунихерст в Ланкашире (колледж был основан иезуитами в 1593 году во Франции, в Сент-Омере). И там, и там плата была довольно велика и пробила бы изрядную брешь в и без того скудном семейном бюджете, но в Стоунихерсте Артуру предложили стипендию в 50 фунтов, возможно, в надежде, что со временем он примет сан. Впрочем, Мэри от нее отказалась, и деньги, вероятно, платили родственники Чарльза.

Итак, 15 сентября 1867 года восьмилетний Артур попал в Ходдер-хаус, подготовительную школу при Стоунихерсте. В поезде, горько переживая разлуку с домашними, он проплакал всю дорогу от Эдинбурга до границы. На вокзале в Престоне его и десяток других мальчиков встретил священник в черной сутане и отвез в школу.

Следующие восемь лет он виделся с семьей лишь полтора месяца в году, на летние каникулы, но привязанность к матери ничуть не ослабла, и он постоянно писал ей — привычка, сохранившаяся у Дойла до конца ее дней. Его веселые, жизнерадостные письма, хранящиеся теперь в Британской библиотеке, говорят о том, что он вскоре свыкся со школьной жизнью. По ним же можно проследить, как он постепенно взрослел. Из уважения к своим ирландским предкам он звал Мэри “маменькой”, но в письмах обращался чуть более строго: “Дорогая мама”, а завершал их неизменным: “Остаюсь ваш нежно любящий сын А.К. Дойл”.

Из Ходдера он с восторгом пишет ей о своем первом причастии. Письмо на голубой бумаге, от руки расчерченной в линеечку, начинается старательно выведенными четкими фразами, но очень быстро они переходят в размашистые детские каракули: “Дорогая мама, надеюсь, у вас все хорошо. Я рад сообщить, что впервые причастился. Милая мама, я не могу выразить радость, какую испытал в этот счастливый день, когда Создатель снизвошел [sic!] в мое сердце. Даже если я буду жить сто лет, то не смогу забыть этот день”. Но детская набожность и восторг продлятся недолго — суровый уклад жизни иезуитского колледжа быстро охладит его религиозный пыл.

Артуру повезло: классным наставником у него в Ходдере был преподобный Фрэнсис Кессиди, человек добрый и неглупый, которого дети обожали. Он стремился развить их способности, особенно в том, что касалось словесности, и подбадривал Артура в его первых поэтических опытах. Артур сохранял к нему самую искреннюю привязанность и долгие годы спустя после школы. Свой первый сборник стихов “Песни действия”, опубликованный в 1898 году, он прислал именно ему с письмом, где выражал надежду, что стихи его стали чуть более зрелыми, чем в годы учебы. “Не исключено, впрочем, — писал он, — что перед вами возникнет проблема, перед которой недавно встал и я, получив от начинающего поэта сборник стихов и эссе (то и другое — ужасающее) с просьбой сообщить мое мнение. Я ответил, что он “равно владеет стихом и прозой””. Так что два года в Ходдере нельзя назвать несчастливыми. Учителя, как Дойл потом писал, были “более человечны, чем обычно бывают иезуиты”.

Но в Стоунихерсте дела обстояли иначе. Иезуиты, спасаясь от Наполеоновских войн, открыли школу в 1794 году — в обветшалом средневековом замке в Клайтеро, до того пустовавшем уже более полувека. Его подремонтировали, но без больших затрат: монахи надеялись со временем вернуться обратно во Францию. К замку вела длинная подъездная аллея, по бокам его возвышались две мрачные башни, и он мог послужить отличным прототипом для Баскервиль-холла, где происходит действие знаменитой “Собаки Баскервилей”. До 1851 года там не было нормального водоснабжения, и мальчики мылись над длинным желобом, под умывальниками с затычками.

При Артуре в Стоунихерсте обучались около трехсот человек, по большей части ирландцы. Образование было классическим: Вергилий, Цицерон, Тацит, Гораций и Гомер первенствовали над географией, математикой и английским. “То был обычный набор для любой закрытой школы, — писал впоследствии Дойл. — Геометрия Евклида, алгебра и классические языки; преподавали все это тоже в обычной манере, то есть прививая стойкую ненависть к предмету. Давать ученику отрывок из Вергилия или Гомера — ученику, не имеющему понятия о том, кто они, о чем их книги и что вообще представляет собой Античность, — очевидный абсурд… Мое классическое образование внушило мне ужас перед античными авторами, и я был поражен, обнаружив, сколь они пленительны, прочитав их впоследствии”.

Жизнь в Стоунихерсте была подчинена церковным правилам. Вскоре после того как Артур прибыл туда (в десять лет), на него и еще 160 мальчиков был наложен трехдневный обет молчания, во время которого нельзя было произносить ни слова. В эти дни полагалось читать жития святых и подолгу молиться, перед тем как в девять вечера лечь спать. “Могу точно сказать, — писал Артур матери, — что не было почти никого, кто не изменился бы за эти три дня”. Он, впрочем, не уточнил, в какую сторону.

Монахи рассчитывали, что каждый выпускник покинет школу проникнутый глубокой верой в католицизм, которую пронесет через всю дальнейшую жизнь, но с Артуром Конан Дойлом все получилось ровно наоборот. Восторг, испытанный им на первом причастии, оказался недолгим. Вскоре он разочаровался в религии, ему претили суровые догматы, нетерпимость и лицемерие католичества; он был потрясен, когда один из отцов-иезуитов решительно заявил, что вечное проклятие ждет любого, кто вне их церкви. Таким образом, попав в Ходдер истинно верующим, он покинул Стоунихерст, унося в душе лишь обломки веры, почти агностиком.

Как бы то ни было, строгие правила и утомительные обряды ничуть не сломили его духа, хотя он и признавался много лет спустя в письме к другу, что никогда не отправил бы своего сына к иезуитам, “которые охотнее прибегают к устрашению, нежели доводам любви и рассудка”.

И зимой, и летом учеников поднимали в пять утра по сигналу дудки, спальни практически не отапливались, а ветер задувал в щели. Мальчики были совершенно уверены — щели эти проделаны нарочно, чтобы им было совсем уж несладко. В первую зиму Артура в Стоунихерсте по стране прокатилась эпидемия дифтерита и несколько учеников умерли, но он всегда отличался крепким здоровьем и не заразился.

Твердый порядок и строжайшее воздержание достигались за счет неусыпного наблюдения: мальчики ни на секунду не были предоставлены сами себе, священники не оставляли их без внимания ни на уроках, ни на занятиях спортом, ни в свободное время. Старших учеников поощряли к подглядыванию и наушничанью, они должны были немедленно сообщать о малейшем нарушении правил, особенно в том, что касалось сексуальной сферы. Отцы-иезуиты были в ужасе от нравов, царивших в Итоне, Хэрроу и Винчестере, и строго оберегали своих подопечных от “специфических опасностей закрытой школы”. К провинившимся применялись различные меры, скажем “покаянная прогулка” взад-вперед по игровой площадке, которую следовало совершать в течение часа в полном молчании, дабы как следует осмыслить свои грехи. Часто прибегали и к телесным наказаниям: это были либо розги, либо ужасная резиновая хлопушка, похожая на толстую подметку. Называлась она ferula (хлыст), но между собой мальчики прозвали ее “колотушкой”. Максимальное наказание — “дважды по девять”, девять ударов по каждой руке. “Одного удара этим орудием, — вспоминал Дойл, — было довольно, чтобы ладонь вспухла и покраснела. При этом обычно старших наказывали “дважды девятью”, редко когда “единожды”. Жестокое испытание. Прошедший его обычно не мог даже повернуть дверную ручку, чтобы покинуть комнату, где подвергся экзекуции. Вынести “дважды по девять” в холодную погоду было на пределе человеческих возможностей”.

Артур был энергичный, неаккуратный и своенравный, что, понятно, вызывало неудовольствие у его наставников. Когда он как-то сообщил одному из них, что намерен после школы стать инженером социального строительства, то услышал язвительный ответ: “Что же, Дойл, инженером, возможно, вы и станете, но насчет вашей социальности у меня большие сомнения”. Он никогда не упоминал в письмах домой, что подвергся наказанию, но в

автобиографии пишет, что “мало кому из воспитанников, а в мое время, возможно, и никому, доставалось больше, чем мне. Меня били чаще других вовсе не оттого, что я был хуже и порочней. Но по складу характера я с радостью откликался на доброе отношение (коего никогда не получал) и восставал против угроз и принуждения, находя утешение уязвленной гордости в том, чтобы показать — силой меня не запугаешь. Свои дикие, возмутительные выходки я совершал лишь в подтверждение того, что дух мой не сломлен. Если бы воззвали к лучшим сторонам моей натуры, а не к страху перед побоями, то сразу же добились бы желаемого”.

Попав в Стоунихерст, Артур вскоре написал печальный “Сон ученика”:

На узкой кровати лежал ученикИ не грезил о завтрашнем дне.Он грустно к тощей подушке приникИ видел свой дом во сне…Он видел розги, злые как жало,И при мысле о завтрашнем дне,Поежась, закутался в одеялоИ о доме вздохнул во сне.

Однако бывали и отрадные моменты. Например, зимой на День ректора замерзший пруд украшали китайскими фонариками, мальчишки катались на коньках, а преподаватели добавляли веселья, зажигая фейерверк. Вечером школьный оркестр исполнял “Правь, Британия”, по кругу пускалась коробка сигар, и все пили за здоровье отца ректора горячий пунш из круглых чаш. Отмечали и День школы. “Пир горой: индейка, колбасы, фрукты, пироги, херес и кларет. Все пели песни”. Карикатурист “Панча” Бернард Партридж учился в колледже в одно время с Артуром и хорошо его запомнил: “Он был плотного сложения, спокойный, с приятными манерами и загадочной скрытой усмешкой, которой неизменно встречал все школьные наказания, например выйти из-за парты и стать на колени посреди класса, держа в руках учебники. Я думаю, занимался он с ленцой, поэтому никаких выдающихся достижений в учебе не имел, но у него был живой, очень острый ум, он постоянно сочинял стихи и пародии на всех обитателей колледжа”.

Как и во всех английских частных школах, в Стоунихерсте большое внимание уделяли спорту, — не только для формирования командного духа и общего физического развития, но и чтобы усмирять зов плоти. Здесь были свои правила игры в футбол и крикет, вероятно намеренно отличавшиеся от тех, по которым играли в протестантских школах, так что проводить общие соревнования оказывалось невозможно. В футбол играли как во времена королевы Елизаветы: небольшой мяч, расстояние между штангами ворот всего семь футов, никакого ограничения по количеству игроков. В результате на поле постоянно вспыхивали яростные потасовки.

Тамошние правила крикета также отличались архаичностью и запутанностью. Потом Артур назовет эти игры “уродством”, “национальной бедой” британского образования, поскольку одаренные молодые люди попусту тратили силы на всякую чепуху, вместо того чтобы заниматься обычным спортом.

Впрочем, Артуру повезло: в 1870 году к списку разрешенных в колледже видов спорта добавили общепринятый, так называемый “лондонский” крикет. И он стал капитаном команды. “Это превосходная игра, — писал он матери, — от нее в сто раз больше пользы, чем от предписаний всех докторов на свете”.

На праздник Тела Господня (католики отмечают его во второй четверг после Троицы), в самом начале лета открывался крикетный сезон. В этот долгожданный день звонили школьные колокола, играл оркестр и мальчики торжественно проходили строем под триумфальными арками. Команда Стоунихерста: все в белых фланелевых брюках, алых рубашках и синих шапочках. Их соперников, чья форма была куда скромнее, встречали громким насмешливым улюлюканьем.

К католикам по-прежнему многие относились нетерпимо. В 1874 году, когда Артур еще учился в колледже, протестантская газета “Рок” резко осудила руководителей школы Россал, располагавшейся по соседству, за то, что те позволили провести крикетный матч со Стоунихерстом: “Паписты пользуются всякой возможностью завлечь нас в свои сети, в свою ложную веру, и кто этого не сознает, не может возглавлять протестантскую школу”.

В письмах домой Артур не раз хвастал своими подвигами на крикетном поле: “В прошлый понедельник был матч, и мы одержали великую победу. Они набрали 111 очков, а мы 276, из них я заработал 51”. Дальше следовала просьба прислать немного денег. Испрашивая разрешения купить фланелевые брюки, Артур резонно замечал: “Невозможно играть в крикет по четыре-пять часов в день в моих толстых штанах. Их (крикетных брюк) нет только у меня одного”. Артуру приходилось донашивать отцовские вещи, которые “совсем обтрепались”. Мэри Дойл сумела найти деньги, но проблемы, как выяснилось, этим не исчерпывались: “М-р

Келлет сказал, чтобы я попросил вас написать ему, что вы думаете насчет моей одежды. Он говорит, что я очень быстро расту, и то, в чем я хожу, будет мне мало уже на каникулах. И еще — что мне нужен новый костюм, брюки от старого стали совсем коротки. И мне уже очень жарко в синей зимней куртке… А вещи для крикета замечательные, очень красивые и сидят отлично…”

В апреле 1873 года он сообщил приятные новости о своих успехах в учебе: “Вчера я разговаривал с ректором. Он сказал, что очень доволен моими результатами, особенно тем, что я переборол свой дурной характер и больше не пререкаюсь по любому поводу. И сказал, что я один из лучших учеников!”

На самом деле Артур занимался без большого рвения, даже историей, которую, как полагала Мэри, он будет знать превосходно. По итогам третьего года в коллежде он занял десятое место среди двадцати своих одноклассников, получив высшие баллы по Закону Божьему и “прилежанию”. История же оставалась для него мертвой наукой, пока он не открыл для себя работы лорда Маколея. Когда в 1873 году Артур написал крестному в Париж, что зачитанный им до дыр “Айвенго” упал в реку и уплыл, Майкл Конан прислал мальчику “Песни Древнего Рима” Маколея. Артур был совершенно потрясен (“я попал в зачарованный мир”) и в порыве вдохновения написал пентаметром поэму “Переход через Красное море”. Разумеется, он немедля раздобыл и другие работы Маколея, которые упоенно читал ночью в спальне при свече. Песнь “Гораций” он выучил наизусть и мог пересказать ее почти без ошибок и в пятьдесят лет.

В тот же год Артур начал читать Жюля Верна по-французски: “Двадцать тысяч лье под водой” и “Вокруг света за восемьдесят дней”. Он сообщил матери, что “наслаждается ими не меньше, чем книгами английских авторов”.

Незадолго до того как приехать домой на каникулы, Артур отправил Мэри иронический отчет о своем гардеробе: “Я был у портного и показал ему ваше письмо, где сказано, что вещи должны быть добротные и красивые. Он сказал, что у него есть синяя материя, но она годится только на сюртуки, а на брюки ни в коем случае. Но есть темная ткань, которая как нельзя лучше подойдет к той синей, — вот ее-то можно использовать для брюк. Я послушался его совета и взял ее. Думаю, вам понравится: она немаркая, смотрится отлично, темная и в тоненькую белую полоску… Экзамены я сдал, все работы тоже, но пока, конечно, держат в секрете, кто получит награду. Уверен, что попаду в число немногих избранных… Надеюсь, вы и дети хорошо отдыхаете и ждете не дождетесь, когда я приеду на каникулы. Никогда еще, по-моему, год не пролетал так быстро: кажется, я уехал от вас всего месяц назад, а я помню дома каждую мелочь, помню, где что стоит, и даже пятнышки на стене. Полагаю, мне придется читать Фрэнку (его недавно родившийся брат Джон Фрэнсис Иннес) молитву, которую я так часто читал Лотти и Конни и под которую у них сразу слипались глаза, — чтобы и он спал сладко… Сегодня вечером у нас баня — очень приятная перспектива. Конец года — золотое время в Стоунихерсте. Каждый четверг выходной, и погода отличная. На этом я прощаюсь, ваш любящий сын А.К. Дойл”.

Артур и впрямь оказался среди “немногих избранных”, получивших награду, — нравоучительное сочинение Джорджа Крека в переплете из телячьей кожи. Он уже явно проявлял склонность к литературным занятиям, и в ноябре 1873 года вместе со своим товарищем по имени Артур Роскелл выпустил журнал “Стоунихерст-Фигаро”. То была школьная тетрадь за два пенса, куда они от руки писали стихи и эссе. Вот содержание первого номера: А. Роскелл. “Обзор “Фигаро” (в стихах); А. Дойл. “Злонравные пародии”; А. Дойл. “Аббат” (в стихах); А. Роскелл. “Музыка сегодня и музыка прошлого” (эссе); А. Роскелл. “Суд педантов” (эссе); А. Дойл. “После боя” (в стихах). Предполагалось, что журнал будет выходить ежемесячно, но неизвестно, увидел ли свет второй номер.

Артур с легкостью сочинял и за других: он писал матери, что, когда ему нужна подходящая цитата для школьного сочинения, он выдумывает ее сам, приписывая ее какому-нибудь почтенному анониму. К примеру, одно сочинение он завершил так: “Говорят, что мать более других своих детей любит слабого и больного, но полагаю, это высказывание неприменимо по отношению к автору и его литературному детищу, в противном случае это поощряло бы убожество. В заключение приведу как нельзя более подходящие шуточные строки знаменитого поэта:

Не важно, каков у дела итог,успех или полный провал.Я сделал все, что я сделать мог,то есть выше всяких похвал”.

Он также участвовал в школьных спектаклях, о чем упоминал не без самодовольства, впрочем сдобренного изрядной долей иронии. Сыграв небольшую роль подручного кузнеца в пьесе

“Омнибус”, он писал домой: “Я вызвал гомерический смех не потому, что хорошо выступил, а потому, что главное в моей роли было выглядеть болваном, и, похоже, я блестяще с этим справился. Пьеса пришлась всем по вкусу, а неделю спустя у нас был ужин в честь премьеры, который тоже пришелся всем по вкусу. Как обычно, пели песни. Когда я спел свою, публика была в восторге и потребовала еще. Я сказал, что больше песен не знаю. Учитель принес мне “Лучшую из жен”, и я исполнил ее с большим успехом…”

На Рождество Артур обычно оставался в коллежде вместе десятком других учеников, в основном тех, чьи родители жили за границей. В отличие от большинства из них он никогда не спрашивал, почему не может приехать домой на зимние каникулы. Возможно, мать оберегала его от общения с Чарльзом или у них просто не было денег ему на дорогу.

Впрочем, он неплохо проводил это время и в школе — мальчики устраивали концерты, ставили пьесы, по большей части викторианские мелодрамы, но также и серьезные вещи, например “Гамлета” и “Роб Роя”, а родители всячески заботились о богатом праздничном меню. Вот чем услаждали себя на Рождество Артур с тремя друзьями: “Две индейки, очень большой гусь, два цыпленка, один огромный окорок и еще два поменьше, две здоровенных колбасы, семь банок сардин и одна лобстеров, полное блюдо пирогов и семь баночек джема. Что касается напитков, у нас были пять бутылок хереса, пять портвейна, одна кларета и две бутылки малиновой настойки; и еще две бутылки маринада”. Это разительно отличалось от обычного школьного рациона: на завтрак сухари и разбавленное молоко; на обед тушеное мясо или рыба по пятницам; на полдник сухарики с пивом (мальчики называли это “кошмарное пойло”); на ужин горячее молоко, хлеб, на сей раз с маслом, и иногда картошка. “Пойло” Артур описал так: “Оно темное, никакого другого сходства с пивом у этого напитка нет”.

В 1874 году тетка Артура Аннет пригласила его в Лондон на Рождество, и он провел там три восхитительные недели. Его поселили в студии Дика в Челси, и все братья отца развлекали мальчика как могли. С Диком он сходил в цирк, с Генри — в Хрустальный дворец на выставку динозавров, изготовленных в полный рост, а дядя Джеймс дважды водил его в театр. Сначала они отправились в “Лицеум”, посмотреть на Генри Ирвинга в “Гамлете”. “Спектакль идет уже три месяца, — писал Артур матери, — но в театре столько народу, что не продохнуть, все хотят видеть, как играет Ирвинг. Он очень молод и худощав, глаза темные, проникновенные, играет поразительно”. Затем пошли в “Хеймаркет” на пьесу Тома Тэйлора “Наш американский кузен” — именно ее смотрел Авраам Линкольн 14 апреля 1865 года в вашингтонском театре, когда и получил пулю в голову.

Суета и блеск театров Вест-Энда произвели огромное впечатление на Артура, привыкшего к строгой размеренности Стоунихерста. Он посетил Вестминстерское аббатство, собор Святого Павла и Музей восковых фигур мадам Тюссо (матери написал, что особенно его порадовал зал знаменитых преступников), а также Тауэр, где долго разглядывал всевозможное оружие и разнообразные орудия пыток, применявшихся в Средние века.

В свой последний год в Стоунихерсте Артур редактировал школьный журнал, а помимо того у него обнаружился талант рассказчика, что завоевало ему бешеную популярность у младших ребят. Жуткие, леденящие душу истории с продолжением он мог растягивать сколь угодно долго, поддерживая интерес к сюжету тем, что каждый эпизод не только имел логическое завершение, но и служил началом новому захватывающему повороту событий.

Фантазию автора подогревали щедрые подношения благодарных слушателей — куски пирога, яблоки. Происходило это таким образом: “В свободные часы после занятий, каким-нибудь ветреным сырым вечером я взбирался на стол, а моя юная аудитория рассаживалась на полу, уперев подбородки в ладошки. Глухим, напряженным голосом я повествовал о невзгодах своих героев. Из недели в неделю эти страдальцы сражались, боролись и преодолевали кошмарные препятствия, дабы развлечь сей маленький кружок… Иногда я намертво застревал в самой критической точке, и сдвинуть меня с нее могло только что-нибудь очень вкусное. Дойдя, например, до “безжалостно ухватив левой рукой прядь блестящих длинных волос, он уже занес правую, с ужасным окровавленным ножом, над ее головой, когда…” или “медленно-медленно дверь отворилась, глаза подлого маркиза расширились от ужаса, и он увидел…” — да, дойдя до этого, я понимал, что слушатели в моей власти”.

Несмотря на постоянную переписку с матерью, он плохо представлял себе, что происходит дома. Так, в мае 1875-го он признается, что “был поражен”, узнав, что старшая сестра Аннет уехала в Португалию, где получила место гувернантки. “А когда же она вернется?” — грустно спрашивает он и затем интересуется, говорит ли уже маленький Иннес и как выглядит сестренка Ида? Джейн Аделаида Роуз (Ида), восьмой ребенок Мэри, родилась 16 марта 1875 года. А в приписке просит, чтобы Лотти написала ему немедля. “Хотя, — иронически добавляет он, — конечно, никогда не надо откладывать на завтра то, что можно отложить на

послезавтра”.

В апреле 1875 года Артур вместе с тринадцатью другими учениками ездил в Лондон на вступительные экзамены в университет. Результаты пришли в Стоунихерст в июле. Запершись у себя в кабинете, ректор, его высокопреподобие Эдвард Игнациус Пурбрик, долго изучал их сам, в то время как толпа кандидатов и их друзей нервно ожидала снаружи. Наконец, не вынеся более неизвестности, все они ворвались в коридор и, невзирая на негодование префектов-наставников, поднялись наверх, где принялись вопить и галдеть под дверью преподобного.

Но вот двери открыли, и они увидели за столом ректора, который радостно потрясал над головой листами с оценками. То был добрый знак, и мальчики стали кидать вверх платки, издавая победные кличи. Когда спокойствие было все же восстановлено, старенький седовласый префект, отвечавший за успеваемость, взобрался на скамеечку, откуда и провозгласил, что из четырнадцати претендентов тринадцать успешно выдержали экзамены — лучший результат за всю историю школы. Артур, ко всеобщему удивлению, сдал на отлично. “Мне едва дыру не протерли, столько раз хлопали по плечу. А потом даже пронесли почетным кругом по игровой площадке”.

На семейном совете было решено, что, прежде чем приступить к учебе в Лондонском университете, Артур поедет в Австрию и проведет год в “Стелла Матутина”, знаменитом иезуитском колледже в местечке Фельдкирх, с двоякой целью — усовершенствовать свой немецкий и расширить академические познания. По дороге в Фельдкирх он заехал в Лондон, где повидал тетушку и дядьев, а заодно поклонился могиле Маколея в Вестминстерском аббатстве.

В колледже он дебютировал неудачно: в первую же ночь был уличен в том, что тыкал палкой в спящего соседа. Объяснения, что тот не давал ему уснуть громовым храпом, были встречены без малейшего сочувствия, и Артуру рекомендовали впредь вести себя прилично.

Но в целом режим в Фельдкирхе оказался много мягче, чем в Стоунихерсте. “Я встретил там куда больше тепла и доброты, и в результате тут же превратился из обидчивого юного бунтаря в оплот закона и порядка”. В школьном оркестре он выучился играть на бомбардоне, огромной духовой трубе, которую мало кто мог просто поднять, не говоря уж о том, чтобы извлечь из нее звук: “Более всего все это походило на гиппопотама, тяжко бухающего ногами в танце”. Он занимался санным спортом, дегустировал тамошнее пиво, играл в мяч на ходулях (которые тогда вообще были очень популярны у школяров), основал и редактировал “Фельдкирхский вестник” под девизом “не бойся, излагай смело”. Две школьные тетрадки, почти целиком заполненные им самим от руки, Артур гордо именовал “журналом о науке и литературе”. На обложке второго номера, который вышел в ноябре 1875-го, красовался анонс: “Четыре новых поступления от Конан Дойла, включая стихи “Футбольный матч”, “Фельдкирхские заметки”, “Песнь бомбардира” и “Вокруг да около””. А передовица этого номера обличала царящую в колледже несправедливость: письма учеников внимательно прочитывало начальство, перед тем как отослать адресатам. Статья получилась настолько острая, что журнал немедленно прикрыли.

Свои бесчисленные стихи и журнальные заметки Артур отсылал крестному в Париж. Майкл Конан писал Чарльзу с Мэри в Эдинбург: “Нет ни малейших сомнений, у него явный талант по этой части. В каждом его сочинении я нахожу свежие, серьезные идеи и высокое вдохновение… “Фельдкирхский вестник” подает отличные надежды, и думаю, он делает его сам от начала до конца”.

Среди прочих поэтических опытов, которые Майкл Конан получал от крестника, были и такие комические вирши:

Вот инструмент, могучей силойон превосходит все иные.Он мощный дуб, подлесок хилый – другие трубы духовые.И тот храпун, лишенный слуха,кого концерт вгоняет в сон, воспрянет мигом, если в ухо ему сыграет бомбардон.

Дважды в месяц оркестр возглавлял колонну студентов, которые шли походным маршем, покрывая порой миль сорок за день. “Я обнаружил, что не так-то просто идти и одновременно дуть в бомбардон, но, как и все остальное, это достигается практикой. Мне доставляет большое удовлетворение тот удивительный эффект, какой мои глубокие зычные ноты производят на немузыкальных быков, запряженных в крестьянские повозки. Проходя мимо, я всегда дую им в ухо, и они всегда очень остро реагируют”.

Во время этих пеших прогулок студенты шли по трое в ряд, их ставили так, чтобы на одного иностранца приходилось два немца, — это давало ему возможность совершенствоваться в языке. Артур неизменно пользовался такими случаями, чтобы восхвалять мощь Британской империи, ее доблестный флот и вообще всячески превозносить британский дух. В числе прочих национальных героев он, например, с гордостью упоминал капитана Мэтью Уэбба, совсем незадолго до того впервые в истории переплывшего Ла-Манш. Надо полагать, что пройти сорок две мили за четырнадцать часов действительно “не так-то просто”, но домой Артур писал, что “никаких особенных неприятностей не было, всего лишь пара заурядных волдырей”.

В Фельдкирхе он наткнулся на произведения американского поэта, писателя и критика Эдгара Аллана По, который его совершенно пленил. По словам Дойла, помимо В. Скотта и Маколея ни один автор не оказал на него такого влияния. Рассказ По “Убийство на улице Морг”, где фигурирует блестящий детектив-любитель Огюст Дюпен (опубликован в 1841 году), положил начало жанру детектива (об этом пойдет речь в главе 6). Эдгар По охарактеризовал три рассказа о Дюпене как “истории о логическом умозаключении”, когда правда выясняется при помощи анализа, тонкой наблюдательности, умения сопоставить факты и интуиции. И хотя Дюпен был не первым литературным детективом, именно он стал предтечей этого жанра и, безусловно, Шерлока Холмса, чего Дойл никогда не скрывал. Напротив, он говорил, что в неоплатном долгу перед По.

Незадолго до отъезда из колледжа Артур получил от матери письмо, где без всяких объяснений она сообщала, что отец “уволился”. “Я был очень удивлен и огорчен, узнав, что папа покинул службу, — наивно пишет он в ответ. — Он плохо себя чувствует? Или есть какая-то иная, особая причина?” Находясь в течение восьми лет почти все время вне дома, он был избавлен от зрелища умственной и физической деградации отца.

В конце июня 1876 года Артур отправился домой через Париж, где намеревался повидать крестного. Бурный прощальный ужин с компанией друзей-студентов в Страсбурге начисто опустошил его кошелек, и в Париж он прибыл знойным летним днем, имея в кармане ровно два гроша. Нанять на вокзале экипаж он постеснялся, ведь платить извозчику пришлось бы дяде, и потому направился на авеню Ваграм пешком. У Триумфальной арки ему попался человек с бочонком на спине, который, как решил юноша, продавал какой-то прохладительный напиток. Кружка обошлась Артуру в половину его наличности, но, сделав глоток, он обнаружил, что это был лекарственный настой корня солодки. Впрочем, целебное или, во всяком случае, освежающее воздействие этот напиток оказал, и Артур благополучно добрался до цели.

Артур провел в Париже три счастливые, но “воздержанные” недели в обществе двоюродного деда и его жены. Деда он описывает как “славного горячего старика-ирландца”, и создается впечатление, будто они только и делали, что яростно спорили о художниках и писателях, что весьма странно, учитывая, например, некролог Конану, помещенный впоследствии в “Арт джорнел”, где тот долгие годы работал парижским корреспондентом. Там “горячий ирландец” назван тихим, скромным человеком, “несклонным навязывать другим свое мнение и расположенным более слушать, чем говорить”.

Из Парижа Артур прибыл в Эдинбург и узнал, что семья в очередной раз переехала. Имея на руках пятерых детей, из коих младшему не было еще и полутора лет, Мэри Дойл с огромным трудом сводила концы с концами и решила брать постояльцев. “Я нашел семью в крайне стесненных обстоятельствах. У отца не было никаких перспектив в смысле работы, вернулись младшие дети, мой брат Иннес и Ида, что прибавило маме хлопот… Аннет, старшая сестра, уехала в Португалию — зарабатывать на жизнь и отсылать домой изрядную часть своих денег, а Лотти и Конни вскоре сделали то же самое. Мама сочла, что разумно снять дом побольше и взять жильца. Возможно, в каком-то смысле это и впрямь облегчило ей жизнь, но в другом оказалось сущим бедствием”.

“Бедствием” был доктор Брайан Чарльз Уоллер.

Глава 3

Студент-медик

ВЕРНУВШИСЬ В ЭДИНБУРГ, АРТУР к своему неудовольствию обнаружил, что новый постоялец играет немалую роль в жизни семьи, между тем как отец практически не бывает дома, а проводит время в городских кабаках, где благополучно напивается до беспамятства. Дело дошло до того, что Мэри даже не встретила сына — она гостила в Йоркшире у родных Уоллера. Артуру пришлось признать очевидное: совершенно чужой человек занял место его отца и пользуется явной благосклонностью матери. Это привело его в справедливое негодование.

Уоллер был всего шестью годами старше Артура, он закончил Оксфорд и уже опубликовал несколько стихотворений. Из писем Артура брату и сестре Лотти видно, что его тревожит все крепнущая привязанность матери к богатому образованному “захватчику”. Ясно было и то, что благодаря деньгам, вносимым Уоллером за квартиру, семья смогла перебраться из прежнего убогого обиталища на новое место, в дом номер 2 по Аргил-Парк-террас. Там было светло и просторно, большие сводчатые окна выходили на Мидоуз — огромный зеленый луг, окаймленный деревьями, и этот район в Новом городе считался престижным у “белых воротничков”. Понятно, что самолюбивому Артуру было неприятно сознавать, до какой степени они зависят от щедрот Уоллера.

Когда Уоллер поступил на медицинский факультет Эдинбургского университета, то легко мог позволить себе снять отдельный дом с прислугой, но он предпочел поселиться с Мэри Дойл, ее пьяницей-мужем и целой оравой детишек, и вскоре фактически сделался главой семейства.

Некоторые биографы полагают, что он был влюблен в Аннет. Среди стихов Уоллера, не опубликованных и после его смерти, действительно есть печальная элегия об утраченной любви, озаглавленная “Музыка Аннет”. С другой стороны, из писем Артура следует, что Аннет уехала в Португалию в мае 1875 года. Что помешало Уоллеру открыть ей свои нежные чувства до отъезда? Ведь лучшего жениха для дочери Мэри и пожелать не могла. Но, возможно, Аннет отвергла его, уже тогда разглядев, что он холодный, самодовольный сноб, о чем остальные догадались лишь несколько позже. В таком случае совсем уж не понятно, почему он по-прежнему жил вместе с Дойлами, даже после того, как Аннет покинула дом.

Вскоре после возвращения Артура в Эдинбург Мэри вновь забеременела. Девятого, последнего своего ребенка она назвала в честь Уоллера, хотя это была девочка. Брайан Мэри Джулия Джозефин (Джулией звали мать Уоллера), а по-домашнему Додо, родилась 2 марта 1877 года. Где тогда находился Чарльз, неизвестно, вероятнее всего, он либо уезжал из города, либо был в глубоком запое, поскольку факт рождения младенца регистрировала сама Мэри (всех остальных детей регистрировал он). Крестными новорожденной стали Уоллер и его мать. Все это породило слухи, что он отец младенца. Однако его связь с Мэри не подтверждается никакими свидетельствами и выглядит весьма сомнительной, учитывая их разницу в возрасте. Что могло привлечь двадцатидвухлетнего студента в многодетной сорокалетней женщине? Как бы то ни было, а их отношения выходили далеко за рамки “постоялец— домовладелица” и длились довольно долго.

Уоллер, единственный ребенок в семье, родился в 1853 году в местечке Мезонгил графства Йоркшир. Он утверждал, будто среди его предков был один из тех рыцарей, что захватили в плен герцога Орлеанского в битве при Азенкуре (1415). Он доказывал и родство с генералом Уоллером, командовавшим армией парламента во время английской гражданской войны, и поэтом Эдмундом Уоллером, который тогда же писал хвалебные оды то в честь короля Карла I, то в честь его противника Кромвеля; а также Хардрессом Уоллером, одним из комиссаров, подписавших Карлу смертный приговор. Его дядя, Брайан Уоллер Проктор, был известным лондонским литератором — Теккерей посвятил ему свою “Ярмарку тщеславия”.

Неудивительно, что Мэри Дойл, вопреки убогому существованию ни на секунду не забывавшая о своем высоком происхождении, приняла заносчивого напыщенного заику Уоллера, невзирая на все его недостатки.

Уоллер закончил курс в 1876 году, а спустя всего пару лет получил докторскую степень — его диссертация удостоилась золотой медали — и к тому моменту уже занимал два этажа в солидном доме на фешенебельной площади Джордж-сквер: табличка на двери извещала, что здесь принимает “врач-диагност”. Все Дойлы, включая Чарльза, Мэри и тех детей, которые жили с ними, перебрались на новую квартиру. Уоллер платил за нее 85 фунтов в год, так что они поменялись ролями — постояльцами теперь были уже Дойлы, а хозяином Уоллер. В 1879 году он получил место преподавателя на кафедре общей патологии в Медицинской школе

Эдинбургского университета, каковой пост и занимал в течение четырех лет, пока в 1883-м не ушел вдруг в отставку, чтобы уехать в Мезонгил, который унаследовал после смерти отца.

Уважаемый врач, да притом еще и опора семьи, он вполне мог убедить Мэри, а возможно и Артура, чтобы Чарльза, разумеется для его же блага, поместили в частную лечебницу.

В 1883 году Мэри с тремя младшими детьми — Иннесом, Идой и Додо — уехала из Эдинбурга в Мезонгил. В довольно большом, удобном коттедже, расположенном в поместье Уоллера неподалеку от главного дома, она прожила более тридцати лет, избавленная от арендной платы, и упорно отвергала все просьбы старшего сына перебраться к нему на юг страны. Она оставила католическую веру и вслед за Уоллером перешла в англиканскую — еще одно очевидное доказательство того, что он имел на нее немалое влияние. В 1896-м Уоллер женился на дочери профессора университета Святого Андрея, но по-прежнему был нежно привязан к Мэри Дойл, нередко ужинал с ней, к вящему неудовольствию своей жены, и говорил, что никто лучше Мэри не умеет готовить его любимую приправу карри.

Детей у Уоллера с женой не было, как, видимо, не было и особенной любви. Замкнутый, надменный — он требовал, чтобы арендаторы снимали шляпы, когда он проходит мимо, и запрещал их детям приближаться к его дому. С женой он был холоден, приберегая нежные чувства для бывшей домовладелицы. Жена, в свою очередь, резко возражала против того, чтобы Мэри жила в поместье, и вообще против какого бы то ни было их общения. Эти странные взаимоотношения продлились до 1917 года, когда Мэри наконец уступила и переехала на юг страны, поближе к знаменитому сыну. Уоллер сильно сдал после ее отъезда и настаивал, чтобы жена читала ему вслух по ночам, нередко до самого рассвета. Он скончался в Мезонгиле в ноябре 1932 года.

Артур держался с Уоллером корректно и подчеркнуто отстраненно. В письмах матери он неизменно добавлял “сердечный привет доктору” и “наилучшие пожелания миссис Уоллер”, исключительно дабы порадовать саму Мэри. Несмотря на то что он сыграл немалую роль в жизни Дойлов, Уоллер не удостоился ни единого упоминания в автобиографии Артура “Воспоминания и приключения”, вышедшей в 1924 году. Я уже приводил ту единственную отсылку, где он говорит, что мать взяла постояльца: “Возможно, в каком-то смысле это и впрямь облегчило ей жизнь, ну а в другом оказалось сущим бедствием”. В письме Иннесу, который иногда наведывался к матери в Мезонгил, Артур пишет, что с радостью присоединился бы к нему, “если бы этот тип не отравлял там воздух своим присутствием”.

Однако именно Уоллер предложил, чтобы Артур последовал его примеру и поступил на медицинский факультет Эдинбургского университета. Он сообщил об этом Артуру в Фельдкирх и прислал ему два полезных учебника — по математике и химии. Мэри была очень довольна, когда Артур согласился, предпочтя Эдинбург Лондону. Она приводила резонные доводы: своему сыну она желала наилучшей карьеры, а медицина — одна из наиболее престижных профессий; в Эдинбургском университете превосходная медицинская школа, и, кроме того, ее обожаемый мальчик наконец будет жить дома после стольких лет разлуки.

Уоллер помог Артуру подготовиться к вступительным экзаменам, которые тот благополучно и сдал, получив стипендию в сорок фунтов к немалой радости матери. Увы, когда он пришел за деньгами, выяснилось, что произошла ошибка: ему посулили то, что полагалось лишь студентам-гуманитариям. Подавать прошение на аналогичную стипендию для естественника было уже поздно, и пришлось довольствоваться скромной компенсацией в 7 фунтов.

В октябре 1876 года Артур приступил к занятиям в университете, расположенном в Старом городе. “Началась долгая, нудная зубрежка: ботаника, химия, анатомия, физиология — словом, полный список обязательных предметов, многие из которых имели весьма отдаленное отношение к искусству врачевания”.

К семнадцати годам Артур превратился в рослого, за метр восемьдесят, юношу. Весил он около девяноста пяти килограммов, был широкоплечий и очень сильный. Над верхней губой уже пробивалась первая растительность, составлявшая предмет его гордости, — усы будут его неизменным украшением до конца дней. Он был нападающим в университетской команде по регби, пока не решил, что “тяга к знаниям перевешивает”, играл в футбол, в крикет и отлично боксировал на любительском уровне. “Я жаждал впечатлений и не желал упустить ни одну из тех радостей, что были доступны, а было их предостаточно. Я много читал. Играл в самые разные игры. Я танцевал и ходил в театр всякий раз, как только находились шесть пенсов за билет на галерку”.

За пять лет до поступления Артура медицинский факультет начал сильно расширяться, число студентов удвоилось и перевалило за тысячу, но студенческая жизнь была очень вялой в

сравнении с Оксфордом или Кембриджем: никаких интеллектуальных сообществ, никаких совместных мероприятий и очень ограниченные возможности для общения — студенты сами выбирали себе программу обучения и платили напрямую преподавателям.

Стремительное разрастание факультета привело к тому, что некоторые профессора оказались перегруженными и привлекали к чтению лекций ассистентов из числа старших студентов, что снижало уровень образования. Студенты сами решали, какие лекции посещать и какие сдавать экзамены. Лекции были длинные, учебников мало, спрашивали на экзаменах строго, и рассчитывать на снисхождение лентяям и тупицам было нечего. Окончить курс мог только тот, кто обладал самодисциплиной, остальных отсеивали. По подсчетам Артура, из тысячи его однокурсников лишь четыреста получили диплом.

Лекции по хирургии проходили в большой аудитории, освещенной газовыми рожками. С длинных деревянных скамеек, расположенных амфитеатром, хорошо был виден операционный стол в центре зала. Именно в этом зале перед Артуром впервые предстал доктор Джозеф Белл, человек одаренный и во всех смыслах незаурядный, который и стал прототипом знаменитого сыщика. Высокий, угловатый, с резкими чертами лица, крупным носом, напоминающим хищный клюв, и пронзительным стальным взглядом, он, по словам Артура, был похож на вождя индейцев. Добавим к этому длинные чуткие пальцы музыканта, и получится почти дословный портрет Шерлока Холмса из повести “Этюд в багровых тонах”: “Ростом он был больше шести футов, но при своей необычайной худобе казался еще выше. Взгляд у него был острый, пронизывающий, если не считать тех периодов оцепенения, о которых говорилось выше; тонкий орлиный нос придавал его лицу выражение живой энергии и решимости. Квадратный, чуть выступающий вперед подбородок тоже говорил о решительном характере. Его руки были вечно в чернилах и в пятнах от разных химикалий, зато он обладал способностью удивительно деликатно обращаться с предметами, — я не раз это замечал, когда он при мне возился со своими хрупкими алхимическими приборами”.

Беллу, которого студенты между собой называли Джо, было всего тридцать девять лет, однако он слыл легендарной личностью — благодаря редкостной наблюдательности, логическому складу ума и умению безошибочно ставить диагноз, граничившему с ясновидением. Он был не чужд позерства и любил находиться в центре внимания, но его спектакли преследовали серьезную цель: продемонстрировать будущим врачам, как много ценного можно узнать о больном до того, как он успел высказать свои жалобы, если только научиться правильно смотреть.

У него был излюбленный трюк. Он приглашал новичков попробовать янтарную жидкость в стеклянном сосуде и добавлял, что это очень сильное средство, которое они непременно должны научиться распознавать. Одна беда — оно жутко горькое и мерзкое на вкус. Поскольку он никогда не предлагал студентам того, чего не был бы готов сделать сам, то пробовал лекарство первым. Он вынимал пробку, погружал палец в жидкость, затем слизывал ее, слегка передергиваясь. Один за другим студенты послушно отведывали снадобье, исправно содрогаясь от омерзения. Дождавшись конца эксперимента, Белл саркастически сообщал ученикам, что они крайне ненаблюдательны. В колбе — он тряс у них перед носом длинным указательным пальцем — был вот этот, а во рту — он вытягивал средний — вот этот!

Белл частенько демонстрировал классу свои дедуктивные способности, которые в сочетании с интуицией и богатым опытом почти всегда позволяли ему узнать о пациенте массу интересного без единого вопроса. Он сидел за столом в центре зала, окруженный интернами и ассистентами, а больных вводил сотрудник амбулаторного отделения. В считаные секунды Белл ставил диагноз, и больного уводили, чтобы тут же ввести следующего. Студенты слушали его раскрыв рты, так четко и логично он выстраивал цепочку умозаключений. “Пациент, — вещал аудитории Белл, — скорее поверит, что вы сумеете вылечить его, если убедится, что его прошлое открылось вам с первого взгляда”.

“Помню, один молодой парень представился перед осмотром как Джон Смит, — пишет однокурсник Артура Клемент Ганн. — Но Джо Белл не моргнув глазом выписал ему рецепт на его истинную фамилию. Пациент покраснел, стушевался и побыстрее вышел. “Полагаю, вы все заметили, что произошло, — сказал Джо. — Ясно, что Джон Смит — вымышленное имя, а как его зовут на самом деле, я прочитал на воротнике его рубашки”. Так он прививал нам, наивным Ватсонам, навыки наблюдательности”.

Артур приводит такой случай: Джо Белл в окружении обычной свиты ведет прием. Мельком глянув на очередного пациента, он сообщает ему: вы — сержант, недавно уволились из Хайлендского полка, служили на Барбадосе. Потрясенный пациент подтверждает, что все именно так и есть. “Видите ли, джентльмены, — пояснил потом Джо, — держался этот человек почтительно, но шляпу не снял. Это армейская привычка, а уволься он давно, так уже

приобрел бы гражданские манеры. Он еще не избавился от командных ноток в голосе и никогда не избавится от шотландского акцента. Что до Барбадоса, то он страдает слоновой болезнью, распространенной не так в Британии, как в Вест-Индии. Именно на этом острове, как вы знаете, сейчас стоят шотландские части”.

Другой сокурсник Артура, Гарольд Эмери Джонс, вспоминает еще один эпизод в том же духе. “Господа, перед вами рыбак! Об этом нетрудно догадаться, достаточно заметить, что в жаркий летний день он надел высокие сапоги с отворотом. Никто, кроме матроса, не ходит в такой обуви в это время года… Впоследствии я сам общался с этим больным: на его одежде кое-где остались присохшие чешуйки, и она источала стойкий рыбный запах”.

Белл утверждал, что сумеет определить уроженца любого графства Шотландии по его акценту; что любое ремесло оставляет “подпись” — у горняка совсем иные мозоли, чем у того, кто работал в каменоломне, а шрамы плотника никогда не спутаешь со шрамами кузнеца. Обоняние у него было превосходное, он мог “унюхать”, кто перед ним: краснодеревщик, покрывающий мебель лаком, или любитель крепких напитков. “Внимание к мелким деталям и умение их разумно истолковать — вот залог правильного диагноза, — любил повторять Белл. — Глаза, умеющие видеть, а уши — слышать, память, которая запечатлевает все и готова отозваться в нужный момент, и воображение, способное скрепить воедино разрозненные звенья цепи, — таковы рабочие инструменты успешного диагноста”.

Впрочем, иногда его “показательные выступления” терпели фиаско. ““Вы играете в оркестре”, — заявил он очередному пациенту. “Угм”, — кивнул тот. “Видите, господа, — торжествующе обратился к студентам Белл, — у этого человека паралич лицевого нерва, результат того, что он играет на духовом инструменте. На чем именно вы играете, любезный?” — “На большом барабане”, — был ответ”.

Хотя Артур выдающихся успехов в учебе не добился, он сумел уже на первом курсе произвести на Белла благоприятное впечатление и стал его секретарем в амбулаторном отделении Королевского лазарета. Работая рядом с Беллом, Артур получил богатую возможность изучить его необычные приемы и впоследствии с успехом использовал их в рассказах о знаменитом сыщике. “Приключения Шерлока Холмса”, опубликованные в 1892 году, были посвящены Беллу, и Артур писал своему бывшему учителю: “Вне всякого сомнения, вам я обязан тем, что создал Холмса, и, хотя в рассказах я был волен ставить его в самые разные драматические ситуации, не думаю, что результаты его аналитического метода хоть в малейшей степени явились преувеличением, ибо я видел плоды этого метода в вашей врачебной практике”. Он также посвятил Беллу рассказ “Воспоминания капитана Уилки” (1895), где есть такой пассаж: “Я был весьма горд, что сумел определить род его занятий по тому, как он выглядит. Этому искусству меня обучил профессор из Эдинбурга, который добивался поразительных результатов, впечатлявших равно его пациентов и студентов. “Итак, друг мой, — сообщил он одному больному, — ваши руки выдают в вас музыканта. Любопытно, однако же… я не могу определить, на каком инструменте вы играете”. После чего тот объяснил, что свои медные гроши зарабатывал, выдувая мотив “Правь, Британия” на кофейнике, чей длинный носик служил грубым подобием флейты”.

Белл был не единственной знаменитостью в университете Эдинбурга. Океанограф и биолог сэр Чарльз Уивилл Томпсон, который только что вернулся тогда из знаменитого плавания на “Челленджере”, предпринятого, в частности, для поиска новых форм флоры и фауны, был председателем Королевского общества естествознания; доктор Джеймс Янг Симпсон впервые использовал хлороформ для анестезии в Королевском лазарете; а Джозеф Листер, основоположник применения антибактериальных средств для обработки ран, был профессором на кафедре клинической хирургии. Между сторонниками Листера и теми, кто придерживался традиционной карболки, шла ожесточенная борьба. Артур вспоминает, как вторые, высмеивая первых, кричали: “Дверь закройте, бактерии разбегутся!” Еще одна неординарная личность университета — профессор химии Александр Браун, о котором Дойл говорил с теплым юмором. Браун был печально знаменит тем, что боялся собственных химических опытов. Смешав взрывоопасное зелье, он проворно прятался за стол, воцарялась напряженная тишина, и — обычно ничего не взрывалось. Профессор высовывал голову из-за укрытия, и тут студенты дружно вопили: “Бу-ум!”

Пионер в области токсикологии сэр Роберт Кристисон, прозванный студентами Боб Высокочтимый — очень высокий и очень высокомерный, — сорок пять лет заведовал кафедрой практической медицины, с 1832 по 1877 год. В 1829-м в “Эдинбургском медицинском журнале” вышла его статья о судебной медицине (область, где он был непререкаемым авторитетом): там он описывал, как лупил трупы тяжелой палкой, чтобы изучить эффект посмертного возникновения синяков. Судя по “Этюду в багровых тонах”, Холмс проделывал такие же эксперименты: “Он сторонник надежных, достоверных сведений, добытых из

первоисточника, порой весьма причудливым образом… Например, он бьет тростью покойников в прозекторской, чтобы проверить, появляются ли у них синяки”.

Хотя Артур был еще весьма далек от того, чтобы ступить на писательскую стезю, он уже собирал материал, который позднее использовал в своих произведениях. К примеру, эксцентричный физиолог Уильям Резерфорд, с черной густой бородой и громовым басом, слышным задолго до того, как он входил в аудиторию, явился прообразом профессора Джорджа Эдуарда Челленджера, возглавившего экспедицию в “Затерянный мир”.

Одновременно с Дойлом в университете учился Джеймс Барри, создатель знаменитого “Питера Пэна”. Авторские права на эту пьесу перешли к детскому госпиталю на Грейт-Ормонд-стрит, что до сих пор составляет немалую долю его бюджета. Дойлу хотелось верить, будто он сиживал бок о бок и с Робертом Льюисом Стивенсоном в таверне на Драммонд-стрит, но автор “Острова сокровищ” (и основатель студенческой газеты), который изучал в университете право, получил диплом адвоката в июне 1875-го, за год до поступления Артура.

Заронив в Артуре семена интереса к медицине, Уоллер и дальше продолжал играть роль родителя, регулярно снабжая его советами в письмах, которые неизменно заканчивались фразой: “Твой преданный друг Брайан Чарльз Уоллер”. Он поздравил Артура, когда тот получил в первую сессию две оценки “хорошо” и одну “отлично”, добавив, что это “доброе предзнаменование дальнейших успехов”. В том же письме Уоллер убеждал юношу прочесть учебник по ботанике Бальфора: “Книга эта огромная и неинтересная, и я всем сердцем желал бы, чтобы ты был избавлен от необходимости штудировать ее, но, поскольку сие невозможно, ты должен сделать это со всем тщанием”.

Артур ничем не выдавал своего раздражения, исправно извещая Уоллера о своих успехах. Так, в письме от 9 сентября 1876 года он пишет: “Дорогой доктор Уоллер, я упражняюсь в латыни и греческом каждый день, выучил главу из Тита Ливия и из “Киропедии” Ксенофонта, а также решаю задачи по алгебре и геометрии. На самом деле я редко выбираюсь куда-нибудь из своей клетушки, разве что поесть, да вот еще иногда вечером повергаю наш маленький семейный кружок в столбняк, читая им рассказы Эдгара По”.

Однако Артур находил время не только на медицину. В университете его стихийный агностицизм, возникший еще в Стоунихерсте, перерос в твердое убеждение. “Я обнаружил, что основания, на коих зиждится не только римско-католическая, но вообще вся христианская религия, представленные теологией девятнадцатого века, настолько шатки, что я не могу на них полагаться”. Разделяя взгляды выдающихся ученых XIX века, в частности Чарльза Дарвина — сторонника “теории эволюции”, его ближайшего соратника Томаса Гекели, а также физика, популяризатора науки Джона Тиндаля и философов Герберта Спенсера и Джона Стюарта Милля, он отказывался принимать какое бы то ни было утверждение, если его нельзя было доказать, и таким образом начисто отрицал идею сотворения мира, как она изложена в Библии. “Никогда я не соглашусь с тем, чего нельзя доказать. Все беды религии происходят от того, что она принимает на веру то, что доказать невозможно”. В те годы он считал себя не столько атеистом, сколько приверженцем идеи существования некой доброй, могущественной силы, но не обязательно Бога, и называл себя унитарием. Его вера, а точнее, отсутствие таковой, внесла изрядное напряжение в отношения с родственниками: трое дядьев были убежденными католиками, а тетя Аннет монахиней.

Деньги оставались извечной проблемой — только за курс хирургии у Белла он должен был платить четыре фунта четыре шиллинга в год. На обед он отводил себе ровно два пенса: “цена пирога с бараниной”. Однако поблизости от закусочной была лавка букиниста, а у дверей ее стоял ящик с книгами, и призывная надпись гласила: “Два пенса — любая книга”. И нередко Артур жертвовал ланчем, чтобы утолить читательский голод. Так что через несколько месяцев он собрал очень недурную библиотеку, где были “История Генри Эсмонда” У. Теккерея, “История мятежа и гражданских войн в Англии” Э. Кларендона, “Хроника покорения Гранады” В. Ирвинга, “Сказка бочки” Дж. Свифта и все книги В. Скотта, Т. Маколея и Э. По, какие только попались в ящике.

Среди прочего Артур обнаружил там и Оливера Венделла Холмса, американского врача, историка медицины, прозаика и поэта. Он был очарован сборником “застольных” эссе, где автор, выступая поочередно в роли самодержца, профессора и, наконец, поэта, вовлекает в диалог обитателей пансиона где-то в Новой Англии. “Никогда еще мне не был столь близок и приятен человек, которого я и в глаза не видел”.

Чтобы облегчить финансовое бремя семьи, в 1878 году Артур решил пройти годовой курс за шесть месяцев и в надежде хоть немного заработать дал объявление, что ищет место помощника врача. Начало его карьеры оказалось неудачным: доктор Ричардсон, имевший

практику в Шеффилде, взял было юношу на работу, но вскоре уверенность Артура в себе стала его бесить, и через три недели он выдворил его прочь, не заплатив ни гроша.

Пытаясь найти новую работу, Артур наведался к родственникам в Лондон и поселился на Финборо-роуд в Челси, у дяди Дика. То была временная передышка от студенческой жизни. В день своего девятнадцатилетия он пошел в театр на пьесу Бусиколя “Людовик XI”, в которой блистал манерный Генри Ирвинг. Артур нашел его игру утрированной: “сцена смерти — кошмарно драматичная”, писал он матери. Он ходил любоваться на смену караула у Букингемского дворца, читал “Американского сенатора” Э. Троллопа тетушке Аннет, а для собственного удовольствия “Жизнь и письма” Маколея. В одном из посланий домой он упоминает, что купил для “доктора” немецкую трубку, с фарфоровой чашкой и длинным чубуком.

В Лондоне Артур провел два месяца, нередко часами пропадая в доках Ист-Энда, где смотрел на корабли и болтал с матросами. Он жаждал приключений, дальних странствий и твердо решил, что пойдет служить в Королевский флот врачом. “Я бродил по Лондону, и в карманах у меня было так пусто, что можно было не опасаться обычных неприятностей, какие зачастую порождает праздность. Помню, что ощущались признаки наших осложнений на Востоке и сержанты, набиравшие рекрутов на Трафальгарской площади, тут же оценив мое бедственное положение, очень упорно предлагали мне взять положенный шиллинг. Я всерьез подумывал, не согласиться ли, но надежды моей матери удержали меня”.

Довольно скоро гостеприимство родственников исчерпалось: они сочли, что терпеть насмешливый нрав Артура, его постоянные розыгрыши и откровения по поводу религии слишком трудно, и не скрывали радости, когда он нашел место у доктора Эллиота, в деревне с занятным названием Райтон-из-одиннадцати-городов, в Шропшире, неподалеку от Шрусбери. Там он провел четыре месяца. К серьезной работе его почти не подпускали, и он много времени проводил за чтением.

Уверенность Артура в своих врачебных талантах, до поры до времени не имевшая реальных подтверждений, возросла после вот какого случая. Однажды днем, когда доктора Эллиота не было дома, из соседнего поместья явился чрезвычайно взволнованный посланец — там произошло несчастье: по случаю какого-то торжества палили из старинной пушки, от выстрела ее разорвало, и осколок угодил в голову одного из зрителей. Артур немедля отправился на место происшествия и обнаружил, что у раненого пробит череп, однако мозг не задет. “Я извлек осколок, стянул рану, остановил кровотечение и наложил повязку, так что доктору, когда он приехал, делать было, в сущности, нечего. Этот случай прибавил уверенности мне и, что немаловажно, другим”.

И все же отношения с Эллиотом были прохладными. Несмотря на внешний лоск, доктор не имел никаких собственных идей и впадал в ярость по любому поводу. Как-то в вечерней беседе Артур сказал, что смертную казнь следовало бы отменить. Побагровев от гнева, Эллиот заявил, что никто не смеет говорить подобных вещей в его доме, а тем паче в его присутствии. На что Артур непоколебимо, с юношеской заносчивостью парировал: свое мнение он будет высказывать, где захочет и когда захочет.

Когда четырехмесячный контракт истек, доктор не предложил своему помощнику никакого вознаграждения. На предложение возместить хотя бы дорожные расходы он сказал, что поскольку нет зарплаты, то нет и возмещения издержек, и Артуру следует расценивать дорогу домой “как путешествие, предпринятое джентльменом для расширения кругозора”. Впрочем, с годами обида явно прошла, и в автобиографии, написанной пятьдесят лет спустя, Дойл говорит, что у него остались самые лучшие воспоминания о жизни в Райтоне-из-одиннадцати-городов.

На следующий год, все еще будучи студентом, он устроился ассистентом (на сей раз с оплатой) к доктору Реджинальду Ретклиффу Хоору, имевшему процветающую практику в Бирмингеме: для разъездов по вызовам у него было пять лошадей. Годовой доход этого врача составлял 3000 фунтов; за визит он брал 3 шиллинга 6 пенсов, а за рецепт полтора шиллинга. В обязанности Артура входило изготовление лекарств по рецептам — работа трудоемкая и отнимавшая много времени. Бывало, он делал сотню препаратов за вечер, причем для бедняков — а денег ему перепадало за нее совсем мало. “В целом я был аккуратен и редко ошибался, хотя пару раз и отправил склянку или коробочку для пилюль с подробными инструкциями на упаковке, но пустые внутри”.

Поначалу он держался очень свободно. Если становилось скучно, шел в гостиную поболтать с женой доктора, но вскоре ему сообщили, что так здесь не принято и ассистенту следует жить своей, обособленной жизнью. Тем не менее супруги вскоре привязались к юноше и

обращались с ним как с сыном. По вечерам доктор звал его вместе с ним выкурить по трубочке, а миссис Хоор в это время наслаждалась сигарой.

По обыкновению он регулярно писал матери обо всем, что с ним происходит. “Дорогая мама, я так занят все последнее время, что и писать некогда. Могу вас заверить, я сполна отрабатываю свои два фунта в месяц. Теперь я выезжаю с утра вместе с Р. Р. на его двуколке, и мы ездим по больным до двух часов дня. Эти новые обязанности совсем лишили меня досуга. После обеда до чая смешиваю кошмарные зелья и мерзкие микстуры (сегодня состряпал сорок), затем приходят больные, и мы ставим над ними эксперименты до девяти вечера. Потом ужинаем и живем в относительном покое до двенадцати, когда и отправляемся спать. Так что, видите, дел куча, но ничего плохого в этом нет. Я навещаю нескольких больных за день и набираюсь опыта…”

Впрочем, потом он жаловался, что совсем не остается времени на подготовку к экзаменам. “С Рождества я работаю до упада. До учебников просто руки не доходят, а если и сажусь заниматься, то настолько усталый, что ничего не могу делать. Последние сутки выдались чертовски трудные — у трех принял роды, а еще множество больных, а еще шестьдесят рецептов и бессонная ночь после всего этого. Согласен с вами, что надо продержаться здесь как можно дольше, да и работа мне по душе, но думать о каких-нибудь систематических занятиях просто смешно. Я с пользой тратил время, когда оно у меня было, но сейчас его нет вовсе”.

Именно в Бирмингеме, работая под началом требовательного, но добродушного доктора Хоора, Артур начал писать рассказы для печати. Он изыскивал на это время — несмотря на занятия в университете и свои обязанности ассистента — благодаря железной дисциплине, которой была подчинена вся его дальнейшая жизнь. В молодости он писал ради денег, ничуть этого не стесняясь, но и потом никогда особенно не отрицал: сочинительство он считал скорее делом, чем призванием. Свой первый рассказ “Подлинная история о привидениях Горсторпской усадьбы”, двадцать четыре тетрадных листа, исписанных безупречным почерком, он отослал в “Эдинбург мегэзин” Блэквуда, где тот был отправлен в архив и забыт очень надолго.

Нимало не смутившись, Артур быстренько сочинил “Тайну Суссекской долины”, подражая в чем только можно своим любимым авторам, По и Брет Гарту, американскому писателю, прославившемуся энергичными, живыми рассказами о первопоселенцах США.

Дело в рассказе происходит в Южной Африке. История про демона с пылающими глазами, приводящего в ужас жителей окрестных деревень, развивается стремительно, здесь уже видны многие характерные черты его будущих произведений — динамичный, тщательно проработанный сюжет, загадочные сверхъестественные силы и экзотическая обстановка.

Дойл предложил “Тайну” эдинбургскому “Чемберс джорнал”, популярному развлекательному литературному журналу, который в свое время первым опубликовал Томаса Харди. К его изумлению и радости рассказ был принят. Артур получил за него три гинеи — больше, чем он зарабатывал за месяц тяжелого труда у Хоора. “Тайна Суссекской долины” была напечатана в номере от 6 сентября 1879 года. Он послал в журнал еще несколько вещей, но все они были отвергнуты. Однако Артур не пал духом. Позже в одном из интервью он признался: “Я знал: сколько бы раз мне ни отказали, а Господь свидетель, отказывали часто, я все равно докажу, что стою дорогого, и готов пробовать вновь и вновь”.

Вскоре журнал “Ландон сосайети”, предлагавший “легкое приятное чтение в часы досуга”, где, кстати, прежде появлялись иллюстрации его отца, взял у Артура “Рассказ американца”. Он набросал его вчерне в своей медицинской тетради, озаглавленной “Заметки по медицинскому курсу 1879–1880”, обнаружив таким образом, что уделяет занятиям меньше внимания, чем мог бы. На первых страницах идут выписки из истории болезни разных пациентов, конспекты лекций “Органические осложнения при подагре” и “Лечение ревматизма”, а в конце — поучительная история в готическом стиле, рассказанная неким Джо Хокинсом из Монтаны. (“…В тех краях его звали Алабама Джо. Он был самый отъявленный негодяй, самый мерзкий скунс, какого только видел мир…”) Алабама Джо заводит ссору в баре с англичанином по имени Том Скотт, и тот побеждает его в кулачном бою. Желая отомстить, Алабама Джо подстерегает Скотта в ущелье Венериной Мухоловки, но на другой день друзья обнаруживают, что Алабама пропал, а Скотт жив-здоров. Они решают, что англичанина надо немедля повесить за убийство — в том самом ущелье, на гигантской мухоловке. Однако на месте глазам их предстает ужасная картина: “Один из громадных листов медленно раскрылся, и там, в глубине, как младенец в колыбели, покоился Алабама Джо. Мощные шипы пронзили

его тело, один вошел прямо в сердце”. Поджидая Скотта в засаде, негодяй угодил в “лапы” кровожадного растения. (Для не сведущих в ботанике читателей: мухоловка обычно не вырастает выше 15 сантиметров, а листья ее редко бывают длинее 7 сантиметров).

На Джеймса Хогга, редактора журнала, рассказ произвел столь сильное впечатление, что он посоветовал Артуру бросить медицину и заняться литературой. Впрочем, он оказался не настолько впечатлителен, чтобы заплатить юному автору больше одного фунта десяти пенсов за труды. В письме к матери Артур без ложной скромности упомянул: “Хогг считает меня одним из самых многообещающих писателей”.

Начинающий прозаик не забывал и о поэзии — он любил сочинять мнемонические стишки, помогающие лучше запомнить пройденный материал. На внутренней обложке “Основ медицины и терапии” он записал:

Узнай же всю правду истинную:он иссушает слизистую,запор вызывает и злую жажду,и мышца сердечная ноет и страждет:опиум сил придает, лишь покудане ослабеют стенки сосудов.Но первыми все же откажут мозги.Ученик, то, что есть в голове, береги.Угроза судорог велика.Не исключаю и столбняка.А уж импотенция — наверняка.

В том же месяце, когда в “Чемберс джорнал” вышла “Тайна Суссекской долины”, Артур с гордостью обнаружил, что “Бритиш медикал джорнал” опубликовал его статью “Ядовитые свойства гельземиума”, где он описал эксперимент, поставленный над самим собой, чтобы “убедиться, как далеко можно зайти”. В те годы сушеные корневища гельземиума, или желтого жасмина, использовали для лечения невралгии. Каждый день Артур увеличивал дозу настойки, тщательно отмечая все побочные эффекты. На третий день возникло головокружение, на четвертый — “проблемы со зрением”, на пятый — сильные головные боли и диарея. Он продержался семь дней, доведя дозу до десяти миллилитров. К прочим симптомам за это время прибавилась жестокая депрессия. Его эксперимент доказательно опроверг точку зрения, что смертельная доза гельземиума составляет пять миллилитров.

В зрелые годы Дойл настаивал, что студентом он был не более чем средним. И впрямь оценки у него были не блестящие. За 1878–1881 годы он получил “У” (удовлетворительно) по всем предметам, кроме клинической хирургии, тут у него было “У” с минусом. Однако же Белл в интервью для “Пэлл-Мэлл газетт” уверял, что Артур один из самых лучших его студентов за все годы: “Он был чрезвычайно внимателен во всем, что касалось диагноза, и с бесконечным упорством выискивал те мелкие подробности, которые могли бы в этом помочь”. А вот Д. Маринус, приятель Артура по университету, запомнил его в другой связи: “Артур произвел на меня сильное впечатление: он был очень добр и вежлив с бедняками, которые приходили к нам в амбулаторное отделение и с которыми мы, боюсь, держались надменно”.

Родные не могли помогать Артуру, дела дома обстояли неважно. В автобиографии он лишь вскользь упоминает о “болезни” отца, но ясно, что ему больно было видеть, как тот опускается. “За все это время наши дела ничуть не стали лучше, и, если бы не усилия с моей стороны, а также то, что сестры работали, мы бы вряд ли справились. [О помощи Уоллера он не упоминает.] Здоровье отца было полностью разрушено, ему пришлось отправиться в оздоровительный приют, где и прошли последние годы его жизни, а я в двадцать лет оказался по сути дела главой большой, неустроенной семьи”. Дойл признает, что у отца имелись “слабости”, но настаивает: “жестокая судьба” столкнула его, “человека нежной, возвышенной души”, с трудностями, которым он не в состоянии был противостоять.

Печаль и боль за отца потом найдут отражение в книгах Дойла, где нередко встречаются и заточение, и различные мании, и беды, идущие от пьянства. Рассказчик, от лица которого написан “Хирург с Гастеровских болот” (1885), подозревает молодого хирурга в том, что он с каким-то тайным злым умыслом держит своего престарелого товарища в уединенной хижине на Гастеровском болоте. Однако потом обнаруживается, что старик — его отец, умалишенный, подверженный страшным приступам безумия, которого сын из жалости не отдает в сумасшедший дом. “Он питает ужас к этим больницам и, когда ум его ясен, так жалобно просит не отдавать его туда, что у меня духа не хватает ему отказать”.

Чарльз Дойл отчасти угадывается и в вечно недовольном художнике из рассказа “Грязное дело” (1891), “чье длительное тайное пьянство довело его до белой горячки, каковую не удалось скрыть от начальства, после чего последовала незамедлительная отставка”. Он женат на портнихе, и ему удается украсть дорогое платье из магазина в Вест-Энде, чтобы обменять его на выпивку. В итоге жена находит его пьяным, в грязи, в окружении глумящихся мальчишек. “Она увидела отвратительное существо, медленно передвигавшееся на четвереньках, без шляпы, с лицом тупым и бессмысленным… Он был перепачкан грязью и что-то бормотал, причмокивая, как обезьяна”.

В начале 1880 года у Артура неожиданно появилась возможность удовлетворить жажду приключений. Как-то днем приятель по имени Клод Карри зашел к нему, когда он готовился к экзаменам, и спросил, не желает ли он поработать судовым врачом на китобое в Заполярье. Карри сам собирался занять эту должность, но теперь вынужден отказаться, так что срочно нужна замена. Скорее всего, Карри обратился именно к Артуру потому, что они были одного роста и сходной комплекции: не пропадать же тяжелым кожаным башмакам и прочей амуниции, которую он успел приобрести.

Могло ли быть что-нибудь более привлекательным как с точки зрения приключения, так и в смысле денег — 2 фунта 10 шиллингов в неделю, да еще по 3 шиллинга за каждую тонну китового жира? И вот через две недели Артур прибыл в Питерхед, имея при себе экипировку, купленную Карри, книги, тетрадь для путевых заметок и пару боксерских перчаток. Там он зашел к Джону Грею, капитану парохода “Надежда”, и объявил, что готов приступить к своим обязанностям.

Китобойное дело в конце XIX века приходило в упадок: если раньше из Питерхеда уходили огромные флотилии, то теперь осталось лишь несколько судов. Нефть постепенно вытесняла китовый промысел, да и самих китов осталось немного после долгих лет нещадного истребления. И хотя жир по-прежнему использовали в парфюмерии и для изготовления различных масел, охотились теперь главным образом ради китового уса — длинных роговых пластин над верхней челюстью, — который употреблялся очень широко, — от кухонной утвари до дамских корсетов. Талии викторианских модниц стягивал мощный китовый ус.

За долгие века охота на китов не претерпела почти никаких изменений. Когда лодка подбиралась на расстояние выстрела, гарпунщик стрелял из пушки. Если выстрел был удачным, то дальше задача заключалась в том, чтобы равномерно стравливать линь, к которому крепился гарпун, — дело непростое, учитывая, что обычно кит стремился уйти как можно глубже, а иногда, наоборот, набрасывался на лодку. Но когда он наконец уставал, охотники подходили к нему вплотную и добивали. Затем тушу буксировали к кораблю, разделывали, ворвань сразу заливали в бочки, а ус промывали и складывали в трюм.

“Надежда” (водоизмещением триста семь тонн) вышла из Питерхеда 28 февраля 1880 года и направилась к Шетландским островам, чтобы присоединиться к другим судам, также охотящимся на тюленей и китов. В первый же вечер корабельный стюард Джек Лэм заметил боксерские перчатки Артура и предложил сразиться. Артур, разумеется, принял вызов и спросил: где и когда? На что Лэм с ухмылкой ответил: здесь и сейчас. Не желая выглядеть трусом в глазах команды, Артур согласился. Лэм, кривоногий, крепкий и жилистый, настоящий уличный боец, не имел и не хотел иметь ни малейшего понятия о том “джентльменском” боксе, к которому Артур привык в университете. Без лишних слов он набросился на противника, осыпая его градом ударов. Но Артур был наготове и уверенно держал оборону. Лэм кидался на него снова и снова, а Артур, куда мощнее и выше, держал противника на дистанции, выжидая, пока тот выдохнется. Однако коротышка стюард и не думал уставать, и после пары пробных ударов Артур наконец влепил ему сокрушительный хук. В итоге Лэм получил “фонарь” под глазом, а молодой врач — уважение всей команды, включая и самого стюарда. “Он лучший из всех докторов, что у нас были, — как он мне здорово врезал, а!” — услышал Артур, проходя мимо каюты, где Лэм обсуждал схватку с кем-то из матросов.

Несмотря на драчливый характер, стюард отлично исполнял песни о любви. Когда он пел (у него был неплохой тенор), Артура, по его признанию, охватывало “смутное сладостное томление”. Но потом в Лэме снова просыпался задира, и он неизменно ввязывался в неприятности. Как-то раз он затеял долгую бессмысленную ссору со старшим помощником капитана по имени Колин Маклин. Оба они изрядно нагрузились ромом, и дело непременно кончилось бы поножовщиной, не вмешайся Артур. “Как сейчас помню тот вечер: я беспрерывно оттаскивал Маклина от стюарда, который имел глупость настойчиво критиковать его за неловкий выстрел. Оба были пьяны, отчего один сделался болтлив, а другой неуправляем. Учитывая, что мы втроем находились в каюте размером семь на четыре фута, мне стоило немалого труда предотвратить кровопролитие”.

В общем, скоро Артур стал своим на корабле. Экипаж “Надежды” состоял из пятидесяти человек — простых трудяг, чьи немудреные истории о жизни и морских приключениях он выслушивал с неподдельным интересом. Особенно ему нравились рассказы шетландцев, в которых нередко фигурировали потусторонние силы. Многие из этих людей принадлежали к пресвитерианской церкви, строго запрещавшей спиртное, так что нельзя было заподозрить,

будто события эти привиделись им с пьяных глаз. Поначалу Артур, правда, решил, что над ним просто подшучивают, но, пообщавшись с ними подольше, понял, что они искренни.

Позднее он вернется к теме сверхъестественного, с которой впервые так близко столкнулся на “Надежде”, и она не только станет одной из ведущих в его творчестве, но займет немалое место собственно в жизни.

“Надежда” едва успела зайти в безопасную бухту Леруика, расположенного на главном острове Шетландского архипелага Мейнленде, как разразилась страшная буря. Из Леруика Артур отправил матери длинное нежное послание. “Дорогая мама, сейчас я попробую донести до вас с помощью пера и чернил новости с севера. Вчера почтовый пароход привез ваше письмо… Первым делом хочу вас обрадовать: никогда еще я не был так счастлив. Боюсь, у меня сильная склонность к бродяжничеству и вольной жизни, и здесь мне все по душе. Меня окружают добрые честные люди, крепкие духом и телом… Сейчас в Леруике стоят почти тридцать судов. Из Питерхеда только два, “Попутный ветер” и “Надежда”. Между командами застарелая вражда, их капитаны, Мюррей и Грей, держатся друг с другом высокомерно. В субботу наш первый помощник Колин Маклин был в таверне, и там с полдюжины офицеров из города Данди принялись поносить “Надежду”. Колин, здоровенный немногословный шотландец с рыжей бородой, медленно встал, сообщил, что он как раз с “Надежды”, и задал обидчикам трепку. Он уложил на пол врача и помял капитана, после чего с триумфом удалился… Наутро он сказал мне: “Повезло им, доктор, что я трезвый был. А то мог бы и рассердиться”. Каков же, интересно, бывает Колин, когда рассердится?.. Мы вовремя спрятались здесь от бури. Капитан говорит, что, застигни она нас в открытом море, могли бы лишиться шлюпок, фальшборта, а то и мачты…”

“Надежда” продолжила плавание лишь 10 марта, но даже тогда сильный ветер вынудил ее провести сутки у заброшенного шетландского островка. Артур вел записи в походном журнале, рисовал в нем и наносил маршрут корабля, но все равно у него оставалось много времени и на чтение, и на то, чтобы начать рассказ “Путешествие к полюсу”. “Надежда” продвигалась к северу, и заняться было особенно нечем: он боксировал с матросами, пел песни и играл в шашки. А еще много читал — Босуэлла, Карлейля, “Тристрама Шенди” Л. Стерна (“грубовато, но очень умно”) и классическую книгу о китобойном промысле “Заполярье: история и описание охоты на китов в северных широтах”. В свою очередь, он попытался познакомить команду с трудами Маколея, в основном безуспешно — многие, включая и первого помощника капитана, попросту не умели читать.

Наконец корабль вошел в область дрейфующих льдов. “Как-то утром меня разбудили удары — бам! бам! Это бились о борт льдины. Я вышел на палубу и увидел, что ими покрыто все море до горизонта. Льдины невелики, но лежат так плотно, что можно долго идти, перепрыгивая с одной на другую. Море казалось совсем синим, сверху блистало голубое небо, изумительный арктический воздух наполнял грудь. Незабываемое утро”.

Первые тюлени появились 18 марта, но по соглашению между Британией и Норвегией охота на них была запрещена до 3 апреля, а пока на место прибывали все новые корабли. Наконец долгожданный день настал, но море было неспокойно, и капитан Грей, не желая рисковать, запретил неопытному доктору спускаться на лед. Разгневанный, что его не допустили к делу, Артур уселся на планшир и бесцельно болтал ногами, пока “Надежда” вдруг резко не накренилась, и его не сбросило в воду. Он вынырнул между двух льдин и едва успел вскарабкаться обратно на борт, как услышал ехидные слова капитана: “Раз вам удалось даже отсюда упасть в море, пожалуй, на льду хуже не будет”. Очень довольный, юноша быстро переоделся в сухое и присоединился к охоте. Вскоре он понял: “нужна сноровка”, чтобы с ходу определить, выдержит ли льдина его вес, но прежде, чем он приобрел ее, капитан Грей наградил его прозвищем Великий Ныряльщик Севера.

Охота на тюленей — жестокое, кровавое занятие, и поначалу у Артура живот сводило от этого зрелища. “Красные яркие лужи на ослепительно белом снегу, под мирным голубым небом Арктики — на самом деле это выглядит ужасным злодейством. Но жестокий спрос рождает жестокое предложение, и тюлени гибнут, помогая выжить множеству моряков, докеров, скорняков и дубильщиков, торговцев свечами, кожей и маслом. На одном конце кровавой цепи — тюлени, на другом — щеголь в мягких кожаных сапогах и ученый, которому нужна высококачественная смазка для его приборов”.

Через некоторое время Артур снова попал в переплет, едва не стоивший ему жизни: он снимал шкуру с тюленя вдалеке от остальных охотников, оступился и упал в воду. Очень быстро ему стало ясно, что вылезти он не в силах — слишком скользкие у льдины края и не за что зацепиться. Отлично понимая, что через несколько минут погибнет от переохлаждения, он все же сумел ухватить мертвого тюленя за ласт, подтянуться и вползти на лед. Когда он добрался

до корабля, одежда его превратилась в ледяные доспехи.

Седьмого апреля он писал матери, пометив вверху листа координаты “Надежды”: 73 градуса северной широты, 2 градуса восточной долготы. “Дорогая мама, вот и я, такой же здоровый, веселый и до ужаса грязный, как все время с тех пор, что мы за полярным кругом. Мы отплыли от Шетландии 10 марта и шли при ясном безоблачном небе, а 16-го добрались до дрейфующих льдов. Когда ложились спать, перед глазами, куда ни глянь, простиралось синее море, а с утра оно было уже сплошь усеяно льдинами, белыми сверху и сине-зелеными снизу, они сталкивались и бились друг о друга в волнах. Целый день мы плыли между ними, но не встретили ни одного тюленя, зато на следующий увидели морских слонов. Они всегда обретаются поблизости от тюленей, и это нас обнадежило. Вы, возможно, знаете, что до 3 апреля в Заполярье любая охота запрещена. 20-го мы увидели лежбище тюленей. Они лежали на льду бок о бок на пространстве миль пятнадцать в длину и восемь в ширину, их в буквальном смысле миллионы. 22-го мы подошли к границе лежбища и стали ждать. Двадцать пять других кораблей неподалеку от нас тоже ждали условленного срока. 3-го числа началась кровавая работа, длящаяся и по сей день. Взрослых тюленей убивают из ружей, детенышам просто разбивают головы. Шкуры снимают прямо на месте, а затем переправляют на корабль. Это очень непростое дело, ведь приходится пару миль прыгать со льдины на льдину, чтобы добраться до жертвы, а затем проделать тот же путь обратно, но уже с тяжелым грузом. Наши матросы, должно быть, уверены, что я обожаю трудиться, прямо хлебом меня не корми, дай сделать то, что им кажется столь тяжким и утомительным, впрочем, надеюсь, мое рвение подстегивает их. Кстати, за последние четыре дня я падал в море уже пять раз, что в среднем очень недурной результат… Я наслаждаюсь путешествием и надеюсь, дорогая мама, что вы все тоже бодры и веселы. Думаю, вы не узнали бы меня, если бы вошли сейчас в мою каюту, — уверен, что не узнали бы. Капитан говорит, что такого кошмарного дикаря в жизни не видал. Волосы взлохмачены, лицо потное, грязное, руки в крови; одет в какое-то тряпье, башмаки мокрые, а сверху обледенели. На поясе висит окровавленный нож, через плечо перекинута веревка, а в руке здоровенный ледоруб. Такая вот фотография вашего ангелочка, мадам. Никогда прежде я не знал, что означает — быть совершенно здоровым. Я готов отправиться куда угодно и питаться чем угодно. Итак, милая мама, не тревожьтесь обо мне в ближайшие два месяца. Бывает, что деревяшка с деревяшкой сошлись без швов, заподлицо (подлецы — ни при чем), так и я сошелся с Арктикой”.

Двадцать второго мая Артуру исполнился двадцать один год: “Я выбрал не худшее место, чтобы отметить совершеннолетие”. За несколько недель охоты команда добыла 3614 тюленьих шкур (личный вклад Артура составил 55) и в середине июня переключилась на китов. Юноше, воспитанному на приключенческих романах, схватка человека с огромным чудовищем посреди диких просторов Арктики представлялась захватывающим событием. “Тому, кто сам этого не испытал, — писал он в дневнике 20 июня, — никогда не понять, какая потрясающая вещь китовая охота. Кит — редкостная, ценная добыча: он огромен, к нему трудно подобраться, он могуч, осторожен и опасен, и все это составляет несказанную прелесть охоты”. Однако Артур признавал: “Несмотря на азарт и восторг, нельзя не испытывать к бедному созданию известное сочувствие. Глазки у кита маленькие, чуть больше, чем у быка, но мне не забыть тот немой укор, с каким глядело на меня умирающее животное”.

Бывали моменты, когда смертельная опасность угрожала и охотникам. Однажды раненый кит уже занес гигантский хвост над лодкой. “Одного удара хватило бы, чтобы отправить нас всех на дно. Пытаясь хоть как-то защититься, мы в ужасе закрылись руками, словно это жалкое усилие могло нас спасти, нанеси он удар”. К счастью, кит был уже при последнем издыхании, и хвост бессильно поник, никому не причинив вреда.

Опасности такого рода ничуть не уменьшили восторгов Артура. “Подбираться к киту на лодке очень увлекательно. Вы сидите на веслах, спиной к нему, так что обо всем происходящем можно лишь догадываться по лицу рулевого. Он смотрит вперед, поверх голов, внимательно наблюдая за неспешно плывущим китом, иногда поднимает руку — сигнал перестать грести, если кит повернул голову в нашу сторону, — а затем вновь дает отмашку — гребем дальше: кит отвернулся. Кругом столько плавучих льдин, что, когда люди сидят тихо, сама по себе лодка его не вспугнет. И вы медленно подбираетесь к чудовищу, пока не окажетесь так близко, что теперь оно не успеет нырнуть — нужно время, чтобы огромная туша погрузилась на безопасную глубину. Глаза рулевого загораются, на щеках проступает румянец, и он выдыхает: “Давай, парни! Навались, дружно! Навались!” Клацает затвор большой гарпунной пушки, из-под весел летит пена, пять-шесть гребков, и нос лодки смачно ударяет обо что-то мягкое. Гребцы валятся в разные стороны, но дело сделано: вы слышали выстрел и знаете, что гарпун вошел в огромный бок. Кит камнем уходит в воду, лодка зарывается, вода хлещет через борт… а линь разматывается со страшной скоростью из-под скамьи, едва не задевая вытянутые ноги гребцов. И в этом самая большая опасность — у кита на самом деле редко хватает духа броситься на врага, а вот если линь, за которым следит “мотальщик”, захлестнет

за щиколотку, то человек погибнет мгновенно, никто и заметить не успеет. Перерезать линь — потерять добычу, а несчастному все одно не помочь, его уже утянуло в глубину на несколько сот саженей”.

Несмотря на некоторые оговорки, Артур считал китовую охоту славным состязанием. Он указывает, что киты нечувствительны к боли, и говорит, что занятие это — великолепный спорт. “Кто променял бы подобный миг [победу над китом] на любой другой спортивный триумф?”

В итоге за полтора месяца “Надежда” добыла двух гренландских китов и в конце июля направилась домой, в Питерхед. “Никогда больше не увижу я ледяные просторы Гренландии, — писал Артур в походном журнале 31 июля. — Не увижу те края, где выкурил столько трубок крепкого табака… Кто сказал, что вы холодны и негостеприимны, мои бедные снежные равнины? Я познал вас в тишь и в бурю и скажу, что вы щедры и добры”.

Артур навсегда запомнил свое путешествие в Арктику: сияющие льды, ослепительно синее море, странное тявканье тюленьих детенышей, величавое движение огромных китов, свежий холодный воздух и пьянящий восторг перед неведомым. “На борт “Надежды” я поднялся большим, нескладным юнцом, а сошел с нее уверенным взрослым мужчиной”.

Подобно Джеку Лондону или Джозефу Конраду, он мог отныне пользоваться бесценным личным опытом, придающим пленительную достоверность самому невероятному вымыслу.

Он возвратился в Эдинбург с пятьюдесятью золотыми соверенами, запрятанными по всем карманам, “чтобы мама получила удовольствие, отыскивая их”. И начал готовиться к выпускным экзаменам, вероятно, с меньшим рвением, чем следовало бы, — мешал вкус вольной жизни, который он ощутил в Заполярье.

Семья Дойл опять переехала — в квартиру с отдельным входом на втором этаже дома номер 15 по Лонгсдейл-террас, вновь с видом на Мидоуз. Платил за нее по-прежнему Уоллер, 60 фунтов в год. Возможно, они вынуждены были оставить респектабельное жилье на Джордж-сквер из-за бесконечного пьянства Чарльза, и в марте 1881-го его отправили в Блайэрно.

Начались экзамены, и в университете царила крайне взвинченная атмосфера. “Толпа студентов ожидала снаружи, когда выкрикнут очередную фамилию. Жалко было смотреть, как они пытаются казаться уверенными и независимыми: то всматриваются в небо, будто их весьма интересует погода, то пристально, поистине с тщанием археологов, изучают надписи на стенах университета. И уж совсем невыносимо жалостное чувство возникало, когда кто-нибудь, собравшись с духом, отпускал вымученную шуточку, а вся компания преувеличенно хохотала, желая показать, что и в такой передряге они не теряют чувство юмора. Время от времени один из них принимался в подробностях пересказывать, о чем вчера спрашивали Брауна или Бейкера, и тогда маска незаинтересованности спадала, и все жадно, в напряженном молчании внимали рассказчику”.

Артур получил оценку “хорошо, но не блестяще” и степень бакалавра медицины и мастера хирургии. Сразу после экзаменов, в августе 1881-го, был нарисован тушью смешной автопортрет: он скачет от радости, размахивая дипломом, и снизу подпись: “Лицензия на убийство”.

Глава 4

Удивительный доктор Бадд

АРТУР КОНАН ДОЙЛ, СВЕЖЕИСПЕЧЕННЫЙ двадцатидвухлетний бакалавр медицины, являл собой образец типичного викторианского джентльмена: прямая осанка, уверенная бодрая походка. Волнистые волосы, приглаженные маслом, зачесаны на левую сторону, кончики роскошных, изящно изогнутых усов горделиво торчат, сохраняя неизменную форму благодаря воску. Он говорит с отчетливым эдинбургским акцентом, но так размеренно и внятно, что ясно каждое слово, собеседнику смотрит прямо в глаза.

Дойл мечтал как можно скорее найти работу, в первую очередь чтобы семья перестала зависеть от Брайана Уоллера. Аннет, уже прочно обосновавшаяся в Португалии, неизменно отсылала большую часть своего заработка гувернантки домой, и так же поступали Лотти с Конни.

Поначалу он надеялся, что сумеет получить место в больнице, но вакансий не оказалось. Тогда он подал заявку на должность судового врача на пассажирском лайнере. Однако недели пролетали одна за другой, а ответа не было. Артур готов был уже пойти врачом в армию, на флот, даже в Индию — куда угодно, лишь бы посылать домой деньги, как вдруг пришла телеграмма: ему предлагали место врача на коммерческом пароходе “Маюмба”, с ежемесячным окладом в 12 фунтов.

В надежде, что это будет не менее увлекательно и романтично, чем поход в Арктику, Артур с радостью ухватился за предложение Африканской пароходной компании. Ему мерещились экзотические порты, девственные джунгли, могучие реки и горы с заснеженными вершинами… Реальность оказалась иной.

“Маюмба”, небольшой пароход (водоизмещением 1500 тонн) приписанный к Ливерпулю, несомненно, видал лучшие времена: он порядком поистрепался за двадцать лет регулярных рейсов к западному побережью Африки. Туда “Маюмба” доставлял различные грузы, почту и пассажиров, обратно — пальмовое масло, кокосы и слоновую кость.

Когда 22 октября 1881 года он вышел в море, на борту было тридцать пассажиров, в том числе несколько богатых африканских торговцев, просадивших всю выручку в Ливерпуле на выпивку и женщин. Одного из них провожало “избранное общество” дам полусвета. Вели себя эти торговцы не самым приятным образом, но приходилось терпеть — они были постоянными клиентами пароходной компании.

В автобиографии Дойлу порой не удается удержаться от литературного вымысла. Так, описывая путешествие на “Маюмбе”, он заверяет, что спас пароход от крушения у скалистых берегов Ирландии в первые же часы плавания. Стоял густой туман, и только он сумел разглядеть огни Таскарского маяка, стоящего на краю каменистого мыса. Пароход двигался прямо на мыс, о чем Артур предупредил помощника капитана. Тот велел изменить курс, и все обошлось. Однако ни в письмах домой, ни в статье об этом путешествии, опубликованной в “Британском журнале фотографии” вскоре после его возвращения, об этом происшествии нет ни слова. (С редактором журнала Дойла познакомил его старинный друг Уильям Бартон, сам отличный фотограф.) Зато в статье подробно описано новейшее фотооборудование, которое Дойл якобы взял в путешествие, но… нет ни единого снимка. Непонятно, откуда у бедного начинающего врача могло взяться дорогущее оборудование, но, с другой стороны, чем еще он мог бы заинтересовать специализированное издание.

В первые дни пути “Маюмба” попал в шторм в Бискайском заливе, и Артуру пришлось заботиться о пассажирах, страдавших морской болезнью. Палубу заливало, каюты, включая и его собственную, тоже, и он передвигался по пароходу по щиколотку в воде, с тоской вспоминая свои крепкие китобойные ботинки. Постепенно шторм утих, они двигались на юг, и погода наладилась. “Маюмба” сделал остановку на Мадейре и на Канарах, где, к огорчению Артура, многие пассажиры сошли на берег, — среди них были милые, доброжелательные дамы, с которыми он успел подружиться. Их присутствие вносило приятные развлечения в жизнь судового врача: например, как-то раз они связали в узел его простыни, что на языке школяров называлось “сыграть в яблочный пирог”, а он в ответ одной из них подложил в постель летучую рыбу.

Первым портом назначения “Маюмбы” в Африке был Фритаун, столица Сьерра-Леоне. Место, по словам Дойла, тоскливое и гибельное, где несчастным белым людям не оставалось ничего иного, кроме как искать утешения в бутылке. Провести более года во Фритауне было, по словам Дойла, “выше человеческих сил” — стоят ли наши колонии, спрашивает он, таких

человеческих жертв?..

Следующую остановку они сделали в Монровии, столичном порту Либерии, основанной Американским колонизационным обществом в 1822 году. Дойл сошелся с лидером чернокожих аболиционистов Генри Хайлендом Гарнетом, недавно назначенным там американским консулом. Гарнет, родившийся в семье раба в Мэриленде, был одним из тех вождей движения за права негров в Штатах, которые от слов перешли к делу, то есть от пропаганды — к политической борьбе. Так вышло, что Гарнет оказался среди пассажиров “Маюмбы”, и Дойл с удовольствием проводил время в его обществе, беседуя об английской и американской литературе. “Этот чернокожий джентльмен сослужил мне добрую службу… И вообще он оказался самым образованным и начитанным человеком, какого я встретил за все путешествие”.

Куда худшее впечатление произвели на Дойла бывшие соотечественники, обосновавшиеся в Африке: они жили маленькими замкнутыми колониями и часто влачили убогое существование, вечно пребывая в страхе подхватить какую-нибудь ужасную местную болезнь, отчего многие беспробудно пьянствовали. Он признает, что и сам немало пил, однако осознал, что “бесчисленные западноафриканские коктейли таят в себе большую опасность”, и остановился — “не без труда”.

Подобно большинству своих современников, Дойл без всякой симпатии отзывается и о туземцах. “Очень много слов сказано о том, что мы обязаны помогать нашим черным братьям, и о скрытых добродетелях представителей негритянской расы. Мой личный опыт таков: они вызывают отвращение при первой встрече, и чем лучше вы узнаете их, тем глубже и крепче оно становится”.

Веселую неразбериху в неспешное плавание “Маюмбы” вдоль западного побережья Африки вносили местные торговцы. Однажды якорь подняли, когда многие из них еще оставались на борту, и им пришлось прыгать в воду к своим каноэ вместе с “добычей”: один нырнул с зонтиком, другой с цилиндром, а третий и вовсе с рождественской открыткой, купленной у матроса. Беспечность тамошних дельцов отлично подтверждает и удивительное соглашение, как-то заключенное экипажем “Маюмбы”: пароход берет на борт груз в бочках, а затем попросту скидывает их в оговоренном месте в воду, после чего они сами доплывут до берега. “Каким образом владелец намеревался доказать свое правообладание, я не понимаю и по сей день”.

Когда “Маюмба” бросил якорь у Кейп-Кост в Гане, Дойл, изнывая от жары, решил искупаться. Он нырнул с палубы, лениво покружил вокруг корабля и вылез, а вытираясь, заметил черный треугольный плавник: акула описывала круги, недоумевая, куда же он исчез. Артур почувствовал, что кровь стынет у него в жилах. “Несколько раз в жизни я совершал поступки столь безрассудные, что потом никак не мог себе объяснить — зачем. То был один из них”.

В нигерийском Лагосе, имевшем дурную славу центра работорговли, Артура свалила лихорадка. Вероятно, он подхватил малярию, и несколько дней находился между жизнью и смертью. Он запомнил, что сумел добраться до койки, а потом провалился в забытье. Других врачей на пароходе не было, и ухаживать за ним было некому. Так что выздоровел он благодаря сильному организму и обыкновенной удаче. Матрос, заболевший одновременно с ним, умер.

Из Бонни, расположенного в дельте реки Нигер, Дойл писал приятелю, иронизируя над неудачным названием города: “Кошмарная дыра, непригодная ни для чего, кроме как обливаться потом. Я только-только прихожу в себя после острого приступа лихорадки. Слабость такая, что кажется, не перо держу, а весло, хотя я уже третий день на ногах. У нас лето, и если у вас по утрам хрустящий морозец (я ощущаю в пальцах его покалывание), то здесь солнце поджаривает нас самым мерзким образом, и ни дуновения, ни вздоха ветерка, спасающего от миазмов, которые порождает эта “цветущая” земля. Мы идем от одного грязного портового городишки к другому, и все они похожи друг на друга, как горошины в стручке, разве что обитатели воняют чуть по-разному, а впрочем, все они воняют так, точно сгнили заживо, и всех бы их следовало сжечь без лишних проволочек…”

“Маюмба” пробирался к Старому Калабару, британской колонии в шестидесяти милях вверх по реке Калабар (сейчас это Нигерия), по такой узкой протоке, что ветви прибрежных деревьев задевали борта. Дойл сидел на палубе с винтовкой, надеясь подстрелить аллигатора, но видел только круги в мутной воде. В Калабаре он взял каноэ и вместе с одним из матросов поплыл по топкому, заболоченному ручью к заброшенному поселению Криктаун. “Темные, мрачные мангровые заросли окружали нас со всех сторон. В этой угрюмой чаще если что и могло обитать, то нечто ужасное. Скверное, поистине нечистое место. Я видел омерзительную

змею, похожую на червя, только трех футов длиной. Я застрелил ее, и она медленно поплыла вниз по течению. С годами я понял, что не стоит убивать ни одну живую тварь, но, сознаюсь, по поводу этой меня не мучит раскаяние”.

Едва они приплыли в Криктаун, как туземцы предупредили, что надо немедля представиться королю. Почему-то сразу вообразив, что рискуют закончить жизнь в его суповом котле, оба, не сговариваясь, прыгнули обратно в каноэ и спешно поплыли обратно вниз по реке.

На самом-то деле в Криктауне уже давно была основана пресвитерианская миссия, и вряд ли король хотел от них чего-то большего, чем обычного визита вежливости. Цивилизация потихоньку добиралась и до этих мест: в доме у одного экспатрианта, обосновавшегося в Старом Калабаре, Дойл с удовольствием обнаружил “Ландон сосайети”, как раз тот номер, в котором был напечатан его “Рассказ американца”.

Но жара пожирала все силы. “Слишком жарко, чтобы сказать что-нибудь умное или смешное, — пишет он в походном журнале. — Эх, мчаться бы сейчас на лыжах по длинному снежному склону…”

Африка произвела на Артура далеко не лучшее впечатление: изнуряющий зной, малярия, чуждые ему люди — все разительно отличалось от сурового благородства Арктики, которая так его восхитила. “Африка губительна для белого человека: его рацион, его привычки здесь неуместны, он незваный гость и таковым будет всегда. Огромный мрачный темный континент уничтожает его”.

Капитан “Маюмбы” придерживался сходных взглядов: рассказывал ужасные истории про туземцев, приносящих в жертву акулам своих собратьев, которые страшно кричат, когда их бросают в воду; про муравейники, из которых торчат человеческие головы.

Влажный болотный воздух был особенно тягостен: “Если обеденная салфетка настолько сырая, что от нее на ваших белых парусиновых брюках остаются мокрые разводы, стало быть, вы прибыли к месту назначения”.

Скука его усугублялась отсутствием какой бы то ни было пищи для ума. Правда, в благодарность за то, что Артур выходил его от лихорадки, один француз подарил ему “Атмосферу” астронома Камиля Фламмариона, но в остальном приходилось перечитывать то, что он привез с собой: Маколея, Шекспира, Чарльза Левера, Фредерика Марриета, Генри Кингсли, Карлейля и Венделла Холмса. В дневнике Дойл записал, что “Карлейль, несомненно, “человек великого ума”, но, полагаю, такие вещи, как Поэзия и Искусство, для него пустой звук”. Вист и криббедж помогали коротать досуг вместе с командой, но, неутомимо деятельный как всегда, он умудрился еще и написать отчет о путешествии для “Сьерра-Леоне газетт”.

Из Старого Калабара “Маюмба” взял курс домой, заходя в те же порты, что и прежде, чтобы взять на борт пальмовое масло и слоновую кость. Единственным развлечением на обратном пути стал пожар в угольном бункере, отделенном от трюма, где стояли бочки с маслом, лишь тоненькой переборкой, так что угроза взрыва, способного отправить пароход на дно, была вполне реальной. В какой-то момент обшивка раскалилась докрасна, а из вентиляционных отверстий повалил густой черный дым. Капитан приказал готовить шлюпки, чтобы можно было в любую минуту покинуть корабль, а Дойла попросил разбудить пассажиров и “поддерживать в них спокойствие” — не самая простая задача. В итоге пламя все же удалось сбить, и 14 января 1882 года “Маюмба”, все еще тихо тлея, дотащился до Ливерпуля.

Дойл получил расчет и оставил корабль без малейших сожалений, навсегда расставшись с мыслью сделать карьеру судового врача. “Я не намерен снова идти в Африку, — писал он матери в ответ на ее соображения, что надо бы поработать пару лет на Африканскую судоходную компанию и скопить денег, чтобы открыть частную практику. — Платят меньше, чем я могу за то же время заработать публикациями, а климат ужасающий. Надеюсь, вас не очень разочарует мое решение, ибо мне эта работа не подходит”.

Вскоре после того как он вернулся в Эдинбург, из Лондона пришло письмо: тетя Аннет приглашала приехать, дабы “обсудить его будущее вместе с семьей”. Понимая, что семья состоит из правоверных католиков, которые захотят взять бразды правления в свои руки, Дойл счел своим долгом заранее предупредить тетушку: он более не разделяет ее веру. Аннет прямо ответила: письмо его глубоко их расстроило, они полагают, что он ведет себя опрометчиво и своевольно, однако хорошо бы он все же навестил их, чтобы поговорить.

Судьбоносная семейная встреча, вероятно, состоялась на Клифтон-Гардене, где жил дядя Джеймс с женой Джейн Генриеттой. Очевидно, это было тяжкое испытание для всех. Для Джеймса и его братьев католичество было одним из столпов, на коих зиждилось их существование. Они не могли понять, как можно отказаться от веры, которую из поколения в поколение исповедовали предки. Но Артур твердо отстаивал свою позицию и объяснял, что его агностицизм — не прихоть, а убеждение, что нельзя принимать ни один религиозный или философский постулат, если его невозможно доказать. А поскольку он не разделяет их слепой веры, то никоим образом не может быть практикующим врачом в католическом сообществе. Тетушка и дядья не скрывали своего разочарования и, более того, возмущения. Прежде чем Артур уехал из Лондона, дядя Дикки сводил его пообедать в клуб “Атенеум”, в последней попытке переубедить строптивца и втолковать ему, сколь неразумно пренебрегать помощью семьи. Но Артур остался непреклонен, отстаивая свои воззрения жестко, с несгибаемым упорством, которое будет проявлять всегда.

Поскольку никаких предложений работы он не получил, то отправился к доктору Хоору, вновь в качестве помощника, а едва выдавалась свободная минута, писал сомнительного качества рассказы, которые отсылал в разные издания. Неуверенность в своих силах явно сквозит в его письме редактору журнала “Блэквуд”: “Позвольте предложить вам рассказ “Дуэль на сцене”. Я уже отнял однажды ваше драгоценное время, отослав небольшой скетч — он не удовлетворил вашим требованиям, но надеюсь, что судьба нового окажется счастливее. Возможно, он недостаточно проработан, но я уверен, что развязка неожиданная и сильная, вполне, как мне кажется, отвечающая традициям журнала. Если он все же не подойдет, окажите мне, пожалуйста, любезность вернуть рукопись… Искренне ваш, А. Конан Дойл, доктор медицины”.

Ее и вернули 24 марта 1882 года. С присущей ему настойчивостью Дойл стал отсылать рукопись в другие издания, откуда тоже получал отказы. В конце концов рассказ все же опубликовали в “Бау беллз” под заголовком “Трагики”.

Зато в том, что не касалось литературы, Артур чувствовал себя теперь вполне уверенно. Приехав домой повидаться с родными, он оказался втянут в перебранку с Уоллером, которая закончилась дракой. Причина неизвестна, и он ни разу не упомянул об этом в письмах к матери, но сестре Аннет сообщил в апреле 1882-го, что “напугал его бессмертную душонку до смерти” и “так отделал, что он двадцать три дня носу из дома не высовывал”. И добавил: “Надеюсь, это пойдет ему на пользу… и, хотя у нас и состоялось формальное примирение, мы не питаем друг к другу нежной любви”.

В Бирмингеме Артур получил предложение поработать. Ему прислал телеграмму Джордж Бадд, личность весьма неординарная, — его черты легко угадываются во многих персонажах Дойла. Они познакомились в университете и, хотя у них было мало общего, стали близкими друзьями. Бадд был уродлив, непредсказуем, напорист, сообразителен, искрометен и безумен, но, когда ему того хотелось, на редкость приятен в общении. Ростом около ста семидесяти пяти сантиметров, плотный, но быстрый — бесстрашный нападающий университетской команды по регби. Лицо у него было красное, кожа грубая, как древесная кора, светлые волосы торчком, точно щетина у щетки, мощный подбородок и из-под нависших бровей — близко посаженные голубые глаза с красными прожилками, то светившиеся добродушным юмором, то загоравшиеся злобой.

Учился он не слишком усердно, на лекции ходил редко, однако экзамены сдавал легко и даже получил престижную награду по анатомии, за которую боролись куда более прилежные студенты. Энергичный, неутомимый и хваткий, он готов был браться за любое дело, отстаивать любую, самую вздорную теорию, привлекая для доказательств любые, самые нелепые аргументы. Но, одержав победу, терял интерес к предмету спора и переключался на другой, ничего общего с предыдущим не имеющий. В голове у него всегда роились идеи, как немедленно разбогатеть, и прожекты изобретений, способных в корне изменить повседневную жизнь людей, при этом озолотив изобретателя.

Как и все его приятели, Дойл подпал под мощное обаяние Бадда и был захвачен его энтузиазмом: “У него такой проворный, легкий ум, а идеи столь необычны, что невольно вслед за ним воспаряешь в свободном полете, поражаясь собственной отваге, подобно воробью, горделиво озирающему мир и воображающему себя мощным орлом”.

Артур, солидный и рассудительный, восторгался той непринужденностью, с которой вел себя его друг. Однажды на лекции Бадда взбесили игривые замечания какого-то студента, сидевшего в нижнем ряду, и он посоветовал ему придержать язык. Тот неблагоразумно посоветовал Бадду придержать свой. Этого было достаточно.

Аудитория была переполнена, Бадд сидел наверху, все проходы были заняты. Он решительно

поднялся и потопал вниз, перешагивая через головы. Допрыгал до обидчика… и тут же получил по физиономии. Тогда он взревел, вцепился ему в глотку, выдернул из-за стола и вытолкал вон, после чего из коридора “раздался такой грохот, будто на землю обрушилась тонна угля”. Бадд вернулся один, растрепанный более обычного и с расцветающим синяком под глазом — под общие аплодисменты.

Пил Бадд редко, но, когда это случалось, эффект наступал незамедлительно: уже после пары стаканов он был готов драться с кем угодно, валять дурака, видеть в первом встречном лучшего друга или злейшего врага. Как-то раз на вокзале в Эдинбурге он напал на контролера, проверявшего билеты: тот, дескать, пренебрежительно с ним разговаривал. Бадда арестовали, но до этого стражам порядка пришлось за ним погоняться на потеху случайных прохожих. В суде на следующее утро он оправдывался с таким беззастенчивым апломбом, что отделался мелким штрафом, после чего тут же пригласил всех присутствовавших, включая и полицейских, выпить за его здоровье в соседнем пабе.

Любовная жизнь этого молодца была не менее насыщенна. В этом он был неутомим и бесстрашен. Когда муж одной его пассии неожиданно вернулся домой, Бадд, не желая компрометировать даму, решительно сиганул в окно с четвертого этажа. Лавровый куст смягчил падение, и герой удалился в ночь, неповрежденный и непосрамленный.

Когда он надумал жениться, то и здесь не искал простых путей: невеста была несовершеннолетней и находилась под опекой по решению суда. Бадд умыкнул ее, заперев гувернантку на ключ. В целях конспирации он перекрасил волосы в черный цвет, но не слишком удачно. Новобрачные решили провести медовый месяц в деревенской гостинице — там, как им казалось, на них никто не обратит внимания. Но не обратить внимания на Бадда было невозможно, тем более что его удивительная черно-желтая шевелюра вызывала массу веселья.

Затем парочка вернулась в Эдинбург. Столкнувшись на улице с Дойлом, Бадд тут же повел знакомить его с женой.

Они снимали крошечную, почти пустую квартирку над бакалейной лавкой. Новоиспеченная миссис Бадд оказалась хрупкой, застенчивой, она целиком и полностью находилась под влиянием своего искрометного супруга. В квартирке были четыре малюсенькие комнаты, но жили они только в трех, четвертую Бадд запер и опечатал, ибо по запаху счел, что там таится какая-то страшная зараза. Дойл был уверен, что пахло всего лишь сыром из лавки, но оставил это мнение при себе. Он стал частым гостем у Бадда и провел немало вечеров, сидя на стопке старых журналов (стульев было только два), в то время как его друг шагал по комнате взад-вперед, размахивал руками и строил планы на будущее, один другого несбыточнее. “Какое нам всем троим было дело, на чем мы сидим и где живем, если молодость кипела у нас в жилах, а души озаряла надежда? Я и сейчас думаю, что те беспечные вечера в пустой, заполненной сырным ароматом комнате были самыми счастливыми в моей жизни”.

Когда Бадд закончил университет, они на время потеряли друг друга из виду, но незадолго до отплытия на “Маюмбе” Дойл получил телеграмму: “Приезжай скорее. Срочно нужен. Бадд”. Как и положено верному другу, Артур тут же сел в поезд и приехал. Бадд встретил его на вокзале по обыкновению чрезвычайно оживленный и немедленно принялся излагать очередной безумный проект: армию надо срочно одеть в пуленепробиваемые доспехи, очень легкие и очень простые в изготовлении. По самым скромным подсчетам, это нововведение должно принести ему, Бадду, три четверти миллиона фунтов.

Бадд теперь жил в большом доме с собственным садом, дверь им открыл привратник в ливрее; похоже, частная практика его процветала. Дойлу, правда, показалось, что миссис Бадд утомлена и расстроена, но они провели отличный вечер, предаваясь воспоминаниям, а после ужина перешли в небольшую гостиную, где мужчины закурили сигары, а дама сигарету. Тут Бадд вскочил, подбежал к двери и резко распахнул ее, дабы убедиться, что никто не подслушивает и не подглядывает в замочную скважину, после чего выпалил: “Дойл, вот что я хочу тебе сказать: я полностью, безнадежно и безвозвратно разорен”.

Он получил практику покойного отца, пользовавшегося в городе большим уважением, и зажил на широкую ногу, чтобы привлечь богатых клиентов, но они почему-то так и не объявились. Он задолжал семьсот фунтов, да еще двести за аренду дома, а в кармане у него было около десяти. Дойл поспешно сообщил, что помочь деньгами не в силах, но может дать совет: собрать кредиторов и объявить себя банкротом. Бадд согласился, что это лучший выход, и даже повеселел. Затем, когда жена ушла спать, он приналег на виски — как всегда с самыми непредсказуемыми последствиями. Потом разговор зашел о боксе, и Бадд предложил Артуру немного размяться. Полагая, что речь идет о паре-тройке дружеских раундов, тот согласился.

Но Бадду надо было выплеснуть напряжение и злость, связанные с денежными проблемами, так что он яростно обрушил на друга град ударов, загнал его в угол, а затем, когда тот споткнулся о кресло и упал, заехал ему со всего размаха в ухо. Дойл счел, что с него довольно, встал, подождал, пока противник раскроется, и резко двинул его по носу, после чего сокрушительным ударом в челюсть свалил наземь. Расквашенный нос привел Бадда в неописуемую ярость. Он потребовал, чтобы схватка продолжилась, но уже без перчаток, однако, по счастью, тут прибежала миссис Бадд и осведомилась у Дойла, что, собственно, происходит. Бадд сразу утих, заулыбался и заверил жену, что все в полном порядке.

Наутро он как ни в чем не бывало вновь принялся было строить безумные прожекты немедленного обогащения, но неиссякаемый поток его фантазий резко оборвался, когда к дверям дома напротив, где тоже жил доктор, потянулись пациенты. Он тут же разработал отличный план, немало повеселивший Артура: попросил товарища “умереть” на ступенях его дома, с тем чтобы он на глазах у потрясенной публики “воскресил” его и навеки прославился (ведь о чудесном излечении тут же напишут все газеты). И — готово дело, слава обеспечит ему клиентуру. Вспоминая этот великолепный план, Дойл только посмеивался по дороге домой в Эдинбург.

Вскоре он узнал, что Бадд последовал-таки его совету — собрал кредиторов, разыграл перед ними целое представление, полное душераздирающих подробностей о тяготах борьбы за место под солнцем и несправедливости судьбы. Рассказ так тронул заимодавцев, что иные даже прослезились, и Бадд получил отсрочку по всем платежам.

В следующий раз Бадд объявился только весной 1882 года. Он опять прислал телеграмму, на сей раз из Плимута: “Обретаюсь здесь с прошлого июня. Успех колоссальный. Достижения перевернут всю медицину. Быстро обогащаюсь. Придумал изобретение на миллион. Если наше адмиралтейство не примет его, Бразилия станет ведущей морской державой. Приезжай первым поездом. Для тебя очень много дела”.

Памятуя о прошлом визите, Артур осторожно ответил, что ему неплохо живется у доктора Хоора и приедет он, только если будет уверен, что для него найдется постоянная работа. Спустя десять дней пришел ответ в обычном для Бадда духе: “Письмо получил. Хочешь сказать, что я лгун? У меня за год тридцать тысяч визитов. Зарабатываю четыре тысячи. Все пациенты мои. Не поеду на вызов и к самой королеве Виктории. Все визиты на дому — твои, все операции — твои, все акушерство — твое. Делай с этим, что захочешь. Гарантирую триста фунтов на первый год”.

Это было заманчиво, и Дойл соблазнился. Он отправился в Плимут, несмотря на все возражения матери, а также доктора Хоора, который говорил, что не стоит связываться с человеком такой репутации, как у Бадда, и ставить свою карьеру под угрозу.

Бадд ждал товарища на вокзале. Настроение у него было превосходное. Весело хлопнув Артура по плечу, он подвел его к роскошному экипажу, запряженному парой отличных рысаков. Когда они уселись, кучер спросил, к какому из своих домов хозяин прикажет ехать. Бадд, от которого не ускользнуло изумление Артура, величественно скомандовал: “В городскую резиденцию”. По дороге он без умолку разглагольствовал о своих успехах — все пациенты в городе перешли к нему, в приемной не протолкнуться с утра до ночи, местные врачи разоряются и клянут Бадда на чем свет стоит.

“Городская резиденция” оказалась огромным зданием в районе Плимут-Хоу. Прежде этот дом на Эллиот-террас был респектабельным клубом, но со временем аренда оказалась не по карману его членам. Бадда, разумеется, такие мелочи, как аренда, не смущали. Он с гордостью показал Артуру свои нынешние владения: в доме было тридцать комнат, правда, мебель имелась далеко не во всех. Но на первом этаже располагались прямо-таки гигантские залы, обставленные вполне прилично. Впрочем, в спальне у Дойла не было ничего, кроме узкой железной кровати, тумбочки и тазика для умывания. Обед перенесли на более позднее время — Бадду не терпелось провести Дойла по всему зданию и похвастать, сколько ему стоила обстановка. Он так разошелся, что, к немалому возмущению Артура, схватил проходившую мимо девушку и громко поинтересовался, видел ли тот когда-нибудь такую миленькую служанку.

За обедом Бадд вдруг выскочил из-за стола и вернулся с саквояжем с деньгами, которые высыпал прямо рядом с супницей. Мой доход за день, провозгласил он, 31 фунт 8 шиллингов. Дойл любезно заметил, что такие успехи наверняка должны порадовать кредиторов из Бристоля, после чего Бадд немедленно помрачнел, нахмурился и пробурчал, что не собирается портить себе жизнь какими-то долгами каким-то там торговцам из Бристоля. Дойл лишь пожал в ответ плечами и сменил тему.

После обеда Бадд отвел Дойла в заднюю комнату, где он “проводил опыты”. Последняя его идея заключалась в том, чтобы оснастить военные корабли мощнейшими магнитами: их следовало установить на плотах, которые будут плыть за судном, чтобы они притягивали вражеские снаряды. У него в голове не укладывалось, отчего адмиралтейство не проявило к этому изобретению никакого интереса. Поскольку Дойл тоже не выказал должного восторга, Бадд предложил немедля продемонстрировать изобретение в действии. Он зарядил небольшой пистолет стальным патроном и выстрелил в восковую фигурку, прикрепленную к стене в четырех дюймах от магнита. Магнит пострадал от выстрела чуть больше, чем фигурка. Чтобы окончательно убедить Артура в своей правоте, он предолжил установить магнит на шляпке миссис Бадд, и пусть Артур выпустит всю обойму ей в голову. Дойл сдержанно отказался.

На другой день они поехали в клинику, где все приемные и впрямь оказались забиты пациентами. Развалясь в кресле в кабинете, Бадд раскрыл новому партнеру секрет своей популярности: главное — никакой вежливости с пациентами. В подтверждение этих слов он встал, распахнул дверь и заорал ожидающим приема: “Прекратите это чертово кудахтанье! Здесь вам не курятник!” Воцарилась тишина. “Ну вот, — продолжал Бадд, — нет лучшей рекламы, чем хамское отношение к клиенту”.

Однажды он спустил с лестницы деревенского упрямца, посмевшего усомниться в его диагнозе, и это произвело на больного неизгладимое впечатление: дома он столько рассказывал о методах доктора, что все односельчане возмечтали попасть к нему на прием. Больные, излагал Бадд, должны чувствовать, что врач лишь снисходит до них. Он мог, к примеру, явиться с утра в клинику и объявить, что прием будет сегодня проходить на свежем воздухе, так что пусть все немедленно собираются и готовятся к загородной прогулке.

Консультировал Бадд бесплатно, зато добирал свое на цене за лекарства, которые изготовляла его жена. На рецепте он писал, сколько ей следует получить с больного. Кроме того, он придумал брать по полгинеи с каждого, кто хотел пройти без очереди, и уверял, что имеет на этом до *го* гиней в день. Дойл слушал приятеля с недоверием, каковое переросло в изумление, когда начался прием. Бадд орал на несчастных больных, толкал, пихал и оскорблял их, не давал им рта раскрыть и, поставив диагноз, вышвыривал за дверь.

“Провести с ним утро, когда прием в разгаре, так же уморительно, как сходить в цирк”, — вспоминал Дойл. Одной пожилой леди Бадд безапелляционно заявил, что она злоупотребляет чаем, и тут же заставил ее поклясться на потрепанном медицинском справочнике, что она будет пить только какао две недели кряду. Другой джентльмен едва открыл рот, чтобы рассказать, на что жалуется, как неистовый доктор сгреб его за грудки и спустил с лестницы с воплями, что тот ест слишком много, пьет слишком много и слишком много спит. Печальной даме, сказавшей, что “силы утекают из нее”, Бадд злобно посоветовал проглотить пробку, “ибо если медицина бессильна, то нет ничего лучше, чем заткнуть течь пробкой”.

Дойл пытался сохранять серьезное выражение лица, наблюдая этот спектакль, но при всем том не мог не заметить, что Бадд неплохой диагност и многие его рекомендации вполне разумны, хотя он не без корысти и прописывает зачастую просто лошадиные дозы лекарств: “Лекарства он давал максимальными дозами, что порой приводило к блестящим результатам, а порой было связано с ненужным риском”. Когда они возвращались домой из клиники, Бадд потрясал мешочком с деньгами, заработанными за день, проезжая мимо домов своих менее удачливых коллег.

Хотя Дойл был решительно не согласен с Баддом почти во всем, и в первую очередь в том, что врачебную этику надо “послать к дьяволу”, он решил остаться в Плимуте. Бадд предоставил ему помещение рядом со своим кабинетом, где Артур провел первые три дня в полном одиночестве, перебирая инструменты и слушая доносившиеся из коридора вопли “гениального доктора”. На четвертый день пришел первый больной, пожилой солдат с раковой опухолью в носу, вызванной неумеренным курением трубки. Он успешно удалил опухоль — пациент остался в неведении, что это был дебют начинающего врача, — и постепенно пациенты пошли к нему. В первую неделю Дойл заработал 1 фунт 17 шиллингов и 6 пенсов, во вторую — 2 фунта, в третью — 2 с половиной…

В свободное от работы время Бадд не сидел без дела. Он пытался убедить Дойла, что надо издавать еженедельную газету; изобрел “пружинный щит Бадда” — потрясающее приспособление, предназначенное закрывать пружинной заслонкой любую пробоину в корпусе корабля… Вообще не было дня, чтобы Бадд не выдумал какого-нибудь чудесного способа сколотить состояние. Он сетовал, что вынужден ограничиваться тремя-четырьмя тысячами фунтов, которые приносят пациенты Плимута. Разве это его уровень? Вот кабы целый континент оприходовать… Не уехать ли им в Южную Америку? Там можно заняться глазной хирургией. Он считал, что это исключительно перспективная область: люди неохотно

тратят деньги на свое здоровье, но зрение — такая штука, за которую и последнего пенни не жалко. Дойл отметил про себя, что это резонное соображение.

На заднем дворе Бадд строил конюшню, в чем Артур ему помогал. И вот в один прекрасный день Бадд решил купить лошадь у армейского офицера, которую тот приобрел за 150 фунтов, но готов был расстаться с ней за 70, поскольку у животного оказался на редкость дурной нрав. Такая сделка была очень в духе Бадда. Вышло из этого нечто невообразимое.

“Конь был хорош: вороной, с сильной гордой шеей и мощными плечами, но гнусными повадками и очень неприятным выражением в глазах… Бадд вскочил в седло и быстро овладел им, управляя при помощи рукоятки хлыста, которой он постукивал коня между ушей. Однако подлая тварь не собиралась так просто сдаваться. Но и Бадд, несмотря на то что не был наездником, прилип к седлу крепко: конь несся вперед, назад, шел боком, вставал на задние ноги, бил передними, выгибался дугой, брыкался и лягался — словом, вытворял черт-те что. Бадд оказывался то у него на голове, то вдруг почти на хвосте, но только не в седле, он потерял шпоры, колени задирались выше подбородка, пятками он нещадно колотил дрянную скотину по бокам, а руками хватался за что ни попадя — уши, хвост и гриву. При этом он умудрялся не выпустить хлыст и при малейшей возможности лупил коня. Полагаю, он вознамерился сломить его непокорный дух. Но не всякое намерение исполнимо. Конь вдруг сдвинул все четыре ноги вместе, нагнул голову, вздыбил спину, как ошпаренный кот, и трижды судорожно подскочил вверх. От первого скачка колени Бадда взвились выше ушей, на втором пятки бешено замолотили воздух, а на третьем всадник отправился в полет, словно камень из пращи. Он чудом не врезался в стену, ударился лбом о железную балку и с глухим стуком рухнул оземь. Однако через секунду он был уже на ногах. Кровь заливала перекошенное яростью лицо, безумным взглядом он обвел двор, а затем ринулся в недостроенную конюшню за топором, дабы свершить справедливое возмездие”.

Но Дойлу удалось схватить его сзади за ремень куртки и задержать на пару секунд — этого времени офицеру, бледному как мел, хватило, чтобы исчезнуть вместе со своим скакуном.

Однако вскоре друзья рассорились. Чем больше у Дойла становилось пациентов, тем прохладнее делалось отношение к нему супругов Бадд. Казалось, его присутствие начинает их тяготить. Позднее он узнал, что они имели привычку читать письма его матери, в которых Мэри Дойл осуждала и их обоих, и сына — за то, что связался с ними. Разумеется, это усугубляло ситуацию.

В итоге как-то утром Бадд вошел в кабинет Артура крайне мрачный и заявил, что тот разрушает ему практику. С тех пор как он повесил на дверях клиники свою табличку, число пациентов Бадда неуклонно падает. Нет, дело не в том, что Артур нарочно отбирает его клиентов, но просто, видя две таблички, они не могут решить, к кому идти. Конан Дойл гневно ответил, что дело это легко поправимо. Он взял на дворе молоток, отбил табличку от двери и сообщил, что уезжает. Супруги не уговаривали его остаться, но на следующий день Бадд заболел, и Дойлу пришлось ухаживать за ним три недели и, пока он не поправился, принимать всех больных.

В благодарность Бадд предложил ему что-то вроде временного пособия: один фунт в неделю, чтобы иметь возможность открыть собственную практику. Артур смирил гордыню и согласился.

Поначалу он хотел обосноваться в Тавистоке, но затем выбрал Портсмут — как и Плимут, портовый город, где, как он надеялся, будет достаточно пациентов. Возможно, он не знал тогда, что с Портсмутом связано немало известных литературных имен: там родились Диккенс и Джордж Мередит, жили Вальтер Безант и Редьярд Киплинг, а Герберт Уэллс работал приказчиком у торговца мануфактурой в Саутси, по соседству.

Итак, в июне 1882 года Дойл сложил свои нехитрые пожитки в сундук и сел на пароход до Портсмута, исполненный радужных надежд, несмотря на крайне неопределенное будущее. Впервые ему предстояло действовать на свой страх и риск: “Всю мою наличность составляли десять фунтов, и я знал, что мне предстоит не только покрывать из них текущие расходы, но и приобрести мебель для дома. С другой стороны, одного фунта в неделю было совершенно достаточно на личные нужды, а юношеский задор, веселое “как-нибудь-прорвемся” позволяли мне с оптимизмом глядеть вперед”.

Глава 5

Борьба на практике

МОЛОДОЙ ДОКТОР СОШЕЛ НА БЕРЕГ В ПРИГОРОДНОМ местечке Саутси, которое уже превратилось в курорт — с бассейнами, отелями и затейливыми садами. Он оставил сундук на пристани и поехал в город на трамвае, чтобы налегке заняться поисками жилья. Кондуктор назвал ему район, где можно недорого снять комнату, “на обшарпанно-изысканной главной улице”. Позвонив в первую понравившуюся дверь, он тут же сговорился о комнате, за 10 шиллингов 6 пенсов в неделю.

Вечером Артур пошел пройтись, подышать морским воздухом и стал участником уличной потасовки. Сперва он увидел толпу, окружившую краснорожего пьяницу, на глазах у всех избивавшего свою жену, — при том, что на руках она держала младенца. Дойл протолкался поближе и попробовал было его урезонить, но тот вдруг развернулся и вцепился ему в горло. “Спустя несколько часов по приезде в город я — в цилиндре, благообразном докторском сюртуке и лайковых перчатках — дрался со здоровенным подонком на одной из самых оживленных улиц, окруженный злобно орущими зрителями. Спрашивается, что это, если не адское невезение?” По случайности в драку вмешался какой-то матрос, и Дойл воспользовался этим, чтобы улизнуть. Он поспешно подобрал трость, отряхнулся и зашагал прочь, благодаря Бога, что не пришлось первую же ночь провести в полицейском участке.

Назавтра он принялся тщательно подыскивать место, где можно было бы открыть медицинскую практику. Купил на почте за шиллинг карту города, разложил ее на столе и наметил маршруты. Каждый день после завтрака он отправлялся бродить по улицам, высматривая таблички с именами врачей. Затем, пообедав за три пенса, возвращался домой около четырех и отмечал на карте места дислокации конкурентов. “В итоге у меня оказался подробнейший план, благодаря которому я отлично понимал, где можно обосноваться и где обретается противник”.

В конце концов Дойл поселился в Саутси, на Элм-гроув, 1. Трехэтажный дом из красного кирпича назывался “Вилла в кустарнике”, и было в нем восемь абсолютно пустых комнат. За аренду просили 40 фунтов в год, но Дойлу удалось обойтись без уплаты задатка — он беззастенчиво сослался на родство с директором Национальной галереи в Дублине, кавалером ордена Бани, то есть с дядюшкой Генри. “Это был мой собственный дом — весь целиком мой! Я запер дверь, уличный шум стих, и, стоя в пустом пыльном холле, я испытал неведомое доселе ощущение уединенного покоя”.

Он заказал в кредит мази, порошки, таблетки, настойки и микстуры — на 12 фунтов. Приобрел на распродаже два столика, три стула, подставку для зонтов, половик, занавески, небольшую железную кровать, решетку для камина, туалетный набор и три картины в приемный кабинет, уплатив за все про все чуть больше четырех фунтов. Полфунта чая, фунт сахара, банка сгущенного молока и банка тушенки завершили список приобретений, после чего в кармане у него осталось около двух фунтов. Торговец скобяными товарами изготовил и прибил к дверям замечательную медную табличку: “Доктор Конан Дойл, терапевт и хирург”. Доктор дождался, когда стемнеет, чтобы соседи не увидели, как он самолично натирает эту табличку и подметает дорожку к дому.

Почти всю мебель он расставил в приемной, дабы создать видимость благополучия, но занавес, отделявший приемную от жилых комнат, не мог скрыть очевидного. “Кухня” представляла собой лишь небольшую сковороду, которую Дойл приспособился разогревать на газовом рожке, но частенько она оказывалась лишней: доктор сидел на хлебе и воде.

За первые десять месяцев он потерял десять фунтов веса. Его дорожный сундук служил разом и буфетом, и столом. Наверху была обставлена одна спальня, и то весьма скудно: кровать, кувшин с тазом и большой деревянный ящик, найденный в саду. Первое время Дойл спал на голых железных пружинах, завернувшись в плащ и подложив под голову “Основы медицины” Бристоува, но потом Мэри прислала ему одеяла, простыни и подушки, а матрас он соорудил из соломы и стружек, в которые были упакованы заказанные им медицинские препараты.

Первого июля 1882 года Дойл поместил в вечерней газете, почему-то в разделе “Разное”, небольшое объявление: “Доктор Дойл сим извещает, что переехал на “Виллу в кустарнике”, Элм-гроув, дом 1”. Эта хитроумная формулировка подразумевала, что он не какой-то новичок, а просто оставил прежнюю практику и перебрался на новое место. Красная лампочка у входной двери (приобретенная в кредит), извещала, что врач дома, готов принять больного. “Пока ни одного пациента, — писал он матери неделю спустя, — но зато целые толпы любопытных, которые останавливаются прочесть, что написано на моей медной табличке. В

среду вечером за четверть часа ее изучили восемнадцать человек, а вчера я насчитал за то же время двадцать четыре”.

Первым посетителем оказался местный викарий, осведомившийся, будет ли он ходить на службы. Конан Дойл заверил его, что нет, не будет, и подробно объяснил почему, после чего глубоко потрясенный священник спешно отправился восвояси. Когда дверной колокольчик зазвонил вновь, на крыльце обнаружился бородач в высоком цилиндре. Дойл впустил его, “изобразив, что по случайности оказался в холле и решил не тревожить прислугу”, проводил посетителя в кабинет, усадил на стул и тут же, по частому покашливанию, определил, что у него проблемы с бронхами. Он ошибся. Бородач нервно покашливал по причине того, что прошлый жилец задолжал газовой компании 8 шиллингов 6 пенсов, каковые он надеялся получить с нового постояльца. Наконец явилась и пациентка, “анемичная старая дева с хронической ипохондрией: надо полагать, она уже измучила всех врачей в городе и теперь пришла к новенькому… Избегая смотреть мне в глаза, она сказала, что придет в следующую среду. За прием она смогла заплатить шиллинг и шесть пенсов, что было исключительно кстати. Этих денег мне хватило на три дня”.

В письме к приятелю из Эдинбурга Дойл рассказывал, что следующая пациентка пришла через шесть дней. “Ей нужно было сделать прививку. За вакцину, выписанную из Лондона, я отдал 2 шиллинга 6 пенсов, а за труды получил 1 шиллинг и 6 пенсов. Из чего я заключаю, что, если пациентов не станет больше, мне придется продать мебель”. Чуть позже он писал этому приятелю, что пациенты “так и кишат — по два в неделю”.

Дойл рассчитывал все до последнего фартинга: на чай, молоко и сахар в день уходило пенни, буханка хлеба — 2 пенса и 3 фартинга, а обед — обычно это была жареная рыба, сухая копченая колбаса или отварная солонина — стоил 2 пенса. Кроме того, он обнаружил, что, если поливать цилиндр водой, тот блестит, как новый, что и проделывал всякий раз, выходя в город. С привычкой курить трубку пришлось расстаться, о чем он горько сожалел, но отказаться от вечерней газеты за полпенни было невозможно. Дойл внимательно следил за событиями в мире, особенно за тем, что происходило в Египте, где Королевский флот блокировал Александрию: вскоре Британия должна была вступить в войну за безопасный доступ к Суэцкому каналу, позволявшему вдвое сократить путь в Индию.

Вскоре после того как он обосновался на “Вилле в кустарнике”, пришло возмутительное послание от бывшего партнера из Плимута, в котором тот брал назад свое обещание об уплате одного фунта в неделю. “Когда служанка прибирала в комнате после вашего отъезда, — писал Бадд, — в камине она нашла обрывки бумаги. Увидев на них мое имя, она, как и следовало, отнесла их своей хозяйке, а та сложила их вместе, и получилось письмо к вам от вашей матери, где меня поносят самым гнусным образом, называют “мошенником, злостным неплательщиком” и “бесчестным Баддом”. Остается сказать, что мы были потрясены, как вы могли участвовать в подобной переписке, и впредь отказываемся иметь с вами дело”.

Дойл был уверен, что никаких писем не оставлял, и понял, что Бадд читал его корреспонденцию, когда он еще жил в Плимуте. Стало ясно, что Бадд и не собирался платить ему, а просто выжидал, пока Дойл свяжет себя денежными обязательствами на новом месте, чтобы объявить о своем отказе, — уж тогда финансовый крах бывшего друга будет неизбежен. Дойл ответил Бадду, что письмо прочел “с истинным удовольствием”, ибо оно устранило единственное разногласие между ним и матерью. “Она всегда считала, что вы скверный человек, а я всегда вас защищал. Теперь я вынужден признать, что она была права с самого начала”.

Несмотря на это, Артур сохранил в душе теплое чувство к Бадду, возможно, как дань молодости, а возможно, и за то, что много раз использовал его яркий характер в своих книгах. Когда Бадд, которому было едва за тридцать, умер в 1899 году, Общий медицинский совет провел расследование его “нестандартных” методов лечения, и в результате его вдова и четыре дочери остались практически без гроша. Дойл, полагавший это делом чести, долгие годы анонимно посылал им деньги.

Но в тот момент он горько сожалел, что лишился поддержки, и скрепя сердце несколько раз был вынужден обратиться к матери. Однажды он написал ей, что остался с двумя шиллингами в кармане, так что “если у вас есть хоть что-нибудь “лишнее”, вспомните о бедных”. “Лишнего” у Мэри Дойл, естественно, не было, но она исхитрилась прислать немного денег, наверное с помощью Уоллера.

Зато старший сын взял к себе девятилетнего брата Иннеса. Артур был очень рад, что “парнишка в коротких штанишках” составит ему компанию, поскольку первые месяцы в Саутси ему было довольно одиноко. К тому же он надеялся, что и матери будет полегче, ведь с

ней остались только две младшие дочери, Иза и Додо. “Чем скорей он приедет, — писал Артур матери, — тем лучше. Теперь, когда забота о квартплате спала с моей души, мы будем отлично питаться. Мне приходится ждать почти до полуночи, чтобы незаметно для соседей начистить дверную табличку и подмести крыльцо. Газ отключен, но есть свечи”.

Что до Иннеса, то тот был счастлив переехать к обожаемому брату и весело воспринял спартанские условия их быта — в Эдинбурге бывало и похуже. Он быстро привык к жизни на “Вилле в кустарнике”, пошел в местную школу — “Дом надежды” на Грин-роуд (“домом скорби” звал его Р. Киплинг, учившийся там на несколько лет раньше), и с удовольствием взял на себя обязанности протирать табличку на двери, подметать, быть на посылках, впускать пациентов, когда Артур был занят с другими больными, и слал домой бодрые письма с кучей смешных ошибок. “Пацыэнтов целые толпы, — писал он 16 августа 1882 года, возможно несколько приукрашивая истину. — Зашибаем деньги — на этой недели три шиллинга. Сделали прививку младенцу и заличили у одного человека чихотку. А севодня приехал цыган в повозке, продает карзины и стулья, мы решили, нечего ему звонить в дверь сколько он хотел. А он звонил два или три раза, и Артур как заорал: “Уходи жива!” — а он опять звонит, и я пошел в низ, открыл ящик для писем и заорал “Уходи жива!”. Он стал ругаца на меня, и сказал что хочет видеть Артура. Артур все время думал, что дверь открыта и орал “Закрой эту дверь!”. Тогда я пошел на верх и сказал, что тот человек сказал, а Артур спустился. Мы узнали, что у его ребенка корь… и после всего мы получили от них шесть пенсов”.

Иннес, конечно, отлично понимал, что они с братом нуждаются, и порой не мог скрыть своих чувств. Однажды, распахнув дверь перед пациентом, он радостно закричал Артуру, который был наверху: “Ура! Опять младенец больной!”

Денег было в обрез, и доктор Дойл нередко наведывался к местному ростовщику, чтобы заложить свои часы. С торговцами он установил бартер: они ему продукты, он им свои услуги. Особенно часто к нему обращался бакалейщик, страдавший эпилепсией, так что сахар и чай в доме не переводились. Такова уж парадоксальность профессии: если врач хорошо лечит больных, ему нечего есть. Поэтому, когда бакалейщик чувствовал себя хорошо, братья сидели на сухарях и копченой колбасе, а когда плохо — ели хлеб с маслом и ветчиной. Артур кое-чему научился у Бадда, и, когда у его дверей в ноябре 1882 года произошел несчастный случай, он отправил Иннеса дать такое объявление в “Вечерние новости”: “Происшествие, которое могло иметь самые печальные последствия, произошло сегодня днем на Элм-гроув. М-р Робинсон, проживающий на Виктория-роуд, ехал верхом на лошади мимо гостиницы “Буш”, как вдруг стременной ремень оборвался и он упал на землю. Лошадь испугалась, встала на дыбы, а затем рухнула, придавив наездника. Соседи высвободили его и тут же отнесли к доктору Конан Дойлу в “Виллу в кустарнике”, расположенную по соседству. Врач тщательно осмотрел пострадавшего, оказал ему первую помощь, и теперь жизни м-ра Робинсона ничто не угрожает”.

Лондонские родственники Артура не настолько разочаровались в нем, чтобы совсем прервать отношения, и пытались как-то помочь начинающему врачу. Дядя Дик прислал ему рекомендательное письмо к католическому епископу Портсмута, указывая, что в этом городе нет ни одного врача-католика, но Дойл по-прежнему не желал их опеки и сжег письмо. Медленно, очень медленно, но пациенты все же пошли. “Поначалу это были случайные посетители, по большей части совсем бедные. Одни жаждали новизны, другие разочаровались в прежнем лечении, а большинство задолжали своим врачам столько, что не смели больше к ним обращаться, и приходили за лекарством. Благодаря им мне было, на что купить еды”.

Сидя в ожидании больных, Дойл начал писать. Он продал рассказ “Тайна замка Горсторп-Грэйндж” своему покровителю Джеймсу Хоггу в журнал “Ландон сосайети” за 10 фунтов, что равнялось трехмесячной плате за жилье. А в конце года “Темпл бар” заплатил ему 10 гиней, то есть 10 фунтов 10 шиллингов за “Капитана “Полярной звезды””. Этот рассказ написан в форме дневника, который ведет молодой судовой врач. Дело происходит в Арктике, и кораблю грозит вполне реальная опасность быть затертым во льдах. Но ропот матросов вызывает не только нежелание капитана поскорей отправиться обратно в Англию, но и странные, мистические происшествия, связанные, как они полагают, именно с ним. То и дело в ночи раздаются леденящие душу вопли, многие матросы видят бестелесную женскую фигуру за бортом… В результате капитан сходит на лед, устремившись навстречу таинственному привидению, каковое, судя по всему, было его трагически погибшей возлюбленной, и замерзает. После смерти капитана корабль благополучно выбрался на чистую воду, а рассказчик почти уверовал в то, что духи существуют.

Это была первая попытка Дойла обратиться к теме сверхъестественного “всерьез”, а также

первый рассказ, где он воспользовался впечатлениями от похода в Арктику. Своим произведением он явно был доволен, о чем говорит тот факт, что первый его сборник, вышедший в 1890 году, называется “Капитан “Полярной звезды””.

Дойлу повезло. В то время, в позднюю Викторианскую эпоху, журналы процветали, и редакторы активно искали новых авторов. Его рассказы печатались в “Листке для мальчиков”, в “Весь год напролет” (основанном Ч. Диккенсом), в “Добром слове”. В “Жизни и смерти в крови”, раннем рассказе научно-популярного жанра, напечатанном в “Добром слове”, Дойл описывал путешествие крошечного — в одну тысячную дюйма — человечка по кровеносным сосудам.

Однако, несмотря на некоторый успех, он все же чаще получал отказы от издателей и пока еще не помышлял посвятить себя целиком писательскому труду. Он радовался, что рассказы помогают хоть как-то сводить концы с концами, без этого приработка он бы совсем пропал.

Заполняя налоговую декларацию за 1882 год, он указал в графе “доходы” 154 фунта, что означало — налогов он платить не должен. Недоверчивый инспектор пометил на полях: “в высшей степени неудовлетворительно” — и отправил бумагу обратно. Посылая ее инспектору вновь, Дойл не удержался от юмористической приписки “полностью согласен”. Затем последовала проверка его счетов, каковая не выявила никаких побочных доходов, и декларация была благополучно принята.

Наконец в начале 1883 года дела существенно улучшились, и Дойл смог нанять прислугу. Наконец он был избавлен от необходимости готовить и прибираться, а также разжигать камин, что он считал “самой прискорбной мужской работой”. Эта особа оказалась настоящей драгоценностью: она мгновенно разобралась, что к чему, и убедительно втолковывала пациентам, что “доктор очень, очень занят, но он, конечно, постарается вас принять”. А благодаря подаркам матери и тетушки Аннет “Вилла в кустарнике” начала все-таки походить на жилище преуспевающего врача. На столике в холле красовался бюст его деда Джона Дойла, лестницу на второй этаж устилал новый ковер, а на полу лежали коврики в африканском стиле. В приемном кабинете все стены были увешаны картинами (в том числе — работами его несчастного отца), а в вазах, которых было одиннадцать штук, стояли цветы.

Очевидно, Артур иногда переписывался с отцом. На письме к матери, где он упоминает, что получил от него несколько миниатюр, Дойл приписал сверху: “Папа, кажется, вполне доволен своей судьбой”. Он также говорит, что отдал окантовать его рисунки, и они с прислугой развесили их в гостиной, после добавляет, что поблагодарил отца за эти работы. Ну а то, что Чарльз Дойл был “доволен” своей участью, дальнейшие события, как мы знаем, не подтвердили.

Вскоре Артур понял — сидеть и ждать, пока пациенты сами к нему придут, неразумно, надо общаться с людьми и заводить знакомства. Он вошел в светский круг Саутси через спорт: с присущей ему энергией стал разом и членом портсмутского клуба по боулингу, и крикетного клуба, где очень быстро сделался капитаном лучшей команды. Кроме того, он помог основать местный футбольный клуб, в котором был то вратарем, то защитником, но играл под именем А.К. Смит, поскольку в то время футбол был занятием не для джентльменов; впрочем, это очень мало его заботило.

Зато членство в Литературно-научном обществе Портсмута вполне соответствовало его статусу. Собрания проходили раз в две недели по вторникам, членами общества были люди состоятельные, разных профессий, но все интересующиеся наукой и культурой. Президент общества генерал-майор Альфред У. Дрейсон был автором ряда работ по астрономии, десятка статей в “Листке для мальчиков” и “Журнале для каждого мальчика”, а также завзятым приверженцем спиритуализма. Впоследствии именно он способствовал приобщению Дойла к мистицизму.

Здесь Артур учился выступать на публике, хотя поначалу так нервничал, что буквально колени дрожали. Он делал доклады о знаменитых писателях, в частности об Эдварде Гиббоне и Джордже Мередите, а также своем любимом герое, шотландском историке и философе Томасе Карлейле. 4 декабря 1883 года на лекцию Дойла об арктических морях в лекторий на Пенни-стрит пришли двести пятьдесят человек. В качестве наглядных пособий он использовал чучела животных, позаимствованные у местного таксидермиста, но большая часть публики была уверена, что доктор застрелил их сам; он не стал разочаровывать слушателей, а потому приобрел в Портсмуте славу удалого охотника.

В том же году к Конан Дойлу пришел первый настоящий литературный успех: престижный журнал “Корнхилл”, в котором одно время редактором был У. Теккерей, опубликовал его

рассказ “Сообщение Хебекука Джефсона”, правда, на условиях анонимности, ибо такова была политика этого издания. После публикации Артур написал матери, что, похоже, он уже не “наемный писака”, а кое-кто посерьезнее. Ему заплатили 29 гиней, что позволило покрыть почти всю годовую плату за жилье. Кроме того, рассказ вызвал изрядную полемику, весьма позабавившую автора. Сюжет был основан на реальных событиях: одиннадцатью годами ранее у берегов Португалии была обнаружена двухмачтовая бригантина “Мария Селеста”, которая дрейфовала, никем не управляемая, — на борту не было ни единого человека. Согласно художественной версии Дойла, бригантина была захвачена группой бандитов; они расправились с экипажем и пассажирами, добрались до берегов Африки и бросили корабль на волю волн.

Изложение было настолько убедительно и продумано, что многие решили, будто это настоящее расследование. Оно вызвало публичные протесты, и среди прочих — консула США в Гибралтаре, который негодовал, почему журнал публикует возмутительные, непроверенные факты, и требовал выяснить, из каких источников они получены.

Резонанс был столь велик, что Фредерик Солли Флуд, британский королевский генеральный прокурор Гибралтара, занимавшийся в свое время делом “Марии Селесты”, был вынужден официально признать, что “вся эта история выдумана от начала до конца”. Завершалось его заявление фразой, совсем сбившей публику с толку: “Мнение м-ра Джефсона может сильно навредить отношениям Англии с иностранными государствами”.

Дойлу польстило, что его вымысел был принят за чистую монету, а еще больше польстило ему сравнение с Эдгаром По и предположение, что автором рассказа мог быть P.JI. Стивенсон — его “Остров сокровищ” стал настоящей сенсацией прошлого года, а сам Стивенсон при этом был одним из постоянных авторов “Корнхилла”.

Окрыленный успехом, Конан Дойл отослал в журнал еще несколько вещей. Все они были отвергнуты, но это ничуть не поколебало его уверенности в своих талантах, и он был крайне возмущен, когда награду за лучший рождественский рассказ, обещанную журналом “Тит-Битс”, присудили не ему. Награда была очень заманчивая — дом за 400 фунтов. Помимо того что дом исключительно пригодился бы начинающему доктору, он искренне полагал, что победа досталась рассказу куда более слабому, чем его собственный. Недолго думая, он отправил редактору письмо, где предлагал пари: оба рассказа они отдают на суд независимого эксперта, например редактора “Корнхилла”, и, если тот сочтет, что рассказ Дойла лучше, “Тит-Битс” платит ему 25 фунтов, если нет, платит Дойл. Ответа на это предложение он не получил.

С Джеймсом Пейном, редактором “Корнхилла”, Дойл познакомился на обеде в “Корабельной гостинице” в Гринвиче, куда его пригласили устроители. “Там были все авторы и все художники, и, помнится, я с огромным почтением обращался к Джеймсу Пейну — он был для меня стражем, охраняющим священные врата. Я пришел рано, был встречен м-ром Смитом, главой издательства, и он представил меня Пейну. Мне нравились его романы, и я с благоговением ждал первых слов, которые слетят с его уст. И что же? — он заметил трещину на оконном стекле и поинтересовался, какого дьявола у них разбито стекло”.

Пейна порой называли “отцом” молодых писателей. Он всегда был добр и внимателен к Дойлу, а тот не скрывал своей благодарности: “М-р Джеймс Пейн тратил немало своего драгоценного времени, поддерживая меня в моих начинаниях. Я знал, что он исключительно занятой человек, и неизменно отвечал с искренней признательностью на его письма — остроумные, добрые, написанные абсолютно неразборчивым почерком”.

Что касается сердечных дел, то на какое-то время Артур увлекся темноглазой ирландкой по имени Элмор Уэлден, с которой познакомился летом 1881 года в Лисморе, где гостил у родственников. “Бог ты мой, какая красавица! Всю неделю мы флиртовали напропалую…” Он признавал, что характер у мисс Уэлден — Артур звал ее Элмо — довольно тяжелый, но все же она сумела задеть нежные струны его души, и они довольно часто встречались: она переехала из Ирландии на остров Уайт, недалеко от Портсмута. Был момент, когда Артур всерьез вознамерился жениться и писал матери: “Она сногсшибательна, я очень ею увлечен”. Кроме того, ей должно было достаться наследство в тысячу пятьсот фунтов от престарелой тетки, каковая, впрочем, не выказывала ни малейшего намерения умирать. “Вот если бы Элмо могла свободно распоряжаться деньгами! Эти средства помогли бы расширить мою практику”. Летом 1882-го он ездил с Элмо в Лондон, они посетили театр, и он познакомил девушку с тетей Аннет. Однако молодые люди часто ссорились и вскоре расстались.

Если сердце Артура и было разбито, то он никому об этом не говорил и в письме к Лотти всячески подчеркивал, что ведет жизнь веселого холостяка: “На днях был на балу. Имел несчастье напиться как сыч и совершенно осовел. Смутно помню, что сделал предложение половине присутствовавших дам — и замужних, и одиноких. На другой день получил письмо, подписанное “Руби”: она уверяет, что ответила “да”, хотя имела в виду “нет”; при этом черт ее знает, кто она такая и о чем вообще идет речь”.

Впрочем, очень может быть, что Артур выдумал всю эту историю, чтобы позабавить сестру. Он очень внимательно относился к своей репутации и первые годы в Саутси вел себя как подобает молодому респектабельному врачу, понимая, что от этого зависит его положение в обществе, и, возможно, памятуя о печальном примере отца. Он много помогал бедным, с большим состраданием относился к их болезням и несчастьям, а потому вскоре о нем составилось мнение как о трудолюбивом, профессиональном и добром человеке, что, впрочем, никак не мешало ему проявлять замечательное чувство юмора. Он смешно описывает одну из своих пациенток, величавую престарелую даму, которая проводила дни, с высокомерным презрением наблюдая за соседями, пока — примерно раз в два месяца — не напивалась и не впадала в неистовство и тогда метала из окна тарелки, целясь прохожим в головы. Доктор Дойл был единственный, кто мог утихомирить ее: завидев суровое выражение в его глазах, когда он еще только входил в калитку, она обычно успокаивалась. В благодарность за заботу старуха настойчиво всучала доктору подарки — у нее имелась обширная коллекция китайского фарфора, и он “покидал ее дом, нагруженный, словно наполеоновский генерал после похода на Италию”. Но едва наступало отрезвление, как к Дойлу являлся посыльный с требованием вернуть дары. Впрочем, однажды, “когда она была особенно невыносима, я удержал у себя замечательный кувшин, несмотря на все ее протесты”.

Подводя итоги второго года медицинской практики в Портсмуте, Дойл обнаружил, что заработал 250 фунтов, куда больше, чем за первый год. Кроме того он радовался, что его стали печатать и что это приносит дополнительный доход, но, подобно большинству начинающих писателей, мечтал создать полноценный роман. Первая попытка завершилась неудачей: “История Джона Смита”, написанная в Саутси, затерялась на почте, не дойдя до издателя. (Четыре тетради оригинала, исписанные Дойлом от руки, всплыли на аукционе “Кристи” в 2004 году.) Рассказ идет от лица Джона Смита, который вынужден провести шесть дней, никуда не выходя из своих меблированных комнат, — у него разыгрался приступ ревматической подагры (“двойное мучение… сочетание симптомов обеих болезней”). Повествование изобилует длинными отступлениями в историю, религию, философию, медицину, музыку и прогнозами о судьбах Китая, Британии и США. Это было очень личностное изложение воззрений самого Дойла, и позднее он признавал, что ему было бы стыдно, будь роман опубликован: “Печаль по поводу его утраты нельзя даже сравнить с тем ужасом, который я бы испытал, объявись он вдруг в печати”.

Сочетать работу врача и писателя было непросто, в чем потом Конан Дойл признался в интервью “Американскому журналу”: “Как часто я радовался, что впереди свободное утро, и садился за стол, понимая, сколь драгоценны эти утренние часы покоя. Но тут является домоправительница:

— Там пришел сынишка миссис Терстоун, доктор.

— Впустите его, — говорю я, пытаясь запомнить сцену, которую только что придумал, чтобы вернуться к ней, когда проблема разрешится.

… — Итак, друг мой?

— Пожалуйста, доктор, скажите: мама вот спрашивает, это лекарство надо запивать водой?

— Непременно, непременно.

Не то чтобы это имело хоть какое-то значение, но отвечать надо твердо и однозначно. Мальчишка уходит, сцена уже наполовину готова, как он вдруг врывается снова:

— Пожалуйста, доктор! Мама уже съела лекарство без воды, когда я вернулся!

— Так, так. Ну, это совершенно не важно.

Юный джентльмен удаляется, бросив на меня подозрительный взгляд, и вскоре я почти заканчиваю очередной параграф. Приходит муж.

— Похоже, мы никак не разберемся с этим лекарством, — холодно изрекает он.

— Все в порядке. На самом деле не играет роли — принимать его с водой или без.

— Тогда зачем же вы сказали ребенку, что надо — с водой?

Я пытаюсь разъяснить, в чем дело, но муж качает головой и смотрит на меня угрюмо.

— Она теперь себя как-то не так чувствует, и нам всем будет спокойнее на душе, если кто-нибудь придет и осмотрит ее.

И я бросаю свою героиню в четырех футах от несущегося на нее поезда, и грустно тащусь к пациентке, с горьким чувством, что еще одно утро пропало и еще один грубый шов на ткани моей несчастной повести бросится в глаза литературному критику, если он когда-нибудь ее вообще увидит".

В 1885 году медицинская деятельность привела Дойла к совершенно неожиданному результату. В марте доктор Уильям Ройстон Пайк, партнер по игре в кегли, пригласил его в качестве консультанта к тяжелобольному юноше, недавно приехавшему в Саутси из Глостершира вместе с сестрой Луизой и вдовой матерью миссис Эмили Хоукинс. Придя, Дойл сразу понял, позвали его, лишь чтобы оказать любезность семье — у Джона Хоукинса был церебральный менингит, и жить ему оставалось совсем недолго. Луиза стояла у постели больного с глазами, полными слез, а его мать спросила у Дойла, не возьмется ли он ухаживать за ним. Юноша был слишком плох, чтобы оставаться в меблированных комнатах, а от больниц в те годы, когда антибиотики еще не были открыты, следовало держаться подальше.

Конан Дойл согласился и, вернувшись на "Виллу в кустарнике", попросил домоправительницу немедленно приготовить комнату. Джон Хоукинс прожил у него несколько дней и скончался 25 марта, в возрасте двадцати пяти лет. Накануне его осматривал доктор Пайк, который был уверен, что его коллега сделал абсолютно все возможное. Его заключение позволило избежать расследования и неприятных сплетен; и без того выносить покойника из дома врача — не лучшая реклама.

После похорон Дойл попросил разрешения видеться с Луизой, поскольку она нуждалась в дружеском утешении. Она сопровождала Артура на вечерних прогулках и как завороженная внимала его рассказам о странствиях и приключениях. Мэри Дойл навестила сына, познакомилась с Луизой и одобрила его выбор. В апреле они обручились. Почему их роман развивался столь стремительно — почти неприлично для неспешной Викторианской эпохи, так и осталось неясным. В воспоминаниях Дойл пишет лишь, что мать и дочь Хоукинс "искренно переживали, что невольно причинили мне определенные неудобства, и вскоре наши отношения стали теплыми и близкими, и в итоге дочь согласилась разделить со мной мою судьбу".

Луизе, которую в семье звали Туи, было двадцать семь лет, почти на два года больше, чем Артуру. Круглолицая брюнетка с вьющимися волосами и серо-зелеными глазами, она была мягкой и добросердечной. Как и все воспитанные молодые дамы, хорошо играла на пианино и отлично вышивала. Родилась она в деревушке Дикстон, неподалеку от Монмута, в 1857 году, была шестой, самой младшей дочерью Джереми Хоукинса, землевладельца, занимавшегося фермерством.

За май — июнь Конан Дойл умудрился — параллельно ухаживая за Туи, принимая больных и внося правку в "Торговый дом Гердлстон", — написать докторскую диссертацию. Называлась она так: "Вазомоторные изменения при сухотке спинного мозга и воздействие этого заболевания на симпатические связи нервной системы". В июле он приехал в Эдинбург на защиту и получил докторскую степень.

Некоторые биографы несправедливо утверждают, будто Конан Дойл обратился к литературе, потому что не слишком преуспел в медицине, но это ничем не подтверждается. В своей диссертации — она хранится в библиотеке Эдинбургского университета — Дойл настаивал на том, что сифилис играет немалую роль в этиологии сухотки спинного мозга. В то время эта идея была непопулярна и имела мало сторонников, но в конечном итоге оказалась верной. Кроме того, диссертация, что неудивительно, выдает пристрастие автора к изящной словесности: "… и больной наконец осознает — демон, одолевший его, ни за что не ослабит свою хватку, и долгие годы мучений предстоят ему, прежде чем тень смерти встанет у его постели".

За год до того он отослал в журнал "Ланцет" эссе, где описывал семью своих пациентов, на протяжении трех поколений подряд страдавших подагрой, и высказывал предположение, что она была причиной их побочных заболеваний, таких как псориаз и глаукома — идея, которая также подтвердилась лишь много лет спустя.

Он был сторонником обязательной вакцинации солдат, в частности от оспы и брюшного тифа, и предсказывал, что “дети его детей” доживут до тех времен, когда вирусные инфекции удастся если не побороть, то существенно ограничить. В самых резких выражениях он требовал вернуть “Закон о заразных болезнях”, позволявший властям в принудительном порядке обследовать женщин, подозреваемых в том, что у них венерические заболевания, — его действие было приостановлено в апреле 1883-го, ведь закон — о, ужас! — нарушал права человека.

Дойл написал язвительно-злое письмо в “Медикал тайме” против “защитников невинных шлюх” и конкретно — против безнаказанности проституток Портсмута, завлекавших моряков и солдат. “Думаю, что, если незадачливый служака, вернувшись после долгих лет на родную землю, не сумеет воспротивиться их обольщениям и приобретет болезнь, которой потом наградит еще и своих детей, основная вина будет вовсе не на нем. Она ляжет на тех истеричных законодателей, что позволяют носителям заразы свободно распространять ее, а также на их сторонников и на все общество. Ибо ложная деликатность пагубна там, где неуместна вообще какая бы то ни было деликатность. Ведь она поощряет страшное зло, страдания мужчин, смерть детей и муки чистых, ни в чем не повинных женщин. Расплывчатые идеи свободы и представления о морали могут увлечь поверхностного неофита, но, право же, если называть вещи своими именами, здесь речь идет об общественном бедствии, и любому здравомыслящему человеку ясно, что закон надо восстановить немедленно”.

Несомненно, симпатии Дойла целиком на стороне солдат и матросов, и права “шлюх” ничуть не интересуют его. Впрочем, он отнюдь не был женоненавистником и впоследствии всячески поддерживал реформу закона о разводе.

Вообще, он всю жизнь много и активно выступал в печати по самым разнообразным поводам, а кроме того, вел обширную переписку со школьными и университетскими приятелями, с друзьями семьи, с братом и сестрами, а в особенности с матерью — ей он с неизменной нежностью писал не реже раза в неделю, называя ее “лучшая из мам” или “любимая моя мама”, и держал ее в курсе всех дел, малейших изменений в жизни, а также своих надежд и тревог. “Ваше письмо помогло мне, — пишет он из “Виллы в кустарнике”, — думаю, что, будь у меня жена, которая так же могла бы поддерживать и вдохновлять меня, я сам стал бы лучше. Иногда я очень самонадеян, а иногда неуверен в себе. Я знаю, что умею писать занимательные короткие истории, но мне хочется попробовать себя в вещах большого объема. Сумею ли держать сюжет, сохранять напряжение и развивать характеры — вот что меня волнует…”

В мае 1885 года вскоре после помолвки Дойл получил печальную весть — после припадка ярости его отца официально признали невменяемым и поместили в королевский приют для душевнобольных в Монтроузе.

Нет никаких свидетельств, что кто-либо из родственников навещал Чарльза Дойла в приюте. В довольно-таки красноречивом письме к матери, где он извиняется, что не смог приехать в Йоркшир, потому что участвовал в крикетном матче, Артур добавляет: “И я наконец увижу ваше дорогое лицо, а помимо этого нет ничего, что могло бы увлечь меня на север…” Похоже, единственный человек, кто тревожился о Чарльзе, была Аннет — предчувствуя скорую смерть, она завещала все свои скудные сбережения “на нужды и во благо” отца.

Состояние отца никак не повлияло на планы Артура. 6 августа 1885 года Артур Конан Дойл и Луиза Хоукинс обвенчались в приходской церкви рядом с Мезонгиллом, где теперь жила Мэри. Брайан Уоллер был посаженым отцом невесты, и Дойл никак не комментировал тот факт, что он играл роль хозяина. Мать хотела, чтобы церемония проходила именно таким образом, и он не стал ей перечить. Официально Хоукинсы были в трауре, гостей позвали совсем мало, только мать невесты, Иннеса, Конни и Уоллера с его матерью. В брачном свидетельстве отцом жениха назван “Чарльз Дойл, художник”.

Медовый месяц молодожены провели в Дублине. С присущей ему практичностью Артур совместил его с крикетными матчами, в которых играл за “Бродяг из Стоунихерста”: в команде было много его школьных друзей. Затем супруги вернулись на “Виллу в кустарнике”, а Иннес уехал учиться в Йоркшир, в школу “Ричмонд”. Вероятно, отправить мальчика туда предложил Уоллер, поскольку это была его альма-матер.

Энергичный и деятельный, Артур продолжал заниматься спортом, летом играл в крикет, а зимой в футбол. “Вечерние известия” Портсмута писали, что “он один из самых надежных защитников ассоциации Гэмпшира”. Туи же посвятила себя заботам о муже.

С финансовой точки зрения Дойлу тоже стало легче: у жены был собственный доход — 100

фунтов в год, доставшиеся ей в наследство от отца. Практика приносила ему теперь 300 фунтов (выше этой суммы он не поднялся), и он беспрерывно писал рассказы, получая в среднем около четырех фунтов за каждый. “Женившись, — пишет он, — я, похоже, стал мыслить живее, и моя фантазия, а равно и стиль сильно окрепли”.

Он работал с огромной энергией, его записные книжки пестрят идеями рассказов, цитатами, комментариями, анекдотами и эпиграммами. Но Дойл по-прежнему жаждал добиться успеха как романист: “Год спустя после свадьбы… я понимаю, что могу писать рассказы до бесконечности и так ничего и не добиться”.

В конце января 1886 года он закончил работать над “Торговым домом Гердлстон” и отослал рукопись издателю, от которого вскоре получил ее обратно с отказом. Он не слишком удивился: “В свое время этот роман очень меня занимал, но, кажется, кроме меня, он был никому не интересен”. Роман и впрямь запутанный, перенасыщенный университетскими воспоминаниями, и оживляет его лишь присущий Дойлу талант остроумного наблюдателя, что видно, например, по описанию танцоров на балу: “Лица их имели то болезненное, встревоженное выражение, какое вообще характерно для британцев, когда они танцуют: создавалось впечатление, что ноги их ринулись в пляс неожиданно для остального тела и решительно вопреки его воле”.

Дойл отослал роман другому издателю, и в марте получил еще один отказ. В этот момент он уже начал работать над новой вещью. “Я чувствовал, что могу сделать нечто свежее, бодрое и более искусное. Габорио привлекал меня своими складными, логичными сюжетами, а герой По, замечательный сыщик Дюпен, с детства был моим кумиром. Но смогу ли я добавить что-нибудь свое? И тогда мне вспомнился мой учитель Джо Белл, его орлиный профиль, странные манеры, поразительная наблюдательность. Будь он сыщиком, так уж наверняка поставил бы это захватывающее, но плохо организованное дело на научную основу…”

Дойл решил, что его героя будут звать Шерлок Холмс и преступления он будет раскрывать исключительно с помощью дедукции, а вовсе не благодаря удачному стечению обстоятельств, как было принято, — ибо “это нечестная игра”.

Повесть не отняла много времени, и уже в апреле Туи сообщала Лотти: “Артур написал еще одну книгу, небольшую, примерно на двести страниц, называется “Этюд в багровых тонах”. Он закончил ее вчера вечером. О “Гердлстоне” пока ничего не слышно, но мы надеемся, что отсутствие новостей — хорошие новости. Думаем, что “Этюд в багровых тонах”, возможно, найдет дорогу в печать быстрее, чем его старший брат”.

Однако “Этюд…” был опубликован лишь полтора года спустя. Мир должен был еще немного подождать, прежде чем ему представили гениального Шерлока Холмса.

Глава 6

Входит Шерлок Холмс

ПОЯВЛЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПОЛИЦИИ — а полиция Большого Лондона была основана в 1828 году — неизбежно должно было превратить сыщика в популярного литературного героя. Прежние рассказы о “настоящих преступлениях” из Ньюгейтского календаря — в конце XVIII века так назывались ежемесячные отчеты о казнях и экзекуциях, предоставляемые смотрителем Ньюгейтской тюрьмы, — вызывали лишь сочувствие к преступникам. Но рост насилия в больших городах привел к тому, что симпатии переменились и были теперь уже на стороне тех, кто ловил этих преступников. В Викторианскую эпоху именно страж порядка, а не злоумышленник стал объектом восхищения читающей публики. Ее ненасытный интерес ко всякого рода преступлениям и тайнам в первой половине XIX века сделался так велик, что издатели поставили на поток выпуск сенсационных историй — низкопробных поделок, которые прозвали “бульварной дешевкой”.

Реальные, действующие полицейские сочли, что глупо отдавать славу вымышленным коллегам, а прибыль — предприимчивым писакам, и вовсю печатали свои воспоминания. Одним из первых был выдающийся аванюрист Франсуа Эжен Видок.

Родился он в 1775 году во французском городе Аррасе, в семье пекаря. Если верить его сильно приукрашенной биографии, то он был солдатом действующей армии, акробатом, контрабандистом и вором, пока в 1796 году его не приговорили к восьми годам исправительных работ за подлог. Он сумел бежать из Брестской тюрьмы, примкнул к банде грабителей, нападавших на английские суда, а затем стал полицейским осведомителем, беззастенчиво предавая своих преступных собратьев. Власти так высоко ценили его услуги, что в 1812 году в парижской полиции были создано подразделение Сюрте (то есть “безопасность”), каковое Видок и возглавил. Он и здесь проявил себя как человек деятельный и талантливый: создал картотеку преступников, мастерски менял внешность и первым стал делать гипсовые слепки следов. Но в 52 года Видоку пришлось уйти в отставку — его подозревали в организации целого ряда ограблений, которые расследовало его же подразделение.

Нимало этим не обескураженный, он нанял двоих литературных поденщиков и с их помощью сочинил автобиографию. Она тут же стала бестселлером. “Правдивые мемуары Видока” вышли в четырех томах в 1828–1829 годах и имели громадный успех, во многом потому, что поденщики пользовались полной свободой и дали волю воображению — месье Видок с галльским пренебрежением относился к скучной правде, он жаждал лишь одного: выглядеть настоящей полицейской ищейкой с изумительным чутьем и талантом следователя. Вот как он описывает свои действия в качестве шпиона полиции: “Я бывал во всех домах дурной репутации и наведывался во все притоны, под разными обличьями, что придавало мне вид человека, опасающегося слежки. И постепенно эта быстрая перемена нарядов и внешности убедила воров, бродяг и прочих мерзавцев всех мастей, которых я встречал ежедневно, что я — один из них”.

Успех мемуаров Видока породил множество британских подражаний: “Сцены из жизни полицейских с Боу-стрит”, “Воспоминания агента сыскной полиции”, “Приключения настоящего полицейского” и массу прочих.

Детективные романы считались низким жанром, пока в 1841 году в “Убийстве на улице Морг” Эдгар Аллан По не явил миру своего Огюста Дюпена, расследовавшего преступление при помощи “аналитического дарования”. Загадочный, эксцентричный Дюпен был высокообразованным интеллектуалом, знал латынь и греческий, точные науки; ему не было равных в искусстве наблюдать и делать выводы, и он стал первым литературным героем, прибегшим к методу дедукции. Отныне блестящее образование, знания, холодная объективность, граничащая с бездушием “мыслящей машины”, станут неизменными чертами детектива-джентльмена.

В “гимнах рациональности”, каковыми являются криминальные истории По, разработаны все основные приемы классического детектива: блестящий, харизматичный главный герой, его близкий друг и помощник, неповоротливая полиция, загадочное преступление, ложно обвиненный подозреваемый, поддельные улики и в финале разоблачение истинного злоумышленника и торжество справедливости. Сюжет “Убийства на улице Морг” стал лекалом, по которому были скроены сотни детективных рассказов. Сначала описывается преступление, затем на сцену выходит Дюпен и обнаруживает улики, не замеченные его менее наблюдательным напарником. Затем в дело вступает полиция, но в итоге именно Дюпен раскрывает дело. Попутно он излагает ход своих мыслей и удивляется тупости полицейских,

которые “впали в грубую, хоть и весьма распространенную, ошибку, смешав необычайное с необъяснимым. А ведь именно отклонение от простого и обычного освещает дорогу разуму в поисках истины. В таком расследовании, как наше с вами, надо спрашивать не “что случилось?”, а “что случилось такого, чего еще никогда не бывало?”.

Молодой французский автор Эмиль Габорио, восторженный поклонник По, пошел по его стопам и придумал инспектора Лекока, в котором видны черты Видока. Габорио очень способствовал популярности жанра и был мастером напряженной интриги. Подобно Дюпену и Холмсу Лекок отличался острой наблюдательностью, но, в отличие от этих господ, был частью полицейской системы, то есть профессионалом, а не любителем. Его умение воссоздать портрет преступника по крупицам улик, не замеченных простыми смертными, было революционным для детективной литературы и, несомненно, сильно повлияло на Конан Дойла.

Первым британским сыщиком стал инспектор Баккет, персонаж романа Ч. Диккенса “Холодный дом” (1852). Он не мог состязаться с Дюпеном по части интеллектуальной — Баккет больше работал ногами. Своего героя Диккенс срисовал с реального инспектора Чарльза Филда, служившего в Лондонской сыскной полиции, — за год до выхода романа он опубликовал о нем очерк в своем журнале “Домашнее чтение”.

Протеже Диккенса Уилки Коллинз прославился в 1860 году своим первым романом “Женщина в белом”; в “Лунном камне” (1868), про который Т.С. Элиот писал, что это “самый первый, самый длинный и самый лучший английский детектив”, были заложены архетипические принципы детектива двадцатого века: ограбление загородного поместья, узкий круг подозреваемых, недееспособная местная полиция, выдающийся сыщик, ложные версии, реконструкция преступления и в финале — неожиданный поворот.

В 1870–1880 годах книжный рынок наводнили второсортные поделки, рассчитанные на малообразованных читателей, в основном из лондонских низов. Примитивные сюжеты, дурацкие ошибки преступников и непонятно откуда вдруг взявшиеся улики — таковы были их характерные черты.

Но на пороге уже стоял гениальный Шерлок Холмс, виртуоз научного анализа, чьими умозаключениями читатель мог восхищаться на протяжении всего расследования.

Дойл начал повесть в марте 1886-го, и через полтора месяца она была закончена. Поначалу она называлась “Запутанный клубок”, и фигурировали в ней “молодой человек с сонным взглядом”, которого звали Шеридан Хоуп, а затем Шеррингфорд Холмс, и его приятель Ормонд Саккер, но в окончательной редакции они превратились в Шерлока Холмса и его преданного помощника доктора Джона Ватсона.

В мировом сообществе почитателей Конан Дойла, называющих себя “шерлокианцами”, велись долгие споры по поводу происхождения этих имен. В итоге сошлись на том, что фамилию Холмс Дойл позаимствовал у Оливера Венделла Холмса, писателя, которым он искренне восхищался. Что касается имени, то, возможно, оно составлено из фамилий двух ноттинггемпширских игроков в крикет, знаменитых в 1880-х годы: Т.Ф. Шеклока и М. Шервина; впрочем, в Стоунихерсте у Артура был одноклассник Патрик Шерлок, а в “Истории Англии” Маколея — любимой книге Конан Дойла — упоминается Вильям Шерлок. Одного из членов Литературнонаучного общества Портсмута звали Джеймс Ватсон (хотя не исключено, что Дойл познакомился с ним уже после того, как написал “Этюд в багровых тонах”), а среди ассистентов Джо Белла был доктор Патрик Херон Ватсон.

Изначально “Этюд в багровых тонах” не вызвал у издателей большого интереса. Сначала его отверг “Корнхилл”: Пейн сказал, что вещь “мощная”, но слишком длинная для одного номера и слишком короткая, чтобы печатать ее с продолжениями. К тому же он счел, что она сделана в духе “бульварной дешевки”. Эрроусмит из “Бристоля” вернул повесть не читая, и так же поступили в издательстве “Фред Уорн и К°”. “Мой бедный “Этюд”, — писал матери расстроенный Дойл, — никто, кроме Пейна, даже и не прочел. Раскрыть раковину настоящей литературы и извлечь оттуда устрицу нелегко. Со временем, однако, все наладится”.

Его уверенность оправдалась. 30 октября 1886 года издательство “Уорд, Локк и К°” предложило Дойлу 25 фунтов за авторские права на повесть, правда, с условием, что опубликована она будет в следующем году, “поскольку сейчас рынок заполнен дешевой литературой”. Вероятно, отсрочка огорчила автора меньше, чем мизерный гонорар и нелестное определение, и он попросил проценты с тиража. В письме от 2 ноября “Уорд, Локк и К°” вежливо отказались, сославшись на то, что “Этюд” вместе с рассказами других сочинителей войдет в ежегодный сборник, и они не могут заплатить проценты только ему —

это “неудобно” по отношению к остальным. Других предложений не было, и пришлось согласиться. “Больше я от них никогда не получил ни пенни”, — мрачно вспоминает он в автобиографии.

Примерно в это же время его попросили сделать перевод с немецкого для бюллетеня “Газ и водопровод”, где вскоре и вышла статья под заголовком “Проверка газовых и водопроводных труб на предмет протечки”. Дойл шутил, что это была поворотная точка в его писательской карьере — впервые журнал нуждался в его услугах, а не наоборот.

В “Этюде в багровых тонах” Холмс знакомится с Ватсоном. Их представил друг другу общий знакомый, и они условились вместе снимать жилье по адресу, который стал, наверное, самым знаменитым в английской литературе: Бейкер-стрит, 221-б. “В квартире было две удобные спальни и просторная, светлая, уютно обставленная гостиная с двумя большими окнами. Комнаты нам пришлись по вкусу, а плата, поделенная на двоих, оказалась такой небольшой, что мы тут же договорились о найме и немедленно вступили во владение квартирой”.

Так было положено начало долгой нерушимой дружбе, притом что трудно представить себе людей более разных, чем эта пара. Знающий себе цену женоненавистник, холодный расчетливый аскет Холмс и сердечный, простодушный Ватсон, питающий слабость к игре и хорошеньким женщинам, полностью подпавший под влияние своего блестящего товарища. Холмс, безусловно, незаурядный человек: “Видите ли, — говорит он, — мне представляется, что человеческий мозг похож на маленький пустой чердак, который вы можете обставить, как хотите. Дурак натащит туда всякой рухляди, какая попадется под руку, и полезные, нужные вещи уже некуда будет всунуть, или в лучшем случае до них среди всей этой завали и не докопаешься.

А человек толковый тщательно отбирает то, что он поместит в свой мозговой чердак. […] Поэтому страшно важно, чтобы ненужные сведения не вытесняли собой нужные”.

С первого знакомства Холмс обнаруживает удивительную наблюдательность и способность — точно как доктор Джозеф Белл — угадывать биографию собеседника по его манерам и внешности. Едва ему представили Ватсона, как он тут же осведомился: “Вы, я вижу, жили в Афганистане?” Ватсон изумляется: “Как вы догадались?” И Холмс демонстрирует Ватсону свой дедуктивный метод в действии, но, сказать правду, строгой критики его выводы не выдерживают. “Этот человек по типу — врач, но выправка у него военная. Значит, военный врач. Он только что приехал из тропиков — лицо у него смуглое, но это не природный оттенок его кожи, так как запястья у него гораздо белее. Лицо изможденное, — очевидно, немало натерпелся и перенес болезнь. Был ранен в левую руку — держит ее неподвижно и немножко неестественно. Где же под тропиками военный врач-англичанин мог натерпеться лишений и получить рану? Конечно же, в Афганистане”. Все это, на самом деле, совсем не обязательно: почему не в Южной Африке, где в то время Британия вела военные действия против зулусов? И с каких пор Афганистан расположен “в тропиках”? И что такое: “по типу — врач”? Зато умозаключение насчет раненой левой руки Ватсона кажется абсолютно логичным, жаль только, что так и осталось загадкой, почему в последующих рассказах рана таинственно перекочевала в ногу доктора. (Большинство читателей, впрочем, эта мелочь и другие несообразности в рассказах о Холмсе нисколько не волновали. Объяснениями озаботились дотошные “шерлокианцы”: было высказано предположение, что Ватсона подстрелили снизу, когда он отдавал естественный долг природе, и пуля насквозь пробила ногу, а потом вошла в плечо. Вот так!

Эта история, как и многие другие, начинается с того, что на Бейкер-стрит приходит посетитель. Ватсон замечает его еще из окна: тот смотрит на номера домов, а в руке держит синий конверт. Холмсу достаточно одного взгляда, чтобы безошибочно определить: перед ними отставной флотский сержант. Все очень просто: на руке у него татуировка — якорь, военная выправка, бакенбарды — все выдает флотского служаку, а возраст и уверенная осанка говорят о том, что он был не рядовым, а сержантом. “Чудеса!” — восхищается Ватсон. “А, чепуха”, — отмахивается Холмс.

Сержант-посыльный доставил Холмсу письмо от инспектора Грегсона из Скотленд-Ярда. Тот просит помочь в расследовании загадочного убийства. В пустом доме на Брике — тон-роуд обнаружен труп хорошо одетого американца. Холмс предлагает Ватсону прокатиться на Брикстон-роуд, где их уже ждут инспекторы Грегсон и Лестрейд. В одной из комнат на стене кровью выведена надпись RACHE, что по-немецки означает “месть”. В итоге Холмс, разумеется, раскрывает преступление, но поскольку корни его уходят в далекое прошлое, происходят в общине мормонов штата Юта, то во второй части повести — длинной и мелодраматичной — Холмс с Ватсоном отодвинуты на задний план.

В чем-то “Этюд” схож с рассказами По, в чем-то почти дословно воспроизводит детективные истории Габорио. Кстати, Холмс наслышан о своих знаменитых коллегах и не питает к ним никакого почтения. О Дюпене он говорит, что тот “недалекий малый”, а о Лекоке — “несчастный растяпа”. И хотя сам Дойл с восхищением относился к своим коллегам, то есть к обоим писателям, это не помешало ему использовать новаторский по тем временам прием и столкнуть персонажей, что придало изложению удивительную достоверность.

Нетрудно провести и другие параллели между рассказами По и Дойла. В “Убийстве на улице Морг” преступление совершает обезьяна, в “Пестрой ленте” Дойла — змея. В “Золотом жуке” (1843) сюжет строится вокруг шифра, который изобрел пират капитан Кидд. Сыщик разгадывает его, зная, что самая употребимая буква в английском языке — “е”. Тот же прием использует Дойл в “Пляшущих человечках”.

Дойл никогда не скрывал своего восхищения Эдгаром По, называл его “основателем детективного жанра” и говорил, что после Маколея он более, чем кто-либо, повлиял на его творчество: “Вам надобны сила, новизна, емкий сюжет, неугасающее напряжение, живое впечатление — По мастер всего этого”.

“Этюд в багровых тонах” вышел в 1887 году, став главным рассказом в битонском альманахе “Битонс Кристмас эньюэл”. На обложке был изображен Шерлок Холмс, склонившийся над трупом. Книжка стоила шиллинг, и кроме текстов там было много рекламы, вроде: “Паста от паразитов, надежное средство от крыс, тараканов, мышей и клопов!” Сборник разошелся очень быстро, и повесть Дойла получила отличные отзывы. “Это самый замечательный рассказ о хитроумном преступлении со времен Эдгара Аллана По! — писал “Скотчмен”. — У автора несомненный талант. Он не идет проторенной дорогой, а показывает, как должен работать настоящий сыщик, пользуясь дедукцией и наблюдательностью. Книга обретет множество поклонников”.

Пока “Этюд в багровых тонах” ждал опубликования, Дойл обратился к проекту, который казался ему гораздо более престижным и заслуживающим внимания. Он начал работать над историческим романом “Мика Кларк”, посвященным мятежу Монмута. Объединение реальных фактов и художественного вымысла должно было, как казалось Дойлу, “стать настоящей проверкой” его таланта. “Я выбрал для этой цели исторический роман, поскольку в нем могли сочетаться реальные события жизни и приключения, что было так привлекательно для моей пылкой молодой натуры”. Он мог бы также добавить, что все ведущие романисты XIX века — Скотт, Диккенс, Теккерей, Джордж Элиот, Харди — отдали дань исторической литературе, и жанр этот считался, так сказать, престижным.

Конан Дойл хотел вступить в “клуб” серьезных писателей. Конечно, это была не единственная причина. Дойла всегда занимала история, в чем была немалая заслуга Маколея; а неудачная попытка герцога Монмута свергнуть “папистского” короля Якова II, предпринятая им в 1685 году, представляла особый интерес для человека, воспитанного в католической вере. Но стремление создать “значительную” вещь привело к тому, что многие куски романа вышли слабыми, безжизненными и высокопарными, чего совершенно нет в рассказах о Холмсе, где сюжет рассказан просто и прямо, без лишних художественных затей, рассуждений и красот.

Год ушел на сбор материала, потом еще пять месяцев на работу, и “Мика Кларк” был готов. Дойл подробно конспектировал все, что прочел о мятеже Монмута, и составлял длинные перечни исторических фактов и реалий. Вот запись из его дневника за 10 января 1888 года:

Chaufron (или chaupron) — металлический наголовник для рыцарского коня.

Стрелы из осины — оперение из гусиных или павлиньих перьев. У каждого лучника 24 стрелы. Стрелки стоят в линию, как зубья у бороны.

Легкая пехота в защитных шлемах, стеганых куртках, железных наручах.

Ножи.

Хлопушка — раннее название пушки. Греческий огонь делали из селитры, серы, сырой нефти.

Желая максимально точно отобразить эпоху, Дойл и озаглавил свой роман вполне в духе

сочинений того времени. Вот как он называется: “Воспоминания Мики Кларка, как они были рассказаны им самим троим его внукам, Джозефу, Хервасу и Робину, в трудную зиму 1734 года, содержащие достоверные сведения о некоторых событиях его ранней юности, а также правдивые подробности его путешествия из Хаванта в Таунтон с Децимусом Саксоном в лето 1685 года. И кроме того, их приключения во время Западного мятежа, рассказ о деяниях герцога Джеймса Монмута, лорда Грея и других высокопоставленных особ, составленный с его слов Джозефом Кларком и никогда ранее не издававшийся. Рукопись исправлена, переработана и подготовлена к печати А. Конан Дойлом”.

В тех местах — а их в книге немало, — где Дойл подражает Маколею и Вальтеру Скотту, то есть в описании нравов позднего XVII века, он пишет вяло, характеры бледны и вообще текст довольно скучный. Но в картине битвы Дойл выказывает себя настоящим мастером: “Он глядел направо. Из тумана, что продолжал висеть густой пеленой, мелькали по временам серебряные лучи и слышался странный, глухой гул — словно шум морского прилива, который ударяется о скалистый берег. Серебряные отблески мелькали все чаще и чаще, глухой шум превращался в топот и оглушительный рев, и вдруг белая завеса тумана точно разорвалась, и мы увидели нескончаемые ряды королевской кавалерии — она неслась прямо на нас, словно катилась громадная морская волна. Перед нами сверкали и переливались лазурь, пурпур и золото. Это было замечательное, поразительно величавое зрелище. Прямо глаз оторвать было нельзя. Движение этого огромного количества всадников происходило быстро, плавно и в полном порядке. Было такое впечатление, что на вас движется неотразимая сила. Эта громада двигалась стройными, сомкнутыми рядами. Мы видели развевающиеся знамена, косматые гривы коней, блеск стали…”

Издателей роман не вдохновил. Джеймс Пейн, обычно всячески поддерживавший Дойла, на сей раз прямо спросил, зачем тот тратит время и талант на историческую прозу. Из “Блэквуда” ему презрительно написали, что “многие персонажи показались нам взятыми скорее из XIX, чем из XVII века”. Немногим лучше было и мнение Бентли: “В романе нет главного, что необходимо для литературы, — занимательности”.

Дойл предложил “Мику Кларка” газете “Пипл”, чтобы они печатали его с продолжением. 13 августа 1888 года оттуда пришел отказ. При этом письмо было адресовано “доктору А. Корран Бойлу”: “Дорогой сэр, редакторы, которые читают присланные нам рукописи, внимательно изучили ваш роман “Мика Кларк” и, хотя он, безусловно, хорошо написан и заслуживает внимания, ни тема, ни стиль не подходят для публикации в такой популярной газете, как наша. Одним из главных его недостатков является то, что он не представляет интереса для основной нашей аудитории, то есть женщин… в нем мало чувства и переживаний”.

Дойл попытался было убедить “Блэквуд”, ссылаясь на успех, который имел “Этюд в багровых тонах”, и предложил издательству напечатать роман, не платя ему гонорар, а только отчисления с продаж, “на условиях, отвечающих интересам обеих сторон”. В “Блэквуде” остались непоколебимы. В итоге роман приняли в издательстве “Лонгман”.

Надо признать, что Конан Дойл всегда с удивительным упорством настаивал на своих предложениях издателям. Выходец из Эдинбурга, он твердо решил опубликоваться в эдинбургском журнале, и в начале 1890-го отправил в “Блэквуд” рассказ “Жена физиолога”. Наступил апрель, ответа не было, и Дойл послал в журнал письмо: “Я был бы весьма рад узнать, когда выйдет мой небольшой рассказ “Жена физиолога”. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время, а также надеюсь, что он будет напечатан под моим именем. Искреннно ваш, А. Конан Дойл”. 7 июля он вновь обращается к редактору: “Буду очень рад слышать, что мое небольшое сочинение “Жена физиолога” уже в печати…” Спустя две недели: “Полагаю, что “ваши закрома переполнены” короткими рассказами, так что, возможно, вы отошлете мне назад мою “Жену физиолога”. Его настойчивость принесла плоды, рассказ был напечатан в сентябрьском номере.

28 января 1889 года Туи родила мужу дочь, которую он сам принял на “Вилле в кустарнике”. Девочку назвали Мэри Луиза.

Дойл сообщил эту радостную весть матери в шутливых выражениях: “Сегодня утром (в понедельник) в 6.15 Туи произвела на свет чудесный маленький образец Туи-младшей, которая сейчас вопит во все горло в спальне. Должен заметить, что несколько удивлен поведением этой юной дамы, учитывая, что оба ее родителя люди сдержанные и воспитанные. Она, очевидно, явилась к нам надолго, но при этом даже не извинилась за неожиданный визит. Никакого багажа и вообще никаких вещей у нее с собой нет, исключая разве легкий кашель и голос как у углекопа. Как ни грустно, но должен признать, что на ней не было даже одежды, и ради приличий мы снабдили ее гардеробом. Разумеется, каждый на нашем месте поступил бы так со своим гостем, но, если таковой гость в ответ на все заботы лишь сопит

носом, это становится несколько утомительно. Впрочем, у нее открытый, очаровательный нрав, но она лысая, что помешает ей являться в обществе еще какое-то время…”

Спустя месяц был опубликован “Мика Кларк”, с посвящением “Моей маме”. Он имел значительный успех, за десять месяцев был переиздан трижды, и, хотя некоторые критики упрекали автора в излишне вольном обращении с историческими фактами, в целом отзывы он имел благожелательные. “Первое и самое сильное впечатление от романа, — писал “Журнал XIX век”, — это превосходная история, превосходно изложенная. Более подробное знакомство убеждает и в том, что с точки зрения следования стилю той эпохи роман сделан максимально убедительно и грамотно…” “Скотчмен” отозвался о “Мике Кларке” как о “сильном, мощном замысле, нашедшем четкое, внятное отражение”.

Чарльз Дойл знал, что литературная карьера его сына развивается успешно. В дневнике за 1889 год, заполненном карикатурами и скетчами, он записал: “Роман Артура “Миха Кларк” — заметка в “Скотчмен” от 4 марта 1889-го. Очень хвалебная в “Глазго геральд”, от 19 апреля 1889-го”. А ниже идет старательно переписанный отзыв из “Литературного мира”, датированный п апреля 1889 года, на рассказ “Тайна Клумбера”, к которому он сделал иллюстрации.

Дойл также убедил “Уорд, Локк и К°” дать его отцу возможность проиллюстрировать дешевое издание “Этюда в багровых тонах”, которое вышло в июле 1888-го. Это был благородный жест, но, увы, Чарльз сделал лишь шесть графических эскизов, неряшливых и совершенно не соответствовавших его обычному уровню. К тому же они никак не сочетались с текстом — либо он его попросту проигнорировал, либо прочел невнимательно. Шерлок Холмс был у него похож на самого художника: с усами и бородой. Между тем Холмс, как известно, всегда был гладко выбрит.

В те годы США еще не подписали соглашение об авторском праве. Закон, защищающий права иностранных авторов, был вынесен на рассмотрение лишь в июле 1891 года, — и стоило книге добиться успеха в Лондоне, как она тут же выходила пиратским тиражом в Америке. Так случилось и с “Этюдом в багровых тонах”, причем повесть получила там самую лучшую прессу.

Когда издатель Джозеф Маршалл Стоддарт приехал из Филадельфии в Лондон в августе 1889 года в надежде найти новых авторов, Джеймс Пейн посоветовал ему пообщаться с Конан Дойлом и Оскаром Уайльдом. Последний в тот момент работал на журнал “Мир женщин” и уже приобрел скандальную известность благодаря своим поэмам и эссе, а еще более — парадоксальному остроумию и незаурядности характера. Стоддарт пригласил их обоих 30 августа на обед в шикарный отель “Лэнгхем” — впоследствии тот фигурировал в трех рассказах о Шерлоке Холмсе. На обеде также присутствовал ирландец Томас Патрик Джилл, в прошлом также издатель, а тогда уже член парламента.

Обед удался на славу, хотя трудно было представить двух более несхожих людей — утонченный денди Уайльд, одетый, по меткому замечанию актрисы Лили Лэнгтри, “как ни один взрослый мужчина в мире не одевался до него”, и солидный молодой джентльмен Конан Дойл, цветущий здоровяк с усами как у моржа, в хорошо сидящем твидовом костюме.

Как писатели они также являли собой полную противоположность. Оскар Уайльд был представителем авангарда, Дойл — образцом доброго старого реализма. Уайльд сообщил Дойлу, что с огромным удовольствием прочел его “Мику Кларка” — во что, впрочем, верится с трудом.

Уайльд, несомненно, произвел на Дойла сильное впечатление: “То был воистину золотой вечер… Разговор с ним оставил неизгладимый след в моем сознании. Он был неизмеримо выше нас, но изящно давал понять, что наши разговоры ему интересны. Он был деликатен и тактичен, как и подобает джентльмену, ибо человек, единолично завладевающий беседой, в сущности, вульгарен. Он и брал, и давал, а то, что он давал, было бесценно. Его формулировки были безукоризненно точными, юмор — утонченно острым, а свои слова он подкреплял изящными, лишь ему присущими жестами”.

Они снова встретились через несколько лет, когда в Лондоне с большим успехом шла пьеса “Женщина, не стоящая внимания”, и Дойл изменил свое восторженное мнение. Уайльд спросил, видел ли Дойл его пьесу, тот ответил, что нет. Тогда Уайльд воскликнул: “Вы должны ее посмотреть! Она превосходна. Она — гениальна!” Конан Дойл, пораженный столь беззастенчивым самовосхвалением, счел, что его собеседник “спятил”. Однако он сочувствовал Уайльду, когда в 1895 году его заключили в тюрьму за “вопиющую непристойность”: не потому, что был более терпим, чем его современники, а потому, что

считал гомосексуализм “патологией”, “относящейся к ведению медицины, а не полиции”.

В тот вечер Стоддарт заключил контракт с обоими авторами на loo долларов за “произведение объемом не менее 40 000 слов”. Это было куда больше, чем Дойл зарабатывал за год писательским трудом. Что до Уайльда, то сначала он попытался отказаться, ссылаясь на то, что “в английском языке не найдется сорока тысяч красивых слов”, но в итоге написал свой единственный роман “Портрет Дориана Грея”, который глубоко потряс викторианское общество гомоэротическим подтекстом.

Вот ответ Уайльда на поздравления Дойла в связи с выходом романа в свет: “В газетах, как мне кажется, пишут похотливые сладострастники — для узколобых ханжей. Не понимаю, что в “Дориане Грее” можно усмотреть аморального. Трудность для меня заключалась как раз в том, чтобы мораль, заложенная в книге, не умаляла художественного и драматического впечатления, и все же, на мой взгляд, мораль получилась слишком явная”.

Уайльд пытался в своей прозе подражать крепкому, энергичному стилю Дойла, но был вынужден признать неудачу. В частной беседе он сказал: “Я не умею описывать поступки, мои герои сидят в креслах и сплетничают”.

Со своей стороны Дойл предложил Стоддарту “Знак четырех”, где снова фигурирует Шерлок Холмс. Ему понадобилось всего два месяца, чтобы написать эту повесть. Дело происходит в Лондоне и окрестностях, которые Дойл знал очень плохо: “Вас, должно быть, позабавит, — писал он Стоддарту 6 марта 1890 года, — что мои обширные, доскональные сведения о Лондоне почерпнуты из обычного городского путеводителя”. Из этой повести мы больше узнаем об отношениях Ватсона и Холмса и уютном холостяцком житье на Бейкер-стрит в компании почтенной домоправительницы миссис Хадсон, их опекающей. Эти двое укрылись от внешнего мира в маленькой квартирке, но в любой момент они готовы совершить вылазку и сразиться со злом.

В “Знаке четырех” Холмс на пике формы: он блестяще раскрывает таинственное преступление, в котором есть и ограбление, и сокровища, и предательство, и месть, и погоня на быстроходном катере по ночной Темзе. Хотя есть там и фактические ошибки: например, у троих сикхов мусульманские имена. Но это мелочи — читатель захвачен быстро развивающимся сюжетом и восхищен логикой великого сыщика. Впрочем, помимо массы достоинств у Холмса имеются и недостатки: обнаруживается, что он заядлый кокаинист. Доктор Ватсон пытается убедить его в пагубности этой ужасной привычки. “Как можете вы, — негодует он, — ради каких-то нескольких минут возбуждения рисковать удивительным даром, каким природа наделила вас?”.

На самом деле уже в “Этюде в багровых тонах” были намеки на порочное пристрастие Холмса: порой “он целыми днями лежал на диване в гостиной, не произнося ни слова и почти не шевелясь. В эти дни я подмечал такое мечтательное, такое отсутствующее выражение в его глазах, что заподозрил бы его в пристрастии к наркотикам, если бы размеренность и целомудренность его образа жизни не опровергала подобных мыслей”. Но первые же фразы из “Знака четырех” не оставляют никаких сомнений: “Шерлок Холмс взял с камина пузырек и вынул из аккуратного сафьянового несессера шприц для подкожных инъекций. Нервными длинными белыми пальцами он закрепил в шприце иглу и завернул манжет левого рукава. Несколько времени, но недолго он задумчиво смотрел на свою мускулистую руку, испещренную бесчисленными точками прежних инъекций. Потом вонзил острие и откинулся на спинку плюшевого кресла, глубоко и удовлетворенно вздохнул”.

В те времена кокаин в большом количестве импортировали из Южной Америки, его часто использовали и как анестетик, и для укрепления нервной системы, и он свободно продавался в любой аптеке. Но опасные побочные свойства наркотика уже становились понятны, и вскоре Конан Дойл осознал, что его Холмсу следует менять привычки. В рассказе “Пропавший регбист” Ватсон говорит: “Много лет я боролся с его пристрастием к наркотикам, которое одно время чуть было не погубило его поразительный талант. И теперь, даже в состоянии безделья, он не испытывал влечения к этому искусственному возбудителю. Но я понимал, что опасная привычка не уничтожена совсем, она дремлет”. Некоторые читатели были потрясены: как же так, Шерлок Холмс, человек выдающегося ума и силы характера, подстегивает себя наркотиками? Но Конан Дойл всегда стремился уйти от привычного образа полицейского сыщика и потому сделал своего детектива эстетом и оригиналом, склонным к меланхолии. Холмс относится к расследованию преступлений как к искусству — так почему бы художнику не иметь артистических пристрастий?

Оскар Уайльд поздравил Конан Дойла с выходом “Знака четырех”: “Я сознаю, что мои вещи лишены двух превосходных качеств, которые в ваших присутствуют в полной мере, — это сила

и искренность. Между мною и жизнью всегда пелена слов: я вышвыриваю достоверность в окно ради удачной фразы и готов пренебречь правдой ради случайной эпиграммы”.

Когда “Знак четырех” был опубликован в журнале “Липпинкотт” в феврале 1890 года, один восторженный критик заявил: “Это лучший рассказ, какой я читал в жизни”.

Между тем под конец этого рассказа обнаруживается, что пути Холмса и Ватсона расходятся, поскольку Ватсон страстно полюбил очаровательную Мэри Морстен, обратившуюся к ним за помощью в этом запутанном деле. Голубоглазая мисс Морстен, “нежная и милая”, с “необычайно возвышенной и отзывчивой” душой, несомненно напоминает Туи.

Ватсон сообщает Холмсу: она “оказала мне честь стать моей женой”. Таким образом, удачно завершившееся дело о сокровищах Агры в принципе должно было стать их последним совместным расследованием. К счастью, это оказалось не так.

Глава 7

Венская интермедия

ВСКОРЕ ПОСЛЕ ТОГО КАК ДОЙЛ ЗАКОНЧИЛ “Знак четырех”, из Лиссабона пришла печальная весть: 13 января 1890 года его старшая сестра Аннет умерла от инфлюэнцы. Ей было всего тридцать три года. Все время, что она работала, Аннет поддерживала семью, и Конан Дойл с горечью заметил, что она “умерла как раз тогда, когда в нашей жизни забрезжило солнце лучших дней”. Аннет оставила свои сбережения, 420 фунтов, матери, “жене Чарльза Алтамонта Дойла (ныне помешанного), кровного и законного отца упомянутой Аннет, на его нужды и ради излечения от болезни”.

Говоря о “лучших днях”, Дойл имел в виду те дополнительные заработки, которые приносили ему книги и которыми он всегда был готов поделиться с родными. Он взял на себя роль главы семьи и всячески опекал младшего брата, учившегося тогда в школе, обращаясь к нему в письмах “мой дорогой мальчик”, “дружище” и “милый мой мальчуган”, неизменно призывая брата бросить на учебу все силы: “Мой дорогой мальчик, ты никогда ничего не пишешь о своих занятиях, и это меня беспокоит. Я очень надеюсь, что ты старательно вбиваешь знания себе в голову — потому что, если ты не сдашь экзамены, возникнут серьезные проблемы. Пойми, если ты их сдашь, то на спорт, верховую езду и крикет у тебя еще будет куча времени, вся жизнь впереди. И при этом она зависит от того, как ты распорядишься ближайшими месяцами. Если ты чувствуешь, что отстаешь по каким-то предметам, занимайся ими день и ночь, каникулы не каникулы, а надо работать, пока не поймешь, что ты достаточно силен во всем. У тебя светлая голова, я отлично это знаю, и все, что тебе нужно, — постоянно, неуклонно трудиться. Не думай больше ни о чем, прошу тебя, пока это не будет сделано… До свидания, мой милый. Твой любящий А.”.

Вскоре он опять пишет Иннесу: “Дружище, занимайся изо дня в день и ничего не упускай, поскольку важно все. Работай с той же энергией, с какой ты готовишься к футбольному матчу, — в этом залог успеха. С другой стороны, если на экзамене ты сделаешь все, что от тебя зависит, но тебе не повезет и ты срежешься, не опускай руки, пробуй заново. Твой АКД”.

Однако ответственность за семью все же не слишком отягощала Конан Дойла, судя, например, по тому, что в ноябре 1890-го он, повинуясь “неодолимому порыву”, решил ехать в Берлин в надежде познакомиться с Робертом Кохом, немецким бактериологом, который в августе того года произвел сенсацию на Международном медицинском конгрессе, заявив, что открыл лекарство от туберкулеза.

Но поскольку никакого специального интереса к этой болезни у Дойла не было и он вообще всегда скептически относился к “чудодейственным средствам”, то внезапное намерение посетить Берлин объясняется скорее внутренней неудовлетворенностью, чем искренним любопытством врача. Несмотря на то что он утверждал, будто полностью доволен жизнью в Саутси с Туи и младенцем и своими занятиями — медициной и литературой, — в глубине души он был человеком действия, точно так же, как его герои, и поездка была нужна ему, чтобы встряхнуться. Кроткая Туи не возразила ни слова.

По дороге Дойл заехал в Лондон и условился с У. Стедом, редактором “Ревью оф ревьюз”, что напишет статью о Кохе, а заодно запасся рекомендательными письмами к британскому послу в Берлине и тамошнему корреспонденту “Таймс”. Толку от них, впрочем, не было никакого.

Кох, директор Института гигиены при Берлинском университете, был величайшим ученым своего времени и прославился, после того как выявил возбудителей сибирской язвы, туберкулеза и холеры. Газетные заголовки всего мира повторяли его заявление: “Найдено средство от чахотки!” Доктора со всей Европы стекались в Берлин на лекции, где Кох демонстрировал свой метод, так называемую “лимфо-инокуляцию”, то есть прививку, благодаря которой, как предполагалось, ткани, пораженные бактериями, будут разрушены, отторгнуты организмом и выведены вместе с мокротой.

Дойл надеялся попасть на лекцию 17 ноября, на другой день по приезде в Берлин. Проводить ее должен был ближайший помощник Коха, его коллега доктор Эрнст фон Бергманн. Однако выяснилось, что билетов “просто нет”, и никакие связи и знакомства тут не помогут.

По обыкновению настойчивый, Дойл направился к Коху домой, но не попал дальше прихожей, где наблюдал, как почтальон вываливает на стол целый мешок писем. Дойл был ошеломлен, поняв, что почти все они от безнадежно больных, узнавших про чудо-средство Коха и поверивших в него как в последнюю возможность. В газетах тоже много писали о несчастных, отправившихся в Берлин, — многие были так плохи, что умирали по дороге. А поскольку

открытие Коха нуждалось еще в длительной проверке и подтверждении, неудивительно, что скептик Дойл заметил тогда: “Мир накрыла волна безумия”.

На другой день он попытался проникнуть на лекцию, подкупив швейцара, но получил доступ лишь в фойе. Счастливые обладатели билетов нескончаемым потоком шли в аудиторию, а Дойл растерянно стоял в сторонке. Наконец он увидел, что прибыл фон Бергманн, в окружении почтительной свиты ассистентов и помощников. В отчаянии он бросился к этому важному господину, “заступил ему дорогу” и произнес: “Я проехал тысячу миль… Неужто мне нельзя войти?” — вдохновенно преувеличив расстояние от Лондона до Берлина. Бергманн остановился как вкопанный, воззрился на Дойла, а затем глумливо протянул: “Уж не угодно ли вам занять мое место?” Обернувшись и удостоверившись, что почетный эскорт внимает каждому его слову, он заорал: “Да, да! Именно, займите мое место! Все остальные и так уже заполнены англичанами”. “Англичанами” он произнес с особенным презрением, после чего гордо проследовал в зал.

Один врач из окружения Бергманна, американец Генри Гартц, был так потрясен его грубостью, что любезно предложил Дойлу встретиться попозже в тот же день и дать ему свой конспект лекции. Если бы не его помощь, поездка оказалась бы совершенно бессмысленной. Гартц также ознакомил Дойла и с другими своими заметками, которые вел, сопровождая Бергманна в его турне. Изучив данные, Дойл пришел к мнению, что исследования Коха находятся на стадии эксперимента и делать выводы явно рано.

У себя в номере отеля он составил письмо в “Дейли телеграф”, где изложил свои взгляды: “Думаю, будет небесполезно, если английский терапевт, имевший возможность наблюдать последние достижения в лечении туберкулеза в Берлине, выскажется как по поводу нынешнего положения дел, так и по поводу дальнейшего. Как бы ни было велико открытие Коха, нет никаких сомнений, что предмет изучен далеко не полностью и множество вопросов остаются непроясненными. Чем скорее мы это признаем, тем меньше будет горьких разочарований у тех, кто сейчас в поисках панацеи стремится в Берлин”.

Несмотря на то что отчасти утверждения Дойла были вызваны заносчивостью фон Бергманна, в конечном счете он оказался прав: целительная сила метода Коха была очень преувеличена, что не помешало ему получить Нобелевскую премию в области физиологии. В 1891 году, после того как несколько его пациентов скончались в процессе лечения, Кох отказался от первоначальных заявлений и признал, что его открытие — прекрасный инструмент для диагностики, но настоящее лекарство еще, увы, не найдено.

Эта поездка стала поворотным моментом в судьбе Дойла. По дороге в Берлин, ночью в поезде, он разговорился с Малькольмом Моррисом, специалистом по кожным болезням, который оказался “очень симпатичным и любезным человеком”. Он, как и Дойл, практиковал в провинции, но уже успел осознать, что возможности там ограниченны, а потому перебрался в Лондон, где чрезвычайно преуспел. Моррис убедил Дойла, что в Саутси тот попусту теряет время — надо переезжать в столицу, там очень востребованы и врачи, и литераторы. Моррис предложил Дойлу сосредоточиться на офтальмологии, тем более что у него был опыт работы в глазной больнице Портсмута, где он подвизался как внештатный хирург.

Ну а тому, кто хотел основательно изучить офтальмологию, путь лежал в Вену — столицу Австро-Венгрии.

Домой Дойл вернулся окрыленный. Позже он говорил, что, если бы не поездка в Берлин, он, возможно, навсегда остался бы врачом в Саутси. Он все обсудил с Туи, и, по обыкновению покладистая, она согласилась оставить младенца на полгода с матерью, чтобы сопровождать мужа в Вену. С практикой никаких сложностей не возникло: она была слишком мала и скромна, чтобы речь шла о продаже. Так что Дойл просто передал своих пациентов доктору Кларемоту, работавшему по соседству.

Двенадцатого декабря 1890 года Литературно-научное общество Портсмута устроило в честь Дойла прощальный ужин в отеле “Гросвенор”. В своей речи он поблагодарил друзей за сердечное отношение, столь отличное от приема, который он встретил в Саутси, когда в первый же вечер был втянут в уличную драку. Ему жаль покидать гостеприимный город, где было так много близких по духу людей. В ответ мистер А. Вуд, директор средней школы Портсмута, сказал, что футбольная, а также крикетная команда понесут невосполнимую утрату с отъездом доктора Дойла. (В дальнейшем “Вуди” станет секретарем Дойла и будет вести его дела.) Вечер получился веселый и праздничный, Дойл искренне сожалел, что оставляет здешнюю практику: “Это серьезная потеря для нас с женой, которую все полюбили

за ее доброту и великодушие”.

Проведя Рождество “с маменькой” в Мезонгиле, супруги отвезли дочку к матери Туи, которая тогда жила на острове Уайт, и отправились в Вену, куда и прибыли вечером 5 января 1891 года, в разгар снежной бури. Из отеля “Куммер” Дойл писал матери: “Мы благополучно добрались, остановились в отеле, и на другое утро встали свежие и бодрые. Отлично позавтракали и пошли искать жилье… В итоге обосновались в пансионе, очень комфортабельном. Мадам Бомфорт, Университет-штрассе, 6 — наш адрес с завтрашнего дня. Надеюсь, все будет прекрасно…”

Окна их комнаты выходили на одну из центральных улиц Вены. В комнате имелись две узкие кровати, письменный стол, гардероб и диван, а обогревала ее большая печка, облицованная белой керамической плиткой. Дойлы платили за жилье 4 фунта в неделю, сюда же входила еда. Питались они вместе с другими постояльцами, в основном это были английские и американские студенты.

Университетские госпитали располагались поблизости, и поначалу Дойлу казалось, что поездка окажется удачной. Судя по его дневниковым записям, он почти сразу, как только супруги приехали в Вену, начал работать над повестью “Открытие Рафлза Хоу”, заказанной журналом “Ответы”. (Из дневников, которые он педантично вел около двадцати лет подряд, мало что можно узнать о его ежедневных делах и того меньше о его мыслях и переживаниях: он лишь коротко отмечал, с каким счетом закончился крикетный матч, какую книгу прочел, сколько получил от издателя и когда начат и завершен очередной рассказ.)

Хотя он и учил немецкий в Фельдкирхе, но этих познаний было явно не достаточно, чтобы слушать лекции по специальности. Всю первую неделю в Вене Дойл писал “Открытие Рафлза Хоу”. К 23 января повесть была готова, и уже 3 февраля он получил за нее гонорар — 150 фунтов. Оплата более чем щедрая, учитывая, что это едва ли не худшая его вещь: невнятная история про алхимика, открывшего, как превращать тяжелые металлы в золото, и попытавшегося помочь бедным, что привело к полному разложению масс и всеобщему недовольству. Сам автор отзывался о ней как о “не самом выдающемся достижении”. Главный ее результат заключался в том, что он смог заплатить по текущим счетам. Однако сам факт, что журнал принял такую посредственную работу, ясно говорил: издатели готовы платить Дойлу уже за одно его имя.

В автобиографии он пишет, что провел в Австрии четыре месяца: вращался в “веселом венском обществе”, катался на коньках по Дунаю, пил кофе, ел шоколадный торт в шумных кафе и вообще наслаждался головокружительным декадансом Австро-Венгерской империи ее предпоследнего десятилетия. Но дневник свидетельствует, что уже 9 марта Дойлы держали путь домой — через Венецию, Милан и Париж — и вернулись в Англию 24-го числа.

Несмотря на неудачу, постигшую его в Вене, Дойл твердо вознамерился открыть в Лондоне практику в качестве врача-офтальмолога. Он нашел квартиру в Блумсбери, на Монтегью-плейс, 23 — три комнаты для себя, Туи и Мэри, а также снял помещение для приема больных, с маленькой прихожей, где пациенты могли ждать своей очереди. Годовая плата составляла 120 фунтов. Но вопреки всем усилиям Дойла заявить о себе — он вступил в Британское общество офтальмологов и завязал знакомства в Королевской Вестминстерской глазной больнице — за целый месяц ни один пациент, по его признанию, не переступил порога кабинета. Много лет спустя он с усмешкой заметил, что обе его комнаты были “залами ожидания”: “Я ждал в кабинете, и никто не ждал в комнате ожидания”.

Время тянулось томительно медленно, и, чтобы не думать о пациентах, Дойл занимал себя работой. “Каждое утро я шел пешком с Монтегью-плейс, приходил к себе в кабинет ровно в десять и часов до четырех сидел там, никем не тревожимый. Можно ли себе представить более подходящие условия для размышлений и письма? Они были идеальны, и пусть я потерпел фиаско в профессии, зато имел все шансы усовершенствоваться по литературной части”. Впрочем, журналисту, который брал у него интервью год спустя, он поведал другую историю: дескать, врачебные обязанности оставляли так мало времени для сочинительства, что в конце концов пришлось “забросить медицину к черту”.

Ему удалось закончить “Белый отряд”, еще один исторический роман. Дело происходит во время Столетней войны, в царствование Эдуарда III. В романе описаны приключения “отважных и верных” стрелков, предводительствуемых “доблестным, благочестивым” рыцарем, сэром Найджелом Лорингом. Эту эпоху Дойл считал величайшей в английской истории. Он потратил два года на исследования и прочел более ста пятидесяти книг по-

английски и по-французски, собрав огромное количество материала. Его записные книжки пестрят многочисленными выписками, сделанными мелким каллиграфическим почерком, а также таблицами и схемами. Например, в рубрике “лучник” перечислены клятвы, которые давали стрелки, какие проклятия изрыгали они в случае неудачи, как и где сражались, как упражнялись в своем искусстве. То же самое касается всех остальных персонажей. Он хотел создать живую картину взаимодействия стрелков и монахов, монахов и оружейников, оружейников и рыцарей.

В “Белом отряде” отчетливо видно то уважение к героизму, чести и благородству, которое мать заронила в нем историями у камина, рассказанными ему в детстве. Мэри Дойл легко могла стать прототипом леди Тифен, жены французского дворянина, которая заворожила лучников своими рассказами: “Они забывали обо всем и только внимали словам, слетавшим с ее губ, — словам, которые возбуждали трепет и будоражили душу, как сигнал горна к атаке…”

Там, где звучат вдохновенные призывы (“Теперь держите боевой строй и разверните знамена, ибо наши души принадлежат Богу, а жизни — королю, и обнажим мечи свои за святого Георгия и за Англию!”) или описываются военные реалии XIV века, роман зачастую перегружен подробностями и утомительными длиннотами: “Впереди стояли лучники, в десять рядов, а с краю их — младшие командиры; они периодически проходили вдоль строя, равняя его; звучали отрывистые приказы и резкие замечания. Позади застыла кучка закованных в латы всадников — копья подняты вверх, длинные султаны свисают вдоль дубовых древков. Столь неподвижны и немы были они, что походили бы на изваяния, если бы не лошади, которые вдруг коротко, нетерпеливо били копытом, и не звон их доспехов, когда они вскидывали головы и вытягивали шеи”.

Это был роман, в котором автор позволил историческому взять верх над романическим, и только там, где он дает волю воображению (так же, как в “Мике Кларке”), текст оживает — поразительное описание битвы в Испании, когда “белый отряд” сражается в отчаянном, но обреченном бою, ничем не уступает Дюма.

Дойл вспоминал, что, закончив роман, испытал “приступ ликования и с криком “Дело сделано!” запустил чернильным пером через всю комнату, где оно оставило темную кляксу на серо-зеленых бумажных обоях. Я сердцем чуял, что этой книге суждена жизнь и что она многое прояснит в истории и обычаях нашей страны”.

Он был убежден, что это лучшее его творение, и написал Лотти: “Я уверен, ты обрадуешься, узнав, что я закончил свой великий труд — “Белый отряд” завершен. Первая половина очень хороша, третья четверть весьма хороша, последняя тоже очень хороша. Так что ликуй вместе со мной, дорогая, а я так привязался к Джону из Хордла, Сэмкину Эйлварду и сэру Найджелу Лорингу, точно знал их во плоти, и верю, что все англоговорящие люди со временем полюбят их также”.

Он предложил роман в “Блэквуд” с тем, чтобы его печатали с продолжениями. Дойл писал редактору, что согласен на 300 фунтов, ибо ему важнее издаться в хорошем журнале, чем выгадать в деньгах и продать роман газетному синдикату за 500 фунтов, где его опубликуют сразу в нескольких изданиях, неизвестно еще каких. И заверял редактора: “Это, несомненно, лучшее, что я когда-либо писал. Время — Средневековье, но в книге много любви, сражений и действия, так что она хорошо пойдет частями. Я отвечаю, что роман со всех точек зрения превосходит “Мику Кларка”…” На его письме кто-то из редакторов журнала нацарапал карандашом: “Что я должен ответить этому человеку на его предложение?”

В итоге Джеймс Пейн купил права на публикацию “Отряда” в “Корнхилле” прежде, чем в “Блэквуде” пришли к какому-то решению. Пейн был восторге и выразил это очень отчетливо: “Я не читал ничего столь замечательного после “Айвенго””.

“Белый отряд” печатался с продолжениями в 1891 году, а затем вышел в виде трехтомника. За журнальную публикацию Дойл получил 200 фунтов, за отдельное издание еще 350. Книга очень быстро стала бестселлером, несмотря на разноречивую критику. “Спектейтор”, например, заявил, что там “нет и намека на сюжет”, а персонажи “деревянные куклы на веревочках, ничем друг от друга не отличающиеся, кроме разве костюмов”.

Конан Дойл был очень огорчен, что книгу расценили как занимательное приключенческое чтение для мальчиков, а не как серьезное историческое исследование — он-то считал, что она станет образцом работ по этой эпохе, а автор, в свою очередь, заслужит репутацию серьезного писателя. “Вряд ли найдется хоть один мальчишка, — писала “Дейли график”, — которому не доставят удовольствия приключения сэра Найджела Лоринга”, а “Нешнл обсервер” заверял, что “книга завоюет сердца всех британских подростков и мужчин”. “Они рассматривают роман

как простое авантюрное чтиво, — сетовал Дойл в письме к матери, — в то время как я пытался нарисовать точные типы и характеры живших тогда людей и приложил к тому немало усилий, которые критика, похоже, совершенно проигнорировала”.

Как бы то ни было, “Белый отряд” выдержал более пятидесяти переизданий при жизни автора, многажды издавался после его смерти, причем даже во время Второй мировой войны, в период острого недостатка бумаги, — считалось, что книга выражает национальный дух.

В 1905-м, устав от Шерлока Холмса, Дойл написал, как сейчас говорят, приквел “Белого отряда” — “Сэр Найджел”. Обеими книгами он гордился, считал, что “отразил в них достоверную картину той великой эпохи”, и говорил, что вместе они составляют “наиболее цельную, самодостаточную и отвечающую самым высоким требованиям вещь, изо всех мною созданных”.

К моменту выхода “Белого отряда” Дойл обзавелся литературным агентом, чтобы избавить себя от “ненавистного торгашества”. Александр Поллок Уатт был весьма предприимчивым шотландским рекламным агентом в издательстве, литературным же агентом начал работать в 1875 году, когда приятель попросил его заключить контракт с Лондонской издательской компанией. К 1881 году он зарегистрировал первое в мире литературное агентство и действительно сотрудничал с самыми выдающимися авторами: Г. К. Честертоном, Дж. Конрадом, Ч. Диккенсом, Т. Харди, Р. Киплингом, Г. Уэллсом и П.Г. Вудхаузом.

Еще когда Дойл был в Вене, Уатт продал его рассказ “Голос науки” журналу “Стрэнд”, основанному в январе 1891 года издателем Джорджем Ньюнесом. Ньюнес начинал как торговец мебелью и товарами для дома, а затем сколотил целое состояние на журнале “Тит-Битс”.

Поначалу журнал назывался “Самое лучшее из самых интересных книг, журналов и газет со всего света”, стоил пенни и выходил раз в неделю. Печатались там разнообразные материалы, надерганные из других изданий. Факты в сочетании с вымыслом, юмор, человеческие истории, масса иллюстраций и карикатур — все это сделало журнал настолько популярным, что уже через пару месяцев на рынке появились аналоги. Но “Тит-битс” всегда превосходил конкурентов, во многом потому, что Ньюнес обладал не только чутьем дельца, но и талантом промоутера — например, обещал страховую выплату родственникам любого, кто погибнет в железнодорожной катастрофе, читая его журнал.

Идея создать “Стрэнд” пришла ему в голову, после того как он изучил американский рынок печати, который, по его мнению, был “более умным, живым и интересным”. Выбор названия учитывал пристрастия читателей среднего класса: улица Стрэнд, с ее многочисленными театрами, ресторанами и пабами, слегка эпатажная, шумно-деловитая, в самом сердце столицы (один конец ее упирается в Трафальгарскую площадь, другой в Корт-Иннз), была местом, где журналисты и адвокаты толклись бок о бок с артистами театров и актрисами варьете.

Ньюнес хотел, чтобы “Стрэнд” стал, в отличие от “Тит-Битс”, не дешевым рыночным продуктом, а серьезным литературным альманахом, и обещал, что “стоить он будет шесть пенсов, а достоинств там будет на шиллинг”, для чего привлек самых лучших авторов и иллюстраторов. “Издатель журнала “Стрэнд” с почтением отдает первый номер в руки публики… — писал он в предисловии. — Прошлые старания издателя обеспечить публику доступным, здоровым чтением встретили у нее такой благодарный отклик, что он смеет надеяться — и это начинание будет столь же популярным… Те, кому понравится этот номер, окажут большую любезность, сообщив о нем своим друзьям”.

Первый номер “Стрэнда” определил его формат на последующие десятки лет. Иллюстрации буквально на каждой странице — совершенно новая издательская концепция для британского журнала. Произведения ведущих писателей, включая Вольтера, Пушкина, Пауля Хейзе и Гранта Аллена, соседствуют с репортажами — “Пожарная команда столицы: на работе и дома”, “Один день в лечебнице для животных” — и с постоянной рубрикой “Портреты знаменитостей в разные периоды их жизни”.

“Стрэнд” стал самым успешным изданием на ближайшие десять лет. Январский номер вышел к Рождеству 1890 года тиражом 300 000 экземпляров и весь был распродан. К концу века ежемесячный тираж перевалил за полмиллиона, и в числе постоянных сотрудников были Г. Уэллс, Р. Киплинг, Р. Хаггард, Э. Несбит, А. Беннетт и, разумеется, А. Конан Дойл. Говорили, что королева Виктория была заядлой читательницей “Стрэнда”. У.Т. Стед, редактор и критик, объяснял его популярность грамотной издательской политикой: “Феноменальный успех “Стрэнда”… показывает, что гений м-ра Джорджа Ньюнеса состоит в том, чтобы соединить

ежемесячник, где публикуются иллюстрированные статьи, с еженедельником “Тит-битс”. “Стрэнд” легкое чтение, от корки до корки. Яркий, занимательный, богатый иллюстрациями — нет ничего лучше для приятного времяпровождения. Сам далекий от глубокомысленных умствований, он и от читателя не требует излишнего напряжения ума”.

Хотя номинально редактором числился Ньюнес, фактически заправлял всем литературный редактор Герберт Гринхоу-Смит — тридцати с половиной лет, выпускник Кембриджа, автор ряда не имевших успеха романов, отличный игрок в покер и знаток французской поэзии. Именно Гринхоу-Смит принял “Голос науки”, согласившись заплатить по 4 фунта за тысячу слов. Рассказ вышел в мартовском номере 1891 года, без указания имени автора. Это небольшая вещица, где сюжет строится вокруг научного вечера, который дает некая миссис Эсдайл, леди с исключительными научными познаниями. Про нее шепчутся, что на лекции “Перигенезис пластидул, или волнообразные движения живых частиц” она была единственной женщиной, не утерявшей мысль лектора еще до того, как он выговорил название до конца. У нее имеется прехорошенькая дочь по имени Роуз, за которой ухаживает противный самоуверенный невежда, но в итоге он опрометчиво обнаруживает свою сущность, и Роуз благополучно спасена.

Примерно в это время Конан Дойл сформулировал один из фундаментальных законов журнального рынка: он утверждал, что цикл рассказов, в отличие от романа, печатающегося по частям, весьма привлекателен для большинства читателей. “Изучая разные журналы с их никак не связанными между собой рассказами, я вдруг понял, что персонаж, объединяющий ряд историй, если, конечно, он завоевал симпатии читателей, способен привязать их к изданию. С другой стороны, мне давно уже казалось, что разбитое на части произведение, выходящее из номера в номер, скорее обуза, чем подспорье для журнала, поскольку рано или поздно читатель пропустит один из выпусков и потеряет всякий интерес к продолжению. Ясно, что идеальный компромисс — сквозной герой, связующий разные истории, каждая из которых самостоятельна и завершена, и тогда покупатель уверен, что сможет насладиться содержанием номера в полной мере. Полагаю, я первый, кто это осознал”.

Чтобы проверить свою теорию, весной 1891 года Конан Дойл предложил “Стрэнду” два рассказа, где фигурировал его сыщик. Гринхоу-Смит, человек весьма мрачный, почти патологически бесстрастный и улыбавшийся, как говорили, дважды в год (очень сухо), впоследствии предоставил совершенно невероятный отчет о том, как впал в полный восторг, обнаружив у себя на столе “Скандал в Богемии” и “Союз рыжих”: “Я тут же понял, что это величайший мастер короткого рассказа со времен Эдгара Аллана По. Отлично помню, как ворвался в кабинет м-ра Ньюнеса и принялся размахивать рукописями перед его носом… Мало, очень мало кто может написать хороший рассказ, а тут измученному редактору, из последних сил одолевающему гору невообразимой чуши, вдруг такой подарок небес, такая чудесная находка, которая наполняет счастьем его исстрадавшуюся душу… Ни малейших сомнений — хитроумный сюжет, прозрачная чистота стиля, превосходное искусство рассказчика… Даже почерк, говорящий о силе характера и разборчивый, как печатный шрифт”.

Гринхоу-Смит немедленно предложил Дойлу подписать договор еще на четыре рассказа о Шерлоке Холмсе, по очень привлекательной цене — 30 гиней за каждый, что укрепило не только финансовое положение автора, но и его уверенность в своем таланте. Именно в тот момент Дойл понял, что нашел героя, который способен обеспечить его литературную карьеру.

Однако прежде чем Дойл успел сесть за работу, его сразил смертельно опасный грипп, свирепствовавший в Лондоне. Утром 4 мая 1891 года он шел к себе в приемный кабинет и почувствовал сильный озноб; узнав симпотомы, повернул обратно и еле-еле доплелся до дома. В те годы, когда мир еще не знал антибиотиков, грипп, или, как тогда говорили, инфлюэнца, был настоящим бедствием: Аннет умерла от нее, и были минуты, когда Дойлу казалось, что и он не выкарабкается. Но благодаря заботам преданной Туи и крепкому организму он поправился уже через две недели.

Именно в первые дни выздоровления Дойл и принял судьбоносное решение: не пытаться более сочетать литературу и медицину. “Я увидел, как глупо было тратить средства, заработанные литературным трудом, на аренду кабинета на Уимпол-стрит, и твердо, с несказанной радостью, решил навсегда положиться на свои силы как писателя. Помнится, я был в таком восторге, что схватил платок, лежавший подле моей исколотой инъекциями руки, и подбросил его до потолка. Наконец я буду сам себе хозяин. Мне больше не надо соответствовать профессиональному образу, не надо никого ублажать. Я смогу свободно жить, как хочу и где хочу. То был один из великих моментов моей жизни, полный ликования. Случилось это в августе 1891 года”.

Если бы он сверился со своим дневником, то вспомнил бы, что случилось это в мае.

Глава 8

Великий сыщик и “Стрэнд”

ОСТАВИВ МЕДИЦИНУ, ДОЙЛ БОЛЕЕ НЕ нуждался в жилье в самом центре столицы. В июне 1891 года он подыскал для семьи подходящий дом на Теннисон-роуд, в Норвуде, южном предместье Лондона. Это была трехэтажная вилла из красного кирпича с остроконечной крышей. Шестнадцать комнат, балкон и сад, обнесенный стеной.

“Там мы и обосновались, и там я впервые попробовал жить исключительно за счет своего пера. Вскоре стало ясно, что я в силах играть по этим правилам и без особых проблем смогу обеспечить нам приличный доход… Сложность с Холмсом состояла в том, что каждый рассказ требовал не менее продуманного и полновесного сюжета, чем объемистая книга. Но быстро плести захватывающие интриги очень тяжело. Сюжет делается вялым и расплывчатым. А у меня было твердое намерение — отныне, раз надо мной не тяготеет жесткая необходимость заработать, никогда больше не писать того, что ниже моих возможностей. Поэтому каждый рассказ о Холмсе должен иметь достойный сюжет и идею, интересную мне самому, ибо это первое, что требуется, дабы быть интересным кому-либо еще”.

“Скандал в Богемии” вышел в июльском номере “Стрэнда”. Любопытно, что это единственный случай, когда Холмс потерпел поражение, да вдобавок от женщины — от молодой оперной певицы Ирен Адлер, “известной авантюристки”. И судя по этой истории, Холмс все же не был закоренелым женоненавистником. Доктор Ватсон начинает рассказ так: “Для Шерлока Холмса она всегда оставалась “Той Женщиной”. Я почти не слышал, чтобы он называл ее как-нибудь иначе. По его мнению, она затмевала и далеко превосходила всех представительниц своего пола. Нельзя сказать, чтобы он испытывал к Ирен Адлер чувство, близкое к любви. Всякие чувства, а тем более это, были ненавистны его холодному, точному и поразительно уравновешенному уму”.

Как водится, на Бейкер-стрит приходит посетитель. На сей раз это грузный мужчина в маске. Холмс тут же догадывается, что их с Ватсоном гость — его величество король Богемии. Король хочет, чтобы Холмс помог ему вернуть компрометирующую фотографию, где он запечатлен вместе с Ирен Адлер, дабы избежать скандала накануне грядущей свадьбы. Прибегнув к маскировке и другим замечательным ухищрениям, Холмс выясняет, где Ирен прячет драгоценный снимок, но, когда он пытается его изъять, обнаруживается, что Ирен ускользнула за границу. Мало того, она с самого начала знала, с кем имеет дело, и все уловки знаменитого сыщика ее лишь позабавили.

Художественный редактор “Стрэнда” У.Г. Бут хотел заказать рисунки Уолтеру Пэйджету, иллюстрировавшему “Остров сокровищ” и “Робинзона Крузо”, но по ошибке заказ попал к его менее известному брату Сидни, который тоже работал наемным художником. По одной версии, Бут обратился к Сидни, потому что забыл, как зовут Уолтера, по другой — Сидни вскрыл письмо, поскольку оно было адресовано “м-ру Пэйджету, иллюстратору”.

Подобно Чарльзу Дойлу, Сидни не слишком внимательно прочитал описание внешности Холмса, и использовал своего симпатичного брата Уолтера как натурщика. В результате Шерлок Холмс, по словам одного критика, “получился лишь чуть менее элегантным и очаровательным, чем какой-нибудь актер, играющий любимцев женщин”. Дойл, очевидно, никак не ожидал, что Холмс окажется красавцем, но признал: “С точки зрения читательниц, вышло очень неплохо”. Именно Сидни, иллюстрируя рассказ “Серебряный”, одел сыщика в знаменитую крылатку и кепи, и теперь Холмс ассоциируется у читателей всего мира именно с этим нарядом.

После публикации “Скандала в Богемии” поползли слухи, что у персонажей — Ирен Адлер и ее коронованного любовника — были реальные прототипы, так что публика вовсю гадала, кто же имелся в виду. Среди наиболее вероятных кандидатов называли актрису Лили Лэнгтри и принца Уэльского — их роман был поводом для многочисленных сплетен; певицу Людмилу Хьюбел, с которой, как утверждали, состоял в связи австрийский эрцгерцог Иоганн-Сальватор, племянник австрийского императора и короля Богемии Франца-Иосифа I; и скандально известную танцовщицу Лолу Монтез, любовницу Людвига I Баварского. Упоминали даже прославленную оперную певицу Нелли Мельбу, покорившую не только родную Австралию, но США и всю Европу. (В Британии она была удостоена звания дамы командора Ордена Британской империи!) Впрочем, все эти слухи только подогревали интерес читателей.

В августовском номере “Стрэнда” за 1891 год вышел “Союз рыжих”, замечательно остроумная история о жуликах, ловко выманивших владельца из магазина, чтобы в его отсутствие прорыть подземный ход в банк, расположенный по соседству с его лавкой. Они поместили в газету

объявление, приглашая всех рыжеволосых занять очень заманчивую вакансию от Союза рыжих — переписывать, сидя у них в конторе, статьи из Британской энциклопедии за 4 фунта в неделю. Разумеется, хозяин магазина мистер Уилсон был огненно-рыжим. Само собой, Холмс разрешил загадку с присущим ему изяществом.

Когда Конан Дойл закончил первые шесть рассказов о Холмсе, Гринхоу-Смит немедленно предложил заключить договор еще на шесть, так что они публиковались в “Стрэнде” ежемесячно до июня 1892 года. К некоторому недоумению его создателя, Холмс совершенно пленил читателей: они выстраивались в очереди у газетных киосков в дни выхода очередного номера журнала, и, когда первый цикл рассказов был завершен, гениальный сыщик уже сделался всеобщим кумиром.

Супергерой Викторианской эпохи, рыцарь, сопровождаемый верным Санчо Пансой, чью роль исполняет доктор Ватсон, Холмс пришел в мир, когда Британская империя была в зените славы и могущества, а Лондон центром мировой политики и экономики. Наука получила всеобщее признание и стала даже модным увлечением, а Холмс был олицетворением именно следователя-ученого. Он частенько ворчит на Ватсона за то, что тот не хочет осознать: расследование — это применение науки на практике. Например, в “Этюде в багровых тонах” Холмс говорит, что открыл вещество, которое осаждается только гемоглобином, — то есть, по сути, предвосхитил создание иммунной сыворотки. В “Знаке четырех” он ссылается на свою монографию о гипсовых слепках с отпечатков ног (еще до того, как в 1891 году Ханс Гросс опубликовал учебник по криминалистике, где привел шесть способов сохранять следы, из которых наилучшим признал вариант с гипсом). В рассказе “Рейгетские сквайры” Холмс излагает принципы графологической экспертизы (которыми, кстати, мир пользуется по сей день).

Ни один писатель не отразил дух тогдашнего Лондона лучше, чем это сделал Конан Дойл, и это при том, что первые два рассказа о Холмсе он писал, зная город только по нескольким визитам к родственникам. Вот замечательное описание из “Знака четырех”: “Был сентябрьский вечер, еще не минуло и семи, но погода стояла унылая, и мелкий моросящий дождь окутал огромный город непроглядной пеленой. Темные тучи печально нависли над грязными улицами. Фонари на Стрэнде казались мутными слабыми пятнами света, бросающими неясный расплывчатый отблеск на мокрые тротуары. Ярко освещенные витрины изливали желтое сияние в туманный, полный испарений воздух и ложились размытым отражением на заполненную народом улицу”.

Впоследствии Орсон Уэллс остроумно заметит, что Холмс “никогда не жил, но никогда и не умрет”, однако многие читатели были уверены, что Холмс реальный человек, и некоторые отправлялись на Бейкер-стрит для того лишь, чтобы обнаружить: дома 221-6 там нет. Конан Дойл получал кучу писем, в которых его просили раздобыть для них автограф великого сыщика, а пресс-агентство поинтересовалось однажды, не пожелает ли Холмс воспользоваться их услугами. Джордж Ньюнес был очень доволен — меньше чем за два года имя Конан Дойла, помещенное на обложке журнала, увеличило тираж на 100 000 экземпляров.

Дойл с Холмсом оказались отличной парой. У Дойла был врожденный дар рассказчика, и он нередко говорил друзьям, что его единственная задача — хорошо рассказать историю — внятно и с уместной долей развлекательности. А секрет, по его словам, заключался в ритме и самоконтроле. Автор множества популярных романов, признанный мастер Джон Ле Карре отзывается о рассказах про Холмса так: “Это своего рода совершенство — идеальное соотношение диалога и описаний, превосходные характеры и замечательное чувство ритма”. Холмс и впрямь идеально подходил Дойлу, позволяя придумывать запутанные ситуации, из которых только он и мог выбраться победителем. Читатели с восторгом цитировали афоризмы сыщика: “Исключите невозможное, останется — сколь бы она ни казалась невероятной — истина”. “Величайшая ошибка — строить предположения прежде, чем получишь все данные”.

Вот так, под чутким руководством Дойла, Холмс и стал главным героем Викторианской эпохи.

В октябре 1892 года двенадцать первых рассказов составили сборник “Приключения Шерлока Холмса”, который стал бестселлером и сделал Конан Дойла одним из самых успешных авторов. За три года было продано около четверти миллиона экземпляров. Книга получила восторженный отзыв в “Букмене” от доктора Джозефа Белла: “Его замечательные рассказы, безусловно, доказывают, что Конан Дойл прирожденный сочинитель. Он умело придумывает отличные сюжеты с запутанными поворотами; рассказывает их на честном англосаксонском, просто и сильно; и кроме прочих достоинств там нет “воды”, абсолютно ничего лишнего. Он знает, что краткость привлекательна. И потому его рассказы можно читать между обедом и кофе, не опасаясь, что к концу истории забудешь, с чего она началась”.

Конан Дойл был, естественно, доволен успехом, но все больше опасался, как бы Холмс не нарушил его планы стать серьезным писателем. Уже в ноябре 1891-го, лишь четыре года спустя после первого появления Холмса в печати, он писал матери, что подумывает, не пора ли “убить” сыщика: “Он отвлекает меня от более важных вещей”.

Мэри Дойл пришла в ужас — как, лишить себя такого замечательного источника дохода? И всячески отговаривала сына от его затеи. Но Конан Дойл хорошо знал себе цену на издательском рынке. В следующем письме он писал ей: “Я получил послание из Бристоля от редактора “Эрроусмита”. Около двух лет назад он хотел, чтобы я написал книгу для его дешевого издания, и обещал гонорар — я запросил 100 фунтов, на этом мы разругались, и он прислал мне весьма грубую открытку, которую я оставил без внимания. Конец первого действия. Год спустя он предложил мне за такую книгу 100 фунтов вперед. Я сказал, что теперь цена ей 200. Конец второго действия. На прошлой неделе он сообщил, что хотел бы заказать мне книгу (60 000 слов) за эти деньги. Я ответил, что теперь она будет стоить 400 фунтов. Из Бристоля донеслись неистовые рыдания, полные раскаяния за прошлые грехи. И я согласился написать 50 000 слов: аванс 250 фунтов, 20 % потиражных, я сохраняю авторские права в Штатах и на континенте. Рукопись надо отослать в августе, так что у меня еще много времени. В общем, работы хватает”.

В конце 1891-го Дойл отметил в дневнике, что в тот год литературная деятельность принесла ему 1500 фунтов. Он написал 210 000 слов — из них 30 000 были первыми ста пятьюдесятью страницами нового романа “Изгнанники: История двух континентов”, начатого в первых числах декабря и законченного в конце февраля 1892 года. Роман создан под сильным влиянием Дюма и описывает гонения на гугенотов во Франции XVII века и их последующее бегство в Северную Америку. Сначала роман публиковался в “Стрэнде”, а затем вышел отдельным изданием. Журнал “Харпер нью манфли” назвал его “замечательно интересным”: “Вряд ли кому прежде удавалось нарисовать столь живую картину нравов при дворе Людовика Великого, с его роскошью, нищетой, подлостью, гордостью, культурой, невежеством, интригами и фанатизмом…” Чуть позже мать писала Артуру, что во время ее поездки во Францию на экскурсии по замку Фонтенбло гид рекомендовал “Изгнанников” в качестве наилучшего пособия по эпохе Людовика XIV Дойл был очень доволен: “Полагаю, гид был бы немало изумлен, если бы в тот момент его расцеловала престарелая английская леди, но, вероятно, этого удовольствия он все же избежал”.

Теперь Дойл писал с бешеной скоростью, словно все идеи, запечатанные в нем, пока он работал врачом, вырвались из заточения и устремились на свободу. Он обнаруживал в своих рассказах поразительную разносторонность интересов: медицина, история, спорт, сверхъестественные силы, ужасы, открытия и трогательные истории. Некоторые из рассказов написаны от лица сильных, волевых женщин, похожих на его мать. В “Грязном деле” муж-пьяница обворовывает свою жену, которая шьет дорогие костюмы. В рассказе “За городом” речь идет о жизни почтенных обитателей небольшого поселка, на чьи судьбы сильно повлияла новая соседка — яростная феминистка и борец за права женщин.

После “Изгнанников” Дойл пишет еще один исторический роман, “Тень великого человека” (об эпохе Наполеона), изобилующий кровавыми и натуралистическими подробностями.

Но при всем том избавиться от Шерлока Холмса Дойл не мог. Он не успел еще дописать первый цикл рассказов, а Гринхоу-Смит уже настойчиво требовал продолжения. Дойл колебался, ему хотелось сосредоточиться на вещах более серьезных, и, в надежде отпугнуть Гринхоу, он запросил тысячу фунтов — невообразимую по тем временам сумму, уверенный, что тот откажется. А тот согласился.

Заключив договор, Конан Дойл написал Лотти, убеждая ее вернуться домой: “В “Стрэнде” хотят еще 12 рассказов о Холмсе, за которые я потребовал 1000 фунтов. В общей сложности я должен заработать ровно 3000 в этом году — было бы странно при этом оставить своих сестер на чужбине”. Конни с Лотти вернулись из Португалии в 1892 году, воспользовавшись щедрым предложением брата; со временем Лотти стала его литературным секретарем в Южном Норвуде. Иннес, обучавшийся в Вулидже в Королевской военной академии для офицеров, также получал от брата денежную помощь, и, только когда он высказал пожелание вступить в элитный Королевский артиллерийский полк, Дойл отказался платить — слишком велики были затраты.

Поскольку автору редко требовалось больше недели, чтобы завершить очередную историю про Шерлока Холмса, гонорар его был исключительно высок. Сначала он придумывал сюжет, то есть преступление и его разгадку, затем набрасывал вчерне отдельные сюжетные линии и персонажей, а потом садился и писал. Работал за высокой конторкой в углу кабинета, выходившего окнами в сад. Стены были увешаны акварелями его отца и различными

сувенирами, напоминавшими о походе в Арктику — там были и гарпуны для китовой охоты, и чучело исландского кречета, и голова белого медведя.

Работал Дойл с завтрака до ланча, а затем с пяти до восьми вечера, обычно “делая” за это время около 3000 слов — поразительная “производительность”, которой может позавидовать любой писатель. Многие сюжеты он сочинял во время вечерних прогулок с Туи (они любили ходить пешком и ездить на велосипедах по окрестностям), а также играя в теннис и крикет. Едва закончив рассказ, Дойл терял к нему всякий интерес. Как он писал Г.К. Честертону, его работу может улучшить редактор, но только не он сам. Он полностью выкладывался с первой попытки, и любая дальнейшая правка была бы “неуместной тратой времени”.

Хотя Конан Дойл и обзавелся пишущей машинкой, он все же предпочитал писать от руки, кладя ровные, гладкие строки с редкими помарками. Была у него и “Книга замыслов”, куда он записывал и новые сюжеты, и те, которыми уже воспользовался, и те, которые почему-либо прежде отверг:

Рассказ про буров и про человека с дурной наследственностью. (Это может быть очень сильно.)

Нищий возле биржи и исчезновение м-ра Истона Брауна. (Сделано.)

Женщина, которая умудрялась охлаждать добрый кларет и подогревать дорогое шампанское.

Монашка в глубокой старости встречает человека, из-за которого когда-то ушла в монастырь. (Использовано.)

Изо всех развалин на свете самая печальная — развалина человека. (Конец Каллингворта — использовано.)

Дойл постоянно искал сюжеты и готов был принять постороннюю помощь. “Думаю, может выйти отличная вещь о преступнике-бактериологе, — писал он Джозефу Беллу в ответ на его предложение. — Единственная загвоздка в том, что надо ориентироваться на среднего читателя, которому должно быть интересно с самого начала, а для этого он должен понимать, о чем идет речь. Несмотря на это, полагаю, что-то может получиться, и буду крайне рад, если вы потратите минут десять, чтобы разъяснить мне суть того дела, о котором пишете, а также чрезвычайно признателен за любые достоверные сведения о Шерлоке Холмсе”.

Если над историческими романами Дойл работал очень тщательно, скрупулезно сверяясь с многочисленными источниками, то рассказы о Холмсе писал порой очень небрежно, отчего в них полно вопиющих ошибок и несообразностей. Например, читателю предлагали поверить, будто за пару минут Холмс мог так преобразиться, что даже Ватсон не узнавал его. Или взять собаку доктора: договариваясь снимать квартиру, Холмс и Ватсон (“Этюд в багровых тонах”) обсуждают, какие у кого недостатки и как они могут помешать совместному проживанию. Ватсон говорит, что у него есть “щенок бульдога”. Впоследствии собака не только не мешает, больше того, ни разу даже не упоминается в “шерлокиане”. Еще один великолепный ляп допущен в “Человеке с рассеченной губой”: жена называет Ватсона Джеймсом, при том что зовут его Джон. Ну и непревзойденная по числу ошибок “Пестрая лента” — любимый рассказ самого Дойла, — где описана “болотная гадюка, самая смертоносная индийская змея”. Она приучена пить молоко из блюдца, спускается по шнуру от колокольчика, убивает спящую женщину, затем откликается на свист, поднимается по шнуру и возвращается к хозяину через вентиляционное отверстие. Но “болотных гадюк” не существует в природе (это не значит, что в болотах гадюки не водятся), змеи не пьют молока (они его не переваривают), и они почти совсем глухие (у них нет внешнего уха). Наконец, ни одна змея не сумеет взобраться по шнурку от колокольчика.

Кроме того, сам сыщик — единство взаимоисключающих противоречий. Поначалу мы узнаем, что Холмс всегда встает рано, “съедает неизменный завтрак и уходит из дома”, до того как поднимается Ватсон; но в следующем рассказе он встает “по обыкновению поздно”. В “Знаке четырех” он и слыхом не слыхивал о Томасе Карлейле, однако впоследствии обстоятельно рассуждает о нем. В одном рассказе Холмс говорит, что нисколько не интересуется философией, в другом — цитирует малоизвестных философов и объясняет философские системы. Инспектор Лестрейд, с которым Холмс иногда проводит совместные расследования, из “щуплый человечек с изжелта-бледной крысьей физиономией и острыми темными глазками” превращается в коротышку, похожего на бульдога. В “Происшествии в Вистерия-

лодж” Холмс загадочным образом появляется на месте событий в Англии — в это время он путешествует по Тибету.

Конан Дойла все эти мелочи нимало не смущали: “В рассказах, как мне кажется, главное — драматизм, а точность в деталях не так и важна”. И потому, когда какой-то редактор указал ему, что в той местности, которую он описывает в рассказе, нет железной дороги, он безапелляционно ответил: “Я проложил”.

По правде говоря, он никогда особенно не отслеживал, что вышло из-под его пера; не считал сыщика великим персонажем и, хотя зарабатывал с помощью Холмса много денег, не придавал ему значения: он не делал его “серьезным литератором”.

Необходимость написать второй цикл приключений Холмса не помешала Дойлу затеять другой проект. Он сделал из рассказа “Ветеран 1815 года” — воспоминаний “костлявого, согбенного, трясущегося от старости” участника Наполеоновских войн — одноактную пьесу, которую отправил актеру Генри Ирвингу, кумиру своего детства. В сопроводительном письме Дойл сообщал: “Это трогательная история старого солдата. Слезы наворачивались мне на глаза, когда я писал ее, а это верный способ заставить плакать и других”.

Ирвинг попросил своего друга Абрахама (Брэма) Стокера, вскоре прославившегося романом “Дракула”, прочитать пьесу. В то время Стокер был коммерческим директором театра “Лицеум”. “Торопливо проходя на сцену, сменив по обыкновению цилиндр на мягкую широкополую шляпу, которую он надевал на репетиции, Ирвинг остановился у стола, где я работал, и положил на него сверток: “Я хочу, чтобы ты проглядел это во время репетиции. Пришло сегодня утром. Расскажешь мне, что ты об этом думаешь, когда я освобожусь””. После репетиции Стокер сказал Ирвингу, что пьеса прямо создана для него и ни в коем случае нельзя ее упустить, а надо покупать за любые деньги. Ирвинг согласился и немедленно приобрел права за 100 фунтов, а Дойлу 7 марта 1892 года послал записку с поздравлениями: “Ваша небольшая пьеса чудесна, замечательна, я непременно сыграю в ней с большим удовольствием”. Премьера состоялась в Бристоле в 1914 году.

Известность, которую Дойл приобрел как писатель и драматург, сильно расширила круг его знакомств. Он вступил в “Реформ-клаб”: там собирались литераторы во главе с Джоном Робинсоном, редактором “Дейли ньюс”. Его приглашали на литературные обеды, где гостей принимал Джером К. Джером — редактор журнала “Айдлер” и автор книги “Трое в лодке, не считая собаки”, принесшую ему огромную популярность в 1889 году.

Дойл иногда писал для “Айдлера”, содержание которого было весьма пестрым — рассказы, эссеистика, карикатуры, поэзия и интервью. И хотя мрачноватые истории Дойла — например про покойника, являющегося своей вдове, — шли несколько вразрез с юмористическим тоном журнала, его вещи брали охотно. Веселые чаепития у Джерома нередко затягивались до позднего вечера, когда подавали уже более крепкие напитки, и порой гости засыпали прямо на полу посреди редакции.

Как раз на одной из таких вечеринок Дойл познакомился с Джеймсом Барри, за несколько лет до того прославившегося “Питером Пэном”, и они тут же подружились. У них было много общего — оба шотландцы, оба выпускники Эдинбургского университета и страстные любители крикета. У Барри была своя команда, и Дойл вошел в ее состав. Но играли исключительно ради развлечения, так что членов команды несколько смутили сила и напор нового игрока.

Подружился Дойл и с Джеромом, который в 1893 году посвятил “Наброски к роману” “Конан Дойлу, другу с большим сердцем, большой душой и большим туловищем”. Он вспоминает, что Дойл был также большим тружеником: “Он сидел за столиком в углу своей гостиной и писал рассказ, в то время как вокруг смеялись и разговаривали человек десять. Тут ему было удобнее, чем в кабинете. Иногда, не отрываясь от работы, он отпускал какое-нибудь замечание, давая понять, что следит за нашей беседой, но перо его продолжало неутомимо строчить”.

Летом 1892 года в компании друзей и знакомой Джерома Конни они с Дойлом отправились в Норвегию (поездка была организована, чтобы порадовать Туи, ждавшую ребенка). Живая, веселая Конни очень нравилась Джерому (“Красавица, с нее можно рисовать Брунгильду”). Она единственная из дам не жаловалась на морскую болезнь. В своих воспоминаниях он писал: “Бурное море ей было к лицу, она разрумянилась, глаза блестели, волосы завились чудесными локонами. Добрая душа, она очень сочувствовала бедным женщинам, которые слегли от качки. То и дело она врывалась к ним в каюту, чтобы узнать, нельзя ли чем-то помочь. Казалось, само ее присутствие должно было подбодрить их, но, напротив, оно сводило их с ума. “Ох, Конни, уйди же, — услышал я слабый голос, проходя мимо открытой двери, —

мне делается дурно, когда я смотрю на тебя””. (Конни не ответила Джерому взаимностью и вышла замуж за новеллиста Э.У. Хорнунга.)

С присущим ему юмором Джером описал забавный случай, произошедший с Конан Дойлом в Норвегии из-за его излишней самоуверенности. Дойл был убежден, что отлично говорит по-норвежски. Он начал учить язык на корабле, дело пошло на удивление легко, и он не упускал ни единой возможности попрактиковаться. Как-то раз вся компания отправилась в горы на “стольяз”. (Это коляска для одного пассажира, а везет ее небольшой пони.) Остановились пообедать в гостинице. Вскоре к ним подошел молодой офицер и что-то сказал по-норвежски. Конан Дойл кивнул и отошел с ним в сторонку. “Мы издали наблюдали за их беседой, — пишет Джером. — Молодой человек был явно очарован Дойлом, а тот разливался соловьем, точно норвежский его родной язык”. Когда спутники спросили у Дойла, о чем шла речь, он против обыкновения ответил весьма расплывчато и признал, что, разумеется, понял не все, но ему ясно, однако, что кто-то поранил ногу. Обед закончился, и к входу подали коляски. Коляски Дойла не было. Он осведомился у официанта, где она, и тот сказал: но ведь господин одолжил ее молодому офицеру, чей пони захромал. Официант уверял, что Дойл несколько раз сказал “Разумеется, с удовольствием” и “Не стоит благодарности”. После этого у него поубавилось желания говорить по-норвежски.

Журналистов, бравших у Дойла интервью, обычно очень удивляли его внешность и манера общения. Неизвестно, что именно они ожидали увидеть, но уж точно не крепкого здоровяка в неизменном твидовом костюме — куда больше он походил на сельского джентльмена, чем на тот образ, который отвечал их представлению о “настоящем писателе”.

Слава его росла, и вскоре репортер Харри Хоу написал “Один день с Конан Дойлом”. Статья вышла в августовском номере “Стрэнда” за 1892 год: “Он оказался вовсе не таким, как я ожидал… Ни острого, пронзительного взгляда, ни ухваток “детектива”, ничего такого… Просто счастливый, веселый, скромный человек; высокий, широкоплечий. Он от души пожал мне руку, отчего я, сказать честно, слегка крякнул. Он смуглый от загара, потому что много времени проводит на свежем воздухе — играет в футбол, теннис, крикет и в шары. Но всем физическим упражнениям предпочитает велосипед. Ничто не доставляет ему такого удовольствия, как проехать тридцать миль на своем тандеме с женой или посадить трехлетнюю дочку Мэри перед собой и кататься с ней по зеленой лужайке в саду”. К статье прилагалась фотография: у входа в дом Конан Дойл в твидовом костюме, гетрах и в кепке, на трехместном велосипеде; впереди неуверенно сидит Туи, на ней длинное черное платье и шляпка. Туи не отличалась крепким здоровьем, и ей трудно было сопровождать мужа в его долгих прогулках. Дойл писал матери, что, когда они ездили на велосипедах в Суррей с Иннесом и Конни, Туи пришлось отправить домой на поезде: она не выдерживала таких нагрузок.

15 ноября 1892 года Туи родила Артура Аллейна Кингсли. Дойл был совершенно счастлив, что у него есть сын, которому можно привить качества настоящего мужчины, каковыми сам он так гордился, — не говоря уж о том, что его можно научить играть в крикет и боксировать.

Тогда же “Стрэнд” объявил волнующую новость: в декабре журнал начнет публиковать новый цикл рассказов о Шерлоке Холмсе. Объяснялось также, почему сыщик пропал на несколько месяцев: “Причина, что удерживала Конан Дойла от создания новых рассказов, очень веская. Он опасался испортить персонаж, которого так любит, но теперь, заверил нас автор, у него достаточно материала для продолжения, и весело добавил — сюжет первого рассказа настолько тонко закручен, что он даже предложил супруге пари: она не догадается, в чем дело, пока не дочитает до самого конца!”

В письме к Джозефу Беллу Дойл признался, что был в “полном ужасе”: удастся ли сделать новый цикл на уровне первых рассказов. Но беспокоился он напрасно. “Серебряный”, открывающий сборник “Записки о Шерлоке Холмсе”, — безусловно, один из лучших рассказов о преступлениях в мире скачек. Читатели с удовольствием цитировали диалог Холмса с инспектором Грегори:

“— Есть еще какие-то моменты, на которые вы советовали мне обратить внимание?

— На странное поведение собаки в ночь преступления.

— Собаки? Но она никак себя не вела!

— Это-то и странно”.

Дойл усердно трудился над Холмсом, когда к нему обратился Барри. Он заключил контракт с импресарио Ричардом Д’Ойли Картом на либретто комической оперетты “Джейн Энни”, но

заболел и теперь просил друга о помощи. “Разумеется, я рад был оказать ему любую услугу, и обещал помочь, но сердце мое упало, когда я изучил материал. Единственный литературный дар, которого Барри был начисто лишен, — стихотворчество, чувство ритма, внутреннее ощущение того, что дозволительно в поэзии, а что нет. Фантазии и острот там было в избытке, но сам сюжет слабый, хотя некоторые положения и диалоги превосходны. Я сделал что мог, написал слова к ариям второго акта и большинство диалогов, однако приходилось подгонять это под начальный замысел”.

Барри, в свою очередь, вспоминает, что Конан Дойл был излишне покладист. “Если мы не могли его найти на репетиции, это означало, что он наверняка укрылся в ложе и пишет песню для кого-то из хористов. Им достаточно было жалобно проныть: “У меня совсем нет слов, мистер Дойл, всего пять строчек в первом акте”, как он говорил: “Ох, бедняга, это никуда не годится” и удалялся в ложу, чтобы спустя две минуты выйти оттуда с новой песней”.

Премьера “Джейн Энни” состоялась 13 мая 1893 года в театре “Савой”. Дойл с Барри сидели в ложе, но очень скоро им захотелось оказаться где-нибудь совсем в другом месте. Чем дальше, тем больше артисты запинались и ошибались и тем громче публика выражала свое неудовольствие, так что в итоге одна из главных исполнительниц вовсе отказалась выходить на поклон. Никто не кричал “Автора!”, и, когда Дойл спросил приятеля, зашедшего к ним в ложу, отчего он не хлопал, тот ответил: “Не хотел. Ведь никто же не хлопал”.

Друзья потихоньку покинули театр и отправились ужинать в клуб “Атенеум”. Отзывы были ужасные, большинство критиков недоумевали, как двум таким талантливым авторам удалось создать такую дрянь. Бернард Шоу в своей статье разгромил Дойла с Барри в пух и прах: “Мне, как собрату по литературному цеху, было бы неприлично притворяться и поздравлять их за тот откровенно бессовестный вздор, каким два ответственных человека угостили публику…” А кто-то из журналистов, к величайшему раздражению Дойла, даже предложил исправить оперетту, введя туда Шерлока Холмса.

Летом Дойла с женой пригласили в Швейцарию прочесть лекцию “Беллетристика как раздел литературы”. В Люцерне, в саду отеля “Европа”, Дойл познакомился с С.Э. Хокингом, священником Свободной методистской церкви и тоже писателем. Он был очень удивлен, что автор рассказов о Холмсе оказался плотным, жизнерадостным джентльменом, “каких часто встречаешь на крикетном поле”.

Из Люцерна супруги поехали в Майринген и побывали у Рейхенбахского водопада, сыгравшего немаловажную роль в судьбе Холмса. (Потом там открыли музей Шерлока Холмса, воспроизводящий квартиру на Бейкер-стрит.)

Затем Дойлы вновь встретились с Хокингом, который остановился с ними в одном отеле. Позднее он рассказывал, как они беседовали с Дойлом, взбираясь на ледник. Дойл тогда несколько раз сказал, что не хотел бы, чтобы его вспоминали исключительно как создателя Шерлока Холмса, и признался, что подумывает убить сыщика к концу года. “Дело в том, что он прилипчив как зараза и будет камнем висеть у меня на шее, так что я намерен покончить с ним. Иначе он покончит со мной”. Хокинг спросил, как Дойл собирается это сделать, и тот ответил, что еще не решил. “Может, заманить его сюда и сбросить в расщелину ледника?” — предложил Хокинг. Дойл рассмеялся: “Неплохая мысль”.

Вскоре после возвращения из Швейцарии Туи заболела, она кашляла и жаловалась на боль в боку. Дойл не сразу распознал симптомы туберкулеза. “Это огромное несчастье омрачило и изменило нашу жизнь”, — писал впоследствии он.

Дойл пригласил местного врача, который поставил диагноз: скоротечная чахотка. Он сказал, что легкие сильно поражены и надежды на улучшение мало, учитывая состояние больной и ее плохую наследственность. (У отца Туи, по-видимому, был диабет, да и брат с сестрой умерли молодыми.) Расстроенный донельзя, Дойл обратился к сэру Дугласу Пауэллу, эксперту в этой области, и тот подтвердил диагноз, прибавив, что жить Туи, возможно, осталось несколько месяцев. В конце XIX века чахотка означала смертный приговор, к тому же считалось, что она заразна. Общество смотрело на таких больных с осуждением, многие полагали, что чахотка настигает в основном людей низшего сословия, и всячески сторонились их.

Дойл писал матери из “Реформ-клаба”, стараясь в сдержанных выражениях сообщить ей тревожные новости: “Дорогая моя мама, боюсь, нам придется смириться с диагнозом. В субботу у нас был Дуглас Пауэлл, один из лучших специалистов в Лондоне, и он его подтвердил. С другой стороны, ему кажется, что есть признаки фиброзного разрастания вокруг очага и что второе легкое увеличилось, чтобы компенсировать нагрузку на здоровое. Он полагает, что болезнь долгие годы развивалась незаметно, но если так, то процесс шел

очень слабо… Ну что же, надо принять то, что посылает нам судьба, но я не теряю надежды, что все еще будет хорошо… Туи выезжает в хорошую погоду и не особенно потеряла в весе. Иногда кашель бывает мучителен и мокрота обильная — кровохаркания пока нет, но я этого опасаюсь. До свидания, любимая мама, спасибо большое за ваше сердечное сочувствие…”

Странно, что Конан Дойл, профессиональный врач, который три года назад ездил в Берлин изучать проблему туберкулеза, не смог сразу разобраться, чем заболела его жена. Впрочем, это, видимо, объясняется тем, что он был очень загружен работой и находился в постоянном напряжении. Он вдруг сделался знаменит, но прославила его работа, которую сам он ставил невысоко, а потому беспокоился о своей репутации.

За полтора года Дойл написал более двадцати рассказов о Шерлоке Холмсе, три романа, несколько небольших историй и ряд газетных статей, а помимо того неудачное либретто вместе с Барри. Он читал лекции, занимался спортом и находил время, чтобы вращаться в литературных кругах. Это был явный перебор. Периодически на него накатывали приступы угрюмости, дурного настроения, он мучился бессонницей и жаловался матери, что нервы его сильно расстроены. И если он винил себя, что не сразу определил болезнь Туи, то, возможно, его утешало, что во многом благодаря его заботам она прожила еще тринадцать лет вопреки всем мрачным прогнозам.

Вскоре после этого удара судьбы пришло другое печальное известие: 10 октября 1893 года в больнице для душевнобольных скончался его отец. Конан Дойл знал, что состояние отца неуклонно ухудшается. Когда его переводили в Крайтон в мае 1892-го, сын подписал соответствующие бумаги и дал согласие платить 40 фунтов в год. На сертификате о переводе он указал причину болезни — алкоголизм, а в графе “Представляет ли угрозу для общества” решительно написал “Конечно нет”. Однако ни малейшей надежды, что отец вернется в семью, не было, и, хотя любая смерть вызывает скорбь, в этом случае она, похоже, стала избавлением. В откровенном письме к доктору Джеймсу Рутерфорду (от 3 декабря 1892 года) Мэри Дойл с проникновенной тоской описывает ужас его состояния, приступы белой горячки и готовность пуститься во все тяжкие ради выпивки: “Все мало-мальски ценное, что имелось у него и у меня, он втайне выносил из дома, делал огромные долги лавочникам, подписывал счета — за продукты и вещи, которых мы никогда не видели, потому что он тут же их продавал… Он мог раздеться донага, завернуться в простыню и с риском для жизни спуститься из окна по водосточной трубе. Вскрывал детские копилки, пил пятновыводитель…” И с грустью добавляет, что в одном из кабаков Эдинбурга ей “сказали, что у них имеется замечательная коллекция его рисунков, отданных за выпивку”.

Проблема пьянства постоянно возникает в работах Конан Дойла. В рассказе “Лакированная шкатулка”, написанном шесть лет спустя после смерти отца, фигурирует сэр Джон Болламор, долгие годы страдавший алкоголизмом и опустившийся почти до уровня животного. С помощью жены, “нежной и кроткой как ангел”, он избавляется от этого порока, но вскоре она умирает, а ему оставляет послание на фонографе, где заклинает ни в коем случае не пить. Прототипом сэра Джона легко мог быть Чарльз Дойл: “Мне стали понятны и его удивительно человечный взгляд, и глубокие морщины на измученном лице. С утра и до ночи он вел нескончаемую битву с этим страшным врагом, готовым всякую минуту наброситься и погубить его душу и тело”.

Много лет спустя, в интервью газете “Нью-Йорк уорлд”, как будто оправдывая невнимание семьи к отцу, Конан Дойл запоздало утверждал, что он был “великий непризнанный гений”. Утверждал, что отца “занесло” из Лондона в Эдинбург, где “он выпал из поля зрения публики. Его безудержные, удивительные фантазии, я думаю, скорее пугали, чем радовали бесстрастных шотландцев в 50-х и 60-х годах. Душе его была близка чудная игра лунного света, столь искусно переданная им в акварелях; танцующие колдуньи, тонущие моряки, похоронные дроги в безлюдной ночи посреди вересковой пустоши и гоблины, подстерегающие детей на погостах”.

У Дойла не было времени долго оплакивать отца, ему надо было срочно увезти больную Туи из промозглой английской зимы. В Арктике он отметил “восхительные, бодрящие свойства” тамошнего климата и был твердо убежден в целительной силе свежего морозного воздуха. Поскольку в Европе все больше людей болели туберкулезом, в Швейцарских Альпах, высоко в горах, открыли несколько санаториев, где можно было добиться если не полного излечения, то хотя бы некоторого улучшения. Как было написано в одном из медицинских журналов, альпийский воздух “очищает и восстанавливает” пораженные легкие.

Дойл быстро все устроил для того, чтобы Туи могла провести зиму в гостинице “Курхаус” в Давосе. “Похоже, здесь у нас были самые высокие шансы убить ненавистных микробов, торопливо пожиравших ее легкие”. Она уехала вместе со старшей сестрой Эмили 1 ноября,

поручив детей заботам своей матери. Дойл на время задержался, чтобы уладить дела и выполнить обязательства перед “Стрэндом”.

Как никогда остро чувствовал он отвращение к столь популярному жанру детектива. “Чисто криминальные истории наносят вред, они лишь укорачивают наше суетное бытие и отвлекают от важных дел. Они неуклонно портят вкус, мешая распознавать более тонкие, деликатесные блюда”. “Уверен, — писал он в автобиографии в 1924 году, — если бы я никогда не притрагивался к Холмсу, который всегда заслонял более значительные мои работы, то занимал бы сейчас господствующее положение в литературе”.

Когда редактор предложил ему написать предисловие к новому изданию “Этюда в багровых тонах”, Дойл резко ответил, что “такая примитивная литература, как детективный рассказ, вряд ли заслуживает предисловия”. Сотни писем из его архива свидетельствуют о разочаровании: “Бедняга Холмс мертв и проклят. Я не смог бы оживить его, даже если бы захотел (по крайней мере, в ближайшие годы), поскольку сыт им по горло и испытываю к нему то же чувство, что и к фуа-гра, которого однажды съел слишком много, так что при одном упоминании о нем мне и сегодня делается дурно”.

В декабре 1893 года он решил проблему и написал в своей “Книге замыслов” два слова: “Убил Холмса”.

Глава 9

Преждевременная смерть

КОГДА РАСПРОСТРАНИЛАСЬ УЖАСНАЯ НОВОСТЬ, что Шерлок Холмс погиб в Рейхенбахском водопаде, захватив с собой своего заклятого врага профессора Мориарти, огромная армия поклонников сыщика пришла в неописуемое волнение. Героический конец великого детектива был описан Ватсоном в рассказе “Последнее дело Холмса” (декабрьский номер “Стрэнда” за 1893 год).

С тех пор как пятьдесят два года назад умерла маленькая Нелл (из романа Диккенса “Лавка древностей”), ни одна смерть литературного персонажа не вызывала у читателей такого приступа горя и негодования. Вздох отчаяния, исторгнутый из их груди, разнесся, по словам какого-то газетного писаки, по всей стране, от края до края. “Стрэнд” потерял 20 000 подписчиков, и письма разгневанных читателей хлынули в редакцию: в одних оскорбляли и проклинали автора, в других умоляли Ньюнеса опровергнуть сообщение о смерти Холмса и пообещать, что будут новые рассказы. Одна пожилая леди заявила Дойлу, что он “скотина”. Говорили даже, что на улице какая-то возмущенная дама замахнулась на него сумочкой. Принц Уэльский тосковал и мучился. В Сити рабочие повязали траурные ленты на рукава и шляпы. В Нью-Йорке возникли общества “Сохраним Холмсу жизнь!”. В эпоху расцвета науки и техники люди жаждали романтики, фантазий и приключений и были в ярости, что их лишили героя. “Точно их божество было вероломно свергнуто”, — заметил известный критик Винсент Старретт.

“Известие о гибели Шерлока Холмса было воспринято всеми с огромным прискорбием, — писал “Тит-Битс”, — и читатели просят нас повлиять на м-ра Конан Дойла, дабы он не ставил окончательную точку в этой трагедии. В ответ мы можем лишь сказать, что упрашивали сохранить ему жизнь — настойчиво, искренно и неустанно. Подобно тысячам наших корреспондентов мы чувствуем себя так, будто потеряли старого друга, и нам без него очень тяжело. Но м-ру Дойлу показалось, что Шерлок Холмс злоупотребил вниманием публики, и она от него устала. Мы так не думаем, и публика так не думает, но, к сожалению, так думает м-р Дойл”.

Те, кто еще сохранял способность трезво мыслить, могли заметить, что автору не терпелось избавиться от своего творения. Он даже не озаботился тем, чтобы придумать задачу, которую Холмс мог бы решить с присущим ему блеском, а просто сообщил о Мориарти: “Он Наполеон преступного мира, Ватсон. Он организатор половины всех злодеяний и почти всех нераскрытых преступлений в нашем городе. Это гений, философ, это человек, умеющий мыслить абстрактно. У него первоклассный ум. Он сидит неподвижно, словно паук в центре своей паутины, но у этой паутины тысячи нитей, и он улавливает вибрацию каждой из них”. Учитывая, что, по его собственному признанию, Холмс потратил немало сил, пытаясь разрушить преступную сеть Мориарти, трезвомыслящий читатель недоумевает, как это он ничего не слышал о Мориарти раньше.

Очень скоро выясняется, что противники намерены во что бы то ни стало уничтожить друг друга. По причинам не вполне очевидным Холмс покидает Лондон и зовет Ватсона поехать на континент, а Мориарти неотступно преследует их и настигает в Майрингене, у водопада. Под предлогом, что в гостинице Ватсона ждет тяжелобольная англичанка, его устраняют со сцены, а Холмс и Мориарти остаются драться на гранитных валунах. Сидни Пэйджет нарисовал иллюстрацию в готическом стиле: они замерли на краю пропасти, и позади ревет водопад, грозный, как сама судьба.

“Все попытки обнаружить тела были абсолютно безнадежны, — заключает Ватсон, — и там, глубоко на дне страшного котла с бурлящей водой и вздымающейся пеной, навеки останутся самый опасный преступник своего времени и самый лучший защитник закона”. “Это достойная могила для бедного Шерлока, — сухо заметил Конан Дойл, — даже если вместе с ним я похоронил там свой банковский счет”.

Его издатель Джордж Ньюнес на заседании акционеров назвал потерю цикла о Холмсе “ужасным событием”. “Меня очень осуждали за то, что я довел этого джентльмена до смерти, — сказал Дойл в своей речи в Клубе литераторов в 1896 году, — но я настаиваю, что это было убийство в целях самозащиты, если бы я не прикончил его, он безусловно прикончил бы меня”.

К 1893 году Конан Дойл загадочным образом изменился. Было хорошо известно, что он

интересуется спиритуализмом, который становился все более популярным. Это мистическое движение возникло в Штатах сорока годами ранее, и его сторонники утверждали, что души умерших могут общаться с живыми. Но что могло привлечь создателя хладнокровного, логичного сыщика в сомнительной теории контактов живых людей с потусторонними силами, чем она привлекла грубовато-добродушного джентльмена в твидовом костюме с трубкой, плотного, здорового, крепкого?..

Внешне Дойл никак не походил на экзальтированного мистика, наоборот, он был олицетворением здравого смысла; не он ли неоднократно утверждал, что отказывается принимать на веру то, что нельзя обосновать доводами рассудка? Сам Дойл, однако, никакого противоречия между своей литературой и убеждениями не находил, как не находил ничего странного и в самом спиритуализме, хотя многие называли его чушью, а то и откровенным мошенничеством. Ему понадобилось время, чтобы принять сприритуализм всем сердцем, но, приняв, он стал его самым преданным адептом.

Сам автор пропустил шумиху вокруг смерти Холмса. На Рождество он уехал к жене и привез с собой Лотти — она была очень близка с Туи. Но детей решил оставить в Англии, и Туи, которая очень боялась больше никогда их не увидеть, сильно огорчилась. Она не питала особых иллюзий насчет своей болезни.

В середине XVIII века Давос из глухой деревушки превратился в оживленный курорт на водах, очень популярный у обеспеченных английских семейств, которые составляли добрую половину его населения, построили там свою церковь и издавали газету. Давос расположен на высокогорном плато (1560 метров над уровнем моря), в живописной долине между заснеженными вершинами. К тому времени туда уже проложили железную дорогу, а по окрестностям катались на санях и в экипажах. На улицах стоял мелодичной перезвон — колоколов церквей и часовен, колокольчиков карет и на шеях коров, овец и коз. К услугам все прибывавших туберкулезных больных были магазины, минеральные источники, рестораны, спортивные развлечения и даже концертная площадка и театр.

Пока Туи проводила дни на балконе отеля, сидя в плетеном кресле, укутанная в пледы и меха, и наслаждалась зимним солнцем, Дойл полностью отдавался работе. И не только потому, что она позволяла забыться, но и потому, что надо было зарабатывать деньги — платить за лечение Туи, за жизнь в Швейцарии.

Наконец он был свободен и мог работать над полубиографической повестью. Лотти помогала ему, печатая на машинке.

В январе 1894 года он пишет матери: “Книга близится к завершению — запросто могу закончить ее в конце недели. Не в силах оценить ее значения. Она станет религиозной, если не литературной сенсацией, а возможно, и той и той. На самом деле, не думаю, чтобы в английской литературе кто-нибудь так глубоко вник в жизнь молодого человека. Хорнунг прочтет ее до того, как она попадет к Джерому. Мне чрезвычайно интересно, что он скажет. Когда закончу, буду жить как дикарь — целыми днями на улице, в снегу. Мы думаем, что “Письма Старка Монро” самое подходящее название…”

“Письма Старка Монро, числом четырнадцать, написанные Дж. Старком Монро, бакалавром медицины, его другу и бывшему однокурснику Герберту Свенборо в Массачусетс, в 1881–1884 гг., отредактированные и подготовленные к печати А. Конан Дойлом” рассказывают о судьбе молодого человека. Он недавно закончил медицинский факультет, и теперь его отец, тяжелобольной сельский врач, настаивает, чтобы он поскорей нашел работу и содержал семью. “Я, разумеется, ответил, что рад взяться за любую работу, какая подвернется под руку. Но после нашего разговора у меня в глубине души остался тяжелый, мрачный след, и я постоянно о нем помню…” Возможно, нигде Дойл так точно не описывал свои чувства, связанные с болезнью и заточением отца в клинику. В Джеймсе Каллингворте, одном из главных персонажей повести, безусловно, угадывается Джордж Бадд. “Письма Старка Монро” вообще изобилуют автобиографическими подробностями: Каллингворт, тайно читающий корреспонденцию своего друга; дом, который Монро снимает в Бирчеспуле (читай: Саутси); его младший брат, помогающий по хозяйству; бакалейщик, страдающий эпилепсией; старый солдат с раковой опухолью под носом…

Немало внимания уделено и религиозным вопросам. Старшего Монро раздражают взгляды сына: “Вы знаете, как я им восхищаюсь, но боюсь, мы плохо понимаем друг друга. Он уверен, что мои убеждения, религиозные и политические, которые я прочувствовал всей душой, не более чем бравада. Так что я перестал обсуждать с ним животрепещущие проблемы, но, хотя мы и притворяемся, что никаких расхождений между нами нет, оба ощущаем этот внутренний барьер”.

И напротив, мать Старка описана с величайшей симпатией: “Вы, должно быть, помните ее: чуткое, доброе лицо, нежная улыбка, внимательные близорукие глаза и неизменная заботливая тревога, как у наседки, которая все еще опекает своих цыплят. В ней всегда поразительным образом сочетались мать семейства и редкая выдумщица, рассказчица — но в основе всего лежало врожденное благородство”. Эта женщина, подобно Мэри Дойл, обладает несгибаемой волей и силой духа: “Она не раз говорила (уверен, она и впрямь так думает), что пусть лучше любой из нас ляжет в могилу, чем совершит бесчестный поступок. Да, несмотря на всю свою нежность и женственность, она может обдать таким холодом, что и утюг обледенеет, если только она заподозрит хоть малейшую низость, и я видел, как она краснела от возмущения, узнав, что кто-то совершил подлое дело”.

Когда “Письма” были напечатаны, в 1895 году, пресса откликнулась по-разному. “Этот жанр, — презрительно фыркнул “Спектейтор”, — не годится для обсуждения важнейших проблем, которые затронуты в книге, ни по уровню языка, ни по масштабности идей”. В том же духе высказался Г.У. Смолли из “Нью-Йорк геральд”: “Преимущество автора заключается в том, что он разбирается в медицине, но печально, что он пытается разобраться в религиозных и социальных проблемах. В книге масса врачебных терминов, перемежающихся отвлеченными рассуждениями о вещах, находящихся вне разумения автора”. “Спикер” был добрее: “Со скидкой на изменившиеся времена и стиль, “Письма Старка Монро” во многом напоминают Д. Дефо, причем в лучших его образцах”.

Закончив “Письма”, Дойл, как и собирался, отложил работу и предался удовольствиям, доступным в Давосе. Катался на санях, ходил на каток и бродил по горам, ни разу не услышав ни слова жалобы от Туи, которая заверяла мужа, что прекрасно проводит время на балконе отеля. Они дважды меняли гостиницы, сначала перебрались в “Гранд-отель”, а затем в “Бельведер”, где десятью годами раньше жил больной чахоткой Стивенсон, а много лет спустя Томас Манн.

В письме к приятелю из Саутси Дойл сообщал, что Туи поправляется, “но понадобится еще по меньшей мере две зимы, чтобы она выздоровела. До чего же дьявольские микробы! Конечно, наука найдет, как с ними справится. Это просто нелепо — мы можем убить тигра и не в силах победить крошечную злобную тварь… Они вгрызаются в человека, как сырный клещ в сыр… Разве нельзя пропитать чем-нибудь каждую клеточку организма, чтобы они подохли? Умеем же мы выводить паразитов из мебели и одежды”.

Как бы то ни было, а Туи оставалась бодрой и веселой, здоровье ее восстановилось на свежем альпийском воздухе, и Дойл без угрызений совести посвящал много времени новому увлечению: лыжам. Санки, коньки, керлинг и хоккей на льду были уже весьма популярны в Швейцарии, но спуск с гор на лыжах был почти неизвестен. Только Тобиас Брангер, местный шорник, и его брат Иоханнес, проводник по горам, уже пытались ходить на лыжах, которые они привезли из Норвегии. Поначалу у них ничего не получалось, зато народ так веселился, глядя, как неуклюже они передвигаются на длинных деревянных досочках, что тренироваться братья стали вечерами, под покровом сумерек. Но когда Дойл приехал в Давос, Брангеры уже катались вполне сносно и охотно принялись его учить.

Новичок, как известно, на первых порах весьма неуверенно чувствует себя на лыжах, и Дойл не был исключением: “На первый взгляд, в лыжах нет ничего зловредного, — писал он в “Стрэнде” в том же году. — Но вот вы надели их и обернулись посмотреть, любуются ли вами друзья. В следующий миг ваша голова уже буровит сугроб, а ноги выписывают неистовые па. Каким-то чудом вам удается встать, но затем лишь, чтобы с размаху обрушиться все в тот же сугроб, а друзья при этом развлекаются от души — они и не подозревали, на что вы, оказывается, способны”.

Но отступать было не в характере Дойла. И к 23 марта он был уже вполне готов отправиться с Брангерами в Аросу, городок в 12 милях от Давоса, куда можно попасть через крутой горный перевал. Они вышли еще до рассвета, когда “огромная бледная луна висела на фиолетовом небе”, и два часа шагали с лыжами на плечах по нетронутому, девственному снегу, кое-где глубиной по колено. Наконец встало солнце, они надели лыжи с самодельными креплениями и покатили. В одном месте им попался склон под углом 60 градусов, который заканчивался отвесной пропастью. “Поскользнуться там было бы небезопасно”, — многозначительно замечает Дойл. Братья Брангер предусмотрительно ехали чуть ниже, готовые подхватить его в случае чего. На пологих склонах Дойл разгонялся в полную силу, весело вздымая вокруг себя снежные вихри. “Такого удовольствия, как на лыжах, никогда не получишь от пешей прогулки. Мы катили треть мили вниз в долину мимо снежных гор, ни разу не оттолкнувшись. Так прекрасно было ехать по нетронутому снежному покрову. Вокруг, куда только хватало

взгляда, лежали белые поля, и ни единого признака человека, только следы лисиц и серн. Короткий зигзаг у подножия склона вывел нас около половины девятого утра к горловине ущелья, и в тысячах футов внизу, среди хвойных лесов мы увидели под собой маленькие игрушечные домики Аросы”.

Однако дальнейший спуск был слишком крут, чтобы проделать его на лыжах. Брангеры сняли их, связали наподобие санок и покатили. Дойл попробовал последовать их примеру, но лыжи сразу же “улетели прочь, как стрела из лука”, и теперь присоединиться к Брангерам, ожидавшим его за сотни футов внизу, он мог лишь одним способом — на мягком месте. Что он и проделал, убедившись, к своему негодованию, что портные ошибались, заверяя, будто “твид от Харриса никогда не протрется”. В Аросе он передвигался бочком, стараясь демонстрировать изрядную дыру в штанах лишь стенам домов. Зато в отеле он испытал прилив гордости: Тобиас Брангер, вписывая их в книгу регистрации, добавил рядом с именем Дойла “Sportesmann”.

На другой день он писал матери: “Моя дорогая мама. Вчера я совершил небольшой подвиг, преодолев горную цепь на снежной обуви (норвежских лыжах) и спустившись в Аросу. Со мной были два швейцарца. Я первый англичанин, перешедший через Альпы зимой на лыжах, — по крайней мере, я так думаю. Мы вышли из Давоса в четыре утра и прибыли в Аросу в 11.30. Наслаждение получили немалое”.

Дойла очень вдохновляли возможности, которые открывал новый вид спорта. “Убежден, — писал он в “Стрэнде”, — что наступит время, когда сотни англичан будут приезжать в Швейцарию в лыжный сезон. Позволю сказать, что я первый, кто, вместе с двумя швейцарцами, катался по горам на лыжах… но я уверен, что точно не последний, и у нас будут тысячи последователей”. Он также утверждал, будто это именно он заинтересовал братьев Брангер лыжами, после того как прочитал отчет Нансена о его знаменитом переходе через Гренландию в 1888 году.

В результате повсеместно распространилось ложное мнение, будто именно Дойл ввел в моду лыжный спорт в Швейцарии. Однако согласно авторитетному свидетельству сэра Арнольда Лунна, автора “Истории лыж”, это была заслуга норвежца О. Кьелберга, и было это в 1889 году. Впрочем, нет никаких сомнений, что статья Дойла в “Стрэнде”, к которой прилагались восемь фотографий и которая была многажды перепечатана, сыграла огромную роль в популяризации этого спорта. Через десять лет был создан “Английский лыжный клуб Давоса”. Курорт приобрел международную известность. Жители Давоса впоследствии выразили Конан Дойлу свою благодарность, открыв мемориальную доску за то, что он “внедрил новый вид спорта и привлек внимание всего мира к Швейцарским Альпам”.

В апреле Туи, которой стало много лучше, взмолилась, чтобы ее отпустили домой к детям. Врачи и муж согласились. Она жила у матери, а Дойл проводил все время в “Реформ-клабе”, сосредоточившись, как водится, на работе. Он составил сборник “Вокруг красной лампы (записки врача)”, туда вошли в основном рассказы о медицине, описывающие “мрачную сторону жизни”. “Литература, — пояснял он, — должна не только развлекать, но и затрагивать болезненные темы. Рассказ, за которым приятно скоротать время, который заставляет нас забыть унылые будни, полезен, но не менее важную роль исполняет и тот, который заостряет внимание на печальных моментах в жизни”.

Критики сочли, что это уж слишком. “Стоит ли делать предметом искусства трагическую реальность больничной палаты и постель умирающего?” — мрачно вопрошал “Спектейтор”. “Нейшн” назвал рассказы “отвратительными”, а “Католик уорлд” уверял, что “лишь люди с крепким желудком преодолеют тошноту, вызванную жуткими подробностями… Даже болезненная фантазия Эдгара По не порождала столь гадких образов”.

Помимо всего прочего стала очевидна растущая тяга Дойла к сверхъестественному. В рассказе “Лот № 249” крайне непривлекательный, “похожий на рептилию” студент изучает тайные обряды. Он покупает на аукционе мумию, оживляет ее и использует для своих мерзких делишек. А в “Паразите” главный герой подпадает под гипноз некой дамы: “Она может проникнуть в меня и управлять моим телом. У нее натура паразита, да, ужасного, чудовищного паразита. Она вползает в мою оболочку, как рак-отшельник в раковину моллюска. Я беспомощен. Что я могу? Ведь я имею дело с силой, о природе которой мне ничего не известно”.

Еще один рассказ, несколько менее красочный, “Женщина-врач”, раскрывает отношение Дойла к женщинам, в первую очередь к работающим женщинам, женщинам-професионалам: он испытывает к ним глубокое уважение, но при этом убежден, что равенство полов невозможно. В небольшой деревушке Хойланд на севере Гемпшира у практикующего врача

появляется вдруг талантливый квалифицированный конкурент. Решив нанести визит вежливости, доктор по приезде встречается с “маленькой, невзрачной женщиной, чье простое бледное лицо оживляли только глаза — веселые и острые”. Он уверен, что перед ним супруга нового врача, и глубоко поражен, когда она говорит, что не замужем и что врач — это она и есть. “Никогда прежде он не встречал женщин-врачей, и все его консервативное существо возмущалось при одной мысли об этом. Нигде в Библии не было сказано, сколько он мог припомнить, что врачом надлежит быть мужчине, а женщине — лишь сиделкой, и все же он не в силах был преодолеть ощущение, что это святотатство”. Но доктор, поначалу оскорбленный в лучших чувствах, со временем влюбляется и предлагает конкурентке руку и сердце. Однако она оказывается феминисткой и превыше всего ставит карьеру и работу. А потому отказывает ему и уезжает в Париж заниматься дальнейшими исследованиями.

Дойл не понаслышке был знаком с этой проблемой. В 1869 году несгибаемая Софья Джекс-Блейк, дочь адвоката, вызвала бурю негодования, когда попыталась поступить в Эдинбургский университет на медицинский факультет. (В то время ни одно медицинское учебное заведение Британии не принимало женщин.) Ее приняли на условии, что она будет посещать лекции индивидуально — недешевое удовольствие. Но сломить Джекс-Блейк было не так-то просто: она дала в газете объявление, и в итоге собралась группа из семи студенток. Преподаватели и большинство студентов были в ярости: они считали, что женщины “погубят профессию”, и старались сделать их жизнь в университете невыносимой. Кульминацией стал скандал в хирургическом корпусе: разбушевавшаяся толпа не пускала студенток на лекцию. Наконец их не допустили даже до выпускных экзаменов, и тогда Софья с подругами обратилась в суд. Дело было громкое. В конце концов, в 1876 году, то есть в тот год, когда Дойл поступил в университет, парламент одобрил закон, по которому все медицинские колледжи обязаны были принимать женщин наравне с мужчинами. Джекс-Блейк стала одной из первых женщин-врачей в Британии и помогла основать две медицинские школы для женщин, в Лондоне и в Эдинбурге.

Между тем Конан Дойл замыслил написать цикл рассказов из истории Наполеоновских войн, объединенных фигурой главного героя — удалого бригадира Этьена Жерара из Конфланского гусарского полка: “лихого наездника, веселого задиры, учтивого рыцаря, любимца женщин и шести бригад легкой кавалерии”. Бригадир родился в его голове благодаря “Воспоминаниям барона де Марбо”, впервые опубликованным в 1844 году в Париже. Дойл считал, что это “лучшая в мире книга о войне”, хотя и признавал: “надо быть очень наивным”, чтобы поверить во все, о чем там написано.

Однако бесчисленные подвиги барона, участвовавшего в самых дерзких и невероятных авантюрах, подстегнули воображение Дойла. Тем более, это был любимый им жанр исторических приключений. В результате он обрел нового сквозного персонажа, образ которого более Холмса соответствовал динамичному сюжету; к тому же, что важно, рассказы можно было сначала публиковать в журналах, а потом выпустить отдельным сборником.

Жерар дебютировал в декабрьском номере “Стрэнда” за 1894 год и сразу завоевал симпатии публики. Веселый и забавный, любитель прихвастнуть и подурачиться, “весь — усы и шпоры, покорит любую женщину и укротит любую лошадь”. В нем также угадываются некоторые черты старого приятеля Бадда: безумная отвага, бахвальство, энергичность, умение попадать в затруднительные положения и поразительный талант выбираться из них, нимало не пострадав. Сколь безнадежное дело ему ни поручи, он непременно справится, благодаря напору и благосклонности фортуны.

Все шестнадцать рассказов отмечены замечательным юмором, сатира порой переходит в бурлеск, действие развивается стремительно, а реалии, которыми всегда насыщены исторические вещи Дойла, уместны и убедительны. Словом, автор очередной раз подтвердил, он — мастер рассказа. И пусть он скромно называл свою книгу “небольшим сборником военных историй”, но признавался, что тепло относится к бригадиру, и охотно читал вслух о его подвигах.

Один из биографов Конан Дойла Фредерик Уит вспоминал, что однажды тот читал свои произведения в концертном зале Хемпстеда и аудитория реагировала “довольно вяло”, пока дело не дошло до того, “как бригадир убил лису”: “Скоро весь зал бился в конвульсиях, а сам Дойл так хохотал, что едва мог продолжать”.

Двадцать первого сентября 1894 года в Бристоле состоялась премьера пьесы “Ватерлоо”, которую Дойл продал Генри Ирвингу и где тот сыграл главную роль — старого солдата, вспоминающего о былых славных сражениях. Интерес к этому театральному событию был так

велик, что из Лондона в Бристоль специально для критиков был заказан отдельный поезд. Большинству из них спектакль понравился. Исключение составил язвительный Бернард Шоу, который счел, что Ирвингу удалось немногое: “довольно убедительно передать, как скрипят старческие суставы”.

После премьеры Брэм Стокер записал в дневнике: “Огромный успех новой постановки. Г. И. великолепен и велик. Все смеялись и плакали. Поразительное понимание дряхлого старика. Восемь раз выходили на поклон”. Знаменитая Эллен Терри, прославившаяся исполнением шекспировских героинь, писала автору на следующий день: “Тысяча поздравлений с успехом вашей превосходной маленькой пьесы… она меня необычайно тронула”.

Конан Дойла отклики прессы ничуть не порадовали, ведь все внимание было сосредоточено на игре Ирвинга, а о самой пьесе упоминали лишь вскользь: “Несколько маститых критиков сказали о том, как замечательно понял свою роль великий артист, а пьеса, где он играл, была пренебрежительно забыта”.

Старый капрал Грегори Брюстер стал любимым персонажем Ирвинга. За десять лет он сыграл ее 343 раза и с каждого представления отсылал автору гинею, хотя и приобрел на нее все права, как мы помним, за 100 фунтов. “Ирвинг совершил выгодную сделку — роль стала одной из лучших в его репертуаре, и к тому же с возрастом он имел все шансы играть все более натурально”.

Поскольку Туи по-прежнему “держалась молодцом”, осенью Дойл согласился поехать с лекциями в турне по Штатам и Канаде. Свое согласие он оправдывал тем, что Лотти прекрасно за ней ухаживала, и здоровье жены неуклонно укреплялось. Так что он вновь получил “свободу действий”. На самом деле он, безусловно, рад был улизнуть от постели больной и жаждал увидеть те края, о которых столько читал в детстве у Фенимора Купера и Майн Рида. И в письмах, и в газетных статьях Дойл неоднократно говорил, что мечтает о временах, когда “англоговорящие народы” объединятся в империю, состоящую из Британии и США.

Перед отъездом он изложил свои взгляды в интервью “Коммерческой газете Цинциннати”, где заявил, слегка приукрасив истину, что главная цель его визита — укрепление связей между двумя странами. “Я уверен, что англоговорящие народы либо должны объединиться, и тогда будущее мира принадлежит им, либо они будут вынуждены вечно находиться в противоборстве, и тогда более спаянные нации, скажем русские или китайцы, сумеют их затмить. Нам нужен общий флот и общие интересы. Сколько мелких вопросов были бы уже решены, поступи мы так! Это был бы первый огромный шаг к устранению угрозы войны и созданию общемировой федерации”. Впоследствии он много раз возвращался к этой теме.

Дойл пригласил брата Иннеса, новоиспеченного офицера, который только что закончил учиться в Вулидже, поехать вместе с ним. Тот с радостью согласился, и *г* октября они прибыли в Нью-Йорк на борту германского лайнера “Эльба”. (Спустя пять месяцев он затонул, столкнувшись с английским угольщиком “Крати”. 332 человека погибли в холодных волнах Северного моря.)

Агентом Дойла в турне был майор Джеймс Понд, человек весьма занятный. Он участвовал в Гражданской войне, и всячески подчеркивал этот факт. Помимо забавной козлиной бородки он гордился тем, что пропагандировал “совершенную речь” и числил среди своих клиентов Марка Твена. Майор широко разрекламировал визит знаменитого создателя Шерлока Холмса, и в результате на причале братьев ожидала толпа репортеров. Судя по неумеренным восторгам “Нью-Йорк тайме”, Конан Дойл произвел на журналистов исключительно приятное впечатление: “Он высок, строен, сложен как атлет, голубые глаза светятся дружелюбием, и весь облик — воплощенная Энергия, пронизывающая буквально все его существо. Нельзя сказать, что у него колоссальный лоб, однако он высечен из того же мрамора, что и титаны. У него веселый, живой, пытливый взгляд, и он обращен к тому, что происходит вокруг, а вовсе не к звездам”.

Поначалу Дойл планировал прочесть три лекции: об английской литературе, о Джордже Мередите и о своей собственной писательской работе. Эту лекцию он назвал “Книги и воспоминания”. Отказавшись в итоге от двух первых, он с некоторой неохотой сосредоточился на воспоминаниях. “Несомненно, есть нечто противоестественное в человеке, стоящем на трибуне и разглагольствующем о себе и своей деятельности, — сообщал он своим слушателям. — Однако еще до того, как я приехал в эту страну, мне объяснили, что если кто-нибудь захочет прийти на мою лекцию, то вовсе не потому, что интересны мои критические воззрения, а потому, что некоторые мои книги оказались людям близки, и они захотят закрепить узы симпатии между нами”.

Узы были закреплены на первом же выступлении в известной баптистской церкви Нью-Йорка, куда 11 октября пришли полторы тысячи человек. “Нью-Йорк рекордер” писал: “Его лекция была интересна до чрезвычайности. Все время, что он говорил, публика ловила каждое слово, внимательно следя за его объяснениями и отступлениями, наслаждаясь не только ходом мысли, но и просто голосом рассказчика. Сердечный, дружелюбный, насыщенный обертонами голос — редкий, чудесный дар, а именно такой голос у м-ра Дойла”.

Помимо глубокого басовитого тембра и шотландского акцента, британская сдержанность и природное добродушие, а также горячий энтузиазм по отношению ко всему американскому позволили Дойлу завоевать всеобщую популярность. “Мало кто из иностранных писателей, посещавших нашу страну, обрел здесь столько друзей, — сообщал “Домашний журнал для дам”. — Его личность удивительно притягательна для американцев, поскольку он на редкость здравомыслящий человек… Простой, искренний, непретенциозный и честный, доктор Дойл обладает теми исконными качествами англичанина, которые, в сочетании с огромной добротой и благородством манер, завоевывают сердца”. Надо сказать, Иннес тоже сполна развлекался. Особенно ему понравилось, когда какая-то газета назвала Дойла “красивым молодым человеком”, возможно перепутав братьев.

Вообще говоря, многие приходили на лекции Конан Дойла для того лишь, чтобы поглазеть на заокеанскую знаменитость. И всякий раз немало удивлялись: поскольку его полностью отождествляли с Шерлоком Холмсом, то ожидали увидеть кого-то в этом роде. А тут на сцену вдруг выходит рослый плотный джентльмен в твидовом костюме, а вид у него такой, точно он только что вернулся с долгой загородной прогулки.

Ему нравилось цитировать одну газетку, где было сказано, что “вздох разочарования” послышался в публике, увидевшей своего лектора. “Потом я понял: они надеялись узреть бледного нервного субъекта, сплошь покрытого шрамами от инъекций кокаина”.

Конан Дойл нисколько не походил на писателя. Английский литератор Энтони Хоуп, как раз тогда работавший над романом “Узник Зенды”, сказал, что Конан Дойл пишет хорошие книги, но “при этом выглядит так, будто и слыхом не слыхивал о таких вещах”. Фредерик Уит оставил незабываемое афористичное описание внешности Дойла: он “как два полисмена, которых скатали в одного”.

Более всего были разочарованы дамы: после лекции докладчик наотрез отказывался от светского общения, быстро исчезая через служебный выход. “Как-то раз, — вспоминал майор Понд, — я твердо обещал весьма уважаемым нью-йоркским леди, которые настойчиво просили предоставить им возможность пообщаться с доктором, что после выступления им будет оказана честь познакомиться с ним. За кулисами, перед его выходом на сцену, я признался ему, что натворил, и умолял с ними встретиться. Он ответил: “О нет, майор, я не могу, никак не могу. Чего они хотят от меня? У меня не хватит смелости даже взглянуть кому-нибудь в глаза”. Кажется, перспектива провести время в обществе этих леди повергла Дойла в ужас”.

Разумеется, его неизменно спрашивали насчет Шерлока Холмса, а он, как мог, старался скрыть и свою неприязнь к этому персонажу, и парадоксальное неуважение к собственным рассказам. Однажды на пресс-конференции Дойла спросили, не под влиянием ли Эдгара По создан великий сыщик. Репортеры нервически перешептывались, ожидая, что сейчас разразится скандал, однако Дойл радостно ответил: “О, несомненно! Под огромным влиянием. Его детективы — лучшие”.

Беседуя с газетчиками, Дойл твердо отрицал возможность вернуть Холмса к жизни. “Мне сообщили, будто бы в каждом городе, где я выступал, я обещал и дальше писать рассказы о Шерлоке Холмсе. Хочу категорически опровергнуть это. Мне пришлось убить вездесущего Шерлока, исключительно в целях самообороны. Он утомил меня до такой степени, что я не мог более этого вынести. Конечно, я мог бы еще немало заработать, поскольку он принес мне столько денег, сколько ни одна другая моя книга, но в смысле литературы все это просто хлам”.

Впрочем, ему хватало здравого смысла, чтобы представлять Холмса аудитории как своего близкого друга, с которым якобы подружился в период жизни в Саутси: “В это время в моей жизни возник джентльмен, который стал моим добрым товарищем и по отношению к которому я впоследствии повел себя самым неблагодарным образом, — я говорю о Шерлоке Холмсе с Бейкер-стрит”. Затем он прочел пару рассказов, чтобы не обмануть ожиданий публики.

Майор Понд был суровым “надсмотрщиком” и заключил контракты на дойловские чтения в тридцати городах, кое-где по два-три выступления. Как-то выдались уж совсем безумные сутки: Дойл выступал в Нью-Йорке, Принстоне и Филадельфии. Нередко ему приходилось

спать урывками, в поездах, а кроме того, он обязан был сам оплачивать дорожные расходы.

О путешествии по Америке у него была любимая смешная история. Он всегда с радостью рассказывал ее друзьям: кебмен, который привез его на очередную лекцию, попросил вместо денег входной билет. Изумленный Дойл поинтересовался, откуда тот знает, кто он такой, и в ответ якобы услышал вот что: “Если позволите, сэр, полы вашего пиджака страшно оттянуты, поскольку их яростно хватали прыткие нью-йоркские репортеры. Волосы у вас пострижены этак на квакерский манер, как это делают парикмахеры в Филадельфии, а поля шляпы сильно обтрепались, не иначе как во время литературного обеда в Чикаго, когда вы натягивали ее поглубже. На правом ботинке здоровенный шматок грязи из Буффало, а плащ со следами щетки ясно говорит, что вы имели дело с носильщиками в Олбани. Крошки пончика на жилете явно из Спрингфилда. Ну и разумеется, бирки на чемоданах дают полную картину — да-да, именно бирки, на которых выгравировано “Конан Дойл””.

Одиннадцатого ноября, в середине своей утомительной поездки, Дойл получил письмо от Редьярда Киплинга, из его дома в Баттлборо в штате Вермонт, с приглашением заехать в гости: “Уважаемый Дойл, я прочел “Красную лампу” в один присест, с большим удовольствием… Из-за “Мумии” меня мучили ночные кошмары, хотя я и читал ее прежде в журнальном варианте… Не сокращайте свою программу, очень обширную, сколько мне известно, но, если ваш с братом путь будет пролегать через наши края, дайте нам знать заранее, когда вы приедете… Неизменно ваш, Р. Киплинг”.

Конан Дойл считал Киплинга “лучшим английским новеллистом после Диккенса”, — “Книга джунглей” была напечатана в том же году, — но не одобрял его за открытую критику американского экспансионизма, а также за то, что он с неприязнью относился к демократии как таковой. Однако с радостью принял приглашение, сулившее краткую передышку от лекций.

Едва их разговор ушел от достоинств и недостатков Америки, как обнаружилось, что взгляды их во многом очень сходны, — обоих интересует фотография, медицина и сверхъестественные явления. У Дойла с собой были клюшки для гольфа, и он попытался обучить Киплинга этой игре на ближайшем к дому поле, в то время как за ними издали наблюдали “сельские жители Новой Англии… гадавшие, какого черта мы там делаем, поскольку гольф был тогда еще неизвестен американцам”. Под конец они крепко сдружились, и чуть погодя Дойл прислал Киплингу в подарок лыжи, чтобы он попробовал себя в чем-то помимо гольфа. Матери Дойл писал о своем визите с большим воодушевлением: “Я провел два дня у Киплинга, и мы отлично провели время, играли в гольф и беседовали о высоких материях. Он замечательный малый”.

Вернувшись в Нью-Йорк, Дойл познакомился с издателем Сэмюэлем Мак-Клюром, владельцем и редактором “Журнала Мак-Клюра”, который уже опубликовал несколько его рассказов. Издатель просил прощения, что своевременно не заключил с Дойлом контракт, но объяснил, что журнал его, основанный год назад, находится в критическом финансовом положении. Ежемесячно он нес убытки в 1000 фунтов и задолжал британским авторам, в том числе и Дойлу, около 5000 фунтов. В тот день с утра, выходя из дома в Лонг-Айленде, он даже попросил жену помолиться, чтобы Господь послал им избавление от бед. Она посоветовала и ему тоже помолиться, но он считал, что у нее это лучше получается.

В автобиографии Мак-Клюр пишет, что Дойл немедленно предложил ему денег, сказав, что верит в издателя и его детище. Они пообедали в клубе “Олдин” на Пятой авеню, а затем прошлись пешком до редакции, где Дойл выписал чек на 8500 долларов (около 1700 фунтов).

По версии Дойла, впрочем, дело обстояло чуть иначе: придя в контору Мак-Клюра, он застал его на коленях, возносящим Господу молитвы о спасении своего журнала. Узнав подробности, Дойл сказал, что готов вложить в издание 1000 фунтов, то есть все, что ему удалось заработать за турне. Впрочем, какова бы ни была сумма, впоследствии Дойл заверял, что совершил выгодную сделку: спустя двадцать лет он продал свою долю за очень неплохие деньги.

Восьмого декабря братья отправились домой на борту парохода “Этрурия”. Майор Понд пытался уговорить Дойла задержаться, но тот отказался, пояснив, что обещал больной жене провести Рождество вместе. Они условились, что Туи вернется на зиму в Давос и возьмет с собой детей, няньку-француженку и Лотти. К тому времени Мэри было пять лет, а Кингсли зимой исполнялось два года.

Пятнадцатого декабря “Этрурия” пришла в Ливерпуль, братья сразу же сели в поезд и в Лондоне, проезжая в кебе по Стрэнду, увидели на газетной доске объявление: Роберт Льюис Стивенсон скончался от инсульта в своем доме на Самоа, в сорок четыре года, в расцвете

творческого таланта. Его новелла “Странная история доктора Джекила и мистера Хайда” (1886), живо и ярко показывающая, как переплетены в человеке добро и зло, потрясла викторианскую Англию и тут же стала бестселлером. Дойл, который состоял со Стивенсоном в переписке, тяжело переживал его смерть: “Что-то ушло из моей жизни”.

Из Лондона Дойл поспешил в Давос, где в отеле “Бельведер” остановилось его семейство. Погода стояла ужасная, совершенно неподходящая для Туи, и он решил, что в следующем году надо подыскать место потеплее. В Давосе он продолжал цикл о бригадире Жераре, занимался спортом, делал доклады в Английском литературном обществе, участвовал в турнире по бильярду, гонках на санях, стоял на воротах в хоккейном матче между командами Давоса и Санкт-Морица, а весной даже устроил простенькую площадку для гольфа, несмотря на “проделки местных коров, норовивших сжевать красные флажки”.

Почти весь 1895 год семья провела в Швейцарии, но несколько раз Дойл ездил в Лондон. В одну из таких поездок он познакомился с канадским писателем Грантом Алленом, у которого тоже был туберкулез. Они стали добрыми друзьями: оба имели независимый образ мысли и не боялись полемики. В тот год Аллен как раз выпустил роман “Женщина, которая смогла”, вызвавший негодование у викторианских мужчин: откровенно критикуя современные нравы, Аллен написал о женщине, отказавшейся выйти замуж за своего любовника, поскольку брачное законодательство не учитывало права женщин.

Аллен приобрел дом в Хайндхеде, деревушке в графстве Суррей. Он клялся, что воздух там воистину целебный, недаром эти места даже называют “маленькой Швейцарией”. Дойла это настолько впечатлило, что до отъезда он приобрел четыре акра земли в Хайндхеде за тысячу фунтов и нанял архитектора Джозефа Генри Болла, с которым подружился в Саутси, чтобы тот построил большой, добротный дом. Туи пришла в восторг, когда муж рассказал ей эту новость. Мысль, что она сможет вернуться в Англию, “вселила в бедняжку радость надежды”.

В тот год Туи с детьми вели “бродячую” жизнь, путешествовали по Европе, знакомясь с ее искусством, архитектурой и историей, а Дойл периодически присоединялся к ним. Из Давоса они перебрались в Малойя, а затем в Ко, горную деревеньку, много выше Монтре, из которой хорошо было видно Женевское озеро. Там Дойл начал писать исторический роман из эпохи Регентства “Родни Стоун”. Много внимания в книге уделено боксу, особенно жестокому в то время — тогда дрались еще без перчаток. Сам Дойл любил боксировать, но, когда он занялся этим спортом, маркиз Квинсберри уже ввел новые правила (многие из них дошли в неизменном виде до наших дней), и дрались уже только в перчатках. Однако Дойл не видел ничего плохого в старом варианте бокса. Кулачный бой казался ему замечательным спортом, в духе гладиаторских боев: “Уж лучше пусть наш спорт будет груб, чем мы станем женоподобны”. Однажды он даже признался приятелю, что охотнее зарабатывал бы на жизнь спортом, а не писательством.

Седьмого сентября он писал матери из отеля в Малойя: “Вас, наверное, порадует, что я закончил свою книгу. Сейчас я проглядываю ее и вношу правку, но через неделю надеюсь все полностью доделать. Думаю назвать ее “Родни Стоун. Воспоминания о боксе”. В целом я доволен. Есть сцены, которые очень мне удались, и хотя в ней нет энергии “Белого отряда” или мыслей “Писем Старка Монро”, но, во всяком случае, там звучит нота здорового мужественного патриотизма, а кроме того, сама тема, я думаю, внове для британской литературы. Книга может иметь большой успех, и уж точно не причинит мне вреда…”

Совершенно справедливое заявление. Литературные позиции Конан Дойла были очень прочны. Критики, как водится, поругивали его, но зато у читателей он пользовался поразительной популярностью. В “Стрэнде” опасались, что тираж резко упадет после кончины Холмса, но он, напротив, возрос, едва объявился бригадир Жерар. К середине 1890-х редакторы поняли: имя Конан Дойла на обложке — гарантия, что номер разойдется без остатка. И если Дойл порой хвастал своими достижениями, особенно в письмах к матери, то имел для этого все основания: за последние десять лет XIX века он написал одиннадцать романов и пять сборников рассказов, так что легко мог утверждать, что он один из самых успешных — и самых уважаемых — писателей в истории литературы.

Глава 10

“Почетный военный корреспондент”

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА В ХАЙНДХЕДЕ затягивалось, и Дойл решил провести зиму девяносто пятого-девяносто шестого годов в Египте. Он надеялся, что жаркий сухой климат пойдет Туи на пользу. Детей отправили к бабушке, а он, Туи и Лотти направились на юг через Италию, провели несколько дней в Риме, потом прибыли в Бриндизи, откуда поплыли в Каир. Там они остановились в гостинице “Мена”, бывшем королевском дворце с видом на пирамиды.

Здоровье Туи поправилось настолько, что она могла присоединиться к мужу в его светских развлечениях: они посещали клубные вечера, ходили на скачки верблюдов, матчи по поло и пикники под пальмами. “Туи, кажется, чувствует себя много лучше, перемена ей на пользу, — писал Дойл матери, — и мы отлично здесь устроились. Отель чудесный, воздух замечательный. Каждое утро я езжу верхом — меньше всего я предполагал, что буду совершать прогулки по Сахаре на арабском скакуне. И вот, однако же”.

Скакать по пустыне было отнюдь не безопасно, в чем Дойл вскоре убедился. Его конь, “черный дьявол… с нахальной мордой, торчащими ребрами и беспокойными ушами”, сбросил его и ударил копытом, нанеся глубокую рану возле правого глаза. Дойл поплелся в отель, ведя коня под уздцы. Кровь заливала ему лицо. “Хорошенькое зрелище предстало перед людьми, столпившимися на веранде!.. Пришлось наложить пять швов, но я был благодарен, ведь запросто мог остаться вовсе без глаза”.

Вместе с Лотти Дойл как-то утром на рассвете взобрался на Великую пирамиду и потом говорил, что одного раза более чем достаточно. С вершины открывался незабываемый вид — дельта Нила, далекие минареты Каира, заброшенные деревушки, караваны верблюдов и всюду, куда хватало взгляда, бесконечные пески Сахары. Но каждый шаг наверх давался с большим трудом, и оба очень утомились. Дойла, в отличие от большинства туристов, пирамиды не впечатлили, он считал их “ребячеством”. Он предпочитал играть в гольф возле отеля и шутил, что мячик может легко закатиться в прошлое — в чью-нибудь древнюю могилу.

После Нового года Дойлы втроем отправились за четыреста миль вверх по Нилу на колесном пароходе компании Кука. То и дело они сходили на берег и осматривали памятники древней цивилизации. “Ничего подобного нет во всем мире, — писал он. — Римская и Британская империи просто жалкие выскочки в сравнении с Древним Египтом”. Однако ему, тогда уже спиритуалисту, обычай египтян мумифицировать своих мертвецов представлялся невежеством и абсурдом: “Какое неразвитое сознание! Мысль, что тело, эту ветхую изношенную оболочку, в которую некогда была заключена душа, надо сохранить любой ценой, — это же верх материализма”.

“Сегодня мы побывали в трех храмах Луксора, это место называют развалинами Карнака, — писал он в дневнике 7 января. — Они так обширны, что потребовалось бы несколько недель, чтобы их обойти, и несколько часов, чтобы описать, да и то удастся передать лишь общее впечатление. Великий храм Амона в Карнаке, сколько мне известно, самое большое строение на свете. Ряды огромных колонн уходят вдаль бесконечной вереницей, а громадные каменные плиты кажутся сработанными руками гигантов. Все они были раскрашены в яркие, пышные цвета, которые и по сей день местами сохранились. Когда-то это, несомненно, было великолепное, удивительное зрелище…”

Не оставила его равнодушным и “широкая река цвета кофе с молоком”, по чьим мутным водам они плыли: “Закат лег длинным кровавым заревом на Ливийскую пустыню. Река текла плавно, как ртуть, и дикие утки проносились над нами в пламенеющем небе. С арабской стороны оно было иссиня-черным, пока серп луны не осветил низкие горы”.

Они добрались до Вади-Халфы, на границе с Суданом, где размещался штаб англо-египетских сил, собиравшихся отвоевать обратно суданскую территорию, захваченную Махди после падения Хартума. Махди Мухаммад Ахмад был вождем повстанцев, в 1884 году подчинивших себе немалую часть оккупированного британцами Судана и осадивших Хартум, где генерал Чарльз Гордон стоял с семитысячным гарнизоном. Положение Гордона вызывало тревогу, о чем твердила пресса. Подкрепление под командованием сэра Гарнета Уолсли прибыло слишком поздно, и пятидесятитысячная армия повстанцев перешла Нил и захватила город. Весь гарнизон был жестоко истреблен. Говорили, что Гордон погиб, пронзенный копьем на ступенях губернаторской резиденции, заслужив себе славу мученика и героя. Захватив Хартум, Махди (“ведомый истинным путем”) установил власть над всем Суданом и создал исламское государство, подчиняющееся суровым законам шариата, чего британские власти никак не желали терпеть.

“Сейчас мы поблизости от войск Махди, — писал Дойл в дневнике под 13 января, — и южное небо, все в красных разводах… кажется символом их тлеющей злобой варварской силы”. Хотя они и путешествовали организованной экскурсией, Дойл испытывал вполне оправданное беспокойство, хорошо понимая, что группка туристов будет совершенно беспомощна, если на нее нападут вооруженные повстанцы. “Будь я генералом этих дервишей, — отметил он 16 января в своем дневнике, — так взял бы в плен экскурсию Кука безо всякого труда”.

В результате родился рассказ “Трагедия пассажиров “Короско””, в котором туристы становятся жертвами бандитов. После Стоунихерста Дойл отвергал любые религиозные догмы, но в “Трагедии пассажиров “Короско”” он признает силу ислама и пишет пророчески: “Кто усомнится, видя их истовую набожность, их молитву, идущую от всего сердца, что это величайшая жизненная сила в мире, — реакционная, но громадная? Их бесчисленные миллионы — и все думают, как один, от Кап-Джуби до границ Китая. И если всколыхнет их единой волной, если встанет во главе их великий солдат или вождь, готовый использовать этот могучий материал, кто поручится, что с помощью такой метлы Провидение начисто не выметет прогнивший, разложившийся, бессильный и остывший сердцем юг Европы, как оно уже сделало тысячу лет назад, очищая место для более сильной и здоровой расы?”

Конан Дойл нередко в литературной форме излагал свои взгляды на мир или оспоривал политические, моральные, религиозные и философские положения. Вернувшись из Египта, он писал Гринхоу-Смиту, разъясняя некоторые детали “Трагедии пассажиров “Короско””, что очень надеется: “простой человек наконец осознает, что такое “дервиш” на самом деле”.

По возвращении в Каир Дойл сразу же отправился в новое путешествие, к знаменитому коптскому монастырю в пустыне у соляных озер. Его спутником был полковник Дэвид Льюис, откомандированный в египетскую армию. Оба путешественника продвигались вперед, исполненные энтузиазма и уверенности, но, поскольку у них не было проводника, очень скоро потеряли дорогу среди безбрежных песков. К счастью, когда спустилась ночь, они наткнулись на немецкого геодезиста, сидящего около своей палатки, освещенной фонарем “молния”. Шумное появление Конан Дойла с полковником, вероятно, стало самым сильным впечатлением этого геодезиста от египетских изысканий. Он дал им подробнейшие указания, куда двигаться дальше, и через час они с радостью увидели огонек долгожданного монастыря, но нет… они снова оказались у немецкого геодезиста. Получив еще раз детальные инструкции, они прибыли наконец к месту назначения.

Когда Дойл вернулся в Каир, то узнал, что объявлена война и англо-египетские экспедиционные силы под командованием Горацио Китченера — его изображения украшали знаменитые плакаты, призывавшие вербоваться на фронт во время Первой мировой войны, — были готовы приступить к действиям.

По словам Дойла, “случай распорядился, чтобы я оказался там в этот момент”. Возможность присоединиться к войскам будоражила его, он жаждал приключений, мечтал сделаться военным корреспондентом и твердо решил не упускать свой шанс.

Он понимал, что Туи не задержится в Египте надолго, поскольку наступит жара. Она заверила мужа, что с удовольствием пробудет в Каире до конца апреля, с ней останется Лотти и вдвоем им будет очень хорошо. Безусловно, Туи болезненно переживала долгую разлуку с детьми, но у нее было развито чувство долга, и интересы мужа она ставила превыше всего. Мы можем только догадываться о ее истинных чувствах, ведь не сохранилось ни одного ее письма к мужу, а равно и его писем к ней. Возможно, их уничтожила вторая жена Дойла, стремившаяся, чтобы ее воспринимали как единственную любовь всей его жизни.

Конан Дойл телеграфировал в Лондон в “Вестминстер газетт”, и вскоре был назначен “почетным военным корреспондентом”. Экипировавшись должным образом, то есть приобретя в Каире китель хаки, бриджи для верховой езды, итальянский револьвер и сотню патронов, а также деревянную флягу, “в которой любая жидкость приобретала омерзительный запах скипидара”, он отбыл в Асуан вместе с сэром Джулианом Корбеттом, корреспондентом “Пэлл-Мэлл газетт”, сначала поездом, потом на корабле. Для Корбетта, в прошлом юриста, а затем автора исторических романов, это было первое — и единственное — задание как военного корреспондента. В Асуане они нашли суету и неразбериху, какая бывает накануне боевых действий, и в гостинице присоединились к более опытным коллегам: Фрэнку Скудамору из “Дейли ньюс”, Е.Ф. Найту из “Таймс” и Ардену Бомену, представлявшему “Стэндард”.

В мемуарах Дойл восхищается стойкостью, с которой молодые офицеры переносили жару и нестерпимую пыль в пустыне у Асуана. Четверо из них, например, настояли, что останутся на

посту, несмотря на жестокую лихорадку, и развлекались тем, что устраивали ежедневную лотерею: каждое утро все клали в шляпу монету в одну крону, а выигрывал тот, у кого в этот день была самая высокая температура. Дойл мог вспомнить лишь один случай, вызвавший общее беспокойство. Вернувшись из очередной поездки в гостиницу, где был расквартирован Генеральный штаб, он застал офицеров, сгрудившихся у доски объявлений: все вытягивали шеи, пытаясь прочесть телеграмму. Дойл решил, что это объявление о предстоящей боевой операции, однако это были лишь результаты лодочной гонки между командами Оксфорда и Кембриджа, в которой победил Оксфорд.

Когда журналистам предложили сопровождать группу кавалерийских офицеров, направлявшихся по берегу Нила в Вади-Халфу, Корбетт с Дойлом решили присоединиться к профессионалам с Флит-стрит — те ехали самостоятельно, на верблюдах, несмотря на риск попасть в руки дервишей-мародеров. Им не хотелось глотать пыль вместе с большим верховым отрядом. Скудамора, свободно владевшего арабским и турецким, отправили покупать верблюдов, что неизменно сопровождалось яростным торгом, воплями и жестикуляцией.

Второго апреля команда из пяти корреспондентов, одиннадцати слуг, десяти верблюдов, пяти лошадей и местного повара выехала из Асуана. Передвигаться решили по ночам. Это было незабываемое путешествие. В 1924 году Дойл писал: “Я до сих пор вижу пурпурное бархатное небо, огромные бесчисленные звезды, полумесяц, медленно движущийся над нами; верблюды, неслышно ступая, несут нас безо всякого усилия сквозь волшебный, будто пригрезившийся мир”. По дороге они видели гадюку, тарантула и, как-то на рассвете, одного нубийца. “Более зловещей и дикой личности вообразить невозможно, точь-в-точь те самые мародеры Махди, о встрече с которыми нас предупреждали”.

Верблюдов Дойл описывает с характерным для него юмором: “Это самое странное и самое лживое животное на свете. У него такой почтенный, респектабельный вид, что невозможно заподозрить, какая черная подлость таится внутри. Он подходит с таким мягко заинтересованным, снисходительным выражением, как у аристократической дамы в воскресной школе. Не хватает только лорнета. Затем нежно вытягивает сложенные трубочкой губы, взгляд делается мечтательным, и только успеваешь сказать: “Голубчик, он хочет поцеловать меня”, как два ряда устрашающих зеленых зубов клацают у тебя перед носом, и ты отпрыгиваешь прочь с проворством поистине изумительным”.

Через восемь дней журналисты добрались в Короско, сели на колесный пароход, а в Вади-Халфе майор Фрэнсис Уингейт, начальник военной разведки, предупредил их, что ни один штатский дальше следовать не может, ни под каким видом. Там же Дойл встретил Китченера, который пригласил его на обед и сообщил, что какое-то время ничего происходить не будет: наступление застопорилось, и, прежде чем война пойдет всерьез, нужно реорганизовать армию и протянуть железнодорожную ветку к Красному морю, чтобы подвозить свежее пополнение и припасы для фронта.

Дойл не желал долго ждать и, горько разочарованный всеобщим бездействием, вернулся в Каир на грузовом судне, всю дорогу просидев на диете из хлеба, консервированных абрикосов и “Исповеди” Руссо, которую он где-то раздобыл и которая не слишком его порадовала.

Деятельность Дойла в качестве военного корреспондента в Судане была не особенно продуктивна. Ничего, кроме внутренней передислокации войск, он не видел и был вынужден ограничиться набросками об Уингейте (“человеке, который знает больше об истинной сущности суданцев и их передвижениях, чем кто бы то ни было”) и о Слатин-паше (урожденном австрийце, который после побега из махдистского плена служил под началом Китченера). Его “Письма из Египта” были так же непоследовательны, как и сама военная кампания.

Дойлы почти сразу вернулись в Британию и в конце апреля уже вместе с детьми поселились в Грейсвуд-Бичез. Им пришлось снять этот дом, неподалеку от Хаслмира, поскольку их собственный в Хайндхеде еще не был готов. Впрочем, дети были в восторге — в саду прыгали кролики и носились цыплята. Впервые за долгие месяцы вся семья была в сборе, и Дойл записывал за детьми смешные фразы, чего прежде никогда не делал:

Их игра почти всегда проходит в виде инсценировки — доктор и больной, церковь, гости и т. д. Очень любят переодеваться в кого-нибудь.

Мы возимся втроем, Тутси [Мэри] советует Бойси [Кингсли]: “Сядь ему на голову. Будь как

дома у него на голове!”

Увидев, что я хороню щенка, Тутси сказала: “Папа, ты сажаешь щеночков — может, лучше в цветочной клумбе?”

“А почему этот дядя не заправляет рубашку в штаны?” — спросил Бойси после похода в церковь.

Тутси — учительнице танцев: “Вам не стоит говорить так громко, а то однажды вы напугаете какую-нибудь девочку”.

Папа спросил Тутси, к какому семейству принадлежат грибы. Тутси: “Эти грибы принадлежат нашему семейству”.

Я собираюсь побриться. Бойси: “Где ты взял этот мех?”

Тутси попросила, чтобы ей дали нижний этаж булки.

“Что это за гроб?” — “Это мистер Джонс отправляется к Богу”. Полчаса спустя: “Можно не сомневаться, Бог уже распаковывает мистера Джонса”.

Тем не менее потом Мэри вспоминала отца как далекого, недоступного, внушающего благоговейный трепет. Ее отношения с матерью, которую она называла “основой всего нашего счастья”, были гораздо ближе. В памяти Мэри она была крошечная, с изящными руками и ногами и задумчивым взглядом, словно устремленным куда-то вдаль: “В ней была нежная всеобъемлющая любовь, притягивавшая к ней простых людей, детей и животных как магнит. Она обладала спокойной уверенностью, происходящей скорее от душевной мудрости, нежели от практических познаний. В ней струился ручеек чистой, ясной радости, придававший блеск ее глазам и прелесть улыбке. То была именно радость, а не чувство юмора, ведь мама никогда не улыбалась в ответ на шутки на чей-либо счет. В такие моменты тень пробегала по ее лицу, и ее молчание было укором для шутника”.

Если с детьми Дойл был сдержан и суховат, то с женой — бесконечно терпелив и внимателен. Мэри отлично запомнила такой случай: мать взмахнула рукой над свежеисписанным листом и задела рукавом чернильницу. “От такого кто-нибудь иной мог бы прийти в ярость и сорваться. А он просто улыбнулся, видя, как она раздосадована, и принялся переписывать страницу заново”.

В конце 1896-го “Родни Стоун” вышел отдельным изданием после публикаций в “Стрэнде”. Он принес автору огромные по тем временам деньги, 5500 фунтов — 4000 от “Смита, Элдера и К°” за авторские права и 1500 от журнала. Ньюнес выделил Гринхоу-Смиту невиданный бюджет для авторов, с середины 1890-х и далее “Стрэнд” никогда не платил Конан Дойлу меньше ста фунтов за тысячу слов. В июне 1896-го он смог приобрести в Портсмуте дом за 1800 фунтов, вложив, таким образом, деньги в недвижимость. Он положил на счет 500 фунтов и взял кредит в 1300 под залог дома, который полностью выплатил в 1901-м.

Один критик назвал “Родни Стоуна” “лучшим в мире романом о боксе”, но не по годам едкий двадцатитрехлетний Макс Бирбом, в дальнейшем знаменитый художник-карикатурист и писатель, позволил себе с этим не согласиться. В “Сатердей ревью” вышла его рецензия, где он безжалостно насмехался над автором, “доктором в золотом пенсне”, за то, что он “привносит свою манеру общаться с больными в литературу”. Он писал, что слабенький сюжет, намеченный в начале, неожиданно вновь обнаруживается лишь в самом конце, “и, однако, он вполне доволен собой, этот упрямый лекарь… Нет, нет, доктор Дойл! Вы очень хороший терапевт, я в этом не сомневаюсь. Но вы напортачили при вскрытии. Операции такого рода требуют специальных знаний и более деликатного обращения. Давайте, раскатайте рукава! Надевайте пиджак! Это дело, как ни обидно, не украсило вашу профессиональную репутацию. Будет куда лучше, если вы ограничитесь своей обычной практикой. Собирайте инструменты, мой добрый сэр! И прыгайте в свой двухколесный экипаж!”

Дойл послал в журнал резкий ответ, где указывал на ошибки “исторического и общего плана”, допущенные Бирбомом, сожалел, что тот перепутал Питта-младшего с его отцом, что оспаривал некоторые черты, присущие Бо Бруммелю, хотя их нетрудно было найти в записках его современников: “Он может чувствовать себя уверенно, когда говорит о моей манере общаться с больными и моих очках, но он очень слабо разбирается в том периоде, о котором пишет”. Но Бирбом не собирался сдаваться и последовательно опроверг все утверждения

Дойла. Их перепалка немало повеселила литературное сообщество и возобновилась на следующий год.

В январе 1897-го семья перебралась в Мурлендз, в пансион в Хайндхеде, неподалеку от их будущего дома. Несколько затянувшееся строительство и проблемы с оформлением права собственности на землю откладывали переезд до июня. А в июне страна праздновала бриллиантовый юбилей королевы Виктории — пятьдесят лет на троне, самое длительное правление в истории Британской империи, в те времена по могуществу сопоставимой с Римской. Десятки тысяч людей заполнили улицы Лондона, все хотели видеть торжественную процессию, следовавшую в собор Святого Павла на благодарственный молебен. “Никого еще, я думаю, — писала королева в своем дневнике, — не встречали такими овациями, какие достались мне… Приветственные крики оглушали, и на каждом лице читалась искренняя радость. Я была очень тронута”. В рамках праздничных торжеств в “Лицеуме” состоялось представление “Ватерлоо” специально для служащих колониальных войск.

Ближе к концу 1897 года Дойлы смогли наконец въехать в свой новый дом. Конан Дойл придумал для него название — “Подлесье”. Это был солидный особняк красного кирпича с остроконечной крышей, подчеркивавший достаток и положение его хозяина. Дом обошелся Дойлу в немалую сумму — 10 000 фунтов, но зато там было электричество. Ни у кого из соседей, включая философа Джона Тиндала, который жил поблизости, его еще не было, а Дойлов снабжала энергией собственная ветряная мельница.

К особняку шла извилистая дорога, парадная дверь вела в холл с высоким потолком и огромным витражным окном с наследным гербом Дойлов. Дом казался уютным, комфортным и радостным. В большой бильярдной висели рисунки Сидни Пейджета — иллюстрации к рассказам о Шерлоке Холмсе, в столовой могли без труда разместиться тридцать человек; в доме было одиннадцать спален и комнаты для слуг, что позволяло принять множество гостей разом.

Теперь под командой Туи был немалый штат прислуги, а ее мать поселилась в небольшом коттедже по соседству, чтобы помогать дочери вести обширное хозяйство. Все комнаты первого этажа, включая кабинет Дойла, выходили окнами на юг, оттуда открывался величественный вид на долину и пустоши, за которыми возвышались известковые холмы. В гостиной, обшитой деревянными панелями, стояло пианино для Туи, кроме того, ее украшали спортивные трофеи главы семейства и сувениры, привезенные из различных поездок. При доме находилась конюшня на шесть лошадей, каретный сарай и теннисный корт.

Одним из первых в гости приехал Брэм Стокер и всячески хвалил новое обиталище: “Дом совершенно укрыт от холодных ветров, так что архитектор мог себе позволить сделать множество окон, и дом наполнен светом. При этом он очень уютный и замечательно удобный, — это в полном смысле “дом”, где одинаково хорошо всем — и хозяевам, и гостям”.

Дойл был очень нежен и заботлив с Туи, подолгу сидел у ее постели, читал отрывки из только что написанных вещей и болтал с ней об их общих знакомых. Ей были интересны литературные слухи и новости, она любила, когда муж рассказывал забавные истории. Но из-за ее болезни их брак был лишен плотских удовольствий, поскольку в те времена врачи запрещали секс при туберкулезе. Дойл смирился с тем, что эта сторона жизни для него не существует; нет никаких свидетельств, что он посещал проституток, но в мемуарах он пишет, что у него случались “приступы меланхолии”.

Туи успешно сопротивлялась болезни, семья наконец обосновалась в собственном замечательном доме, и можно было ожидать, что в жизни Конан Дойла наступит период стабильности. Но судьба распорядилась иначе. Никто, в первую очередь он сам, и помыслить не мог, что викторианский джентльмен со строгими моральными устоями вдруг глубоко и безнадежно влюбится в другую женщину.

Глава 11

Конан Дойл влюблен

КОНАН ДОЙЛУ БЫЛО ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ, когда он впервые увидел Джин Лекки. Неискушенный в сердечных делах, вынужденный соблюдать целибат, с больной женой, двумя годами старше его, — стоит ли удивляться, что он подпал под очарование уверенной, решительной молодой женщины, которая и не скрывала, что он ей нравится. Двадцатидвухлетняя Джин происходила из богатой шотландской семьи. Чрезвычайно привлекательная — зеленоглазая, с вьющимися темно-русыми волосами, превосходная наездница, очень начитанная, веселая собеседница, с поставленным меццо-сопрано — она только что вернулась из Флоренции, где брала уроки пения.

Где именно и как они познакомились, точно неизвестно. По одной версии, это произошло в конце 1896 года на вечере в Саутси, куда Конан Дойл пришел вместе с Иннесом, а поскольку Джин с Иннесом были ровесниками и он не был женат, то ее пригласили в “Подлесье”. Она стала другом семьи, но постепенно Дойл понял, что влюбился. По другой версии, знакомство произошло 15 марта 1897 года, и Дойл был сражен наповал, а потом каждый год дарил ей в этот день один подснежник.

В мемуарах Дойл очень сдержанно описывает первый период их отношений: “Есть вещи слишком интимные, чтобы говорить о них”. Но он никогда не отрицал, что полюбил другую, когда жена его была еще жива. При этом он был человеком самых твердых нравственных принципов, образцом викторианского джентльмена: для него честь и благородство были незыблемыми ценностями, а семейные узы — нерушимы. Он твердо намеревался хранить преданность Туи и оберегать ее от бесчестья. Даже когда они с Джин открыли друг другу свои чувства, он предупредил ее, что о разводе и речи быть не может.

Из писем и дневников Дойла ясно: он горячо верил, будто Туи так и не узнала о происходящем, но было бы наивно думать, что он ни разу не выдал своих чувств, учитывая, что Джин прочно вошла в круг друзей семьи, вероятно по его же настоянию. Совершенно точно известно, например, что она присутствовала на семейном торжестве в портсмутском отеле “Портленд” в июле 1897 года. “Грандиозно, — писал Иннес в своем дневнике, — 1200 гостей. Форды из Вернона, мисс Драйвер, мисс Лекки на нашем балу”. К концу 1897-го Джин Лекки, как следует из дневника Иннеса, стала частой гостьей в “Подлесье”:

Пятница, 26 ноября. Мисс Лекки обедала у нас.

Понедельник, 6 декабря. Днем ходили к источнику с мисс Халахен, мисс Лекки и Артуром. Пригласили их к чаю.

Среда, 22 декабря. Артур, Пейджет, мисс Лекки и мисс Халахен ездили на охоту в Элстед.

В то время Сидни Пейджет гостил в “Подлесье” — писал портрет Конан Дойла. Работа вышла замечательная: он сидит в кресле нога на ногу, на коленях блокнот, в правой руке перо. Прямой, без улыбки, взгляд из-под чуть опущенных век. Пышные усы и сидящий как влитой двубортный пиджак делают его больше похожим на банкира, чем на писателя.

Страстно влюбившись, Дойл изменил свои привычки. Он стал ездить на псовую охоту, наверное чтобы произвести впечатление на мисс Лекки, заядлую охотницу, хотя прежде всегда выказывал неприязнь к кровавым забавам. Купил двух лошадей, Бригадира и Короско. У него также вновь проснулся интерес к музыке, — до того он последний раз играл в оркестре в Фельдкирхе, — и он попытался научиться играть на банджо, хотя это малоподходящий аккомпанемент для меццо-сопрано. Кроме того, он рискнул обратиться к коллегам, чтобы помочь Джин в ее карьере.

Своему агенту Джеральду Кристи, устраивавшему его литературные лекции, Дойл писал: “У молодой леди, с которой я вас познакомил, замечательное меццо-сопрано, и она подумывает о карьере профессиональной певицы”.

Несмотря на душевные треволнения, работал он по-прежнему с полной отдачей. Кажется, ничто не могло ему в этом помешать, он мог работать при любых условиях, вне зависимости от

того, что творилось вокруг. Иногда он уединялся по утрам в кабинете и писал до завтрака, пока все в доме еще спали; или уходил, сыграв пару раундов в гольф, или исчезал после обеда и трудился до поздней ночи.

Он вовсе не был равнодушен к критике, хранил газетные статьи и рецензии и, когда пресса разругала очередный его исторический роман — вновь об эпохе Наполеоновских войн, — был немало этим задет. “Дядя Бернак” вышел в 1897 году, и рецензенты разгромили его в пух и прах, но особенно постарался Бирбом, опубликовавший в “Сатердейревью” статью под ядовитым заголовком “Хромоконанграфия”. Признав, что первая глава “совсем не так уж плоха”, Бирбом напал на Дойла там, где тот был наиболее уязвим, — он упрекал его в переизбытке подробностей. “Воссоздавая Наполеона, он не упустил ни единой мелочи — ничего, кроме самого Наполеона. С утомительным тщанием перечислены все характерные свойства и особенности императора, найденные в авторитетных источниках: его “плотные белые ноги”, его резкий нрав, бестактность, его редкие волосы, мальчишеская улыбка, ботинки, его боевой конь, жестокость в любви, его воздержанность, тщеславие, дурной почерк, “поразительное умение схватывать суть”, скаредность, его табакерка, “бесцеремонное обращение с женщинами” и “необычный жест эпилептика, характерный для него”. Ненасытный доктор! Перескакивать с подробности на подробность, смешивать все без разбора, надергать по волоску с каждой головы — у Тальма, Гретри, Жозефины и Роберта Фултона, а также у всех маршалов — топтаться посреди иссохших костей, как бегемот в камышах, — это ли способ написать книгу, спрошиваю я вас?”

Бирбом самоуверенно предположил, что если бы Дойл спросил его совета, то мог бы создать “вполне приличную книжонку”.

Конан Дойл был так же готов спрашивать совета у юного Бирбома, как прекратить видеться с Джин Лекки. Зато он был готов сам покритиковать кого-нибудь и излил свое раздражение на конкурента, романиста Холла Кейна, чей “Христианин” стал первой в Британии книгой с тиражом более одного миллиона экземпляров, что на тот момент сделало его самым высокооплачиваемым автором. В письме в “Дейли кроникл” Дойл осуждал Кейна за неуемную саморекламу и настаивал, что литераторы должны придерживаться “неписаных законов” и соблюдать “этикет джентльмена”. Он сетовал, что закулисные интриги и использование личных связей “умаляют профессиональное достоинство”, наносят вред литературе, и говорил, что “пришло время, когда каждый уважающий себя человек должен этому воспротивиться”.

Можно было бы упрекнуть Дойла в некоторой предвзятости или даже зависти к чужому успеху, но письмо это было напечатано до того, как вышла книга Кейна — который, однако, успел уже дать интервью десятку газет и в каждом расписывал грандиозность решенных им задач и вообще нахваливал себя почем зря. Свое письмо в “Дейли кроникл” Дойл подписал как “Английский писатель”, чтобы “не вносить личную ноту в далеко не личное дело”, но приложил к нему визитку, чтобы ее могли передать Кейну, буде он того пожелает.

А спустя несколько недель Дойл уже писал в “Таймс”, что, отмечая очередную годовщину победы в Трафальгарской битве, британцы оскорбляют французов и лучше бы отдавать должное памяти адмирала Нельсона в день его рождения, а не в день великой победы.

Письма Дойла в прессу могли бы составить отдельную книгу. Во времена, когда еще не было ни радио, ни телевидения, такие писатели, как Киплинг, Уэллс, Шоу, Честертон и Конан Дойл, имели огромный вес и формировали общественное мнение, они высказывались по самому широкому кругу, и на них смотрели как на законодателей в вопросах нравственности. А поскольку Конан Дойл был исключительно популярен, его письма публиковали и центральные, и провинциальные издания. Он писал буквально обо всем: о политике, религии, науке, спорте и международных отношениях.

Но главной его “трибуной” оставался “Стрэнд”, журнал и автор неизменно хранили друг другу верность. Когда в 1898 году конкуренты решили потеснить “Стрэнд” на рынке шестипенсовых изданий и выпустили иллюстрированные журналы за три пенса, Конан Дойл написал Гринхоу-Смиту: “Надеюсь, ваш бывалый корабль выдерживает бурю, поднятую этими дешевыми подделками… Они постоянно донимают меня, но я теперь даже не отвечаю на их послания. Я намерен всегда оставаться со старой надежной командой”.

Отношения Дойла с Гринхоу-Смитом были дружескими, но официально-сдержанными. Свои письма он обычно адресовал “уважаемому Смиту” и подписывался “А.К. Дойл”. Он вообще мало кому позволял звать себя по имени и быстро ставил на место любого, кто обращался к нему фамильярно. Не любил он фамильярности даже в жестах — простое добродушное похлопывание по спине мог расценить как панибратство.

При этом Дойл вовсе не был холоден или необщителен. Флора Томпсон, автор прелестного автобиографического романа “Ларк Райз против Кэндлфорда”, в те годы была помощницей начальницы почты в соседней с Дойлами деревушке Грейшот, куда он часто заглядывал. “Редкий день, — писала она, — обходился без того, чтобы он вихрем не врывался на почту, чудесным образом заполняя все пространство и оглашая его басовитыми радостными возгласами. Когда он шел по деревне, то приветливо здоровался с каждым встречным, богатым или бедным, знакомым или незнакомым. Он был, наверное, самым популярным человеком в округе. Почти все здешние обитатели прочли хотя бы одну его книгу, и многие искренно считали его величайшим современным автором”.

Дойл был также всеми уважаемым спортсменом, регулярно играл в гольф и крикет и основал футбольный клуб “Подлесье”, первый в Хайндхеде. Матчи проходили на поле напротив дома Дойлов. Гринхоу-Смит как-то раз гостил в “Подлесье” и потом вспоминал, что холодным зимним вечером все уютно сидели у камина, как вдруг резкий порыв ветра швырнул в окно пригоршню дождя с градом. Словно в доказательство своей любви к прогулкам на свежем воздухе, Дойл немедля предложил всем пройтись. Гринхоу-Смит решил, что он шутит, но хозяину дома удалось уговорить молодежь, и, натянув дождевики и шляпы, они выдвинулись во мрак, а спустя час вернулись промокшие и румяные. Переодевшись в сухое, Дойл спросил гостя, не желает ли тот сразиться на бильярде, и выиграл у него сто очков. “Честно говоря, такая разносторонняя одаренность порой даже чем-то раздражает”, — с усмешкой отметил Гринхоу-Смит.

Будучи разносторонне одарен и как литератор, Дойл не оставил намерения поработать военным корреспондентом и, когда в 1898 году отношения Британии и Франции стали особенно напряженными, он предложил агентству новостей свои услуги, 3 ноября на его телеграмму пришел ответ, где было сказано, что, если начнется война, “мы попросим вас направиться на Средиземное море на посыльный корабль”.

Фашодский кризис 1898 года года стал апофеозом англо-французского соперничества за господство в Африке: обе страны боролись за стратегически важный город Фашода в Восточном Судане. Малочисленная французская экспедиция под начальством майора Маршана без труда захватила было Фашоду, но английские войска, возглавляемые Китченером, вынудили французов уйти. Париж отреагировал крайне нервно, возникла угроза войны. Но по здравом размышлении (британский флот был объективно сильнее) Франция сочла за лучшее отказаться от претензий на выход к Нилу и отступить.

В декабре 1898 года, учитывая, что Туи чувствовала себя вполне прилично — хотя она быстро утомлялась и подолгу отдыхала каждый день, — Дойл решил устроить в хайндхедской гостинице “Маяк” костюмированный бал на двести человек. Пригласили кучу друзей и знакомых и веселились до пяти утра. Суррейская “Афиша” писала: “Все было тщательно продумано и устроено так, чтобы бальная зала соответствовала блестящим костюмам гостей, и празднество прошло с огромным успехом”. Конан Дойл явился в наряде древнего викинга, в крылатом шлеме и со старинным топором, а Туи в напудренном парике изображала судью. В газете были перечислены все гости и описаны их костюмы. Про Джин Лекки было сказано, что “она была королевой Марией”. Иннес записал в дневнике: “Бал потрясающий. Все костюмы очень хороши. Почти 200 человек. Все отлично, кроме того, что оркестранты украли все сигары”. Без комментариев он отметил, что мисс Лекки была среди гостей, остановившихся в гостинице.

Чувства, которые Дойл испытывал к Джин Лекки, занимали, похоже, все его мысли, и под Новый год он написал Гринхоу-Смиту интригующее письмо: “Я замыслил книгу, очень странную, не похожую ни на какую другую. Не хочу заранее ни обсуждать, ни продавать ее, сначала надо написать, и только потом я смогу сказать, кому она подойдет, — если она вообще подойдет кому-нибудь. Это самая чистая, безыскусная вещь, что я когда-либо делал. С наилучшими пожеланиями, искренне ваш, А. Конан Дойл”.

“Дуэт со случайным хором” был опубликован в марте 1899-го. Эта вещь и впрямь сильно отличается от всего, что он писал прежде. Сюжет заключается в том, что в безоблачную жизнь любящих супругов неожиданно вторгается бывшая пассия мужа. И хотя никаких прямых аналогий с его личным романом в книге нет, сама интрига, наличие “треугольника” и вообще нетипичная для Дойла тема говорят о том, что он писал под впечатлением собственных переживаний. Дойл называл “Дуэт” “исследованием семейной жизни”, попыткой создать “тончайшую, неуловимую, окрашенную в золотые тона атмосферу любви”.

Главный герой Франк Кросс знакомится с Мод Сельби. “На сумрачной жизненной тропе он

повстречал светлого ангела”. Но после свадьбы Франк получает письмо от своей бывшей возлюбленой Виолетты Райт, с которой наслаждался “добрачными радостями”. Виолетта угрожает ему — если он не явится в “потрепанную комнатку” над рестораном в Ковент-Гардене, где обычно проходили их свидания, то она все откроет его жене. Франк приходит, но путем немалых усилий ему удается устоять перед ее прелестями.

Образ Франка, героически сопротивляющегося искушению, точно отражал решимость самого Дойла не поддаваться все более сильному вожделению к Джин, а светлые сцены семейной жизни, несомненно, взяты из первых лет его брака с Туи. В предисловии он признается: “В книге есть отрывки, созданные на личном опыте автора, но большая ее часть — попытка с помощью воображения нарисовать жизнь обычных британцев”.

Франк, унаследовавший от матери художественные и литературные наклонности, возможно, похож на самого Дойла, каким он виделся себе в новой, непривычной роли дамского угодника: “Иногда в нем проглядывало что-то необузданное, по крайней мере, намек на то, что это необузданное, дикарское в нем таится. На это указывала его любовь к свежему воздуху и физическим нагрузкам. У женщин создавалось ощущение, будто в глубине его души имеются такие укромные уголки, куда ни одной из них, даже самой близкой ему, проникнуть не удавалось…”

Поначалу не уверенный в успехе новой книги, Дойл вскоре проникся оптимизмом и стал думать, что она переживет почти все им созданное. Он убедил своего издателя Гранта Ричардса сделать первый тираж не меньше 12 000 экземпляров. Это была ошибка. Многие читатели были шокированы: бывшая любовница, убеждающая мужчину продолжить отношения после того, как он женился, — это просто скандально. Со своей стороны, шокированы были и критики: Конан Дойл — и такой банальный сюжет. Наивно и чересчур сентиментально — был их вердикт. “В результате получилась книга, безусловно недостойная репутации автора, — писал один из них. — Учитывая уровень, к которому привыкли его многочисленные поклонники, она представляет собой довольно рискованное испытание их доброго к нему отношения”. “Возможно, это дурной вкус, — заявил исключительно влиятельный британский критик Эндрю Ланг, — но мы решительно предпочитаем приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона”.

Расстроенный этими отзывами, Дойл пришел во вполне понятную ярость, когда узнал, что автор нескольких из них — один и тот же человек, У.Р. Николл, редактор журнала “Букмен”, который писал о “Дуэте” разгромные статьи в разных изданиях под разными псевдонимами. До того Николл очень резко (даже по сравнению с другими критиками, невысоко оценившими этот роман) разругал “Дядю Бернака”, назвав его “слабым, скучным, без единого свежего слова и сюжетного хода”. О “Дуэте” он отозвался и того хуже. В “Бритиш уикли” вышла заметка, подписанная “Шум Отечества”, в которой Николл сообщил, что лучше бы эту книгу и вовсе не печатать — из-за главы, где Виолетта пытается соблазнить уже женатого Франка, — потому что незачем “учить дьявола лгать”. Он утверждал, что книга вряд ли имеет право на “широкое распространение”, и предлагал отныне относиться к Дойлу как к “сомнительному автору”, чьи произведения надо тщательно проверять, прежде чем допускать их в приличные дома. За подписью “О. О.” вышла литературная колонка в “Скетче”, где главных героев Николл заклеймил как “в высшей степени непривлекательных молодых людей” и убеждал читателей, что в “Дуэте” нет ничего, кроме глупостей, грубых шуток, и что “ни одна глава не обдумана и не написана с должным вкусом”. Под конец следовал вывод: нет у Дойла тех навыков и профессионализма, чтобы разобраться в “сложной человеческой душе”, и впредь нечего ему даже и пытаться это делать.

Конан Дойл был возмущен и указывал, что это мошенничество, вводящее публику в заблуждение. В раздраженном письме, направленном в “Дейли кроникл”, Дойл говорил, что у непосвященного читателя могло возникнуть впечатление, будто его книга получила массу дурных отзывов, тогда как на самом деле все они написаны одним человеком.

Николл, в свою очередь, с готовностью признал, что писал в различных изданиях под “узнаваемыми псевдонимами”, но отстаивал право критиковать книгу Дойла как “недостойную его таланта”. Дойл нанес очередной удар, предположив, что Николл, будучи сотрудником издательского дома “Ходдер и Стаутон”, возможно, руководствуется финансовыми соображениями. На это Николл холодно осведомился: уж не подать ли ему в суд за такие намеки? И заверил общественность, что никакого коммерческого интереса за его рецензиями и эссе не стоит. Дойлу он рекомендовал иметь в виду мудрое высказывание богослова и критика Ричарда Бентли: “Никто не может испортить человеку репутацию, кроме него самого”.

Конан Дойлу было обидно, что никто из собратьев по перу не выступил в его поддержку. “Мне

интересно, разделяете ли вы мои взгляды по поводу Робертсона Николла? — спрашивал он у писателя Томаса Гутри в письме из “Подлесья”. — Этот сектант-священник, узколобый человек, связанный денежным интересом со своим издательским домом, сейчас практически являет собой Британскую Критику. Я уже обнаружил одиннадцать разных имен, под которыми он пишет. А всего критиков в Лондоне не более сорока, так что он имеет очень большой вес и в известной мере способен повлиять на карьеру любого автора. Но, однако же, когда я публично разоблачил это омерзительное явление, меня оставили сражаться с ним один на один. Я с презрением отношусь к тем “лидерам” нашей профессии, людям со средствами и с репутацией, чье себялюбивое чванство так им дорого, что они не снисходят до борьбы со злом. Себялюбие и трусость — два недуга нашей профессии, и они столь сильны, что если кто-нибудь ввязывается в борьбу с этим общественным злом, то все уверены: у него есть личный интерес. Ни один уважающий себя человек не унизится до того, чтобы оспаривать это оскорбительное предположение…” Вполне вероятно, что многие знакомые Дойлу литераторы разделяли мнение Николла о “Дуэте со случайным хором”, но он упрямо отказывался признать, что критики правы. Он горячо верил, что все его “серьезные” работы обречены на бессмертие. В письмах к матери он признавал, что поначалу впал в уныние, но все равно был убежден, что эта книга займет достойное место наряду с другими его вещами, поскольку “она искренна, а это редкость в английской литературе”. Прохладный прием, который встретил “Дуэт”, не помешал Дойлу преподнести экземпляр в подарок Джин Лекки.

К тому времени Конан Дойл, никогда не имевший секретов от матери, признался ей, что полюбил Джин, подчеркнув при этом, что намерен до конца хранить верность больной жене: “Я испытываю к Туи только нежность и уважение…”, “За всю нашу совместную жизнь я не сказал ей ни одного резкого слова и никогда не причиню ей боли”.

Мэри одобрила его и в знак своего расположения подарила Лекки семейную драгоценность, браслет, в свое время принадлежавший тетке Конан Дойла Аннет. Кроме того, она играла роль дуэньи, когда влюбленные хотели провести время вместе. В письме от 22 мая он благодарит мать за ее отзывчивость: “Огромное спасибо за нежное письмо, дорогая. Я рад был узнать ваше впечатление, потому что очень уважаю ваше суждение и знаю, оно искреннее. Вы чудесно его изложили. Что ж, сегодня мне исполнилось сорок, а жизнь становится все более наполненной и счастливой…”

Видимо, в июне Дойл написал о Джин Лекки Иннесу в Индию, куда того послали тремя месяцами ранее, и брат выразил некоторые опасения. Оба этих письма не сохранились, но есть ответ Дойла: “Прошлое письмо о моих личных делах, вероятно, порядком тебя удивило. Тебе, однако, не надо тревожиться, что хоть малейший вред или страдания будут причинены Туи. Она по-прежнему дорога мне, но, как я уже говорил, большое место в моей жизни какое-то время пустовало, а теперь уже нет. Все устроится отлично, никому не будет хуже, нам обоим станет гораздо лучше. Я буду очень внимательно следить, чтобы никому не причинить вреда. Говорю это, чтобы ты, находясь в отдалении, не беспокоился, что у нас могут возникнуть неприятности…” И поскорей переходит к безопасной теме, к крикету.

Надо ли понимать фразу, что “пустовавшее место заполнено”, в том смысле, что они с Джин вступили в связь? Наверное, первое его письмо к брату могло бы внести ясность, но оно утрачено, и гадать бессмысленно. Дойл всегда настаивал, что хранил верность Туи до самой ее смерти, а он был человек слова и чести. Благородно ли было по его меркам делить ложе с другой, когда жена умирала? Безусловно, нет. С другой стороны, джентльмену вообще следовало бы воздерживаться от каких бы то ни было любовных отношений в такой ситуации, хотя мало кто в литературном сообществе удивился бы, заведи Дойл благопристойную интрижку: два очень известных писателя, Уэллс и Диккенс, не скрывали, что у них есть любовницы и незаконные дети.

Большинство биографов считает, что к Туи Дойл был просто очень нежно привязан (не забудем, их переписка не сохранилась), но отношения эти были скорее дружеским партнерством, которое, конечно, меркнет на фоне его страстной любви к Джин. Можно предположить, что Иннесу он писал лишь о том, что влюбился, и не более того.

Остальные члены семьи, включая Лотти, приехавшую в Индию помогать Иннесу вести дом, тоже были посвящены в эту тайну. Знали обо всем и родители Джин Лекки. Возможно, они были не в восторге, но Дойл им нравился, и они приняли эту ситуацию. “Говорил ли я вам, — писал Дойл матери, — что мистер и миссис Лекки подарили мне на Рождество замечательную заколку, с жемчугом и бриллиантами? Она стоит никак не меньше пятнадцати гиней”.

Даже мать Туи, миссис Хоукинс, была в курсе дела и молча смирилась. Супруги Лекки и их

прелестная дочь стали близкими друзьями Дойла. В результате все посвященные делали вид, что не знают ничего, включая, похоже, и Туи, которая играла роль радушной хозяйки дома. Джин регулярно гостила в “Подлесье”, но все приличия были соблюдены.

Летом 1899 года Шерлок Холмс дебютировал на лондонской сцене. Сыграл его знаменитый американский актер Уильям Джилетт. Пьеса, как говорилось в анонсе, была “основана на ранее не опубликованных эпизодах из жизни великого сыщика”. На самом деле Джилетт скомпилировал разные рассказы и создал инсценировку. Первый вариант Дойл написал сам в 1897 году и отправил его Герберту Бирбому Три — актеру, антрепренеру и режиссеру “Театра ее величества”, самому знаменитому английскому актеру после Генри Ирвинга. Три заинтересовался и приехал в “Подлесье”, где с большим энтузиазмом обсуждал проект, указав, однако, что в текст надо внести существенную правку. К тому моменту Дойл уже сильно сомневался, что Холмса вообще стоит выпускать на подмостки, он боялся, что театр вновь привлечет внимание к его “самой слабой работе, незаслуженно считающейся самой лучшей”. Столкнувшись с необходимостью основательно переделать роль Холмса, он спокойно отложил пьесу в сторону, пока не узнал, что ею заинтересовался Джилетт.

Уильям Джилетт был и актером, и драматургом. Он с огромным успехом выступал в Штатах, играя главные роли в собственных пьесах. Он обратился к Дойлу, испрашивая разрешения переделать текст, аргументируя это тем, что пьеса не сценична. На сей раз Дойл согласился, возможно, потому, что не должен был переписывать все сам, и Джилетт соорудил из “Шерлока Холмса” весьма бодрую мелодраму с сильной любовной линией. Как-то он прислал Дойлу телеграмму с вопросом, можно ли ему женить Холмса в интересах дела. Дойл отправил ему ответ: “Можете женить его, убить и вообще сделать с ним все, что вам будет угодно”.

В мае 1899-го Джилетт приехал в Англию, чтобы прочесть Дойлу окончательный вариант пьесы и заручиться его согласием. Американец решил, что надо явиться в костюме героя. Он надел длинный плащ с пелериной и кепи с козырьком, в каковом виде и направился в Хайндхед. Легенда гласит, что, сойдя с поезда, он тщательно оглядел в лупу встречавшего его на перроне Дойла — тот, как обычно, был в твидовом костюме, — и многозначительно изрек: “Несомненно, английский писатель”. Дойл хохотал от души.

Все опасения Джилетта исчезли, когда Дойл, прочитав пьесу, на секунду задумался, а потом сказал: “Приятно снова встретить старого знакомого”. Он не изменил ни слова, не выказал никакого раздражения, даже когда Холмс идиотским образом признался героине, мисс Алисе Фолкнер, в любви: “Ваша наблюдательность поразительна, мисс Фолкнер, и ваши выводы совершенно справедливы. Я полагаю, нет, я знаю, что люблю вас”.

Премьера “Шерлока Холмса”, драмы в четырех актах, состоялась в лондонском “Театре герцога Йоркского” 12 июня 1899 года, после чего Джилетт вернулся в Америку, и 6 ноября в “Гэррик-театре” в Нью-Йорке первое же представление прошло с громадным успехом. В дальнейшем Джилетт сыграл Холмса 1300 раз и стал его физическим воплощением, в особенности после того, как американский художник Фредерик Дор Стил нарисовал с него иллюстрации к поздним рассказам о сыщике. С годами Дойл и Джилетт стали добрыми друзьми, и Дойл не скрывал, что восхищается им как актером.

Лондонская критика плохо приняла “Шерлока Холмса”, отзывы на премьеру в театре “Лицеум” (сентябрь 1901 года) были нелестными. Кто-то счел постановку скучной, кто-то “грубой и банальной”; были и те, кому игра Джилетта показалась “шутовством”. Публика, однако, была иного мнения: “Шерлок Холмс” не сходил со сцены восемь месяцев, на одном из представлений присутствовал король. В антракте он пригласил Джилетта в свою ложу и так долго беседовал с ним, что пришлось задержать начало второго акта. Когда спектакль сошел, четыре разные труппы возили его по стране. Джилетт вновь приехал в Лондон в 1905 году, и в роли Билли, мальчишки с Бейкер-стрит, с ним был шестнадцатилетний Чарли Чаплин.

Если судить по воспоминаниям Дойла, вторая половина 1899 года была тихой и безоблачной.

В “открытой анкете”, которую Дойл заполнил в это время, своей лучшей чертой он назвал “простоту”, а вообще для мужчин “мужественность”. В графе “любимое занятие” указал “работу”, а идеалом счастья для него оказалось “разумное использование времени”. Любимые герои в реальной жизни — “люди, исполняющие свой долг”, а самые антипатичные ему качества — “манерность и тщеславие”.

Но на самом деле все было далеко не так безмятежно. Разрываясь между долгом и страстью,

Дойл пребывал в постоянном напряжении. Обычно очень уравновешенный, он теперь нередко бывал мрачен, расстроен и все время срывался, в первую очередь на детях. Если прежде ему нравилось, что они играют в углу кабинета, пока он пишет, то теперь им было велено проходить мимо его закрытых дверей на цыпочках, чтобы не мешать работе. С друзьями он стал замкнутым и непреклонным, легко обижался, с прислугой разговаривал жестко.

Конечно, дети (оба уже ходили в школу в Хайндхеде) ничего не знали о внутреннем разладе отца и в общем не особенно страдали от резких перепадов его настроения; впрочем, Мэри вспоминала позднее, что иногда ее пугали его грозные взгляды. Он опускал газету, сердито смотрел на дочь, и было ясно, что она сказала что-то не то — вот только что именно, она не понимала. А иногда он, наоборот, бывал очень мил и добр: например, взял и напечатал тиражом в 200 экземпляров ее рассказ “В гостях у Елены”. И не стал исправлять никаких ошибок, даже орфографических, полагая, что они придают рассказу десятилетнего ребенка дополнительный шарм.

В письме к матери Дойл признался, что устал от “больничного покоя”. Он под любым предлогом уезжал из “Подлесья”, жил в Лондоне в “Реформ-клабе” и ездил по стране с публичными выступлениями; заполнял время лекциями, литературными и общественными делами и, разумеется, спортом. Короткая выписка из дневника дает представление о его расписании: “Завтра иду к сэру Генри Томпсону на традиционный обед на восемь персон, в пятницу обедаю с Ньюджентом Робинсоном, в понедельник мы принимаем епископа Лондона в Клубе литераторов, в четверг обедаю в Королевском научном обществе. По крайней мере, с голоду не умру”.

В начале 1899 года у него случился короткий “флирт” с “миротворцами”. Российский император созвал мирную конференцию в Гааге в попытке ограничить гонку вооружений и создать международный трибунал для решения спорных вопросов между странами, чтобы избежать войны. По всей Европе проходили собрания, где обсуждались эти предложения. Конан Дойл председательствовал на одном из них в Хайндхеде и горячо выступал в поддержку мирных начинаний. Он пригласил и жившего по соседству Бернарда Шоу, уверенный, что тот разделяет его взгляды, но был неприятно удивлен: Шоу решительно отверг идею ограничить вооружение. “Все государственные деятели, все те, кто командует торпедными катерами, сегодня тоже одобряют царский рескрипт. Но каждый понимает, что если французам удастся создать подводные лодки, то их правительство тут же закажет их, и Германия закажет, и даже русский царь не сможет помешать России заказать их. Нет смысла повторять избитые фразы, которые мы из года в год пишем на рождественских открытках. Нам надо взглянуть фактам в лицо и осознать, что есть большая разница между двумя умонастроениями, с которыми сейчас столкнулся мир. Одно заключается в том, что война должна быть не такой ужасной, какова она сегодня. Я, однако, настаиваю, что сражаются не боеприпасы и броненосцы, а люди, и, если мы уничтожим все современное оружие и у противников останутся лишь первобытные средства — кулаки, клыки и когти, они будут драться не менее ожесточенно”.

Потом Шоу сказал писателю Хескету Пирсону, что именно он, Шоу, “переориентировал Конан Дойла со слащавого пацифизма на яростный шовинизм”, но добавил, что, вероятно, при этом “слегка переусердствовал”. В любом случае Дойл отказался от пацифистских идей, коль скоро уже в конце года объявил, что намерен отправиться в Южную Африку для участия в Бурской войне.

Глава 12

Бурская война

С НАЧАЛА 1899-го КОНАН ДОЙЛ НАБЛЮДАЛ за событиями в Южной Африке с возрастающей тревогой и, когда в октябре была объявлена война, подобно большинству своих соотечественников нисколько не сомневался, что правда на стороне Великобритании. Суд истории был, однако, далеко не столь однозначным.

Первыми европейцами, устремившимися в Южную Африку, были выходцы из Нидерландов. Вслед за ними пришли переселенцы из Дании, Германии и французские гугеноты. Они обосновались на южной оконечности Черного континента и занялись фермерством. Слово boer — бур — по-голландски, собственно, и означает “крестьянин”.

В то время путь в Индию проходил вокруг Африки. Британия, присоединив индийские земли к своей короне, нуждалась в опорном пункте на африканском побережье. В 1795-м британцы захватили принадлежавшую голландцам Капскую колонию. Установленные ими порядки нисколько не радовали буров, и они стали переселяться в глубь Африки, за реку Вааль. В 1836 году 10 000 буров отправились на север страны. Исход буров был назван Великим переселением. За рекой Вааль они создали Южно-Африканскую Республику, более известную как Республика Трансвааль, и Оранжевое свободное государство (Оранжевую республику), в надежде избавиться от британских имперских посягательств. Но в 1877 году Британия попыталась присоединить Трансвааль к своим колониальным владениям, и в результате разразилась первая Англо-бурская война 1880–1881 годов. Закончилась она унизительным поражением англичан, и 23 марта 1881 года премьер-министр Уильям Гладстон подписал договор о перемирии, а позднее Британия признала самостоятельность Трансвааля.

Шесть лет спустя в Трансваале нашли богатейшие золотоносные месторождения, даже более ценные, чем тамошние алмазные копи (обнаруженные в 1867-м). Пауль Крюгер, президент ЮАР, предрек большие несчастья, которые повлечет это открытие: “Вместо того чтобы радоваться, вам следовало бы рыдать, потому что это золото заставит нас умыться кровью”.

Тысячи иностранцев, в основном англичане, хлынули через границу из Капской колонии, охваченные золотой лихорадкой. Йоханнесбург возник буквально за одну ночь — городишко золотоискателей, со временем превратившийся в самый крупный город ЮАР. В итоге золотодобыча, промышленность и торговля сосредоточились в руках иностранцев, а местные жители по-прежнему занимались фермерством.

Пришельцев обложили огромными налогами, но не предоставили им избирательных прав. Великобритания заявляла, что главная ее цель — борьба за права ее граждан в Трансваале, но на самом деле самих ее граждан куда больше интересовало золото, чем политика, а Британию — распространение имперского влияния, чем защита каких-то прав каких-то старателей, которых современники описывали как бездельников, пьяниц и интриганов, способных развратить даже ангела.

В сентябре 1899 года министр по делам колоний Чемберлен направил Трансваалю ультиматум с требованием предоставить британским поселенцам все гражданские права, на что немедленно последовал ответный ультиматум от Пауля Крюгера — отвести все британские войска от трансваальской границы в сорок восемь часов. Лондон, разумеется, и не думал рассматривать это требование. Назначенный срок истек, ответа не последовало, и 12 октября буры объявили войну.

Спустя неделю после начала военных действий Чемберлен объяснял нации: “Прежде всего, если мы хотим подтвердить свой статус великой державы в Южной Африке, нам следует показать: мы готовы и сумеем защитить британских подданных везде, где они страдают от притеснений и несправедливости… Кроме того, в интересах империи Великобритания должна оставаться преобладающей силой в Южной Африке”. С этим страстный патриот Конан Дойл был полностью согласен. Великобритания пребывала в расцвете славы и могущества, англичане были истово преданы своей родине и уверены в ее превосходстве и праве диктовать свою волю другим государствам по всему миру.

Первые неудачи в Южной Африке нисколько не поколебали решимость королевы Виктории, а ее подданные безоговорочно поддерживали свою королеву. Любого, кто критиковал действия Британии, поднимали на смех или клеймили позором как сторонника буров. В Лондоне не предполагали, что война затянется надолго. Некоторые газеты окрестили ее “войной на чашку чая”. А на деле оказалось, что это самая долгая (почти трехлетняя), самая дорогостоящая (более 200 миллионов фунтов) и самая кровопролитная война столетия (погибли по меньшей

мере 22 000 англичан, 25 000 буров и 12 000 африканцев).

Британское военное командование, не ожидавшее серьезного сопротивления от кучки фермеров, сильно недооценило противника. Буры, которых Дойл потом назовет “одним из самых суровых, мужественных и несокрушимых народов, когда-либо живших на свете”, сражались на родной земле, были хорошо подготовлены, быстро и слаженно маневрировали, с успехом применяли новые средства защиты и были вооружены новейшими немецкими винтовками Маузера.

Британцы, напротив, не имели опыта войны в вельдах, сражались по навязанной бурами стратегии, тактика их боя мало изменилась со времени битвы при Ватерлоо, а кавалерия все еще была вооружена саблями и копьями.

За одну лишь неделю в середине декабря, прозванную потом “черной”, британцы потерпели несколько серьезных поражений у Стромберга, Магерсфонтейна и Колензо. Наступая тесным строем во всех трех битвах, так же как делали это еще в наполеоновские времена, они имели мало шансов уцелеть под плотным огнем противника.

В ЮАР было послано подкрепление под командованием фельдмаршала лорда Робертса и объявлен набор волонтеров, активно поддержанный Конан Дойлом в письме в “Таймс”: “Со всех сторон раздаются призывы отправить побольше колониальных войск на поля сражений. Но можем ли мы с чистой совестью позволить соотечественникам из колоний закрыть брешь, если никто из наших граждан не идет на фронт? В Великобритании немало мужчин, умеющих стрелять и ездить верхом. Полагаю, что следует, по крайней мере, составить списки добровольцев, отдавая предпочтение тем, у кого есть верховая лошадь. Тысячи мужчин охотятся верхом на лис и стреляют фазанов, и они с радостью послужат своей стране, если дать им такую возможность. Эта война уже показала нам: солдат — это смелый человек с хорошей винтовкой”. Сам Конан Дойл был готов записаться в добровольцы. Еще в ноябре он твердо решил, что должен принять участие в войне. Это привело в ужас его мать, и 22 ноября она написала ему: “Мой дорогой и очень непослушный мальчик. Как же ты можешь — что все это значит? Да ведь твоя высокая мощная фигура — сама по себе отличная мишень, и разве твоя жизнь не ценна для страны, не говоря уже о доме? Твой долг перед всеми нами — беречь себя как великое сокровище, а тебя лихорадит, у тебя взыграла кровь предков — Перси, Пэков, Дойлов и Конанов, и все они подталкивают тебя к тому, что кажется благородным, а по сути является настоящим преступлением, огромной глупостью. Бога ради, послушай меня… несмотря на твой возраст, я отвечаю перед Господом за тебя. Он говорит моими устами. Сколько бы ни было у тебя родственников, но мать одна. Не езди туда, Артур, это мое первое и последнее слово. Если все эти политики и журналисты так легко позволили развязать войну, так пусть сами и отправляются на фронт: впредь будут осторожнее. Они втравили страну в ужасную войну, и ты не станешь ее жертвой, сколько это зависит от меня. Шлю вам всем свою нежную любовь, о мой непослушный дорогой мальчик. Всегда твоя М.”

Чтобы подчеркнуть свою решимость разубедить его, Мэри написала красными чернилами сверху письма “От родоначальницы”. Ей было шестьдесят два, но она была по-прежнему своенравна и отлично излагала свои мысли. С ее точки зрения, война шла за золото и была спровоцирована жадностью, и ей вовсе не хотелось, чтобы сын отдал жизнь за такое постыдное дело. В тот же день она отправила ему второе письмо, где вновь предупреждала: “поехать туда — верная смерть…”

Но Конан Дойла, ничуть не менее упрямого и своенравного, чем мать, ее доводы не вразумили. Он объяснил ей, что после обращения в “Таймс” считает “делом чести” стать одним из первых волонтеров, и, какова бы ни была его ценность как солдата, он уверен, что сумеет хотя бы послужить “образцом для подражания”. “Как мне кажется, я имею сильнейшее влияние на молодых, в первую очередь спортивных мужественных юношей более, чем кто-либо в Англии. (Еще Киплинг.) А потому я должен показать им пример… Насчет причин конфликта: после того как они захватили Наталь, это уже не важно. Но совершенно очевидно, что они готовились годами, а мы нет… У меня были серьезные сомнения до того, как началась война, но с тех пор я удостоверился, что это справедливое дело и оно стоит известных жертв”.

Не вполне понятно, почему он решил, что имеет такое уж влияние на молодежь Британии, никаких подтверждений этому нет, а равно и попыток оказывать его Дойл никогда не делал. Он не стал бы попусту хвастаться, однако, видимо, решил, что такие аргументы смогут убедить его мать.

По правде говоря, Дойлом двигал не только патриотический долг, его привлекала возможность взглянуть на войну глазами очевидца и достоверно написать о ней. Он уже собрал внушительную стопку газетных вырезок и пообщался с офицерами, участвовавшими в

первых сражениях. Болезнь Туи вынудила его покинуть Египет до того, как он смог в качестве военного корреспондента увидеть войну воочию. (Он знал, что Китченер одержал замечательную победу в сражении при Омдурмане в сентябре 1898-го, и горько сожалел, что его там не было.) И вот наконец ему представился шанс поучаствовать в войне на стороне добра и справедливости, за честь Британской империи, увидеть то, о чем он уже столько писал, — схватку на поле боя.

После “черной недели” он отправил прошения в военное министерство, а затем в добровольческую часть в Южной Африке и в Мидлсекскую кавалерийскую часть, где у него были приятели. Но в его годы и при отсутствии нужных навыков он мало подходил для службы. На вопрос о том, каков его военный опыт, он ответил, что “прежде вел жизнь, полную опасностей” и “был свидетелем военных действий в Судане”. Дойл честно признавался, что “считать это реальным опытом можно с большой натяжкой”, но утверждал, что джентльмену позволительно солгать в двух случаях — “чтобы защитить женщину и сразиться за правое дело”.

Его внесли в список кандидатов, но надежда была очень мала. Однако он вскоре получил предложение от Джона Лэнгмана, богатого филантропа, которого неплохо знал — с его сыном Арчи они сдружились в Давосе. Лэнгман на свои средства организовал госпиталь на сто коек и намеревался отправить его в Южную Африку. Заведовать госпиталем должен был его сын, а Дойлу предложили стать его помощником. Он ухватился за эту возможность. “Думаю, я нашел способ последовать своему долгу и вашим пожеланиям, — писал он матери, — и более не стану предлагать себя в качестве солдата, если в том не возникнет крайней необходимости, а сейчас ее явно нет. Моя драгоценная шкура будет в относительной безопасности, и при этом я послужу своей стране. Мне очень нужна полная смена обстановки, и это прекрасный шанс”.

Неделю Дойл провел, помогая подобрать необходимый персонал для госпиталя — хирургов, медбратьев, сиделок и подсобных рабочих. Он только сожалел, что не смог отговорить Лэнгмана взять доктора Роберта О’Каллахана на должность главного хирурга. Дойлу он не нравился, в первую очередь тем, что “был гинекологом, то есть представителем той области медицины, нужды в которой в данной момент было мало”.

Вообще говоря, О’Каллахан был очень уважаемым хирургом с Харли-стрит и специализировался на болезнях брюшной полости, что, конечно, отчасти соотносится с беременностью, а стало быть, и гинекологией. Гораздо больше Дойлу были по душе два “просто замечательных молодых хирурга”, Чарльз Гиббс и Г.Дж. Шарлиб. Хотя Лэнгман и обязался платить за содержание госпиталя на протяжении полугода, военное министерство все же настояло, что руководить им должен кадровый военный, и командировало майора Мориса Друри, презабавного ирландца со вздорным характером, заявлявшего, что главная мечта его жизни — уйти со службы и “жениться на богатой вдове со слабыми легкими”.

Мэри Дойл по-прежнему намеревалась расстроить планы своего сына и пригрозила, что свяжется с Лэнгманом, чтобы тот его уволил. “Маменька, будьте доброй и хорошей, ни о чем к Лэнгманам не пишите, — умоляет он ее в ответ и называет еще одну причину, по которой так хочет уехать в ЮАР. — Я знаю, что делаю и зачем, и в моих поступках есть своя логика. Сейчас для меня ничего лучшего и быть не может. Я провел последние шесть лет в комнате больной, и — ох, как же я от этого устал! Бедняжка Туи! Это измотало меня больше, чем ее, — а она и не подозревает об этом, чему я искренне рад… Пусть в мае 1900 года нам всем, включая и Англию, улыбнется удача!”

Дожидаясь отправки в Южную Африку, Конан Дойл проводил время, пытаясь разработать технику стрельбы из винтовки по снайперам, притаившимся в скалах. В частности, он придумал так называемый навесной огонь — стрельба не прямой наводкой, а в воздух, когда пули настигают врага сверху. Он решил, что можно “превратить винтовку в портативную гаубицу”, и опробовал свою идею на пруду во Френшеме. Стоя в камышах на берегу, он выстрелил в воздух. Падая, пуля пролетела рядом с его головой и упала в двух шагах. Дойл выстрелил еще раз, под другим углом, и стрелял до тех пор, пока не явился очень сердитый мужчина, по виду художник. Он спросил, интересно ли мистеру, куда он отправляет свои пули. Дойл ответил, что ему это чрезвычайно интересно. “Так знайте, что все они падают вокруг меня!”

На этом эксперимент завершился, но Дойл был убежден, что сделал “эпохальное открытие”, о котором следует знать военному министерству. Оттуда пришел очень холодный ответ: “В отношении вашего письма, касательно применения винтовок для стрельбы под большим углом, я уполномочен сообщить вам от имени министра, что вас не будут беспокоить по этому поводу”. Непоколебимый, как всегда, Дойл счел это обычной бюрократической недальновидностью и написал в “Таймс”: “Неудивительно, что новейшие изобретения мы

видим в руках врагов, а не в наших собственных, если те, кто пытается усовершенствовать наше оружие, встречают такую же поддержку, что и я”.

Прежде чем отбыть на фронт, в феврале 1900 года госпиталь был проинспектирован престарелым герцогом Кембриджским, который выразил величайшее неудовольствие — у пуговиц на мундире Конан Дойла не было эмблемы полка. Там вообще не было никакой эмблемы! Несмотря на это, 28 февраля их подразделение отплыло в Южную Африку из Тилбери на зафрахтованном судне “Ориентал”. Джин Лекки уставила всю каюту Дойла цветами, но сама не поднялась на борт попрощаться, а предпочла смешаться с провожающей толпой на берегу.

Сначала “Ориентал” зашел в Квинстаун в Ирландии, чтобы взять на борт 3-й милиционный батальон и королевских шотландских стрелков, а затем взял курс на юг. Во время запланированной стоянки в Кабо-Верде доктора Дойла пригласили сыграть в крикет в команде, где капитаном был лорд Генри Скотт. Они разгромила команду Атлантической телеграфной станции, которая гордилась тем, что до того побеждала во всех матчах с пассажирами проходящих судов.

В Кейптаун “Ориентал” прибыл 22 марта, провел там четыре дня и затем направился в Ист-Лондон, где шотландские стрелки и врачи из госпиталя Лэнгмана сошли на берег.

Дойлу еще в Лондоне были даны средства на “благотворительные цели”, и первое, что он сделал, — это отправился в лагерь для военнопленных буров. Уже в поезде на Блумфонтейн — столицу Оранжевой республики, захваченную 15 марта, он ясно ощутил лихорадочное оживление, какое вызывает война. “Никогда не забуду наши ночные перегоны — огромный поезд несется сквозь тьму, вдоль дороги горят костры, неясные темные силуэты в бликах пламени, крики “Кто такие?” и рев голосов в ответ на гордое “Полк Камерон” — шотландцы из этой части ехали с нами. Удивительна атмосфера войны. Когда на земле воцарится всеобщий мир, человечество много выиграет, но оно утеряет это возбуждающее, захватывающее ощущение”.

В Блумфонтейне он наблюдал за тем, как бригада под командованием Горация Смита-Дорриена вошла в город, и написал ура-патриотический отчет во “Френд”, газету, созданную корреспондентами в Южной Африке. Из текста ясно, что автора переполняет мальчишеское ликование. “Если бы они могли так пройти по Пикадилли и вниз по Стрэнду, Лондон, наверное, сошел бы с ума. Я спрыгнул с платформы, которую мы разгружали, и смотрел на них — потрепанных, заросших щетиной, с жесткими суровыми лицами. Усталая пехота шла, поднимая клубы пыли. Вот солдаты Хайлендского полка, в фартуках наподобие тех, что носят рабочие, с худыми, дочерна загоревшими за несколько месяцев в вельде лицами. Их полк носит прославленное имя. “Добрый старый Гордон!” — крикнул я, когда они проходили мимо. “Как дела, приятель?” — откликнулся сержант, мельком глянув на грязного энтузиаста в нижней рубахе. Его солдаты расправили плечи и зашагали бодрей… Замечательные парни есть среди них! Например, тот, что поприветствовал меня: в прошлую нашу встречу мы вместе заработали семьдесят ранов в крикет, а теперь — снова товарищи, но уже в совсем иной игре”.

Но радостное воодушевление Дойла, однако, продлилось недолго. Вскоре в Блумфонтейне вспыхнула эпидемия брюшного тифа, унесшая пять тысяч жизней и превратившая город в сущий ад. Британцы не озаботились охраной насосной станции в двадцати трех милях от города, и буры захватили ее, лишив жителей воды. Солдаты, изнывающие от жажды, стали брать воду из реки Моддер, зараженную разложившимися трупами лошадей и нечистотами из лагеря буров, который был выше по течению. Подразделение Дойла немедля развернуло госпиталь на поле блумфонтейнского крикетного клуба. Дойл пишет, что около месяца они жили среди смерти — “в ее самом отвратительном, ужасающем обличье”. Госпиталь был рассчитан на сто человек, а пациентов оказалось вдвое больше, для всех коек не хватало, так что больные и умирающие лежали просто на полу. Уборную устроили в отнюдь не подходящем месте — на сцене, оставшейся после недавнего любительского спектакля, — и мало кто из больных был в силах взобраться туда по нужде. “Четыре недели в комфортных условиях — срок небольшой, — писал Дойл, — но это очень много в ситуации, подобной нашей. Ужасное зрелище — крики и вонь, а надо всем этим рои мух, норовящих сесть на еду, забраться в рот, и каждая — источник заразы… Наш госпиталь был не хуже, чем другие, а госпиталей в городе было много, и обстановка в целом была очень тяжелая”.

Мертвых хоронили, завернув в коричневые одеяла, “в неглубоких могилах, по шестьдесят человек в день”. Над городом стоял тошнотворный запах. Как-то раз Дойл решил прокатиться верхом, чтобы слегка развеяться. Он отъехал от Блумфонтейна миль на шесть, но тут ветер переменился и задул в его сторону. Привычное зловоние почти тут же ударило ему в нос.

Мортимер Менпес, военный корреспондент и художник, сотрудничавший с журналом “Блэк энд уайт”, специально прибыл в госпиталь Лэнгмана, чтобы запечатлеть Конан Дойла за работой. Дойл встретил его с закатанными рукавами, усталый, занятый делом по горло, но было видно, что он отлично справляется. Человек в запятнанном кровью халате, донельзя утомленный, мало походил на знаменитого автора Шерлока Холмса. Это был просто врач, честно и рьяно исполняющий свою работу. “Я не видел никого, кто бы так всецело отдавался делу — душой и телом”. Менпес спросил, намерен ли Дойл написать книгу о здешних впечатлениях, на что немедленно получил ответ: я слишком занят сейчас, чтобы думать о литературе. В подтверждение своих слов доктор распахнул дверь в павильон. “То, что я увидел, не поддается описанию, — вспоминал Менпес. — Сравнить это возможно лишь со скотобойней. Ничего даже близко похожего мне в этой жизни видеть не приходилось. Больных столько, что невозможно позаботиться обо всех. Некоторые были в таком ужасном состоянии, что слова бессильны описать их муки. И посреди этого кошмара две-три сестры милосердия в темных рясах молча и быстро исполняли свою работу, которая и взрослому мужчине была бы тяжела: они ухаживали за солдатами, как за малыми детьми, меняли белье, делали им перевязки и еще тысячи мелких дел — все это спокойно, с полным самообладанием, без суеты и тени раздражения. “Поразительные женщины!” — невольно воскликнул я. Доктор Дойл улыбнулся. “Они ангелы”, — просто сказал он”.

С тех пор как Конан Дойл оставил практическую медицину, прошло немало лет, но ни врачебное искусство, ни выдержка ему не изменили. Он исполнял свой долг решительно и непреклонно, ни на что не жалуясь, пытаясь быть максимально полезен в таких условиях, которых он и вообразить не мог, несмотря на фантазию писателя.

А вот доктор О’Каллахан счел, что с него довольно, и решил вернуться в Лондон. Кутила и повеса майор Друри искал утешения в бутылке, зато двое молодых хирургов работали изо всех сил, и им помогали две медсестры, прибывшие в помощь от Красного Креста. 20 апреля Дойл выкроил время, чтобы написать матери. Избегая подробностей, он лишь сообщал ей, что воздух и окружающие “изрядно воняют”. Однако, писал он, “я в хорошей форме, здоров и уверен, что у меня хватит сил противостоять заразе”. Пожаловался он только на О’Каллахана и Друри: “Один не думает ни о чем, кроме себя самого, а другой — ни о чем, кроме виски”. И добавлял, что будет очень рад, “когда жирный О’Каллахан наконец уберется отсюда”.

Впрочем, Мэри наверняка имела представление о том, что творилось, поскольку член парламента от Либерал-юнионистской партии Уильям Бурдет-Коутс, командированный в ЮАР газетой “Таймс”, прислал оттуда ряд едких, разоблачительных сообщений, которые потрясли нацию и привели к тому, что была создана правительственная комиссия — расследовать, как содержатся больные и раненые.

По оценкам Конан Дойла, в первый месяц эпидемии заболели около 12 000 солдат. Он отмечал, что брюшной тиф — болезнь долгая и изнурительная, требующая очень тщательного ухода и мер предосторожности, чтобы избежать распространения эпидемии. В итоге на городском кладбище появились тысячи свежих могил. Среди персонала госпиталя Лэнгмана тоже были заболевшие, несмотря на прививки. Из шести сиделок три заболели, а одна скончалась. Умер и один из восемнадцати санитаров, а восемь других заразились, как и двое из пяти ассистентов. Дойл всячески превозносил коллег: “Никто не служил своей стране так преданно и честно, как офицеры и солдаты медицинской службы, равно нельзя забыть и о том, с каким мужеством и бескорыстием сестры милосердия исполняли свой долг, являя поразительный пример самоотверженности…”

Дела поправились после того, как спустя два с небольшим месяца британцы захватили насосную станцию. Дойл, Арчи Лэнгман и два журналиста отправились вместе с отрядом, который должен был отбить ее у буров. Ночь перед боем он провел под фургоном и “замерз как никогда в жизни”. Но на рассвете буры ушли, и станцию заняли без боя. Чистая вода помогла справиться с тифом за несколько недель, а Конан Дойл умудрился организовать в это время серию футбольных матчей между госпиталями для “поднятия духа”.

И новости с фронта стали повеселее. 18 мая после двухсот семнадцати дней осады был взят Мафекинг, что вызвало бурное ликование на улицах Лондона, а 5 июня пала столица Трансвааля Претория. Когда войска фельдмаршала Робертса начали наступление на Преторию, Конан Дойл, в надежде увидеть военные действия и собрать материал для книги, раздобыл разрешение провести неделю на фронте. С Арчи Лэнгманом они отправились верхом и вскоре присоединились к пехоте, сопровождаемой артиллерийскими частями.

Что ж, Дойл увидел войну воочию, и вдохновляющего в ней было мало — по дороге британцы методично грабили и уничтожали фермы буров. Он подмечал все, что могло бы пригодиться для будущей работы. Скажем, такая сцена: английский солдат сидит во дворе разграбленной

фермы у опрокинутого фургона, наигрывая на губной гармошке “Дом, милый дом”, а неподалеку валяются в пыли несколько фотографий. На одной жених с невестой, “чье жилище теперь превратилось в груду обломков”.

Слава Дойла была так велика, что его узнавали даже на поле боя. Увидев, как два солдата несут раненого товарища, он поскакал им навстречу. Одна пуля попала солдату в руку, другая в живот, но обе раны были неглубокими, и Дойл заверил его, что опасности для жизни нет. На секунду раненый открыл глаза и произнес: “Читал ваши книги”. После этого его унесли. В другой раз, уже в госпитале, пациент спросил Дойла, какой его любимый рассказ о Шерлоке Холмсе. То ли автор растерялся, то ли просто смертельно устал, но ответил: “Тот, про змею”.

Дойл не скрывал, что, несмотря на опасность, на войне ему нравится: “Я счастлив, потому что всегда мечтал получить настоящее боевое крещение, и теперь прошел его сполна. Сколько я могу судить о своих ощущениях, никакой нервозности я не испытывал — во всяком случае куда меньше, чем ожидал, — а моя голова была постоянно чем-то занята. Например, меня однажды так огорчила потеря ранца, что, пока я искал его, суетясь на передовой, совсем забыл про артобстрел”.

Позднее впечатления о событиях на фронте, полные живых подробностей, он включил в автобиографию, из-за чего его упрекали, что он прославляет войну. Но намерение Дойла было иное: прославить он хотел мужество солдата, что вообще характерно для его произведений, не скрывая при этом мрачной стороны дела.

Вернувшись в госпиталь, Дойл заболел лихорадкой, возможно даже, это был тиф в слабой форме, но продолжал работать, а много лет спустя жаловался, что в его организме по-прежнему сидит какая-то “коварная” болезнь. Во время футбольного матча Дойл сильно ушиб ребра и заметил: “Я уже слишком стар для такого обращения, а ведь в молодости оно меня просто позабавило бы”. На этом его большой футбол закончился, и если он потом играл, то очень редко.

В предисловии к “Англо-бурской войне” Конан Дойл объясняет, что большую часть книги “писал в госпитальной палатке в перерывах между дежурствами, во время эпидемии в Блумфонтейне”, и что его единственным источником информации были выздоравливающие офицеры и другие пациенты. Это некоторая натяжка — в разгар эпидемии у него не было времени, чтобы писать, а беседовать с офицерами он мог, лишь когда зараза отступила.

Едва положение улучшилось, Дойл написал развернутый очерк для “Бритиш медикал джорнал”, где подробно описал эпидемию брюшного тифа. Он утверждал, что, будь проведена обязательная всеобщая вакцинация, многих удалось бы спасти, и превозносил героизм и преданность, с которыми отдавались делу санитары и сестры, а также мужество солдат.

Когда в город прибыла новая бригада врачей, Дойл решил, что его обязанности исчерпаны, но сначала он хотел съездить в Преторию, чтобы пообщаться с высшими офицерами штаба, в первую очередь с главнокомандующим Робертсом. 23 июня он писал матери из Блумфонтейна: “Я выезжаю в Преторию… Теперь, когда буры уже сдаются, я не думаю, что впереди у нас много работы, и моя главная задача сейчас — написать историю войны, чтобы объяснить, по крайней мере хоть некоторым из тех, кто в этом сомневается, насколько справедлива была позиция моей страны. Мой долг, я полагаю, теперь призывает меня в Лондон…”

Поездка была напряженная, все время под угрозой нападения разрозненных бурских отрядов. Поезд беспрерывно останавливался посреди степи, то на пять минут, то на пять часов, и невозможно было предсказать, когда он вновь тронется. Они съехались с поездом, шедшим из столицы: все его окна были разбиты, говорили, что он подвергся атаке буров из засады и двадцать человек были ранены.

В Роодевале, где за несколько дней до того бурский генерал Пит Де Вет вырезал всю милицию и захватил огромные запасы амуниции, провизии и почту, дорога была разрушена.

Поезд остановился надолго, и пассажиры смогли выйти. Все вокруг было усеяно гильзами от снарядов и обрывками писем: Де Вет приказал сжечь почтовые мешки — “один из самых его неблагородных поступков”, по мнению Дойла. Сотни обгорелых клочков валялись на земле. Дойл сумел прочитать конец одного письма, нацарапанного полуграмотной женской рукой. После многочисленных поцелуев стояло: “Надеюсь, вы уже убили всех этих буров”.

Сразу по приезде в Преторию Дойл отправил матери письмо: “Путешествие вышло хоть куда… Очень впечатляющие картины всю дорогу — сожженные телеграфные отделения, вокзалы разрушены, кучи пепла, и повсюду пикеты и патрули. Здесь, в городе, весьма приятно, я живу в удобном отеле. Много буров, я спорил о жизни с некоторыми из них. Они неплохие парни, но

легко поддаются влиянию и крайне невежественны…”

Двадцать седьмого июня Дойл беседовал с лордом Робертсом (“вежливый и внимательный… взгляд добрый, умный, но глаза слезятся от старости”), а оставшееся время в столице провел, собирая свидетельства очевидцев военной кампании. Он побывал в лагере для военнопленных буров, где за несколько недель до того содержались английские солдаты, коротавшие время тем, что пытались ложками прорыть подземный ход. В качестве сувениров он забрал с собой бурский карабин, музыкальный инструмент, называемый “треугольник”, недовязанный носок, который вязали обломком колючей проволоки, и ножные кандалы.

Из Претории Дойл добрался до Кейптауна, где встретил сэра Альфреда Милнера, главу британского дипломатического представительства и главного военного архитектора, и п июля 1900 года отплыл домой на борту парохода “Британ”. Большую часть времени он проводил в каюте, разбирая свои заметки, но все же путешествие оказалось “очень веселым”, в основном благодаря дружелюбным попутчикам. В столовой первого класса соседями Дойла были два корреспондента — Бертрам Флетчер Робинсон из “Дейли экспресс”, который впоследствии способствовал созданию одного из самых известных рассказов о Холмсе — “Собака Баскервилей”, и Генри Невинсон из “Дейли кроникл”. Невинсон вспоминает Дойла так: “Он был крупный, с размашистыми свободными жестами. Большие серые глаза внимательно устремлены на собеседника, с тем доверчивым дружелюбием, какое бывает у больших собак… В самом деле, и голосом, и характером он напоминал мне сенбернара или ньюфаундленда”.

Лишь одно происшествие омрачило приятную поездку. Некий французский офицер в присутствии Дойла настаивал, что англичане применяли в Африке пули дум-дум, которые разрывались в теле жертвы. Эти упреки нередко звучали в адрес обеих сражающихся сторон, и обе их опровергали. Дойл полностью доверял заявлениям британского правительства, да к тому же ему еще раньше успел надоесть этот несдержанный на язык француз, так что, недолго думая, он назвал его лжецом. Офицер развернулся и вышел, а немного погодя в каюту Дойла постучал Флетчер Робинсон. Он пришел сказать, что француз изменил свое мнение, понял, что был не прав, и просит Дойла принять его извинения. Конан Дойл резко ответил, что не принимает их, поскольку оскорблен не он лично, а вся британская армия. После чего эти двое избегали друг друга до конца поездки.

Пароход приближался к родным берегам, и Дойл задумывался над тем, что ждет его дома. В последнем письме из Претории он писал матери: “Есть лишь два обстоятельства, которые побуждают меня вернуться обратно в Англию. Одно из них — поцеловать мою дорогую маменьку”. Второго он не назвал.

Глава 13

Кандидат в парламент

ВЕРНУВШИСЬ ИЗ ЮЖНОЙ АФРИКИ, ДОЙЛ ПОЧТИ сразу оказался в центре семейной ссоры, возникшей из-за его желания проводить время с Джин Лекки. Несколько дней он побыл с Туи и детьми в “Подлесье”, а затем уехал в Лондон, под предлогом того, что у него были обязательства, связанные с матчами в крикет, — четыре игры на поле “Лорде” и одна против Лондонского крикетного клуба. Вопреки обыкновению он поселился не в “Реформ-клабе”, а в отеле “Морли” на Кокспер-стрит. Так ему было удобнее встречаться с Джин.

Их неизбежно должны были в какой-то момент увидеть вместе, и случилось это на стадионе “Лорде”. Вилли Хорнунг, его зять, тоже был там, и его поразило, что Конан Дойл пришел в публичное место не с женой, а с другой дамой, что в те времена считалось неприличным. Дойл понял, что его заметили, и в тот же вечер приехал в Кенсингтон, где жили Хорнунги, чтобы попытаться как-то все разъяснить. Приняли его любезно и вроде бы сочувственно, поскольку он настаивал, что их отношения с Джин Лекки чисто платонические, и таковыми останутся, пока жива Туи. Выслушав Дойла, Хорнунг сказал, что его удовлетворили эти объяснения, а Конни согласилась в знак примирения пообедать с братом и Джин.

Но на другое утро Конан Дойл получил телеграмму — у Конни разболелся зуб, и прийти на обед она не сможет. Он вновь отправился в Кенсингтон, где нашел Хорнунга в мрачном настроении. Тот резко заявил, что не станет потворствовать шурину: платонические у него с Джин Лекки отношения или нет, все равно это предательство и измена. И появляться в обществе Джин — значит оскорблять Туи. Дойл был в ярости, но постарался сдержаться. Он был абсолютно не согласен, что честь Туи хоть сколько-нибудь задета, и настаивал, что разница между целомудренными отношениями и тайной связью та же, что и между “невиновен” и “виновен”. И стало быть, он невиновен. Хорнунг остался непоколебим. Отказавшись далее обсуждать “столь щекотливую тему”, Дойл стремительно удалился.

На следующий день он написал матери грустное письмо обо всем, что случилось: “Думаю, они сначала откликнулись сердцем, а потом им хватило глупости прислушаться к голосу рассудка. Вилли разговаривал как прокурор, разбирающий дело, а не как брат с братом, попавшим в сложную ситуацию… Я ушел от них не рассерженный, а серьезно обиженный, что гораздо труднее преодолеть… Когда я отказывал в понимании хоть кому-нибудь из своей семьи?”

Упрямый, не сомневающийся в своей правоте, Конан Дойл считал позицию Хорнунга абсолютно несправедливой. Он считал, что близкие предали его, между тем как их долг был его поддержать. Что за абсурд — Вилли с Конни вздумали его порицать, когда и мать, и другие родственники, и даже теща не осуждали его дружбу с Джин? Будучи фактически главой семьи долгие годы, он безусловно ожидал от сестер и брата той же преданности, какую сам проявлял к ним. Но более всего, как писал он матери, его расстроила реакция Джин: она во всем винила себя. “У бедняжки бывают приступы уныния (таковы артистические натуры), и тогда ее мучит ужасное раскаяние, она воображает, будто совершила что-то страшное. В такие моменты я особенно сильно люблю ее. А вас, моя самая дорогая, я просто не знаю, как благодарить за вашу доброту”.

Постепенно ссора затихла. “Я отправил Конни вежливую записку, чего она, между нами говоря, и не заслужила”.

Уверения Дойла, что их отношения с Джин невинны, подтверждаются в его многочисленных письмах к матери на протяжении долгих лет, в которых, например, он планирует маршруты их поездок втроем: “Боюсь, идея с Парижем не сработает. Но у меня есть идея другой поездки, более обширной, и думаю, она совершенно безобидна. Была ли еще когда на свете история любви, подобная нашей!”

С другой стороны, Дойл допускал джентльменскую ложь, если это было необходимо, чтобы защитить честь дамы. Во время частых наездов в Лондон он останавливался не в “Реформ-клабе”, а в отелях, где проще было сохранить анонимность. Впрочем, когда в 1902 году литературный агент Дойла привез в “Стрэнд” очередной рассказ о Холмсе, “Второе пятно”, Гринхоу-Смит был весьма удивлен: часть рукописи была написана почерком Джин Лекки.

У Дойла не было времени особенно переживать из-за размолвки с родственниками, поскольку он согласился баллотироваться в парламент в качестве кандидата Либерал-юнионистской партии, от Центрального округа Эдинбурга. Эти выборы проходили на волне патриотических

настроений после победы в Бурской войне. В августе Дойл написал Джозефу Чемберлену, лидеру либерал-юнионистов, что “опыт пребывания в Южной Африке” и роль историка делают его идеальным кандидатом.

Какое-то время пресса утверждала, что Конан Дойла обязательно изберут. Его популярность, постоянные публичные выступления, горячий патриотизм и незапятнанная репутация — никто, кроме членов семьи, не знал о романе с Джин Лекки — все было в его пользу. С ним были бы рады иметь дело и консерваторы, и либералы.

Но он вступил в Либерал-юнионистскую партию уже в середине 1880-х, когда автономия была для Ирландии основной политической задачей. Уильям Гладстон настаивал, что автономия — единственная возможность устранить противоречия между националистами и юнионистами, но многие в его Либеральной партии были с этим не согласны, и создали партию либерал-юнионистов, которую Дойл поддерживал вопреки своим ирландским корням. Ничего парадоксального он в этом не видел: это был чистый патриотизм — ведь он рассматривал Ирландию как часть Великобритании, такую же, как Шотландию и Уэльс. В июне 1886 года Гладстон внес в парламент билль о гомруле, но он не прошел.

Накануне выборов сэр Уильям Кроссмен, тогдашний лидер партии, был вынужден отказаться от появления на съезде в Портсмуте, и Дойла попросили его заменить. Он сильно нервничал, но выступал двадцать пять минут и очень воодушевил аудиторию своей речью. Завершил он ее яркой пародией на церемонию бракосочетания: “Англия и Ирландия соединены сапфировым обручальным кольцом моря, и что Господь свел воедино, никто да не растащит врозь!”

Через месяц Дойла избрали заместителем председателя портсмутского отделения партии либерал-юнионистов, что еще более упрочило его вес в городе. Местные газеты много писали о происшествии, случившемся чуть позже. В Портсмут приехал будущий премьер-министр Артур Бальфур, с речью об Ирландии. Два антиюниониста пытались перебивать его, но Конан Дойл тяжелой рукой зажал одному рот. Тогда второй, придя в ярость, с размаха ударил Дойла по голове тростью, сломав его цилиндр.

На всеобщих выборах 1900 года вопросы о гомруле и свободной торговле были на втором месте: на первом стояла война с бурами. Правящая Консервативная партия, пользуясь благоприятными обстоятельствами, развернула откровенно шовинистическую кампанию под лозунгом “каждое упущенное место в правительстве — это место, отданное бурам”. Между тем оппозиционная Либеральная партия была безнадежно расколота и многие ее члены горячо возражали против войны. Что до Дойла, то он всячески одобрял альянс с консерваторами, будучи сторонником военных действий. Если бы он захотел, то безусловно прошел бы в парламент, но он предпочел баллотироваться от Эдинбурга, где были сильны либералы.

Впоследствии Дойл никогда не мог внятно объяснить, что именно подвигло его заняться политикой. Он заявлял, что это произошло отнюдь “не из горячего желания войти в благородное собрание” (то есть палату общин). Скорее это была потребность самореализации. Он был богат, знаменит и успешен, но что он сделал для общего блага? Убежденный, что явился на свет с некой “большой целью”, Дойл счел, что политика предоставит ему шанс не только испытать себя, но и понять, какова его жизненная миссия. “Мне сорок один, — пишет он в дневнике, — если я пропущу эти выборы, следующих, возможно, придется ждать семь лет. Тогда мне будет сорок восемь. Поздновато, чтобы начинать. Так что сейчас или никогда”.

В конце сентября он приехал в Эдинбург, встретиться с представителем Либерал-юнионистской партии Брюсом Лоу и председателем местного отделения Джоном Кренстоном. Оба пришли в полнейшее замешательство, обнаружив, что их кандидат крайне слабо осведомлен о местных проблемах и имеет лишь самое общее представление о политике партии и ее целях. Они предложили Дойлу написать ему манифест, но он вежливо отказался и с удовольствием окунулся в насыщенную десятидневную кампанию. “Я только что вернулся с войны, и меня переполняло желание помочь армии, так что сил я не жалел. Произносил речи на улицах, стоя на бочке или любом другом пьедестале, который мне подворачивался, провел множество митингов, и это помимо вечерних собраний, всякий раз очень многолюдных и шумных”.

Он очень быстро научился усмирять задир, перебивавших его громкими репликами, а таких было немало. Частенько они язвительно звали его “уважаемым Шерлоком Холмсом”. По правде говоря, очень многие приходили на собрания, только чтобы поглазеть на знаменитого писателя, но это ничуть не умаляло его энтузиазма. Он выступал по десять раз на дню: начинал на рассвете, встречаясь с рабочими, которые шли с ночной смены, и заканчивал за полночь.

В своей предвыборной программе Дойл утверждал, что необходимо сохранить империю, а также провести военные реформы и защищать родину. Указывал, что жизненно важно поддержать альянс юнионистов-консерваторов, чтобы продолжать войну. “Было бы безумием менять коней на переправе”, — убеждал он избирателей на одном собрании. На другом сообщил публике, что “это все равно что прибираться в комнате, когда весь дом в огне”. Он также заявлял, что по многим социальным и местным вопросам согласен со своим оппонентом от Либеральной партии, преуспевающим издателем Джорджем Маккензи Брауном. Расходились они в главном — продолжать войну или нет. И здесь решать, чья возьмет, должны были избиратели. Дойл нередко обращался к своим личным впечатлениям о войне, заверял: это “справедливая и необходимая” борьба.

Судя по статье в газете “Скотчмен”, выступление Дойла перед сотнями рабочих литейного цеха было впечатляющим: “Он говорит с ними как эдинбуржец с эдинбуржцами. Он родился и вырос в этом городе и рад вновь оказаться среди вас. Его заветная цель — отстаивать интересы своих сограждан в парламенте”. В другой заметке было сказано, что “общение с кандидатом прошло в самой непринужденной манере, его прямые, находчивые ответы заслужили громкое одобрение”.

Двадцать девятого сентября Дойл писал матери: “Говорят, моя дорогая мама, что это самая захватывающая борьба в Эдинбурге со времен лорда Маколея. Потрясающе. Дом оперетты был забит до отказа, потом толпа сопровождала меня до отеля, Принс-стрит оказалась вся запружена народом, и мне пришлось сказать речь со ступеней отеля, четырнадцать речей за три дня — совсем неплохо!”

Кульминацией кампании Дойла стал митинг в эдинбургском Литературном институте. За час до начала у здания уже собралась толпа и прибыла полиция — шайка юнцов, не имеющих избирательных прав, угрожала “устроить неприятности”. Наконец открыли двери, и люди хлынули в зал, но на всех мест не хватило, многие стояли в проходах. Когда Конан Дойл вышел на сцену, его приветствовали так бурно, что он с изрядным трудом сумел успокоить публику. Однако как только он заговорил, вновь раздались одобрительные крики.

Дойл сказал, что колонисты в Южной Африке с нетерпением ждут результатов выборов в Эдинбурге, что напряжение “во всех их маленьких поселках” огромное. И призвал собравшихся проголосовать так, чтобы в ЮАР наутро после выборов смогли бы сказать: “Слава богу, Эдинбург поступил по чести!”

После несомненного успеха в Литературном институте Дойл уже, казалось, мог праздновать победу, но тут-то ему и нанесли сокрушительный удар. Вечером накануне выборов Данфермлинская организация защиты протестантов, возглавляемая Якобом Плиммером, развесила по городу плакаты, где Дойла называли “папистом-заговорщиком, лазутчиком иезуитов и ниспровергателем протестантской веры”, проголосовать за которого — “оскорбить все, что свято для шотландца”.

Конан Дойл, как мог, старался исправить положение. Он говорил, что Плиммер ведет клеветническую кампанию, что он фанатик-протестант. Но, однако же, и отрицать некоторые вещи было невозможно: Дойл и впрямь воспитывался в католической вере и получил образование в колледже иезуитов, хотя сомневался, что “на свете есть кто-то с более широкими взглядами” на религию.

Браун любезно заявил, что его оппонент подвергся “очернительству”, но дело было сделано: Дойл проиграл. (Он набрал 2495, а Браун 3028 голосов.) В целом по стране консерваторы и либерал-юнионисты под предводительством лорда Солсбери выиграли подавляющим большинством.

Дойл опубликовал в “Скотчмене” письмо, где указывал, что отошел от католичества сразу после окончания колледжа и последние двадцать лет исповедует полную свободу в религиозных вопросах, что в плакатах, расклеенных по Эдинбургу, не было ни слова правды, а то, что они так повлияли на результат выборов, — “настоящий общественный скандал”. Встал вопрос об апелляции, но исправлять что-либо было уже поздно.

Конан Дойл был возмущен грязными методами борьбы. Он написал Брюсу Лоу из “Подлесья”, что готов оплатить услуги частного детектива и расследовать историю с Плиммером (было очень сомнительно, что тот действовал сам и за ним не стоял Браун): “Он узнает, я могу драться и без перчаток. Сообщите, что я могу это сделать, и сделаю. Браун, возможно, и невиновен, но его приспешники точно в этом замешаны”. Однако в конце концов он бросил это дело.

Как следует все осмыслив, он писал впоследствии в автобиографии: “Оглядываясь назад, я

склонен думать, что Плиммер был моим благодетелем. В последний момент он изменил соотношение сил и помешал мне свернуть на тот путь, который, возможно, завел бы меня в тупик. Я бы никогда не стал правоверным членом партии, а никому другому при нашей системе там, похоже, места нет".

При всем том Дойл продолжал неустанно бороться с несправедливостью. Так, очень скоро он переключился на "вопиющее зло", царившее в бакалейной торговле: продавцы работали по многу часов и он выступил за сокращение их рабочего дня.

Вернувшись в "Подлесье", Дойл внес последние изменения в "Англо-бурскую войну", которую посвятил Джону Лэнгману.

Это были "предварительные итоги войны", поскольку сама она еще продолжалась. 552-страничное сочинение было опубликовано в конце 1900 года. Оно содержало детальные отчеты о бесчисленных сражениях, их дополняли карты, и иначе как замечательной книгу назвать нельзя — учитывая, за сколь короткий срок она была написана. "Англо-бурская война" выдержала семнадцать переизданий, дополненных и переработанных. Впрочем, второе издание Дойл грозил уничтожить, обнаружив, к своему ужасу, что издательство "Томас Нельсон и сыновья" поместило на фронтисписе его фотографию. Автор настоял, чтобы ее, "как и следовало", заменили на фотографию лорда Робертса.

Позже Дойл писал, что выпуск официального сборника истории этой войны обошелся в 27 000 фунтов, и с гордостью добавлял: "Там не было ничего, чего я бы уже не отразил, кроме тех мелких нюансов, что лишь засоряют повествование". Он спросил у главного составителя этого официального сборника, использовали ли они его книгу, и тот сообщил: она стала его основой.

Книга Дойла скрупулезна и при этом написана замечательно легко, однако для серьезного исторического сочинения слишком субъективна. Дойл полагал, что у буров были все основания претендовать на землю, "ради которой они проделали немалый путь, которую упорно обрабатывали и храбро защищали", но тот факт, что британские поселенцы, численно превосходившие голландцев, были лишены избирательных прав, безусловно, с его точки зрения, был достаточным поводом для конфликта. Были, пишет он, нарушены права человека.

В заключительной главе Конан Дойл предлагал провести военные реформы, что вызвало большой переполох, особенно в среде военных. Его предложения выглядели чуть ли не революционными. Надо сказать, что Дойл оказался очень проницателен, и большинство его идей были воплощены в следующие два десятилетия. Так, он указывал, что британская армия излишне привязана к традициям, и многие из них давно отжили свой век: нужна всесторонняя модернизация, с учетом изменившихся условий. Например, кавалерия, вооруженная саблями и шпагами, оказалась совершенно небоеспособна в Южной Африке. Дойл видел ее в сражениях и убежден, что этому оружию место только в музее. Лучшее, что можно сделать с кавалерией, — упразнить ее вовсе. Одного этого предложения было довольно, чтобы повергнуть в ужас офицерский состав, а Дойл к тому же утверждал, что пора кончать с "расточительством" офицерства — экстравагантной формой, роскошными квартирами и другими ненужными издержками, вроде обязательного пони для игры в поло.

Устарела, писал он, и тактика пехотного боя. Пехотинцы вооружены уже не пиками, а винтовками, однако почему-то по-прежнему должны держать строй плечо к плечу, как в XVII веке, когда они защищали мушкетеров. "Все это патриархально и опасно". Он отстаивал крамольную идею, что пехоте надо побольше заниматься стрелковой подготовкой, а не обучаться тому, как печатать шаг на параде. Призывал создать из волонтеров отряды милиции, чтобы они защищали родной дом, в то время как регулярная армия будет защищать рубежи империи.

Свои соображения он изложил и в письме, опубликованном в "Вестминстерской газете": "Пусть наш остров защищают милиционеры, волонтеры и стрелки, их подразделения было бы нетрудно создать, если бы народ знал, что в вопросе самообороны ему придется полностью полагаться на себя. А в военное время у нас был бы огромный резерв, состоящий из мужчин, владеющих оружием… Прискорбно, что наши юноши занимаются только спортом или охотой на кроликов, в то время как они могли бы сделать что-то для укрепления своей страны…"

В "Подлесье" Дойл воплотил слова в дело, организовав стрелковый клуб. Он снабжал его членов оружием и амуницией, дважды в неделю проходили занятия по стрельбе, регулярно устраивались состязания, и победители получали призы. Ни чванства, ни бюрократизма, ни униформы, только широкополая шляпа с эмблемой. Дойл надеялся, что за пару лет в деревне не останется ни одного "возчика, ни одного крестьянина и мальчишки-подмастерья", которые

не сделались бы меткими стрелками, и что это благое начинание подхватят в соседних деревнях, и все мужчины в округе сделаются “потенциальными солдатами”. Вскоре в его клубе было уже триста членов, он послужил образцом для десятков подобных сообществ, возникших по всей стране и доказавших свою пользу в Первой мировой войне, — в армию приходили люди, уже умеющие стрелять.

Двадцать первого января 1901 года в восемьдесят один год скончалась королева Виктория. Ее правление было самым долгим за всю историю британской монархии, а ее смерть повергла страну в траур и положила конец эпохе, исполненной уверенности и ощущения несокрушимости нации. При ней Британская империя стала сильнейшей индустриальной державой, существенно расширила свои пределы, так что в ней, как говорили, “никогда не заходит солнце”.

Каждый, кто владел пером, чувствовал, что должен отметить уход королевы, и после того, как Виктория упокоилась в Виндзоре подле супруга принца Альберта, Конан Дойл опубликовал в “Нью-Йорк уорлд” проникновенные прощальные слова: “Великая Мать ушла от нас по печальной дороге, ведущей к темным вратам…”

Общественная поддержка войны в ЮАР быстро шла на убыль. Предполагалось, что падение Блумфонтейна и захват Претории положат конец военным действиям, но свободолюбивые буры не желали сдаваться, вели партизанскую войну, взрывали поезда и нападали из засады на колонны британских войск. Британцы привыкли к большим сражениям на открытой местности, а буры действовали быстро, внезапно, атаковали и тут же скрывались.

Чтобы справиться с бурскими партизанами, лорд Китченер, назначенный главнокомандующим вскоре после “выборов в хаки”, существенно изменил военную стратегию. Повсюду стали строить блокпосты, ограничивая маневры партизанских отрядов, сформировали новые подразделения легкой кавалерии. В марте 1901 года Китченер перешел к тактике “выжженной земли”: британцы угоняли у буров скот, сжигали посевы и фермы, отравляли колодцы и сгоняли мирное население в “концентрационные лагеря” — термин, мало украсивший английский язык. Условия в лагерях были тяжелые, люди плохо питались, болели, многие умирали, особенно дети. (Дойл занимал непримиримую позицию: в письме в “Таймс” он предположил, что если перед каждым составом пускать вагон с “непокорными” бурами, то, возможно, их товарищи и передумают взрывать поезда.)

Чем дальше, тем больше увеличивались расходы и росли потери, газеты, особенно иностранные, все более резко писали о методах Китченера и ужасах концентрационных лагерей. Британцев обвиняли в зверствах, изнасилованиях и пытках. Нация наконец усомнилась в своей правоте и стала все больше прислушиваться к тем, кто выступал против войны. У.Т. Стед, редактор “Ревью оф ревьюз”, писал: “День и ночь британцы творят ад на земле Южной Африки, и мы знаем, что каждый вечер заходящее солнце освещает все более страшные картины разрушения, оставленные войсками, идущими под королевским флагом”. Стед был исключительно влиятельной фигурой, одним из ведущих журналистов-правозащитников своего времени, который прославился в 1885 году, когда в “Пэлл-Мэлл газетт” вышла серия его статей о детской проституции и торговле женщинами.

Конан Дойл был возмущен антивоенной позицией Стеда и писал матери: “Он клевещет на наших солдат самым бесчестным образом”. Дойл не сомневался, что обвинения Стеда лживы: “Он говорит, например, что число женщин, изнасилованных нашими солдатами, не поддается счету. Так вот, за всю кампанию не было ни одного изнасилования. В противном случае насильника пристрелили бы на месте, о чем отлично знают и буры, и британцы”. В другом письме он настаивает, что поведение британских войск “было замечательным, поразительно достойным”.

Но Дойл был в меньшинстве, которое к тому же все сокращалось. Видные политики, включая Ллойд Джорджа, вошли в комитет “Остановим войну!”, многие ирландские националисты симпатизировали бурам, видя в них еще один народ, притесняемый британским империализмом. Избранный от Карнарвона либерал (будущий премьер-министр) Ллойд Джордж в своей парламентской речи цитировал письмо британского офицера из Южной Африки: “Мы идем от одной долине к другой, угоняем скот, грабим и жжем, оставляя за собой плачущих женщин и детей на руинах, которые когда-то были их прекрасными фермами”.

В январе 1902 года бурский генерал Я.Х. Смэтс, ставший в дальнейшем премьер-министром Южно-Африканского Союза, опубликовал доклад, обвинявший Китченера в “невероятно варварской жестокости, попрании всех международных правил ведения современной войны… Базовый принцип лорда Китченера — победить любой ценой, но не в сражениях против вооруженных войск, а перекладывая бремя войны на беззащитных женщин и детей”.

Конан Дойла очень тревожило растущее недовольство этой войной, и он решил сам защитить своих соотечественников. “По какой-то причине, будь то высокомерие или безразличие, но британцы очень вяло отстаивают свои позиции перед миром. Ввиду того что наши политики и солдаты регулярно подвергаются нападкам и клевете, наш долг — защитить честь нации, изложив миру все факты”. Подстегиваемый патриотизмом и негодованием, он утверждал, что всего за девять дней (9–17 января 1902) написал более 60 000 слов — брошюру “Причины и ход войны в Южной Африке”, однако в реальности на эту работу у него ушел месяц. То был прямой призыв к общественному мнению, издание продавали в Англии за шесть пенсов, а в Европе оно распространялось бесплатно, благодаря фонду, организованному газетой “Таймс”. Дойл называл брюшюру “вторжением в дипломатию” и писал матери: “Как видите, ваш сын в одиночку пытается изменить общественное мнение”.

Дойл последовательно опровергал все обвинения против Британии. Он доказывал несостоятельность обвинений против солдат в жестокости, изнасилованиях и грабежах, но ему было очень нелегко доказать, что концлагеря были просто лагерями беженцев, созданными, чтобы лишенное крова мирное население нашло там укрытие, и что лучше им было жить в этих лагерях, чем погибать от голода и болезней под открытым небом. Он признал, что смертность там была высока, однако утверждал, что причиной явились болезни, а не дурное обращение; настаивал, что если бы не “природный инстинкт”, из-за которого женщины цеплялись за своих детей, вместо того чтобы поместить их в карантин, то смертность была бы куда ниже; напрочь отрицал, что британцы использовали пули, запрещенные международным правом. (Впоследствии ему пришлось признать, что он ошибался.) Он обвинял буров, что это они совершенно игнорировали “принятые правила ведения войны”, и удивлялся, что, учитывая их подлую тактику, пытки и массовые казни, британцы не вели себя в ответ так же жестоко.

Противники войны сочли, что это уж слишком. Джон М. Робертсон, член “Этического общества”, уверенный, что Британия вела несправедливую войну, выпустил памфлет “Буры сражаются за свободу”, где прямо обвинил Конан Дойла в ложном толковании фактов, назвал его “дилетантом” и “опасным человеком”, чье мнение базируется на доказательствах, “пригодных в комической оперетте”. Брошюру Дойла он советовал “без лишних слов выкинуть в мусорный ящик”, а его историю войны назвал “самым бесполезным, легковесным и вводящим в заблуждение описанием важного международного события, какое только было опубликовано в наше время”.

Несмотря на это, “Причины и ход войны в Южной Африке” были в общем и целом приняты хорошо: 300 000 экземпляров разошлись в Британии за несколько месяцев, и, что более важно, переводы ее на иностранные языки помогли сгладить мнение за рубежом. Дойл отослал свою книгу бурским офицерам, интернированным в лагеря на острове Святой Елены и на Кипре. “Тон континентальной прессы изменился довольно быстро и довольно явно. Возможно, это было совпадение, но все равно приятное. Однако же в том, что касается ведущих изданий, говорить о совпадении нельзя — все они цитировали факты и аргументы, изложенные в моей брошюре, так что именно она изменила антибританские настроения”.

На улице Дойла останавливали солдаты и штатские, чтобы пожать ему руку. Король Эдуард VII, большой поклонник Шерлока Холмса, пригласил Конан Дойла на обед и усадил подле себя. Доходы от продажи брошюры пошли, в частности, на создание благотворительного фонда для военных, голодающим в Индии и на нужды бедствующих буров. Дойл считал, что во многом это заслуга Джин: именно она отговорила его от запланированной поездки в Индию, благодаря чему он сумел написать “Войну в Южной Африке” — работу, которую в письме к матери он назвал самым главным общественным трудом своей жизни.

Бурская война закончилась в мае 1902 года, когда последние ополченцы, оставшись без еды, одежды, боеприпасов и надежд, вынуждены были сдаться. Итоги войны устрашали: 75 000 погибших, из них примерно треть гражданских, умерших в концентрационных лагерях; у британцев 22 000, многие скончались от болезней; более 120 000 мужчин, женщин и детей насильно заключены в лагеря; 30 000 фермерских хозяйств и 40 небольших городков разрушены. Шесть дней спустя после того, как было подписано соглашение об окончании войны, лорд Китченер стал виконтом Ваальским, Трансваальским и Аспальским.

Тем летом Конан Дойл узнал, что в знак признательности за его неофициальную роль главного военного пропагандиста его решено пожаловать в рыцари. К большому неудовольствию матери Дойл решил, что принять этого не может, ибо какие могут быть “награды” за бескорыстную службу своему народу? Да и вообще, рыцарский титул — “радость провинциального майора”. Мнение Туи, судя по письму к Мэри, вообще роли не играло:

“Уверяю вас, даже если Джин, Лотти и вы — три человека, которых я люблю больше всего на свете, — встанете передо мной на колени, я все равно не смогу этого сделать”. Но настойчивая по обыкновению Мэри не желала смириться с тем, что заслуги ее обожаемого сына не получат всеобщего признания. Она убедила Дойла, что отказываться нельзя — это лично оскорбит короля.

Коронация Эдуарда VII состоялась 9 августа 1902 года в Вестминстерском аббатстве. А 24 октября Артур Конан Дойл за заслуги перед Короной получил рыцарское звание и был назначен заместителем лорд-лейтенанта в Суррее. “Мой дорогой, — писал он Иннесу, — это рыцарство кажется забавным, но все было так устроено, что я не мог от него отказаться. Они к тому же сделали меня заместителем лорд-лейтенанта в Суррее. Я чувствую себя как новобрачная, которая еще не привыкла к своему новому имени…”

Матери он сообщил, что в новой форме похож на обезьянку, удравшую от шарманщика. Туи, пишет он, “бодра и весела”, а после предлагает матери приехать и пожить с ним в отеле в Норфолке. “Мы могли бы чудесно провести время вместе и поговорить обо всем… а если к нам на недельку приедет гостья, то это никому не помешает”.

Глава 14

Возвращение Холмса

В “ПОДЛЕСЬЕ” ДОЙЛ ВЕЛ СЕБЯ КАК ЗАБОТЛИВЫЙ муж, но пользовался малейшей возможностью, чтобы повидаться с Джин. Ничего постыдного он в этом не усматривал. “Меня утомили тяжелые нагрузки последнего года, — признавался он матери, — и кроме того, моя душа все время вынуждена разрываться пополам. Я очень внимателен дома и уверен, что ни разу не проявил небрежения или равнодушия. Но положение сложное, не правда ли? Милая Дж. образец здравого смысла и благоразумия в этом вопросе. Менее эгоистичного и более ласкового человека просто быть не может”.

Кое-кто мог бы сказать, что эта фраза в большей мере относится к больной Туи, основную часть времени проводящей в постели и почти наверняка знающей, что муж страстно увлечен другой, молодой женщиной.

Несомненно, тяжело приходилось всем троим. Туи притворялась, что ничего не знает, Конан Дойл притворялся, что ничего и не происходит, Джин Лекки притворялась, что она всего лишь друг семьи. Дома Дойл все чаще взрывался по мелочам, дети раздражали его, и обоих вскоре отправили учиться в пансион. Он мучительно переживал из-за Джин и даже высказался в том духе, что для нее, возможно, было бы лучше найти молодого человека, не связанного никакими обязательствами, но Джин и слышать об этом не желала: подождем, говорила она. Но за ее внешним спокойствием скрывалась неприглядная правда — они оба знали, чего ждут. Они ждали, когда Туи умрет.

Несмотря на душевную сумятицу, Дойл продолжал работать и в марте 1901 года написал Гринхоу-Смиту в “Стрэнд”, что у него имеется отличная, “наводящая ужас” история: “Там полно неожиданных поворотов, и она хорошо делится на части, так что можно печатать с продолжением. Но есть одно условие. Я делаю это вместе со своим другом Флетчером Робинсоном, и его имя должно стоять рядом с моим. Сюжет целиком разработан мной, все в моем стиле, без воды, как любят ваши читатели. Но он подал мне основную идею, помог изучить местный колорит, так что я полагаю, его имя должно фигурировать. Я бы хотел получить свои обычные 50 фунтов за тысячу слов в обмен на авторские права, если вы готовы иметь с этим дело”.

Гринхоу-Смит всегда был только счастлив “иметь дело” с Конан Дойлом, хотя, возможно, у него и были некоторые сомнения насчет соавторства.

С молодым журналистом Бертрамом Флетчером Робинсоном, которого друзья звали просто Бобблз, Дойл познакомился на борту “Британа”, возвращаясь из Южной Африки. Затем они встретились в начале марта в гостинице в Кромере, на северном побережье Норфолка, где проходил небольшой турнир по гольфу. Очевидно, именно тогда Робинсон впервые рассказал Дойлу народные предания своего родного Девона, которые слышал еще в детстве. Была среди них история о “Черной собаке из Дартмура”, призрачной гончей с горящими красными глазами, преследовавшей по ночам в пустынных торфяниках одинокие кареты. И о таинственном Девере, егере, державшем в страхе всю округу, чья свора охотилась за душами некрещеных младенцев.

Воображение Дойла немедленно заработало. В письме к матери он упомянул, что хочет написать “небольшую книжку” со своим другом Робинсоном. Уже даже есть название, “Собака Баскервилей”, и вскоре он предложит эту “леденящую душу” историю Гринхоу-Смиту.

Шерлокианцы до сих пор спорят о “родословной” собаки Баскервилей. В британском фольклоре дьявольских псов с избытком. В Йоркшире — жуткий пес-привидение с гигантскими зубами и когтями, появление которого предвещает смерть. В Уэльсе — Пес Тьмы по имени Гвиллги, мастиф со смертоносным дыханием и красными пылающими глазами. На острове Мэн проживает Маути Дуг — адская гончая. А на острове Джерси — Тчико, Черный пес смерти размером с теленка. В графстве Суффолк в городке Блитбург в 1557 году Черный пес ворвался в церковь прямо во время службы и произвел там всякие разрушения, а убегая, задел косяк, на котором по сей день виден обгорелый след.

Словом, у Дойла было множество источников для вдохновения. Несомненно, Робинсон мог подать ему идею обратиться к фольклору, хотя неизвестно, правда ли, что он действительно слышал эти предания в детстве: по словам Гринхоу-Смита, Робинсон признался ему, что просто прочел их в путеводителе по Уэльсу. Некоторые утверждают, что рассказ Дойла

основан на легенде о порочном сквайре Ричарде Кэбелле из Бакфастли, который продал душу дьяволу. Его утащили в преисподнюю черные псы, изрыгающие пламя, а потом рыскали по болотам графства Девоншир и жутко выли по ночам. В некоторых версиях Кэбелл, точнее, его призрак, был в их компании.

У самого Дойла уже была намечена похожая сюжетная линия в рассказе “Лисий король”, опубликованном в журнале “Виндзор” в 1898 году. Молодой джентльмен с тяжкого похмелья отправляется на охоту. Накануне доктор нарочно припугнул его, что если он не бросит пить, то возможны галлюцинации и бред, вплоть до белой горячки. Оторвавшись на своей быстроногой кобыле от остальных охотников, он один догоняет свору, идущую по лисьему следу, и глазам его предстает чудовищный лисий король, размером с осла, с гигантскими когтями и клыками и горящими глазами. Впоследствии выясняется, что это был сибирский волк, сбежавший из зверинца. Но больше джентльмен не берет в рот ни капли.

Впрочем, что бы ни послужило толчком к созданию “Собаки Баскервилей”, а Дойл с Робинсоном отправились изучать место действия. Они колесили по безлюдным пустошам Дартмура, исследовали открытое всем ветрам плоскогорье в Девоне, проезжая за день до четырнадцати миль. Робинсон пригласил Дойла в свой дом в Иплпене, на краю пустоши, чтобы “прочувствовать атмосферу”. Они видели руины, предположительно построек каменного века, посетили и Фоксторскую трясину, обманчиво безобидную, но очень опасную, которая в повести превратилась в Гримпенскую, где каждый неверный шаг сулил “смерть человеку или животному”.

Робинсон наслаждался обществом Дойла: “Неделя в Дартмуре, что я провел там с Дойлом, была одна из лучших в моей жизни. Дикие просторы болот и меловые скалы Девоншира… пробуждали его воображение. Он охотно слушал мои рассказы о собаках-привидениях, всадниках без головы и демонах, таившихся в мрачных расселинах, — легенды, на которых я вырос, ведь мое детство прошло рядом с пустошами”.

Кучер Робинсона, по имени Гарри Баскервиль, вспоминал, как оба джентльмена “писали и обсуждали” что-то допоздна в бильярдной. Впрочем, сомнительно, что Робинсон внес большой вклад в разработку интриги — предыдущие попытки Дойла работать с кем-либо на пару заканчивались полным провалом. Тем не менее он по-прежнему относился к новой книге как к “нашей”, о чем 2 апреля 1901 писал матери из отеля “Роувз Датчи” в Принстоне: “Мы с Робинсоном исследуем пустоши для нашей книги о Шерлоке Холмсе. Думаю, выйдет превосходно, по правде сказать, половину я уже сделал. Холмс в ударе, к тому же идея потрясающая — ею я обязан Робинсону”.

“Собака Баскервилей”, безусловно, самая популярная из историй о Холмсе — одних ее экранизаций не меньше восемнадцати. А ведь поначалу Холмса там не было. И только осознав, что нужен крепкий центральный персонаж, чтобы сюжетные нити сплелись воедино, Дойл решил воскресить Холмса и потому отнес события к 1889 году, то есть до его трагической гибели в Рейхенбахском водопаде.

Сыграли роль и коммерческие соображения: Дойл отлично понимал, что появление Холмса сильно обрадует и “Стрэнд”, и читателей, а посему, нимало не смущаясь, написал Гринхоу-Смиту, что гонорар надо удвоить: “Сколько я могу судить, воскрешение Холмса обеспечит огромный успех… Предположим, я предоставлю руководству возможность выбирать — либо без Холмса по той цене, что я назвал изначально, либо с ним, но вдвое дороже — что они выберут?” В “Стрэнде” без колебаний выбрали второе, и на ежегодном общем собрании издатель Джордж Ньюнес с удовольствием сообщил, что усилия, предпринимавшиеся редакцией несколько лет, наконец увенчались успехом: “Нам удалось оживить нашего покойного друга Шерлока Холмса”.

В вопросе денег Дойл был более чем осмотрителен. “Собака Баскервилей” сделала его одним из самых высокооплачиваемых авторов в мире, за каждый выпуск он получал от 480 до 620 фунтов. Отсылая Гринхоу-Смиту четвертую и пятую части, он предупредил, что повесть выходит больше, чем оговоренные 50 000 слов, но что отказываться от оплаты за дополнительный объем он “пожалуй, не станет”.

Поскольку он по-прежнему писал от руки, а не печатал на машинке, возникли некоторые проблемы: у него не было копий уже отправленных в редакцию глав. “Трудно удерживать в памяти все нити”, — писал он Гринхоу-Смиту и просил выслать копии.

Первая часть захватывающего повествования появилась в августовском номере “Стрэнда” за 1901 год. Слух о том, что великий детектив воскрес, распространился загодя, и в день выхода журнала у редакции выстроилась огромная очередь. К радости Гринхоу-Смита, продажи

немедленно возросли на 30 000 экземпляров. Это был единственный случай за десять лет, когда пришлось допечатывать седьмую часть тиража, чтобы удовлетворить спрос. В Америке были проданы 50 000 номеров за первые десять дней.

Что до Робинсона, то славы ему досталось меньше, чем предполагалось поначалу. В журнальном варианте внизу на первой странице была сноска: “Эта книга обязана появлением моему другу м-ру Флетчеру Робинсону, помогшему мне как с ее идеей, так и с местными реалиями”. Когда повесть вышла отдельным изданием в апреле 1902 года, Робинсону было адресовано искреннее посвящение: “Дорогой Робинсон, это ваша заслуга, что легенда Западной Англии легла в основу моей книги. За это, как и за помощь, которую вы оказали мне в ее разработке, примите мою благодарность”. Но постепенно участие Робинсона забывалось: когда книга вышла в Штатах, Конан Дойл выразил признательность другу лишь за то, что “он подал идею”, а затем, в сборнике рассказов о Холмсе, просто упомянул, что “фраза друга натолкнула его на мысль”, но присовокупил, что “сюжет и каждое слово в повести принадлежат мне”. Впрочем, и так очевидно: никто, кроме Артура Конан Дойла, не смог бы написать “Собаку Баскервилей”.

Начинается все традиционно, на Бейкер-стрит приходит посетитель. Он просит Холмса расследовать гибель сэра Чарльза Баскервиля и рассказывает о проклятии рода Баскервилей. Описав обстоятельства, при которых было найдено тело сэра Чарльза, посетитель добавляет, что заметил вокруг него странные следы:

“— Мужские или женские?

Доктор Мортимер как-то странно посмотрел на нас и ответил почти шепотом:

— Мистер Холмс, это были отпечатки лап огромной собаки!”

Сразу несколько критиков хором заявили, что “Собака Баскервилей” — лучший детективный роман на свете. Его хвалили за все: за сюжет, за персонажей, за атмосферу заброшенных пустошей, которую удалось так блестяще воссоздать, за мастерство рассказчика. “Это была собака, огромная, черная как смоль. Но такой собаки еще никто из нас, смертных, не видывал. Из ее отверстой пасти вырывалось пламя, глаза метали искры, по морде и загривку переливался мерцающий огонь. Ни в чьем воспаленном мозгу не могло бы возникнуть видение более страшное, более омерзительное, чем это адское существо, выскочившее на нас из тумана”.

Впрочем, сам автор не слишком высоко оценил повесть и говорил матери, что она вышла хуже, чем ему бы хотелось.

В апреле 1902 года Конан Дойл навестил сестру Иду. Она жила в итальянском городке Гайола с мужем Нельсоном Фоли, который работал судостроителем в Неаполе. Поженились они в декабре 1895 года. Нельсон был кузеном Мэри Дойл, и это был его второй брак, первая жена умерла.

Дойл решил отправиться в Неаполь морем, и на сей раз Джин поднялась на борт, чтобы попрощаться с ним. “Это было вполне безопасно, — писал он матери, — вокруг суета, толпа народа, никто никого не знает, все чем-то заняты. Она украсила мою каюту цветами и поцеловала подушку с обеих сторон. Потом я увидел ее уже на причале, она пыталась скрыть, что плачет. Я пишу вам об этом, мама, потому что вы чутки и проницательны, вы понимаете, как много значат такие мелочи”. Он стремился убедить мать, как глубоко любит Джин, возможно чтобы заглушить чувство вины.

Супруги Фоли жили на вилле рядом с холмом Позилипо, из дома открывался поразительный вид на Неаполитанский залив и Везувий. Дойлу нравилась Италия, к тому же там он был весьма уважаем и популярен: несколько лет назад король Умберто I наградил его орденом Короны Италии — вероятно, по рекомендации премьер-министра Франческо Криспи, большого поклонника Шерлока Холмса. В Италии Дойл много путешествовал, побывал на Сицилии и в Венеции, затем отправился на озера, на север страны, а оттуда через Швейцарию домой.

Он не отказывал себе в развлечениях, например записался на курсы “развития мускулов” к Юджину Сэндоу, прусскому цирковому борцу, знаменитому атлету и основоположнику бодибилдинга. Кроме того, регулярно играл в крикет.

В Италии Дойл начал новый сборник о приключениях бригадира Жерара. Три рассказа появились в “Стрэнде” к концу года, еще пять — в 1903-м. Он очень внимательно относился к

иллюстрациям и сетовал в письме к Гринхоу-Смиту, что из-за экономии “рассказ за 200 фунтов был испорчен неуместными гравюрами по 3 гинеи”. Особенно его возмутило, что последнему рассказу была предпослана картинка, убивавшая интригу: “Вся суть была в том, чтобы потрясти читателя — Наполеон лежит бездыханный в ключевой момент истории. И что же — публикуют иллюстрацию, которая просто выбивает у рассказчика почву из-под ног”.

В ноябре 1902 года Иннес после четырех лет службы за границей вернулся домой из Южной Африки. На вокзале Ватерлоо его встречали мать, брат и сестра Конни, откуда все отправились домой. На перроне в Хаслмире городской оркестр исполнил “Дом, милый дом”, а затем они поехали в Хайндхед. Там вместо лошадей в экипаж впряглись человек сорок добровольцев, которые и покатили его в “Подлесье”, сопровождаемые факельщиками и духовым оркестром из деревушки Грейшот. В гостинице “Ройал Хат”, напротив усадьбы, всем были предложены бесплатная выпивка и угощение. Местная газета писала, что “дом и сад были освещены китайскими фонариками и украшены флажками”. Друзья и члены семьи приветствовали Иннеса на крыльце, но вечер выдался промозглый, и потому Туи пришлось остаться в доме. Приглашать Джин Лекки на это семейное торжество Дойл не стал.

Весной 1903 года Конан Дойл обзавелся игрушкой, которая, как он надеялся, “придаст его жизни новый интерес”, — автомобилем. Он приобрел его в Бирмингеме в недавно открывшейся компании “Вулзли”: пятиместный, десять лошадиных сил, салон в темно-синей коже, колеса красные. Джин поехала вместе с ним в Бирмингем, чтобы выбрать модель.

Дойл отправил своего кучера Холдена на трехнедельные курсы вождения, но при этом вовсе не собирался сажать его за руль. Облачившись в кепку и защитные очки, он сам вел машину 140 миль от Бирмингема до Хайндхеда, и почти всю дорогу ее яростно облаивали изумленные собаки. Небольшая толпа собралась у ворот “Подлесья”, посмотреть на триумфальный въезд.

Но, несмотря на успешное пробное путешествие, Дойлу понадобилось время, чтобы освоить премудрости вождения. Демонстрируя матери возможности машины, он так лихо повернул, что до полусмерти напугал двух лошадей, которые везли репу. Первая лошадь в панике заметалась и ринулась прочь по склону холма, опрокинув свою повозку на вторую лошадь. Все смешалось — повозки, лошади и репа. Дойл выскочил из машины, чтобы помочь разъяренному фермеру, а когда обернулся, увидел: автомобиль потихоньку въезжает в свалку, а Мэри невозмутимо сидит на заднем сиденье и вяжет.

Некоторое время спустя, возвращаясь с Иннесом с гольфа, Дойл задел стойку ворот, автомобиль потерял управление, проехал по травянистому откосу, перевернулся и прижал обоих к земле. Высокий руль принял удар на себя и, несомненно, спас им жизнь. Иннес сумел быстро выбраться наружу, но тут рулевая стойка подломилась, и Дойла придавило уже так, что он едва мог вздохнуть. К счастью, несколько прохожих уже бежали им на помощь, и общими усилиями водителя извлекли из-под машины — в синяках и царапинах, но без особых повреждений. В тот день Иннес сделал лаконичную запись в дневнике: “Гольф в Хэнкли. Перевернулись на автомобиле — спаслись чудом. А. и я — оба были под ним”.

Все эти происшествия, равно как и бесчисленные поломки, нисколько не смутили Дойла. 15 апреля 1905 года он участвовал в гонках в Хайндхеде, которые выиграл, проехав две мили полторы тысячи ярдов (чуть больше четырех с половиной километров) за 9 минут 56 секунд, и, похоже, после этого возомнил себя настоящим гонщиком. Во всяком случае, “Гемпшир телеграф” писала, что мировой судья Фолкстона (графство Кент) приговорил сэра Артура Конан Дойла к уплате 10 фунтов штрафа за превышение скорости: он мчался по Черитон-роуд со скоростью 26 миль в час. Незадолго до того аналогичный приговор был вынесен ему в Гилфорде (графство Суррей).

Впрочем, Дойл был не только нарушителем порядка, но и защитником отечества, а потому позже призывал всех автовладельцев быть готовыми к мобилизации в случае войны: “Мое предложение таково: тысяча автомобилистов — а число это, я полагаю, скоро возрастет втрое или даже вчетверо — должны объединиться и дать клятву, что при первом же известии о нападении они будут готовы немедленно посадить в свои машины вооруженных стрелков-добровольцев, живущих по соседству, и доставить их с недельным запасом еды, вооружением и амуницией к месту боевых действий…”

Были у Дойла помимо автомобиля и другие способы развлечься. В 1902 году он в качестве пассажира совершил полет на воздушном шаре, который поднялся от лондонского Хрустального дворца на высоту 6500 футов (то есть почти два километра) и через час сорок пять минут благополучно приземлился на поле неподалеку от Севеноукса, пролетев около 25

миль.

В интервью журналу “Виктория клаб” в 1903-м он признался, что “ужасно боялся во время первого полета. Поначалу все было замечательно, зрители кричат, восторги и прочее. Но когда мы за несколько минут поднялись примерно на милю и я посмотрел за борт — в жизни не испытывал такого ужаса!

Видеть, как внизу суетятся люди размером не больше собачонки, и понимать, что от бездны тебя отделяет только что-то вроде корзины для клубники, — бр-р-р! Я очень не скоро решился отпустить стропы. Но постепенно пообвык и успокоился, как оно, думаю, и бывает со всеми”.

Потом он говорил, что мечтает прыгнуть с парашютом, просто “ради потрясающего ощущения”. И добавлял: первый прыгнувший с парашютом — “самый отважный человек в мире”.

А вот мотоцикл появился у Дойла благодаря журналу, который так и назывался “Мотоцикл”. “Не могу уехать из “Подлесья”, не задав вопрос о моем старом друге Шерлоке Холмсе, — заявил репортер. — Позвольте узнать, когда нам ожидать очередного великолепного расследования, которое знаменитый сыщик и его верный друг Ватсон совершат, передвигаясь на новейшем, великолепнейшем мотоцикле?” — “Никогда, — незамедлительно отрезал Дойл. — Во времена “раннего Холмса” о мотоциклах никто еще и помыслить не мог. Кроме того, Холмс отошел от дел”.

Но это было не так. Бешеный успех “Собаки Баскервилей” с новой силой возродил любовь публики к Холмсу, и публика эта, а вместе с ней и издатели в Лондоне и в Нью-Йорке настойчиво требовали новых рассказов. В 1903 году агент Дойла А.П. Уатт написал ему, что журнал “Коллиере уикли” в США предлагает поистине феноменальный гонорар за новый цикл: 25 000 долларов за шесть рассказов, 30 000 — за восемь, 45 000 — за тринадцать. И это только за права в Америке: Джордж Ньюнес был готов платить по 100 фунтов за тысячу слов и права в Британии. Это было целое состояние — 100 фунтов 1903 года равняются примерно 7000 фунтов сегодня, а 45 000 тех долларов — это 500 000 нынешних.

Трудно было отказаться от таких денег, и Дойл отправил Уатту почтовую открытку: “Очень хорошо. А.К. Дойл”. “Я не писал рассказов о Шерлоке Холмсе лет восемь, — объяснял он матери, — и не вижу, почему бы не вернуться к ним теперь, чтобы заработать втрое больше, чем за любой иной труд”.

Сложность заключалась в том, что Холмс был мертв. Дойлу не хотелось относить действие нового цикла в прошлое, а потому он разработал план — остроумный, хотя и не слишком убедительный. В рассказе “Пустой дом”, первом из тринадцати в сборнике “Возвращение Шерлока Холмса”, Ватсон, явившийся к дому, где произошло убийство Рональда Адэра, ненароком задевает плечом престарелого согбенного букиниста. Тот роняет стопку книг, и доктор с извинениями помогает ему их собрать. В ответ старикан что-то сердито бурчит себе под нос и поспешно удаляется. Ватсон возвращается домой, и почти сразу же служанка сообщает, что пришел посетитель. К изумлению Ватсона, им оказывается тот самый букинист. Старик предлагает доктору приобрести пяток редких изданий, “чтобы заполнить просвет на средней полке”. На секунду Ватсон оборачивается к книжным стеллажам, а повернувшись к посетителю обнаруживает перед собой… разумеется, Холмса. Воскресший покойник, весело улыбаясь, смотрит на остолбеневшего друга. Тут Ватсону стало дурно, и он “потерял сознание — в первый и, надеюсь, последний раз в моей жизни”.

Очнувшемуся доктору Холмс преподносит связное, но малоправдоподобное объяснение того, как ему удалось выжить. Оказывается, в Рейхенбахский водопад упал только профессор Мориарти — Холмс умудрился победить его с помощью японской борьбы баритсу, приемы которой “не раз сослужили мне хорошую службу”. На самом деле ни один японец о ней и не слыхивал, ибо такой борьбы не существует. Вероятно, Дойл имел в виду систему самообороны, разработанную Эдвардом Уильямом Бартон-Райтом. Три года тот прожил в Японии, а вернувшись в 1898 году, заявил, что создал систему самообороны на основе техник целого ряда лучших единоборств. Кроме джиу-джитсу и дзюдо туда вошли приемы британского бокса, оборонительного боя на тростях, придуманного швейцарцем Пьером Виньи, и другое. Свою систему Бартон всячески рекламировал в разных изданиях, например в “Журнале Пирсона”, подписчиком которого был Дойл.

Итак, когда Мориарти с воплем рухнул в пропасть, Холмс немедленно сообразил, что будет очень удобно, если и его тоже сочтут мертвым — ведь тогда он сможет не опасаться преследования сообщников Мориарти. Он затаится на время, выследит этих негодяев, а уж

потом вновь объявится среди живых. Лишь один человек был посвящен в тайну Холмса, его брат Майкрофт, который помогал ему в это время деньгами. Покончить с сообщниками Мориарти Холмсу не удалось, но зато он провел три насыщенных, плодотворных года, путешествуя по миру. Он побывал на Тибете, посетил далай-ламу в Лхасе, затем отправился в Персию и Мекку и “побывал с коротким, но интересным визитом у калифа в Хартуме”, после чего несколько месяцев провел на юге Франции, в Монпелье, и наконец вернулся в Англию, чтобы расследовать загадочное убийство сэра Рональда Адэра, которое несомненно связано с его, Холмса, заклятыми врагами, с приспешниками Мориарти. Многое тут было шито белыми нитками, но читателей это не волновало. Главное — Шерлок Холмс вернулся!

Весной 1903 года и в “Стрэнде”, и в “Коллиере уикли” был напечатан анонс: “Читатели хорошо помнят то время, когда Шерлок Холмс впервые предстал перед публикой. Вскоре он сделался так знаменит, что теперь имя его известно всему миру. Весть о смерти Шерлока Холмса мы восприняли с той печалью, с какой узнаем об утрате лучшего друга. К счастью, несмотря на свидетельства очевидцев, это сообщение оказалось ошибочным. Как ему удалось выжить в схватке с Мориарти у Рейхенбахского водопада, почему он скрывался от всех, включая и своего друга доктора Ватсона, как он вернулся и что предшествовало этому замечательному возвращению — читайте в первом рассказе нового сборника…”

“Пустой дом” вышел в октябрьском номере “Стрэнда” за 1903 год. Очереди в магазинах, библиотеках и у газетных киосков можно сравнить разве что с ажиотажем новогодних распродаж. Дойлу потоком хлынули письма на имя Шерлока Холмса, а кроме того, он получал бесчисленные посылки: с табаком, трубками и струнами для скрипки.

За год были напечатаны двенадцать рассказов. Последний из них, “Второе пятно”, вышел в декабре 1904-го. Действие всех происходит с 1894 по 1898 год, поскольку Дойл не хотел, чтобы Холмс пользовался техническими новинками — телефоном, автомобилем или трамваем. Что до Ватсона, то он перебрался обратно в холостяцкую квартирку на Бейкер-стрит, ибо жена его скоропостижно скончалась.

Теперь, свободный от денежной зависимости, Дойл хотел сделать каждый рассказ по-настоящему замечательным, но тут обнаружилось, что ему не хватает сюжетов. Он даже написал Гринхоу-Смиту, что “испытывает непреодолимое желание остановиться”, что истории “получаются довольно однообразными, в них нет новизны”, а потому надо бы ограничиться восемью рассказами.

Он искал сюжеты повсюду, даже на страницах “Стрэнда”. Например, прием, которым воспользовался преступник из “Случая в интернате”, он почерпнул из раздела “Это любопытно” майского номера за 1903 год: там были описаны старинные уловки конокрадов, и в частности фальшивые подковы. А на идею “Пляшущих человечков” Дойла натолкнул мальчишка, сын хозяина отеля “Хилл-хаус” в Норфолке, который рисовал забавные фигурки людей. Впрочем, тут сыграл роль и знаменитый “Золотой жук” Э.А. По, где герой расшифровывает криптограмму точь-в-точь тем же способом, что и у Дойла. Как бы то ни было, ни один из тринадцати рассказов нового сборника читателей не разочаровал, хотя в них, как и в предыдущих, полно несообразностей и фактических ошибок.

Туи жила в “Подлесье” и мужественно боролась с недугом. Дойл писал матери, что она “чувствует себя очень хорошо, весела, счастлива и ничуть не утратила интереса к жизни”. Возвращаясь после отлучек — это время он нередко проводил с Джин, — Дойл неизменно привозил жене цветы и подарки. Как-то раз преподнес ей браслет с бриллиантами, приложив к нему записку: “Пусть он сияет у тебя на запястье, дорогая моя, а сама ты озарила светом всю мою жизнь”. Туи была теперь слишком слаба для развлечений, разве что в хорошую погоду могла прокатиться по округе в экипаже. Но в мае 1904-го все-таки выбралась в Лондон, где сходила с сестрой в театр. Их сопровождал Иннес, приехавший в очередной отпуск из Южной Африки. После спектакля он пригласил своих спутниц в ресторан.

В дневнике Иннес пишет, что ездил с “А.” в Шерингем, на северное побережье Норфолка, где к ним присоединился “кое-кто из семейства Лекки”. Каждую поездку Дойл старательно продумывал, устраивая так, чтобы жена не знала, сколько билетов на поезд и мест в отеле он заказывает. В 1904 году он ездил на крикетный матч в Лемингтон — Джин, конечно, тоже была там — и приглашал мать присоединиться к нему: “Не вижу причин, почему я должен кому-либо говорить, что вы там будете, я просто-напросто еду играть в крикет”.

В тот приезд Иннеса в отпуск Мэри собрала вместе всю семью, всех своих детей и внуков. Лотти с мужем Лесли Олдхемом вернулись из Индии, а Ида и Нельсон Фоли как раз приехали

из Италии. Фотограф запечатлел всех на снимке. В центре — Туи, рядом сидит ее свекровь — в кружевном воротнике она более всего похожа на королеву Викторию. По правую руку от Туи седобородый Нельсон Фоли, левее его жена Ида с младенцем на коленях. Позади выстроились остальные, мужчины все как один с усами. Иннес, Оскар Хорнунг, Конни и Вилли Хорнунг, двенадцатилетний Кингсли. Мэри, которой уже пятнадцать лет, рядом с отцом. Конан Дойл сдержанно, без улыбки смотрит в объектив.

Трудно вообразить, глядя на улыбающуюся Туи, что она больна или несчастна. Между тем из семейной переписки той поры ясно, что Джин Лекки прочно вошла в их жизнь. С ней регулярно общаются сестры Конан Дойла, в особенности Лотти. Уже в 1899 году она выражает надежду, что “в следующую нашу встречу вы будете звать меня Лотти… Терпеть не могу, когда люди, которых я люблю, зовут меня мисс Дойл”. А в 1904-м она подробно описывает Джин Рождество: Артур был “душой компании”, и они веселились все вместе.

В апреле 1905 года Конан Дойл съездил в Эдинбург, чтобы получить почетную степень доктора философии в своей альма-матер. Ее вручал профессор Людовик Грант, декан юридического факультета, произнесший хвалебную речь, в которой превозносил заслуги Дойла и как новелиста, и как историка.

В то лето Дойл начал работать над новым историческим романом “Сэр Найджел”, в каком-то смысле повторением “Белого отряда”, который он по-прежнему считал своей лучшей вещью. В романе юный сэр Найджел изучает геральдику под руководством бабушки, леди Эрминтруды, а затем отправляется во Францию навстречу захватывающим приключениям. И хотя в романе немало ярких, живых эпизодов — рыцарских поединков, драк в тавернах, вызволения девиц, попавших в беду, — он все же, как и “Белый отряд”, перегружен длиннотами — описаниями нравов и обычаев тех времен.

В октябре Дойл завершил “Сэра Найджела” и остался доволен. “Я вложил в него все, чем владею, до последней капли — исторические изыскания, фантазию, пыл и талант, — писал он Гринхоу-Смиту. — Я покорил самые высокие вершины, какие только смог”. Уильям Тейлор, редактор издательской компании “Санди мегэзинз”, заплатил за права в США 25 000 долларов. Он надеялся, что совокупный тираж девяти его изданий возрастет благодаря “Сэру Найджелу” до 1 250 000 экземпляров. Тейлор прислал Дойлу образцы рекламных и промоутерских текстов и присовокупил к ним заискивающее письмо: “Мы уверены, что “Сэр Найджел” — величайший исторический роман… Надеюсь, вы останетесь довольны тем, как мы преподносим его читателям, довольны настолько, что любезно отдадите нашему скромному издательству и вашу следующую работу, когда она будет готова к публикации”.

И вновь, к величайшему неудовольствию Дойла, критика расценила его роман как “отличное занимательное чтение для мальчиков”, а не как “высокое литературное достижение”, каковым он сам его считал. Вот типичный отзыв, из журнала “Букмен”: “Ничего нового в этой книге нет, подобные романы уже выходили и прежде, хотя очень немногим авторам удавалось написать их с таким вкусом и настроением, как Конан Дойлу. После психологических миазмов в ибсеновском духе, коими полна современная литература, роман Конан Дойла воспринимается как глоток свежего воздуха. Мы рады встретиться с чистосердечными, прямыми героями, честно и весело сражающимися за правое дело… Короче сказать, “Сэр Найджел” — лучшая книга года для юношества”.

Несмотря на то что роман имел успех — Киплинг написал Дойлу, что “проглотил его залпом”, — автор не мог скрыть досады и разочарования. “Он не получил особенного признания ни у критиков, ни у читателей, — писал он мрачно, — чем я, должен сознаться, был сильно расстроен. В Англии с подозрением относятся к разносторонности. Можно писать баллады, а можно оперы, — но разве можно их сочетать, владеть разными музыкальными жанрами с равным успехом? Нет, скажут вам, ни в коем случае”.

В конце 1905 года Дойл опять оказался вовлечен в политику. В сентябре 1903 года Джозеф Чемберлен начал продвигать идею торгового протекционизма. Только так, утверждал он, страна сможет противостоять все возраставшему могуществу США, Германии и России. Он полагал, что введение протекционистских пошлин на ввозимые товары увеличит доходы Британии, в частности за счет имперских преференций (то есть более низких пошлин для стран, входящих в состав империи). Посягательство на свободу торговли вызвало раскол в Консервативной партии, и в результате либералы выиграли на всеобщих выборах в 1906 году. Что до Конан Дойла, то в целом он разделял взгляды Чемберлена и несколько раз выступал с лекциями на эту тему, а также писал речи для участников кампании в защиту реформы.

Именно Чемберлен убедил сомневающегося Дойла, что ему надо вновь баллотироваться в парламент, и он сделался кандидатом юнионистов от трех так называемых “пограничных городов” Шотландии — Хоика, Галашилса и Селкерка, где было много текстильных мануфактур и которые сильно страдали от немецкой конкуренции.

Таким образом, Дойл предпринял последнюю попытку заняться политикой. В отличие от первого раза он уже не был преисполнен энтузиазма, но вел кампанию добросовестно, хотя и с некоторой прохладцей. Довольно скоро он на личном опыте убедился, что выборы — грязное занятие, а шотландцы обладают “врожденным консерватизмом” и изрядным упрямством: “они скорее сменят веру, чем изменят привычному кандидату, отчего всякий, кто предлагает им какое-либо нововведение, ощущает себя здесь глупо и неуместно”.

Противник от Либеральной партии почти не появлялся на встречах с избирателями, посылая вместо себя ассистентов, так что основным развлечением публики стал Дойл. “До начала встречи зал обычно уже был забит до отказа, его оглашали громкие крики и призывы, а в ответ звучали не менее громкие протесты и вопли противников, так что казалось, подходишь к зоопарку в час кормежки. Заслышав этот рев, я нередко падал духом и спрашивал себя: какого дьявола я тут нахожусь? На трибуне, однако, во мне вскипала бойцовская кровь, и никакие нападки уже не могли меня устрашить”.

Местная газета опубликовала красочный отчет о том, как сорок минут кряду Дойл парировал выкрики с мест во время шумного сборища в Галашилсе:

— Кандидат согласен на избирательное право для женщин?

— Нет, не согласен.

Возгласы “Ах, ох, эх!”

— А кандидат скажет нам почему?

Веселье в зале.

— Разумеется. Когда мужчина приходит домой с работы, он, я думаю, не слишком жаждет встретить политика подле своего очага.

Одобрительные крики, шиканье, общий шум.

Во время избирательной кампании приехал Иннес посмотреть, как у брата идут дела. Он был потрясен реакцией аудитории на его выступления и сказал: “Было бы забавно, Артур, окажись твоим истинным призванием не литература, а политика”. Не раздумывая Дойл ответил ему: “Ни то ни другое. Им станет религия”. Оба расхохотались явной абсурдности такого предположения, однако впоследствии Конан Дойл усматривал глубокий смысл в этом мимолетном разговоре, расценивая его как пример того, что нами управляет Провидение, хотя мы этого и не осознаем.

Конан Дойл искренне разделял многое в реформе Чемберлена и надеялся убедить ткачей, что пошлины на импорт как нельзя лучше отвечают их интересам, ссылаясь при этом на опыт Ирландии, страдавшей от произвола и несправедливости свободного рынка: “В Ирландии были мануфактуры, а британские законы погубили их. Было в Ирландии и сельское хозяйство, и снова британский закон о свободе торговли позволил продукции со всего мира хлынуть на тамошний рынок и заполонить его… Разве вы не видите тех преимуществ, которые появятся, если все наши доминионы, вне зависимости от географии, сплотятся так же тесно, как американские штаты?” Нет, они не видели. И потому Дойл ничуть не удивился и не расстроился, когда 17 января 1906 года проиграл Томасу Шоу, своему сопернику от Либеральной партии. Тот набрал 3133 голоса, а Дойл 2444. Больше он никогда уже не рассматривал возможность политической карьеры. Он получил немало писем, где люди выражали сожаление, что он не прошел в парламент, и среди них было письмо от дамы, пожелавшей утешить его довольно остроумным соображением: “Если бы женщины обладали правом голоса, я не сомневаюсь, вы победили бы с огромным перевесом”.

В марте в лондонском Королевском театре состоялась премьера спектакля о похождениях бригадира Жерара. Дойл предлагал пьесу чуть ли не всем импресарио в Лондоне, но без

малейшего успеха. Позже он вспоминал, что был уверен: “Бригадир Жерар” — отличная пьеса, а они были так же твердо уверены в обратном”.

В итоге ее рискнул поставить Льюис Уоллер, актер и театральный режиссер, блистательно сыгравший Генриха V, Бокэра и д’Артаньяна. Ему показалось, что роль бригадира может быть выигрышной, и он согласился продюсировать постановку. Успеха она не имела. Один критик назвал пьесу “на редкость бесхитростной”, а другой “совершенно неубедительной и невнятной”. Отзывы были так плохи, что Мэри даже написала сыну письмо, чтобы слегка его приободрить: “Не тревожь свою душу, дорогой, не думай об этих критиках… они и не удосужились заглянуть в книгу и прочесть про твоего чудного бригадира. Боюсь к тому же, что многих, пусть они этого и не осознают, раздражают твои успехи”.

Весной 1906 года состояние Туи резко ухудшилось. Туберкулез поразил горло, и говорить она могла только шепотом, но все же, по воспоминаниям детей, оставалась спокойной и приветливой. “Все та же мягкая, легкая улыбка, — пишет ее дочь Мэри, — и ни слова жалобы. Единственной ее заботой было наше благополучие, она беспрестанно нас подбадривала, уговаривала сходить в гости, заверяла, что с ней все в порядке, и занималась рукоделием, в чем была превосходной мастерицей”.

Вспоминала Мэри и о том, как незадолго до смерти мать, лежа в постели, тихим шепотом говорила ей, что не стоит мужу слишком тосковать по покойной жене и что в конечном счете главное — счастье их отца. Она не хотела, чтобы дочь была удивлена или шокирована, если отец снова женится, более того, благословляла его на это. Именно в тот раз Туи сообщила потрясенной Мэри, что ее мачехой почти наверняка станет Джин Лекки. Ошарашенная Мэри тогда никому об этом не сказала. Ей было всего семнадцать, и она не поняла, что мать уже давно знает о романе мужа с Джин. Никогда, даже намеком, она не выдала ему, что ей все известно. А его заботу всегда принимала с нежной благодарностью. Когда он поправлял ей подушки или помогал усесться поудобнее, ласково говорила: “Спасибо, дорогой” или “Чудесно”.

Двадцать девятого мая Туи чувствовала себя неплохо и даже нашла в себе силы выбраться вместе с Иннесом в Лондон на представление “Бригадира Жерара”. После этого она уже не покидала дом. Начиная с июня Дойл слал Иннесу коротенькие бюллетени о ее состоянии: “Т. держится молодцом”, “Туи лучше”, “Пила чай сидя. Надеюсь на лучшее”. 30 июня он прочитал ей письмо из Неаполя, где говорилось о свадьбе Клер Фоли, родной дочери Нельсона, приходившейся Иде падчерицей. Туи, казалось, понимала, о чем идет речь, но ночью Дойл написал Иннесу: “Мой дорогой мальчик, возможно, счет идет на недели, возможно, на дни, но теперь уже ясно, что конец неизбежен… Она не испытывает телесных страданий или душевных мук, воспринимая все с обычным трогательным самообладанием”.

Мэри и Кингсли забрали из школы, чтобы они были с матерью. “Когда настал горестный час прощания, — писала потом Мэри, — отец сидел у ее постели, и слезы текли по его суровому лицу, а ее маленькая белая ручка утонула в его огромной ладони. Я наклонилась поцеловать ее, она прошептала: “Позаботься о Кингсли”, и вскоре ее прекрасная душа отлетела прочь”.

Туи скончалась в три часа ночи 4 июля, рядом были муж и любимая сестра. Ей было сорок девять лет. После похорон Дойл написал матери: “Я старался не причинить ей ни секунды страданий, дать все внимание и заботу, какие были ей необходимы. Уцалось ли мне это? Думаю, да. Видит Бог, я надеюсь, что это так”.

В автобиографии он упоминает о ее смерти в нескольких коротких фразах.

Глава 15

Конан Дойл в роли Холмса

В БОЛЬШИНСТВЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЙ КОНАН Дойла говорится, что после смерти Туи он пребывал в депрессии, горевал и мучился угрызениями совести за то, что полюбил другую; что из-за рецидива кишечной болезни, подхваченной в Южной Африке, он не мог ни есть, ни спать, ни работать, а лишь ходил на могилу покойной жены или печально слонялся по “Подлесью” и окрестностям.

Однако, судя по дневнику Иннеса, дело обстояло несколько иначе.

В начале августа, когда не прошло и месяца со дня смерти Туи, Дойл перебрался в гостиницу “Эшдаун Форест” в городок Форест-Роу, куда незадолго до того переехало семейство Лекки. 10 августа Иннес навестил брата, и в тот вечер они ужинали у Лекки. Джин, вероятно, тоже присутствовала.

Примерно через месяц Дойл с четырнадцатилетним Кингсли уже был в Шотландии — у мальчика вскоре начинались занятия в Итоне. Они жили в отеле “Роксбург”, в Данбаре, и туда Иннес тоже приезжал в гости. Затем Конан Дойла пригласил на недельку погостить лорд Бальфур (премьер-министр Великобритании в 1902–1905 годах), который устраивал вечер в своем родовом поместье в Уиттингеме, в шестидесяти милях от Данбара. На Дойла очень глубокое впечатление произвела вечерняя воскресная служба. Помимо членов семьи и гостей там был весь штат прислуги — служанки, работники, всего около двадцати человек. Лорд Бальфур прочел молебен. “Так хорошо было, что простой люд и государственный муж смиренно возносили общую молитву, прося отпустить им грехи и забывая все земные различия перед лицом того, кто превыше всего”.

Это было неожиданно: Дойл не жаловал традиционную религию. Буквально за несколько дней до этого он как раз написал в “Дейли экспресс” заметку, вызвавшую немалое возмущение в обществе: “…любой ритуал, включая и традицию посещать большое каменное строение, дабы причаститься Святых Тайн, не имеет никакого отношения к истинной вере”. Дойл отзывался о Бальфуре как о любезном хозяине и отличном собеседнике, который “смеялся от души при малейшей возможности, а о себе говорил открыто и сдержанно. После долгого уединения я был говорлив более, чем обычно, но он сносил это с добродушным юмором”.

Мэри вспоминает, что они с отцом совершали длительные прогулки в “Подлесье”, когда она приезжала на каникулы из школы. Он охотно излагал ей свои взгляды на жизнь, и зачастую ее удивляла его решительность. Он не разделял всеобщего убеждения, что женщина должна непременно, любой ценой выйти замуж, поскольку был уверен, что лучше остаться старой девой, чем связать жизнь с дурным человеком. А вот в том, что собой представляет истинный джентльмен, его воззрения мало расходились с традиционными. Тут, говорил он, есть три верных признака: рыцарское отношение к женщине, учтивость с теми, кто ниже тебя в обществе, и неукоснительная точность в возврате долга.

В октябре Дойл играл в гольф в Хайндхеде с Иннесом, Флетчером Робинсоном, своим секретарем Альфредом Вудом (в дружеском обиходе — Вуди) и племянником Вуда Шолто. На другой день, 21 октября, Иннес с братом поехали на машине в Годалминг, где училась Мэри, чтобы вместе попить чаю. Так что “долгое уединение”, пожалуй, не самое верное определение для его жизни в тот период.

Ничего предосудительного в том, что этот достойный человек не убивался от горя, нет. Жена его была тяжел о больна не один год, и он, напротив, мог бы поставить себе в заслугу, что она столько лет прожила, окруженная его неизменными заботами: “В конце концов, мы не сдавали крепость целых тринадцать лет, в то время как специалисты в один голос заверяли, что удержать ее невозможно”. Но он любил другую, и, разумеется, ему не раз приходило в голову, что смерть жены дает возможность соединиться с возлюбленной. Да и Джин Лекки, которая ждала так долго и так терпеливо, нельзя упрекнуть в том, что смерть Туи вызвала у нее не только печаль, но и облегчение.

Но каково бы ни было состояние Дойла, впадал ли он в апатию и тоску или нет, энергия вернулась к нему в ноябре, когда он получил письмо от Джорджа Эдалджи, молодого юриста, пытающегося оправдать свое честное имя после того, как его посадили в тюрьму по обвинению в жестоком обращении с пони.

Надо сказать, Дойлу часто писали с разных концов света, в основном полицейские, столкнувшиеся с неразрешимыми проблемами. Его просили дать совет, или восстановить справедливость, или найти пропавшего человека, и порой сулили немалые деньги. Он неоднократно публично заявлял, что не обладает дедуктивными талантами своего героя, а на письма отвечал, что детектив из него примерно такой же, как лучник XIV века или кавалерист наполеоновской армии.

Но дело Эдалджи отличалось от прочих. Первый, но не последний раз в жизни Конан Дойл использовал свое влияние, чтобы организовать общенациональную кампанию и доказать невиновность человека, используя при этом методы Шерлока Холмса. “Честная игра” — таков был девиз Дойла не только в спорте, но и в жизни. Он не задумываясь вставал на сторону слабого, так что для него было очень характерно заступиться за Эдалджи и ввязаться в долгую битву с чиновниками в надежде ему помочь.

Преподобный Шапурджи Эдалджи, перс, принявший христианство, был викарием в церкви Святого Марка в Грейт-Уайрли, шахтерском поселке неподалеку от Бирмингема. В Британию он приехал из Бомбея, чтобы окончить курсы будущих миссионеров, но в результате остался в Англии, поскольку вышел указ, согласно которому только европейцы могли распространять веру Христову за пределами континента.

Он занимал различные временные церковные должности, пока в Ливерпуле не встретил Шарлотту Стоунхем, младшую дочь священника из Кетли. Ее дядя, викарий церкви Святого Марка, был тяжело болен и собирался уйти на покой, а в качестве “свадебного подарка” отдал Эдалджи свой приход. У Шарпуджи с Шарлоттой было трое детей. Старший, застенчивый, одинокий парнишка по имени Джордж родился в 1876 году.

В замкнутом, изолированном мирке Грейт-Уайрли “темный” викарий был совершенно немыслим: было твердо установлено, что священный долг белого человека — нести “темному” свет истинной веры, а вовсе не наоборот. Некоторые прихожане не понимали, как азиат мог стать священником в христианском храме, и с трудом заставляли себя пожать ему руку после службы. Семья подвергалась оскорблениям, в школе над детьми насмехались, и это усугубило природную замкнутость Джорджа.

Хотя в газетах нередко восхваляли проповеди Эдалджи, преподобный не сумел завоевать симпатий своей паствы: помимо прочего он был резким, порой бесцеремонным и, не желая приноравливаться к местным нравам, требовал неукоснительного соблюдения заповедей.

В 1888 году, когда Джорджу было двенадцать, его отец стал получать письма с угрозами. Он игнорировал их, но тон писем становился все более злобным, и в одном даже угрожали застрелить их семнадцатилетнюю служанку Элизабет Фостер, “когда “черного” не будет дома”. Им разбивали стекла, а на стенах появлялись надписи: “Эдалджи — мерзкие грешники”. В результате священник обратился в полицию, та сличила почерки, которым были написаны письма, с почерком всех обитателей дома и пришла к выводу, что автором была Элизабет Фостер. А угрозы в свой адрес она делала… чтобы запутать следы. Фостер категорически отрицала свою вину, но по совету адвоката все же на суде признала ее (в январе 1889 года) — это уменьшало сумму штрафа. Но и после того Элизабет заявляла, что невиновна, а кроме того, клялась, что однажды отомстит Эдалджи: преподобный был вынужден уволить девушку.

Спустя четыре года, в 1892-м, угрожающие письма хлынули потоком. Они приходили десятками, и во всех, написанных тремя явно разными почерками, содержались отвратительные, полные ненависти оскорбления. Многие, казалось, были написаны религиозным фанатиком, бессвязно поминавшим Всевышнего, и Князя Тьмы: “Я жажду, да-да, жажду, гореть… в пламени адского огня, который никогда, никогда, никогда не погаснет… о, Господь знает, почему я богохульствую…” Джордж был объектом особенной злобы: “Богом клянусь, я убью Джорджа Эдалджи, скоро убью. Об одном только я мечтаю в этой жизни — месть, месть, сладкая месть, а потом буду счастлив в аду…”

Вскоре дело это попало к начальнику полиции Стаффорда, достопочтенному Джорджу Энсону, второму сыну графа Личфилда. Почти сразу у него возникла стойкая неприязнь к семье Эдалджи, основанная исключительно на расовом предубеждении: как это, вопрошал он, “индус, который и говорит-то с акцентом, сумел получить приход в англиканской церкви и наставляет паству?”

Когда на крыльце викария стали находить свертки с экскрементами, полиция согласилась взять дом под наблюдение. 12 декабря 1892 года полицейский обнаружил у двери черного входа большой ключ, украденный, как потом выяснилось, из школы в Уолсоле. Джордж стал

главным подозреваемым. Энсон повел себя точь-в-точь как бестолковый инспектор Лестрейд из рассказов о Холмсе. Он написал преподобному Эдалджи, что его сыну следует во всем признаться, а под конец добавил: “Должен сразу предупредить, что не поверю никаким заявлениям вашего сына, будто ему ничего не известно об этом ключе”.

Между тем травля семейства Эдалджи приобрела широкий размах. В местных газетах поместили заявления якобы от лица Джорджа и еще одного мальчика, где они публично извинялись за свои анонимные письма: “Мы, нижеподписавшиеся Дж. Е.Т. Эдалджи и А. Брукес, оба принадлежащие к приходу Грейт-Уайрли, сим заявляем, что являемся единственными авторами известных анонимных писем с угрозами, полученных разными людьми за последний год”.

Едва газеты напечатали опровержения, как появились новые объявления, где викарий предлагал у себя в доме комнаты внаем, а также услуги доступных дам. Семью заваливали товарами, которые они не заказывали: энциклопедиями, живыми гусями, телегами с углем, ящиками шампанского, банками краски, мебелью, лекарствами, одеждой и музыкальными инструментами. Священник из Эссекса получил почтовую открытку за подписью “Ш. Эдалджи”: “Если вы немедленно не пришлете телеграмму с извинениями за возмутительные намеки, что позволили себе в проповедях, обвиняя меня в греховности, я разоблачу вас, рассказав всем и о супружеской измене, и об изнасиловании”. Из Стаффорда приехал портной, чтобы снять с младшей сестренки Джорджа Мод мерку для свадебного платья. Следом явился гробовщик — забрать тело. Была нанята женщина-детектив якобы от лица миссис Эдалджи, чтобы провести расследование на предмет неверности ее мужа.

Как позднее заметил Конан Дойл, мистификаторы проявили незаурядную изобретательность и находчивость, “так что все это могло бы показаться комичным, не приведи такая травля к трагедии”.

Три года кряду семья прожила в этом кошмаре, а полиция бездействовала. Отношения между преподобным Эдалджи и Энсоиом становились все хуже, ибо стало ясно, что начальник полиции все еще считает юного Джорджа преступником, несмотря на заявления его отца о том, что мальчик нередко сидел с ним в гостиной, когда под дверь подсовывали послания с угрозами. В одном из них говорилось, что преподобный — “исчадие ада”, чья “мерзкая плоть все еще топчет землю”.

В декабре 1895 года письма, неожиданные посылки, мерзкие провокации — все вдруг разом закончилось, и жизнь семьи вернулась в относительно нормальное русло. Джордж поступил в юридический колледж в Бирмингеме, успешно закончил его и поступил в контору бирмингемского стряпчего служащим, получающим в качестве оплаты возможность обучаться профессии. В 1898 году он сдал выпускной экзамен, был награжден бронзовой медалью, и Бирмингемское юридическое общество присвоило ему степень юриста второго класса. После этого он открыл небольшую контору в Бирмингеме, откуда каждый день ездил домой в Грейт-Уайрли.

Четыре года спустя у Джорджа Эдалджи возникли денежные затруднения, во многом в результате его наивности и излишней доверчивости. Он поручился за приятеля, Джона Уильяма Филлипса, такого же, как и он, юриста, обвиненного в том, что незаконно присвоил себе деньги клиентов. Но Филлипс скрылся от правосудия, и, чтобы оплатить долг, Эдалджи сначала занял деньги под огромные проценты, а затем пустился в спекуляции на фондовой бирже.

Дабы избежать банкротства, которое поставило бы крест на его карьере, Джордж обратился с письмами о помощи к разным влиятельным лицам в округе, что ему больно аукнулось, когда пришлось доказывать безупречность своей репутации.

В 1904 году, с февраля по август, в окрестностях Грейт-Уайрли произошла серия загадочных преступлений: кто-то безжалостно калечил скот и лошадей. Были изувечены шестнадцать животных — каким-то острым инструментом им вспарывали животы. А в полицию стали приходить письма, подписанные вымышленным именем, в которых говорилось, что орудует некая банда, и среди имен злоумышленников называли “законника Эдалджи”. Власти забили тревогу, когда получили письмо с угрозой “заняться маленькими девочками” и “сделать с двадцатью девчонками то же, что и с лошадьми, не позднее марта”.

Когда 18 августа неподалеку от дома викария нашли мертвого пони со вспоротым брюхом, полицейские явились произвести досмотр вещей Джорджа. Они нашли футляр с четырьмя бритвенными лезвиями, перепачканные грязью ботинки и влажный плащ (накануне всю ночь шел сильный дождь), а на плаще, как они утверждали, — лошадиные волоски. Преподобный

клялся, что сын никуда не выходил той ночью — они спали в одной комнате, — но на стражей порядка это не произвело ни малейшего впечатления. В тот же день Джордж Эдалджи был арестован в Бирмингеме и взят под стражу.

Арест “проклятого” сына “черного” викария вызвал настоящий взрыв расизма. Озлобленная толпа неизменно собиралась у дверей суда, когда Эдалджи возили на предварительные слушания. Репортер из местной газеты “Дейли Бирмингем”, описывая Эдалджи на суде, не скрывал своих откровенно расистских взглядов: “Ему 28 лет, но выглядит он моложе. Одет в помятый черный костюм с белым воротничком и мало чем походит на типичного юриста — смуглолицый, с яркими темными глазами, выпяченными губами и маленьким круглым подбородком. С характерной для азиатов невозмутимостью, без всяких эмоций, кроме разве легкой усмешки, выслушал он вопиющие факты, изложенные обвинением”.

Его вина была доказана небрежно, и все пустились в различные догадки — зачем, собственно, Эдалджи резал скот и лошадей. Репортер вулверхемптонской “Экспресс энд стар” подытожил: “В местных пабах мне довелось слышать самые разные и самые удивительные версии того, зачем Эдалджи калечил по ночам лошадей, а наиболее распространенная такая: он приносил их в жертву своим жутким богам”.

Доктор Баттер, полицейский врач, подтвердил, что на плаще, изъятом из дома викария, им были обнаружены двадцать девять коротких бурых волосков, которые он исследовал под микроскопом и сравнил с шерстью зарезанного пони. Они оказались идентичными. Но воистину убийственными стали показания графолога Томаса Генри Гуррина, заявившего, что именно Джордж Эдалджи писал письма в полицию.

В заключительной речи обвинитель упомянул об отсутствии мотива, но предположил, что обвиняемый жаждал славы, пусть и дурной, и надеялся самоутвердиться, обманув полицию и доказав всем свое превосходство. Суду понадобилось всего сорок минут, чтобы вынести приговор: семь лет каторжных работ.

А спустя немного времени в Уайрли вновь искалечили лошадь, и в полицию пришло очередное анонимное письмо. Разумно было бы властям усомниться в виновности Эдалджи, но ничуть не бывало: решили, что его сообщники действуют теперь сами, в отсутствие главаря.

И все же в обществе нарастало недоверие и возмущение. Мысль, что смирный, законопослушный адвокат, сын священника, был предводителем шайки преступников, которые неизвестно зачем режут по ночам скот, многим казалась абсурдной. Делом занялся журнал “Труф”, а сэр Джордж Льюис, выдающийся специалист по уголовному праву, публично заявил, что обвинение совершенно несостоятельно. Преподобный Эдалджи опубликовал убедительный, тщательно аргументированный отчет, где доказывал невиновность сына. В министерство внутренних дел поступила петиция за десятью тысячами подписей, с требованием пересмотреть дело, однако без всякого успеха.

И вдруг в октябре 1906 года, после трех лет заключения, Эдалджи без всяких объяснений был выпущен на свободу. При этом он не был амнистирован, а это означало, что он не мог заниматься юридической деятельностью, а равно не имел права на компенсацию ущерба. Он был освобожден из-под стражи, но оставался осужденным и находился под надзором полиции.

В надежде вернуть себе доброе имя хотя бы ради возможности работать, Эдалджи, который в заключении стал большим поклонником Шерлока Холмса, обратился к его создателю за помощью.

Дойл прочитал его письмо, а также бесчисленные газетные статьи. Чем больше он читал, тем больший гнев его охватывал. С его точки зрения, вопрос был предельно ясен: если Эдалджи виновен, то он должен отсидеть положенный срок, если нет, то его обязаны реабилитировать и заплатить компенсацию. Исходя из того, что он прочитал, Дойл был склонен думать, что Эдалджи невиновен, но, чтобы составить окончательное мнение, решил познакомиться с молодым индусом. Он продиктовал ответ Эдалджи, предлагая встретиться в вестибюле “Гранд-отеля” на Чаринг-Кросс.

В этот раз Дойл немного опоздал, что вообще было ему совершенно несвойственно. Он сразу приметил темнокожего юношу, который читал в кресле вечернюю газету, и уже направился к нему, чтобы извиниться, как кое-что привлекло его внимание, и он остановился понаблюдать. Эдалджи читал, буквально уткнувшись носом в газету, и держал ее чуть под углом. Несомненно, он был очень близорук. На вопрос Дойла, фигурировал ли этот факт на суде, Эдалджи смущенно ответил, что его защитник не счел нужным вызывать в качестве свидетеля окулиста: ведь обвинение было таким шатким, что они не сомневались, что его и так оправдают.

На свои деньги Дойл отправил Эдалджи на прием к Кеннету Скотту, одному из лучших глазных врачей Лондона. В тот момент он уже был почти уверен, что бедняга стал жертвой грубейшей судебной ошибки. “Я понял, — пишет он в своих воспоминаниях, — что на моих глазах разворачивается чудовищная трагедия, и я должен сделать все, чтобы ее исправить”. Заключение окулиста подтвердило его догадку: у Эдалджи была сильная близорукость, восемь диоптрий. Изучая судебные документы, Конан Дойл обнаружил, что главный свидетель обвинения графолог Гуррин однажды уже отправил в тюрьму невиновного человека.

Кроме того, Дойл захотел осмотреть место преступления и связался с Энсоном, упомянув при этом, что собирается написать статью для “Дейли телеграф”. Начальник полиции, польщенный вниманием знаменитого писателя и уверенный в своей правоте, предложил полное содействие и даже пригласил Дойла остановиться у него. Интересно, сказал он при этом, как Шерлок Холмс справится с реальным делом. (Это замечание ужасно разозлило Дойла.)

Третьего января 1907 года Конан Дойл приехал в Грейт-Уайрли. Он пообщался с преподобным Эдалджи и от его дома направился туда, где был найден мертвый пони. Дорога шла по неровной, ухабистой местности, к тому же надо было пересечь два широких железнодорожных полотна, окаймленные густой живой изгородью. Дойл был совершенно убежден, что близорукому Эдалджи было бы не под силу совершить такое путешествие ночью, да еще под дождем. Земля в тех местах была желтовато-красная, а грязь, обнаруженная на ботинках Эдалджи, — грязно-бурая. Кроме того, чтобы нанести пони смертельный удар, надо было подобраться к нему почти вплотную и не испугать, а у Эдалджи не было никакого опыта в обращении с лошадьми, да и вообще с животными.

Пообщавшись с некоторыми местными жителями, Дойл наконец решил нанести визит и господину Энсону. Тот сразу же выложил ему все сплетни и порочащие слухи о семье Эдалджи и о самом Джордже: это необходимая информация, пояснил он, чтобы Конан Дойл составил себе верное представление. А то ведь некоторые пытаются теперь представить его порядочным законопослушным стряпчим, в то время как на деле он бесчестный человек, игрок, погрязший в долгах. К примеру, он обвинял полицейских в том, что те украли у него из конторы две стофунтовые банкноты, но потом его видели в Бирмингеме, когда он разменивал эти самые банкноты в банке. Да, и письма с угрозами тоже писал он, а отец его лгал под присягой, что сын невиновен. Зрение ему в тюрьме проверили, и ничего особенно страшного не нашли, уж до места преступления он, поверьте, добрался без труда. (Конан Дойл не стал упоминать о медицинском заключении К. Скотта.) И наконец, Энсон нанес последний удар — у этого грязного дела еще более грязная сексуальная подоплека: сын спал с отцом.

Дойл был потрясен. Теперь он был более чем убежден, что Эдалджи невиновен, а в основе дела лежит расовая ненависть. “Глубочайшее негодование, — писал он, — подвигшее меня заниматься этим делом, вызывала полная беззащитность этих несчастных, одиноких людей: темнокожего священника, странного и не понятого в этой должности, его отважной седой голубоглазой жены и юной дочери, которых травили жестокие хамы. А полиция, которой, безусловно, следовало бы встать на их защиту, с самого начала обращалась с ними оскорбительно и обвиняла вопреки всякому здравому смыслу”.

Вернувшись в Лондон, Дойл, следуя своему принципу “честной игры”, написал Энсону, что его статья неминуемо поставит полицию Стаффорда в сложное положение, и выбраться из него с честью будет тяжело. Но “долг обязывает” его довести расследование до конца. Он сослался на заключение Скотта и заметил, что, потрудись Энсон сам проделать путь от дома викария до места преступления, он не стал бы утверждать, будто это легко. Дойл категорически не согласился с тем, что Эдалджи лгуны, и отчитал Энсона за намеки относительно сексуальных отношений отца и сына, которые спят в одной комнате. Ничего подозрительного он в этом не видел и предостерег Энсона, что “если такого рода донесения поступят в министерство внутренних дел, то Эдалджи сумеют доказать, насколько беспочвенно это обвинение. Мое участие им обеспечено”. Энсон на это публично обозвал Конан Дойла “абсолютно беспринципным, бессовестным человеком, полным болваном и мошенником”.

Одиннадцатого января “Дейли телеграф” опубликовала первую часть статьи Конан Дойла “Дело м-ра Джорджа Эдалджи”. “Надеюсь, — писал автор, — что изложенная мною история возбудит такую бурю чувств у жителей нашей страны, что власти пересмотрят это дело”. Он подробно излагал факты, писал факты, писал о вопиющей несправедливости полиции и судебных чиновников и требовал оправдательного приговора. Он подчеркнул, что только расовая нетерпимость лежала в основе предвзятого отношения к семье Эдалджи, и говорил, что если ее еще хоть как-то можно понять у необразованных сельских жителей, то куда сложнее — у начальника полиции, чья откровенно предвзятая позиция сыграла решающую роль в деле.

“Я изучил множество документов и проверил массу фактов — и реальных, и крайне сомнительных. Я был максимально беспристрастен, и единственный вывод, к которому пришел… заключается в том, что Джордж Эдалджи никогда, ни напрямую, ни косвенно, не имел какого-либо отношения к анонимным письмам. Что касается “следов Эдалджи”, якобы обнаруженных рядом с убитым пони, то они были сняты уже после того, как все поле вокруг было истоптано полицейскими и местными зеваками, с отпечатка, похожего на отпечатки ботинок Эдалджи. Их признали идентичными, между тем как принадлежать они могли кому угодно. Зато тот факт, что на одежде Эдалджи обнаружили лишь два крошечных пятнышка крови, никого не смутил. А ведь тот, кто взрезал пони живот — не забудем, в ночной темноте, — наверняка был бы измазан кровью с ног до головы. Что до волосков, найденных на плаще обвиняемого, то объяснить их нетрудно: плащ был отправлен в качестве улики в одном свертке с образцом шкуры бедного пони.

Эти ошибки смешны до идиотизма, но смеяться тут нечему, учитывая трагический исход дела. Я думаю, что на всем свете не сыскать человека, менее склонного и менее способного совершить такое преступление”.

Дойл отзывается об Эдалджи как о “безукоризненном” человеке, ссылается на его школьного учителя, уверявшего, что мальчик “он был мягкий, сговорчивый”. По свидетельству бирмингемского адвоката, у которого работал юноша, тот ни разу не выказал ни малейшей склонности к жестокости. И наконец, он настолько плохо видел, что с шести ярдов не узнавал знакомых. Кроме того, и письма, и убийства животных явно были делом рук какого-то безумца, а Эдалджи “никоим образом нельзя назвать даже эксцентричным. И его доводы в свою защиту на суде говорят о разумной, взвешенной позиции. А ведь он столько перенес, что и умом повредиться было нетрудно”.

Дойл сравнивал дело Эдалджи со знаменитым делом Дрейфуса: молодого офицера французского Генштаба, капитана Альфреда Дрейфуса обвинили в шпионаже в пользу Германии (1894), разжаловали и сослали на Чертов остров во Французской Гвиане. В январе 1898 года в газете “Аврора” появилось письмо знаменитого французского писателя Эмиля Золя под заголовком “Я обвиняю”, в котором он решительно заявлял: дело сфабриковано, а Дрейфус невиновен. Резонанс был огромный, Франция буквально разделилась на два лагеря, за и против Дрейфуса. Бесконечные судебные разбирательства тянулись вплоть до 1906 года, когда Дрейфуса оправдали (до того, в 1903 году, президент объявил о его помиловании), вернули ему все чины и регалии и даже наградили орденом Почетного легиона.

Сходство и впрямь было разительным: в обоих случаях фигурировал инородец (Дрейфус был евреем), и там, и там власти вели себя вопиюще предвзято, с легкостью игнорируя очевидные просчеты и ошибки обвинения, вплоть до подлога улик. В обеих странах на защиту невиновного встал известный писатель.

Дойл подчеркивал, что Дрейфуса сделали козлом отпущения именно потому, что он был евреем, а Эдалджи — индусом. А ведь Англия так возмущалась несправедливостью по отношению к Дрейфусу!

Все судебные средства исправить ошибку были исчерпаны. “Перед нашим носом просто захлопнули дверь, — писал Дойл в заключение. — И теперь мы обращаемся к последнему суду, который никогда не ошибается, если ему представлены честные факты. Этот суд — народ Британии, и мы спрашиваем его: можно ли оставить это дело, или надо бороться дальше?”

За один день дело Эдалджи превратилось в общенациональный скандал. В “Дейли телеграф” хлынули письма возмущенных читателей в защиту Эдалджи. Историю подхватили и многие другие газеты, в том числе зарубежные. Разумеется, все отмечали, что Конан Дойл превратился в настоящего Шерлока Холмса. А обозреватель “Дейли кроникл” так и вовсе написал, что Холмс наконец взялся за реальное дело: “Благодаря тому, что он [Конан Дойл] создал необычайно сильного, живого героя, читатели инстинктивно принимают автора за его творение, не делая между ними отличий, а потому многие думают, что расследование провел великий Шерлок”. В “Подлесье” приходили мешки писем с поздравлениями. Впрочем, были и гневные отклики, в которых Эдалджи называли “закадычным дружком” Дойла, а также “проклятой собакой, исчадием ада”.

Четырнадцатого января Джордж Мередит поздравил Конан Дойла с “величайшей услугой, оказанной обществу”. “Не стану упоминать имени, которое вам уже надоело слышать, но создатель потрясающего сыщика-любителя доказал, с каким профессионализмом сам может действовать в жизни…” Дж. Барри также выражал полную поддержку: “Не сомневаюсь, что Эдалджи был приговорен без малейших к тому оснований”.

Шум, поднятый в прессе, и общественная реакция вынудили власти начать хоть что-то делать. Англия была, вероятно, единственной цивилизованной страной в мире, где не существовало уголовного апелляционного суда, и потому министр внутренних дел Герберт Гладстон создал комитет по расследованию этого дела. К несчастью, одним из троих ее членов стал сэр Альберт де Рутцен, двоюродный брат Энсона.

Дойлу стали приходить письма с угрозами, написанные той же рукой, что и письма, которые прежде получали Эдалджи. “Я знаю от детектива из Скотленд-Ярда, что если вы напишете Гладстону и скажете, что Эдалджи все-таки виновен, то в следующем году вас сделают лордом. Уж верно лучше стать лордом, чем потерять своих деток и печенку. Подумайте обо всех жутких убийствах, вы-то как сможете ускользнуть?” И дальше: “… Они зря выпустили его тюрьмы, где самое место ему, и его отцу, и всем черным и желтым жидам…” Это не поколебало решимости Конан Дойла довести дело до конца, напротив, теперь он решил, что необходимо найти истинного преступника и добиться полного оправдания Эдалджи.

Однажды школьный учитель из Грейт-Уайрли написал Дойлу, что бывший преподаватель школы в Уолсоле стал жертвой очень похожих грязных анонимок. Их ничем не подкрепленные обвинения в итоге сделали его пребывание в школе непереносимым, и он уволился. Автор письма не мог этого доказать, но предполагал, что анонимки писал некто Ройден Шарп, закоренелый хулиган. Среди его дел, послуживших причиной исключения из школы, была и подделка документов.

И тогда Дойл обратился в частное сыскное агентство. Выяснилось, что Шарп одно время работал подручным у мясника, но страстно мечтал уйти в море. И он устроился-таки на корабль, отплывший из Ливерпуля в 1895 году, — как раз тогда семья Эдалджи перестала получать анонимки и все “розыгрыши” прекратились. Шарп вернулся из плавания в 1902 году под Рождество, а вскоре была искалечена первая лошадь. Мало того, весь 1902 год он плавал на судне, перевозившем скот. Уилфред Грейторекс, назначенный опекуном Шарпа в 1893 году, когда тот остался без отца, засвидетельствовал, что Шарп показывал им с женой ланцет, которым лошадям пускают кровь. Исходя из характера увечий, Дойл с самого начала думал, что именно таким инструментом пользовался преступник: он взрезал шкуру и мышцы, но кишки оставлял нетронутыми. Миссис Грейторекс заявила, что Шарп сказал ей, что как раз этим ланцетом убивали скот, а она велела убрать его подальше: “Ты же не хочешь, чтобы я подумала, будто ты и есть преступник, правда?” Когда в округе начали резать скот, полиции указывали на Шарпа, но никакого расследования та не провела.

В письме к матери от 29 января 1907 года Дойл писал: “Дело против моего подзащитного пока еще держится, но у меня в разработке пять разных линий расследования, которые я надеюсь свести воедино. Будет здорово, если я сумею развалить его до основания!” Совсем в духе Шерлока Холмса он собрал целое досье, озаглавив его: “Отчет по делу против Ройдена Шарпа”, где писал, что “все говорит о вине Шарпа” и масса улик “делает его главным подозреваемым”. В отчете были сведения о прошлом Шарпа, о его ранних криминальных наклонностях, в частности о том, что в двенадцать лет он поджег сарай с сеном и любил вспарывать ножом обивку диванов в поездах. Его характеристика из школы в Уолсоле также была весьма красноречива: почти каждый день его наказывали розгами, не раз уличали в мошенничестве, подозревали в том, что он пишет злобные угрожающие анонимки, а в конце концов исключили.

Большое значение Дойл придавал тому факту, что Шарп работал у мясника, “где научился резать туши”. Он также акцентировал внимание на том, что письма и подложные заказы для Эдалджи прекратились именно тогда, когда Шарп ушел в море, и не возобновлялись до его возвращения. В анонимках упоминались люди, с которыми Эдалджи не был знаком, но зато был знаком Шарп. Было замечено, что на Шарпа дурно влияло новолуние, а первые четыре лошади погибли как раз в это время. И наконец, опытный графолог установил, что анонимки, полученные Дойлом, писал Шарп.

Дойлу казалось, обвинения против Шарпа более чем убедительны, но он зря забыл мудрые слова Холмса из “Скандала в Богемии”: “Величайшая ошибка — строить предположения прежде, чем получишь все данные. Незаметно для себя человек начинает подгонять факты под теорию, вместо того чтобы обосновать теорию фактами”.

По правде говоря, гипотеза о виновности Шарпа изобиловала огрехами, ибо строилась почти целиком на сплетнях и слухах. Немалую роль сыграло и глубокое отвращение, которое вызвала у Дойла пользовавшаяся дурной репутацией семейка Шарп — не зная их лично, он был заведомо убежден, что это умственные и моральные уроды. А предвзятость Энсона по отношению к Эдалджи невольно спровоцировала и предвзятость Дойла по отношению к самому Энсону. И как водится, придя к какому-то мнению, менять его Дойл уже не собирался.

Свое досье, дополненное свидетельскими показаниями, Конан Дойл отдал в комитет по расследованию дела Эдалджи. Но зерно упало в окаменевшую почву: Дойлу ответили, что никаких prima facie, то есть явных улик, против Шарпа нет. Сэр Чарльз Мэттьюз, напыщенный чинуша из Уайтхолла, изучавший представленные Дойлом сведения, сообщил ему — все они настолько неубедительны, что любой судья просто отмахнется от них.

Энсон, разумеется, был очень доволен таким оборотом и не преминул известить Дойла, что один из главных его информаторов помещен в сумасшедший дом, ибо “страдает острой манией на религиозной почве, из-за чего дважды пытался покончить с собой”. Позже Энсон писал, что Дойл “не собрал ни грана доказательных улик… не привел ни единого убедительного довода в пользу того, что письма писал именно Шарп… В подавляющем большинстве выводы сэра Артура на редкость неправомерны”. Особенно возмутил Энсона тот факт, что в досье были вложены его письма, с комментариями Дойла о попытках начальника полиции Стаффорда обвинить отца и сына Эдалджи в инцесте. Он категорически это отрицал и назвал писателя “презренной скотиной”. Дойл был вынужден отказаться от обвинений в адрес Энсона, но вражда между ними затянулась на долгие годы, и оба писали друг на друга жалобы в министерство внутренних дел.

В мае 1907 года комитет обнародовал свое решение: Эдалджи не виновен в убийстве домашнего скота, а потому оправдан, но… анонимные письма писал именно он. “Мы вполне допускаем, что это письма человека, неповинного в преступлении, однако упорного в заблуждениях и злонамеренного… пытавшегося запутать полицию и затруднить и без того очень трудное расследование”. В этой связи комитет постановил: кто сам навлек на себя свои беды, тот не заслуживает никакой компенсации.

Сообщество адвокатов вернуло Эдалджи в число своих членов с разрешением заниматься юридической деятельностью, но Дойл был взбешен, что тот не был полностью оправдан. Решение комитета, как он выразился, было “скверным”. Он опубликовал в “Дейли телеграф” очередную гневную статью, где утверждал, что вердикт комитета “нелогичен и несостоятелен”, что он, Дойл, берется в полчаса доказать, почему Эдалджи не является автором анонимных писем, и спрашивал: есть ли что-либо более типичное для Британии, чем полное оправдание без возмещения ущерба?

“Дейли телеграф” объявила о сборе средств в пользу Эдалджи, и удалось собрать триста фунтов. Дойл же продолжал писать заметки в газеты, где задавал парламенту и министерству внутренних дел множество вопросов. Существует ли прецедент, по которому оправданному человеку не выплатили компенсацию? Состоится ли новое расследование, где будут сличены почерки всех писем? Будут ли опубликованы все полицейские отчеты и доклады по этому делу? К мистеру Эдалджи отнеслись подобным образом, “потому что он не англичанин”? Гладстон отказался отвечать на все эти вопросы.

Джордж Эдалджи уехал из Грейт-Уайрли и получил место в лондонской адвокатской конторе, в которой проработал много лет. Он остался холостяком и с начала тридцатых годов жил в Уэлвин-Гарден-Сити, где и скончался в 1953-м в возрасте семидесяти семи лет. Анонимные письма продолжали поступать еще двадцать пять лет, и кто-то по-прежнему калечил скот. В 1934 году Енох Ноулес, рабочий сталелитейного завода, был арестован и сознался в том, что писал письма. Его отправили в тюрьму, но никто так и не был арестован за убийство лошадей в Грейт-Уайрли.

Несмотря на занятость делом Эдалджи, Дойл старался как можно больше времени проводить с Джин Лекки. После смерти Туи она быстро вошла в жизнь его семьи, приезжала в “Подлесье” вместе со своим братом Малькольмом, когда дети были дома на каникулах. Размолвка с родственниками была забыта, и в 1907 году Джин пригласили на семидесятилетие Мэри в Кенсингтон. Они вместе ходили и в рестораны, и в театры.

Джин не хотела ждать дольше положенного приличиями годового траура, и свадьбу назначили на сентябрь. Конан Дойл понимал, что им с Джин будет невозможно жить в “Подлесье”, где все напоминало о первой жене, а потому купил солидную викторианскую усадьбу “Малый Уиндлшем” в Кроуборо, неподалеку от ее родителей.

Восемнадцатого сентября 1907 года сэр Артур Конан Дойл и мисс Джин Лекки сочетались браком в церкви Святой Маргариты в Вестминстере. Венчал их зять Дойла, преподобный Сирил Энжелл, на церемонию пригласили только родственников и самых близких друзей. Жениху было сорок восемь лет, невесте тридцать два. Иннес выступал в роли шафера. Конан Дойл надел традиционный сюртук и брюки в полоску, а в петлицу вдел белую гардению. На

лице у него, как писала одна газета, “сияла улыбка”. Что до невесты, то на ней было “ослепительно красивое” шелковое платье цвета слоновой кости, с испанским кружевом, а букет состоял из “тщательно подобранных белых экзотических цветов”. Затем все отправились в банкетный зал отеля “Метрополь”, где собралось двести пятьдесят гостей, в том числе Джером К. Джером, Брэм Стокер, Дж. Барри, Джордж Ньюнес, Гринхоу-Смит и… Джордж Эдалджи.

Счастливая пара провела медовый месяц, а точнее, два, в Париже, Берлине, Венеции, Риме и Константинополе.

О свадьбе писали газеты всего мира, от Берлина до Буэнос-Айреса, но самый удивительный отчет опубликовала бельгийская “Ла Кроник”: “Конан Дойл, английский писатель, придумавший гениального сыщика Шерлока Холмса, недавно женился. Как рассказал нам французский журналист, молодая леди дала согласие на брак, потому что ее совершенно покорили потрясающие приключения короля детективов”.

Глава 16

Новая жизнь с Джин

КОНАН ДОЙЛ БЫЛ СТРАСТНО ВЛЮБЛЕН В СВОЮ молодую жену, и любовь эта продлилась до конца его дней. Когда они были в разлуке, Дойл слал ей полные обожания письма, порой по два в день, адресуя их “моей драгоценной”, “моему ангелу”, “родной любимой”, “чудесной храброй девочке”, “моей девчушке”. Письма, которые Дойл отправлял Джин из Америки в 1923 году (ему было шестьдесят четыре), где он находился в турне с лекциями, больше напоминают послания влюбленного подростка: “Девочка моя, как было бы здорово обнять тебя всю целиком!”; “Ты моя прелесть, я так тебя вожделею!”; “Не забывай, сокровище моей души, ты лучшее, что у меня есть. Радостно быть женщиной, которой мужчина может так сказать от всего сердца”. Этот стареющий викторианский джентльмен временами позволял себе даже эротические шуточки: “К тебе скоро вернется твой усталый старый скакун. Первым делом он скакнет в твои объятия. Потом в твою постель. До свидания, сладость моя. Я изголодался по твоим поцелуям…”

Со своей стороны леди Конан Дойл ясно давала всем понять: она боготворит мужа, и все остальные должны разделять это чувство. Прекрасная хозяйка и отличный организатор, она быстро взяла в свои руки бразды правления — ив доме, и вообще в жизни мужа. Джин всегда страстно желала быть в центре внимания, даже ее жесты были несколько театральны (возможно, как результат занятий пением), и теперь наслаждалась новой ролью, выдвинувшей ее наконец на первый план, — жены знаменитого, титулованного писателя.

Куда меньше ее привлекала роль мачехи. И если четырнадцатилетний Кингсли был благополучно пристроен в Итоне, то восемнадцатилетняя Мэри уже закончила школу и надеялась, что будет жить с отцом и его женой в Уиндлшеме. Однако летом 1907 года ее спешно отправили в Дрезден, учиться музыке. Ни малейшего желания ехать туда у Мэри не было, она была уверена, что мачеха просто хочет выдворить ее из дома. Но отец, во всем потворствовавший молодой жене, и слушать не стал никаких возражений.

В Дрездене Мэри сразу же начала волноваться, можно ли ей будет приехать домой на Рождество, и писала брату жалобные письма: “Мальчик мой, если я не поеду домой на каникулы, то пойдут всякие разговоры, ведь девочки возвращаются на три недели в Англию, а потом снова сюда учиться. Так что мне будет с кем ехать и домой, и обратно в Дрезден. Конечно, если им можно вернуться, то и мне можно…” Через пару дней она пишет брату, что, возможно, отец и его новая жена вовсе и не хотят, чтобы она возвращалась: “Я так надеюсь провести Рождество дома. Ведь нет никакой причины, чтобы мне этого не позволить, разве только они захотят выгнать нас из Уиндлшема и праздновать сами, без нас с тобой. Мы для них сейчас помеха. Ну, ничего, старина, мы будем держаться вместе, что бы ни случилось”.

Мэри страшно мучилась, прежде чем решилась спросить отца, можно ли ей приехать. Наконец собралась с духом, но в ответ услышала, что об этом и речи быть не может. Исполненная негодования, она написала брату, что отец сообщил ей: раньше чем через девять месяцев он ее домой не ждет. Он обвинял дочь в слабохарактерности за то, что она осмелилась говорить о возвращении. Мэри чувствовала себя “подавленной и угнетенной”. “Не понимаю, почему отец так суров — я не слышала от него ни одного ласкового слова, не видела ни малейшего проявления любви за два года со смерти мамы. Можно было бы ожидать, что все будет как раз наоборот. Но нет — жизнь превратила его в жестокого человека”.

Впрочем, судя по другому письму к брату, Мэри постаралась весело провести Рождество в Дрездене. Она рассказывает Кингсли, какие получила подарки, а потом сообщает, без комментариев: “Джин прислала мне открытку и почтовый перевод на 1 фунт, чтобы я “купила себе, что пожелаю””. Мэри чувствовала себя уязвленной — и потому, что ей не позволили приехать домой, и потому, что пришлось врать подружкам, почему она осталась в Дрездене. “Ничто на свете их, похоже, сейчас не волнует, кроме друг друга. Могли бы, во всяком случае, не так явно это показывать…”

Кингсли отослали на Рождество к Хорнунгам. Он заехал в Уиндлшем по дороге обратно в Итон, но не встретил там ни тепла, ни привета, о чем и написал Мэри. “Дорогой братик, — ответила она, — я то злюсь, то грущу. Полагаю, что папа и Джин, раз уж они разлучили тебя со мной, должны были хотя бы постараться, чтобы дома тебе было уютно и ты не чувствовал себя чужим в этой новой жизни. Пренебрегая тобой, они совершают большую ошибку и нарушают свой долг. Я разочарована в них обоих”.

Но Мэри понимала, что бессильна что-либо изменить. Так, Кингсли писал ей, что отец был расстроен, когда не получил от нее ни единой весточки во время своей болезни — он страдал

геморроем. Что ж ты хоть словечко ему не черкнула? — спрашивал брат. Мэри ответила, что писала отцу каждый день. Неужто, недоумевала она, его секретарь Вуди откладывал ее письма в сторону, потому что там все “сплошь разговоры о деньгах да жалобы на жизнь”? Нет, в это трудно было бы поверить.

Вмешательство Джин ощущалось во всем. Дойл вдруг стал сильно ограничивать дочь в деньгах, что было абсолютно ему не свойственно. С тех пор как он стал хорошо зарабатывать, он всегда проявлял большую щедрость ко всем членам семьи. А тут на просьбу Мэри прислать ей денег на поездку в Берлин — она хотела послушать оперу, которую в тот момент разучивала, — отправил чек на десять фунтов и записку, где объяснял: либо она едет в Берлин, либо ждет в гости Кингсли. И то и другое он оплатить не может. Это было жестоко и несправедливо. Правда, в итоге он смягчился.

Летом 1908 года Мэри наконец позволили вернуться домой, но ничего особенно хорошего из этого не вышло. Она жаждала продемонстрировать отцу и мачехе, чему научилась в Дрездене, и предложила спеть им. Джин отказалась аккомпанировать, и Мэри сама села за рояль. Позже, с глазу на глаз, Джин сказала мужу, что Мэри фальшивит и ей не следует рассчитывать на музыкальную карьеру. Дойл дождался, чтобы Мэри вернулась в Дрезден, и поведал ей печальные новости: голосок у нее приятный, но не выдающийся, да и слух далеко не абсолютный: “Мы оба поем фальшиво, сами того не ведая… и именно это портит все дело”.

Мэри была возмущена. Она отлично понимала, отец, ничего не смыслящий в музыке, в жизни не стал бы ее критиковать. Он пел с чужого голоса, и голос этот был “искусным меццо-сопрано”. Пелена окончательно спала с ее глаз, и она написала Кингсли: “Ну что же, дорогой мой, вывод прост: Джин желает заполнить собой все, никакие соперники и конкуренты ей не нужны. А вдруг я смогла бы в будущем отодвинуть ее в тень, так надо этому воспрепятствовать!.. Джин хочет царить единолично, а потому ей надо максимально от меня обезопаситься”. С грустью она добавила, что осознает: отныне именно с Джин, а не с отцом придется решать все дела, и если Джин сочтет, что ее дальнейшее обучение лишь “пустая трата денег”, то “все пропало”. А она просто не переживет, если ее заставят бросить петь.

Эти мысли Мэри благоразумно держала при себе и была исключительно любезна с Джин в своих письмах домой. Когда в октябре Дойл сообщил дочери, что Джин ждет ребенка, она немедленно ответила: “Передать тебе не могу, как меня порадовало это известие. Нежно обнимаю, поцелуй от меня Джин. Всегда любящая Мэри”.

Первый год после свадьбы Дойл писал очень мало. Он был слишком погружен в семейные радости, чтобы думать о работе. Он написал “Происшествие в Вистерия-Лодж”, рассказ в двух частях, вошедший в новый сборник о Холмсе. Но в основном занимался поместьем, работал в саду, играл в гольф и восхищался тем, какая Джин замечательная хозяйка. Они много развлекались.

Огромная бильярдная нередко превращалась в бальную залу, там легко размещались триста гостей. У одной стены стояли арфа и рояль, у противоположной — бильярдный стол. Над одним большим камином висел портрет графа Стаффордширского, доставшийся в наследство от деда, Джона Дойла, над другим — оленьи рога, с которых свисал патронташ, привезенный хозяином с Бурской войны. По отполированному паркету были живописно разбросаны звериные шкуры.

Здесь новоявленная леди Дойл устраивала приемы, очаровывая влиятельных друзей мужа, здесь они давали обеды и устраивали танцевальные вечера, и он горделиво посматривал на гостей и снисходительно улыбался, наблюдая, как блистает его жена. “Джин просто ослепительна, — писал он матери. — Она, как всегда, полна энергии, дает званые обеды и стала здесь прямо-таки королевой светского общества. Все ее обожают и восхищаются ею. Чем больше я узнаю ее, тем чудеснее она мне кажется”.

17 марта — в День святого Патрика — 1909 года Джин родила первенца. Его назвали Дэнис Перси Стюарт. “Перси” было данью настояниям матери Дойла, уверявшей, что их род восходит к нортумберлендским Перси.

Но затем Дойл вновь вернулся к работе, и в июне в лондонском Театре оперы (где шли также и водевили, и драматические спектакли) состоялась премьера “Огней судьбы”, по рассказу “Трагедия пассажиров “Короско””. Дойл сделал инсценировку по просьбе своего друга Льюиса Уоллера, игравшего главную роль — полковника Сирила Эгертона, обходительного и доблестного вояки. Узнав, что болен редчайшей болезнью, которая через год сведет его в могилу, полковник сначала хочет покончить с собой, но затем присоединяется к группе

туристов, совершающих увлекательную поездку по Нилу. Попутно он влюбляется в хорошенькую американку, однако болезнь мешает ему открыть свои чувства. Туристов берут в плен злобные дервиши, полковник получает сильный удар по голове, однако умудряется бежать и организовать спасательную экспедицию. Дойл, который сам ставил спектакль, придумал для всей этой коллизии счастливый, но совершенно невероятный финал: удар по голове оказал волшебное действие, и полковник исцелился.

Дойл никогда не умел верно оценивать свои произведения и ничтоже сумняшеся объявил родным и друзьям, что “Огни судьбы” безусловно лучшая его пьеса. Публика, впрочем, была с ним полностью согласна и аплодировала на премьере стоя. “Такие минуты, — признавал автор, — бывают только у драматургов. Романисту, даже самому успешному, неведом этот восторг публичного признания. Нет наслаждения более тонкого, чем удовлетворение от своей работы, которое ощущаешь, сидя в ложе и наблюдая не за актерами на сцене, а за публикой в зале”. Он обожал рассказывать случай, произошедший на одном из спектаклей: товарища Иннеса, офицера, награжденного крестом Виктории и орденом “За безупречную службу”, друзья силой удержали от того, чтобы он не взобрался на сцену — помочь несчастным путешественникам, которых в тот момент избивали жестокие арабы.

Как это ни парадоксально, но именно счастливого молодожена предложили на должность президента Союза реформаторов закона о разводе. И он это предложение принял. В прессе разворачивалась большая кампания за предоставление равных прав мужчинам и женщинам, желающим расторгнуть неудачный брак.

Вплоть до середины XIX века развестись в Британии было практически невозможно, но в 1857 году правительство все же узаконило развод, серьезно при этом ущемив права прекрасного пола. В то время как мужчине, чтобы развестись, достаточно было заявить, что он уличил супругу в неверности, от женщины требовали: доказать, что муж ей изменял, жил отдельно от нее хотя бы два года или что она была жертвой его постоянного жестокого обращения (закон позволял мужчинам “наказывать” своих жен). Кроме того, развод был очень недешевым удовольствием, а наследное и имущественное право были таковы, что лишь очень немногие женщины могли себе позволить возбудить дело.

Острое чувство социальной справедливости убеждало Дойла, что все это в высшей степени нечестно. Он тут же провел аналогию со средневековыми рыцарями, бесстрашно бросавшимися спасать любую благородную даму, попавшую в беду. Поддерживая реформу бракоразводного законодательства, говорил он, современные рыцари могут спасти десятки тысяч таких дам, избавив их от “безнадежного пожизненного заключения в объятиях пропойцы, от положения рабыни в доме жестокого хозяина, от железных оков, удерживающих их рядом с преступником или безумцем”.

Чтобы разъяснить публике мотивы, побуждающие Союз заняться реформой закона о разводах, Дойл прибег к испытанному средству: он написал и издал брошюру. Там было сказано, что главные изменения, которых добиваются реформаторы, — это обеспечение равных прав для обоих полов, а также безусловное расторжение брака (кто бы ни был истцом), если один из супругов не жил с другим как минимум три года подряд. Кроме того, Дойл, не скрывавший симпатии к спиритуализму, а равно и антипатии к клерикалам, утверждал, что закон в его нынешнем виде — “это обреченная попытка найти компромисс между реальной жизнью и жесткими церковными догмами… Каждая религия имеет право, которого никто не оспаривает, предписывать своим приверженцам определенные нормы поведения. Но ни одна не имеет права навязывать их всему обществу в целом. Если церковники считают, что наши нынешние этические принципы должны соответствовать их собственной трактовке определенных слов, сказанных две тысячи лет назад, то это их личное дело”.

Еще больше взбесила духовенство его статья в “Дейли телеграф”, где среди прочего Дойл заметил, что связывать нерасторжимыми узами невинную девушку и горького пьяницу не только не по-божески, но и не по-человечески. Дойла сильно позабавило, что многие проповедники гневно клеймили его за отказ от христианских убеждений, за непонимание моральных и религиозных установлений института брака.

В результате деятельности Союза под руководством Дойла реформаторы добились того, что правительство создало Королевскую комиссию, которая в конце концов приняла принципиальное решение: “развод должен осуществляться на основании норм, одинаковых для представителей обоих полов”. Но преодолеть сопротивление церкви и изменить закон удалось лишь в 1923 году.

Еще не просохли чернила на рукописи брошюры о разводе, а Дойл снова взялся за перо. На сей раз речь шла о “беспримерно жестоких преступлениях”, творящихся в Конго.

К концу XIX века Африка была уже практически поделена между белыми колонизаторами, и по Берлинской конференции 1885 года обширная территория, в пять раз больше Франции, официально отошла королю Бельгии Леопольду II. Это было его личное владение, которое именовалось “Свободное государство Конго” — не будучи при этом ни свободным, ни государством. Берлинская конференция была созвана, чтобы гарантировать свободу торговли, уничтожить рабство и обеспечить права и религиозные свободы местному населению. Ни один пункт не был исполнен. Леопольдом двигала лишь корысть, ибо в “свободном” государстве находились огромные запасы слоновой кости и каучука.

Производство каучука сопровождалось жесточайшей тиранией: местных жителей использовали как рабов, безжалостно эксплуатировали, чтобы обеспечить все возраставший спрос в Европе. Население было лишено всех прав, кроме одного — изнурительного труда. Нормы выработки каучука были установлены непомерные, а невыполнение вызывало зверские наказания. Войска и национальная полиция сеяли ужас, в виде наказания отрубая конечности у мужчин, женщин и детей. С 1885-го по 1908-й почти десять миллионов конголезцев погибли от экзекуций, насилия, каторжного труда и болезней.

Первыми, кто уже в 1903 году привлек внимание мировой общественности к вопиющим делам, творящимся в Конго, были журналист Эдмунд Морель, в свое время работавший редактором “Уэст Африкен мейл”, и Роджер Кейсмент, британский консул в столице страны, городе Бома.

Кейсмент приехал в Конго в 1884 году двадцатилетним юношей, очень много ездил по региону и отправил сорок три доклада в министерство иностранных дел в Лондоне, подробно перечисляя все зверства, издевательства и массовые казни, которым подвергалось местное население со стороны белых. Результатом усилий Кейсмента явилась дипломатическая инициатива, с которой Британия обратилась к Леопольду, вынудив его создать комиссию по расследованию. Членов этой комиссии король назначил сам, и, разумеется, они обнаружили лишь “незначительные злоупотребления”. Правда, через день после встречи с членами комиссии генерал-губернатор “свободного” государства покончил с собой при невыясненных обстоятельствах.

А тем временем Кейсмент с Морелем основали Ассоциацию реформ в Конго, чтобы оказать на Бельгию международное давление. В 1908 году Леопольд был вынужден передать свои земли правительству Бельгии, но это мало что изменило, и “Ассоциация” обратилась за поддержкой к выдающимся гражданам, в частности писателям Джозефу Конраду, Редьярду Киплингу и Артуру Конан Дойлу.

Конрад, который сам был свидетелем геноцида в Конго — он плавал капитаном парохода по реке Конго и описал эти преступления в повести “Сердце тьмы”, — помочь отказался, заявив, что он всего лишь “презренный новеллист”. Киплинг опасался, что в дело замешана политика и Германия может “расправить свои крылья, защищая Бельгию”. Но Дойл, великий поборник справедливости, охотно ввязался в драку. “Наш долг — защищать слабых, — писал он когда-то в “Мике Кларке”, — и этот долг превыше всех остальных, как бы ни складывались обстоятельства”.

Летом 1909 года они с Морелем встретились в отеле “Лондон”, все обсудили, и Дойл предложил свою помощь. Он был готов выступать от лица ассоциации и писать злободневные отчеты в газетах. “Я ушел от него, находясь под глубоким впечатлением его обаяния и силы личности, я был тронут и признателен, — писал потом Морель об этой встрече. — Это был настоящий друг, из тех, что познаются в беде. И в скором будущем он полностью это доказал. Я завалил его своими многотомными записями, и он сел разбираться в них, чтобы досконально изучить все подробности этой чрезвычайно сложной и длительной баталии. Следующие две недели не было дня, чтобы я не получил от него письма. Затем, когда он изучил все до основания, он заперся у себя в кабинете и работал как дьявол, с трудом выкраивая время, чтобы побриться, по его собственному признанию”.

Как всегда, когда он пылал “негодованием и гневом”, Дойл трудился практически не смыкая глаз — он утверждал, что написал 45 000 слов всего за восемь дней. Спал по четыре часа в сутки и непрерывно пил кофе. Он ставил себе цель — столько-то слов в день, — и работал до рассвета, чтобы не отступать от намеченного. Киплинг выразил ему свои опасения, написав 29 августа 1909 года: “Дорогой Дойл, я знаю, что вы принимаете близко к сердцу положение дел в Конго, которое и впрямь ужасно, и уверен — то, что вы напишете, заставит людей очнуться. Но я вот с каких позиций смотрю на это: у нас нет ни сколько-нибудь действенной армии, ни флота, чтобы поддержать там наше присутствие. Англия, вмешайся она в ситуацию в Конго,

может оказаться в унизительном положении, когда ей нечего будет противопоставить обвинениям в том, что она блефует. Ни Франция, ни Россия помочь не в состоянии, а Бельгия легко может посоветовать нам заниматься своими делами (добавив пару ядовитых слов про Индию) — и что тогда?" Киплинг полагал, что Германия примет сторону Бельгии, а "остальное — просто некое количество солдат, оружия и хорошо оснащенных кораблей".

Но Дойл ставил человеческую жизнь выше политических интересов, и книга "Преступления в Конго" стала страстным, прочувствованным обвинительным актом, подробно описывающим "разграбление страны, уничтожение населения, величайшее преступление за всю историю". На основании свидетельств очевидцев, представленных Морелем, он обрисовал режим, угнетавший конголезцев с невероятной варварской жестокостью и превративший страну "в ад на земле". В ответ на сопротивление устраивали массовые расстрелы, а у трупов солдаты отрезали левую руку: "Солдатам все равно, в кого стрелять, а потому они очень часто убивали беспомощных детей и женщин. Отрубленные руки рядами выкладывали перед комиссаром, чтобы, пересчитав их, он мог быть уверен — солдаты не растратили патроны понапрасну".

"Преступления в Конго" широко распространялись в Европе и США, и кроме того от своего имени Дойл отправил брошюру лично кайзеру Вильгельму II, президенту Теодору Рузвельту, а также Уинстону Черчиллю, который тогда возглавлял министерство торговли. Затем он отослал подробное письмо редакторам шестидесяти американских газет, убеждая их поддержать вмешательство в дела Конго. Тамошняя ситуация, говорил он, это "проводимая одновременно массовая экспроприация и массовое уничтожение, и все — под лозунгом человеколюбия и бескорыстия. Это подлейшее, низменное дело, беспримерное по лицемерию… нет такого изощренного издевательства, такой пытки или муки, порожденных извращенным умом, которых не применяли бы по отношению к этим беззащитным, беспомощным людям".

Опубликовав свою брошюру, Дойл отправился с лекциями по стране. 19 ноября на его выступлении в Альберт-Холле председательствовал архиепископ Кентерберийский. Конан Дойл пригласил и кардинала Фрэнсиса Бурна, архиепископа Вестминстерского, но получил категорический отказ. Кардинал ясно дал понять, что не одобряет его деятельность, и сообщил, что, внимательно изучив "Преступления в Конго", проникся еще большим недоверием к методам ассоциации: католики ничего общего с этой подозрительной организацией иметь не должны. Возможно, тут сыграло роль то, что кардинал учился в Бельгии, в католическом университете Лувена, а возможно, нападки Конан Дойла на церковь, которую тот обвинял в полном бездействии и замалчивании зверств в Конго: "То, что там происходит, заставляет задуматься об истинном смысле высокопарных понятий "христианство" и "цивилизация". Задуматься, чего они стоят на деле, коль скоро все христиане и цивилизованные народы могут спокойно стоять в сторонке, либо из мелочной подозрительности, либо от полного равнодушия, и годами наблюдать мучения беспомощного народа, которому они же гарантировали безопасность, не подняв ни руки, ни голоса в его защиту?" Так была пробита еще одна брешь в отношениях Дойла с официальной церковью.

Он продолжал активно выступать от имени ассоциации, и постепенно положение стало меняться в лучшую сторону — но очень медленно и то лишь после того, как бельгийский трон перешел к королю Альберту. Эдмунд Морель был убежден, что заслуги Дойла в этом деле были очень велики: "Вмешательство Конан Дойла оказало решающее влияние на развитие событий… Но не его книга — во всех отношениях превосходная, не публичные выступления и не то, что он привлек влиятельных людей на нашу сторону, стали главным подспорьем. Главное было, что он — Конан Дойл и что он — с нами. Не думаю, что кто-нибудь, кроме Конан Дойла, мог сделать то, что сделал тогда он".

Относительный успех "Огней судьбы" убедил Дойла, что он сумеет добиться на театральном поприще того же, чего добился на литературном. И он превратился в импресарио — в 1910 году на шесть месяцев арендовал лондонский театр "Адельфи", что вместе с расходами на труппу облегчало его кошелек на боо фунтов в неделю. Дойл решил поставить по своему роману "Родни Стоун" пьесу "Дом Темперлей, или Мелодрама на ринге". Замысел был грандиозный: перемен декораций — семь, персонажей со словами — сорок три. Наняли тренера, чтобы подготовить актеров к боксерским сценам. Денег не жалели, но Дойл надеялся, что спектакль продержится долго и расходы оправдаются.

Увы, на премьере весь первый акт публика молчала, так что, сидя в ложе, Дойл записал в своем блокноте: "Слишком вяло". Но дальше пошли боксерские сцены, и зал стал реагировать поживее, а когда дали занавес, раздались громкие аплодисменты и крики "Автора!" Критики писали о постановке с одобрением. Но публика не оценила спектакль, и сборы были невелики.

Бокс оказался не слишком пригоден для театральной сцены, да и женщинам эта тема была чужда. Вскоре Дойл понял, что затея неудачная и очень затратная.

Шестого мая 1910 года — меньше чем через десять лет после смерти своей матери — скончался король Эдуард VII, и страна вновь погрузилась в траур. На это время все театры в Вест-Энде были закрыты. Дойл решил воспользоваться случаем и обратился к испытанному средству привлечь публику — к Шерлоку Холмсу. Запершись в кабинете, он за неделю переделал один из лучших рассказов о Холмсе, “Пеструю ленту”, в пьесу. И через полмесяца после того как была снята со сцены боксерская мелодрама, труппа начала репетировать новую постановку.

Однако между автором и продюсером возникли разногласия. Продюсером был актер Лин Хардинг, блиставший в пьесах Шекспира. В “Пестрой ленте” он играл главного злодея, доктора Гримсби Райлотта (в рассказе он Ройлотт). Хардинг хотел, чтобы Райлотт был более ярким, характерным персонажем, а потому всячески расцвечивал его речь и вообще добавлял множество деталей от себя, что страшно раздражало Дойла, которому Райлотт виделся типично викторианской фигурой. Он настаивал, чтобы Хардинг играл, как написано, и жаловался, что Райлотт получается “каким-то бурлескным”. В итоге вмешался их общий друг Джеймс Барри и посоветовал Дойлу дать актеру больше свободы. Но сцена, где Холмс легко разгибает кочергу, скрученную впавшим в ярость Райлоттом, пропала — не нашлось подходящего реквизита.

Возникли проблемы и со змеей. Труппа, по понятным причинам, настаивала на муляже. Конан Дойл и слышать об этом не хотел и нашел на эту роль скалистого питона, но тот оказался плохим актером и указания режиссера игнорировал. В кульминационной сцене, задушив Райлотта, питон должен был разжать объятия и медленно проследовать за кулисы мимо бесстрастного Ватсона. “У нас в разное время было несколько змей, но все они либо свисали из дыры в стене как безжизненные шнурки для колокольчика, либо, наоборот, норовили ускользнуть обратно в эту дыру и поквитаться с театральным плотником, который дергал их за хвост, чтобы слегка приободрить”. В результате изготовили искусственную змею, и один критик, к вящему удовольствию Дойла, написал в рецензии: “Змея совершенно ненатуральна”.

Премьера “Пестрой ленты” состоялась 4 июня. Публика была в восторге, занавес поднимали двенадцать раз, и особенный успех имел Лин Хардинг. Дойл любезно признал, что был не прав, прислав актеру письмо с поздравлениями. И хотя отзывы в прессе были разноречивы, а многие поклонники Холмса сетовали, что он не объясняет на сцене свой дедуктивный метод — обычное дело с инсценировками литературных произведений, — сборы составили 1301 фунт за первую неделю, что означало около 650 фунтов прибыли.

24 июня Дойл пригласил Мореля и Кейсмента, своих соратников по Ассоциации Конго, отобедать в “Метрополе” вместе с ним, Джин, которая ждала второго ребенка, и ее братом Стюартом Лекки. Затем вся компания направилась в театр “Адельфи” на “Пеструю ленту”. Вечер удался, все были довольны и весело распрощались, после чего Кейсмент по своему обыкновению отправился искать партнера на ночь. В его “Черном дневнике” осталась короткая шифрованная запись, из нее следует, что он нашел молодого “потрясающего молодчика с Ямайки”. Впоследствии этот дневник, где фиксировались все гомосексуальные связи Кейсмента, фигурировал в его деле — Кейсмента приговорили к смертной казни за государственную измену, шпионаж в пользу Германии и саботаж. 3 августа 1916 года он был повешен.

Из “Адельфи” “Пестрая лента” перекочевала в “Глобус” и сошла со сцены 10 октября, после 169 представлений. Но, несмотря на успех, Дойл заявил репортерам, что со сценой покончено. “Я ухожу не потому, что это мне неинтересно. Это мне слишком интересно и настолько захватывает, что не дает возможности заниматься вещами более серьезными. Не поймите меня превратно! Для тех, кто способен выразить глубокие мысли в драме, все обстоит совсем иначе. Но я осознаю свои возможности. Так что твердо решил — больше я никогда не буду писать для театра”.

В то время у Дойла было множество иных обязательств. Помимо участия в работе над законом о разводах, он вынужден был беспрерывно посещать всевозможные вечера и приемы. Он произносил речи, давал лекции, боролся за справедливость и даже судил спортивные состязания. Он председательствовал на торжествах, посвященных столетию со дня рождения Эдгара По (тот родился 19 января 1809 года), а также получил письмо от Ирвинга Льюиса, редактора журнала “Нью-Йорк морнинг телеграф”, — Льюис просил Дойла выступить в роли рефери на поединке Джеффриса с Джонсоном за звание чемпиона мира среди боксеров-

тяжеловесов: “Наши сердца преисполнятся радости, если вы будете подле ринга, когда великий негритянский боксер выйдет сразиться с белым спортсменом за титул чемпиона”. С большим сожалением Дойл вынужден бы отклонить это лестное предложение и потому не увидел, как Джек Джонсон стал первым чернокожим чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

Жизнь в Уиндлшеме текла легко и приятно. Дом сильно расширили, и теперь там было четырнадцать спален и пять гостиных. Правда, порой Дойл ворчал, что устал от строительных работ и бесконечных переделок, обходившихся очень недешево, но в целом был очень доволен. Из его кабинета на втором этаже открывался замечательный вид на холмистые гряды, которые он окрестил “Суссекской Шотландией”. В соседней комнате работал его секретарь Вуди. Летом Дойл любил писать в “хижине” — деревянном домике, а в эркере бильярдной он нередко устраивался с книгой в руках. Дети от первого брака в Уиндлшеме не жили: Кингсли закончил Итон и уехал на год в Лозанну изучать медицину, а Мэри снимала квартиру в Майда-Вейл, фешенебельном районе Лондона. С ней жила “тетушка Джуи”, Джулия Покок, старинный друг семьи. Она играла роль и дуэньи, и компаньонки.

Девятнадцатого ноября 1910 года в Уиндлшеме родился второй сын Дойла и Джин, Адриан Малькольм, чему Дойл был несказанно рад. Тогда же он получил сразу два приятных известия от брата: Иннеса произвели в майоры, и он обручился с Кларой Свенсен. Девушка была родом из Дании и занималась музыкой в Берлине.

Спорт по-прежнему занимал много места в жизни Дойла. Он был капитаном команды по гольфу в Кроуборо, регулярно играл в крикет, и хотя перестал играть в футбол, но зато “легко мог выстоять три раунда в боксерских перчатках”.

Летом 1911 года он принял участие в автопробеге, организатором которого был принц Генрих Прусский. Пятьдесят германских автомобилей соревновались с пятьюдесятью британскими. Гонка стартовала в Гамбурге, и, проехав 2500 миль, спортсмены должны были финишировать в Лондоне. “Главную роль играют надежность машины и водителя, а не скорость, — объяснял Дойл в письме матери. — Я беру с собой Джин пассажиром. Это будет замечательная гонка”. В начале июля Дойл прибыл в Гамбург за рулем ландо “лорен-дитрих” мощностью шестнадцать лошадиных сил, с подковой на радиаторе для удачи. Рядом сидела Джин, а на заднем сиденье шофер Дойла Альфред Стиллер, он же механик команды.

Как раз когда они приехали в Гамбург, стало известно, что немцы направили канонерку и крейсер в Агадир, город на юго-западе Марокко, — “чтобы укрепить и защитить интересы Германии”. И хотя Дойл отмечал, что хозяева “оказали им на редкость теплый прием”, впоследствии он понял, что время забега было выбрано не случайно: “Немцы все тщательно продумали, и теперь, оглядываясь назад, я не сомневаюсь, что соревнования были политическим делом. Идея заключалась в том, чтобы достичь притворного согласия с помощью спорта”.

Страсти быстро накалились. По правилам, каждую машину должен был сопровождать военный наблюдатель от страны-соперницы. Из уважения к принцу Генриху Британия направила для этого высокопоставленных офицеров, а немцы — молоденьких субалтернов и капитанов, что немедленно вызвало напряжение. 5 июня машины выехали из Гамбурга по маршруту Кельн — Мюнстер — Бремерхафен. Мощные немецкие автомобили яростно пытались выпихнуть британцев, которые были помельче, на обочину. На пароме из Бремерхафена в Саутгемптон англичане собрались вместе и единодушно согласились: немцы враждебны и часто говорят о неминуемой войне в Европе. Англичане отвечали взаимностью. “Все, чего мне хочется, — так это как следует им врезать”, — заявил один из их офицеров. Постепенно стала понятна и другая задача немецких сопровождающих — шпионаж. У всех были с собой фотоаппараты, и в Британии они фотографировали все, что только можно. В Лондоне офицер, сопровождавший Дойла, просто испарился на несколько часов без всякого объяснения.

Гонка завершилась 20 июля, выиграла британская команда. Принц Генрих вручил победителям приз — женскую статуэтку из слоновой кости, на которой было выгравировано слово “Мир”, и произнес любезную речь: “Мы увидели дружелюбную страну и дружелюбный народ. Все наше путешествие от начала до конца заслуживает огромного спасибо!” На другой день все участники собрались на недавно открывшемся автодроме в Суррее, где проходила заключительная церемония. Но вдруг откуда ни возьмись прилетел немецкий моноплан и сделал над их головами несколько кругов. “Мне не нравится, как все это выглядит”, — заметил Дойл в письме к Иннесу.

Вскоре после гонок у Джин случился выкидыш, но весной 1912 года она уже вновь ждала

ребенка. В этот раз прошло без осложнений, и 12 декабря родилась Лина Джин: “Самый прелестный и милый младенец, какого я когда-нибудь видел”, — уверял Дойл своего брата Иннеса. Что до старших детей, то они в Уиндлшеме по-прежнему не появлялись. Кингсли поступил в медицинский колледж при госпитале Святой Марии в Паддингтоне и жил у сестры, благо это было неподалеку.

Занятый домашними делами, Дойл писал мало — в 1911 году в “Стрэнде” вышли только два рассказа о Холмсе, “Алое кольцо” и “Исчезновение леди Фрэнсис Карфэкс”, а в 1912-м ни одного. Он с трудом находил сюжеты и даже предложил Гринхоу-Смиту объявить конкурс на лучшую идею для рассказа, наполовину в шутку, наполовину всерьез.

Но если в литературном плане дела шли неважно, то на полемику в прессе сил у Дойла хватало с избытком: весной 1912-го он вступил в жаркую публичную схватку с другим мастером пера, своим другом и дальним соседом Бернардом Шоу. Предметом дискуссии явилась гибель “Титаника”. Ночью 14 апреля 1912 года лайнер пароходной компании “Уайт Стар” во время первого же рейса столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике и затонул. Погибли более полутора тысяч человек — пассажиры и члены экипажа. Среди них был У.Т. Стед, редактор “Ревью оф ревьюз”, с которым в свое время Дойл яростно спорил по поводу войны в Южной Африке. Газеты всего мира наперебой писали о героизме и самопожертвовании, о том, как люди уступали другим свои места в спасательных шлюпках, публиковали отчеты выживших, и все без исключения упоминали о том, как корабельный оркестр продолжал играть, пока холодные волны не сомкнулись над огромным лайнером.

В начале мая Шоу решил, что с него довольно. Он полагал, что катастрофа стала следствием полного хаоса и неразберихи, что это постыдный, безобразный факт, о чем и написал блистательную статью, опубликованную в “Дейли ньюс” 14 мая. Там было сказано, что пресса превратила трагедию в романтическую сагу о национальном героизме, а между тем она не что иное, как позор и бесчестье. Капитан потерял корабль, потому что “осознанно шел между ледяными полями слишком быстро”; лодки, в которых были свободные места, боялись подходить близко к барахтавшимся в воде людям; оркестр играл, но лишь для того, чтобы пассажиры третьего класса не впали в панику и не бросились к шлюпкам. “К чему вся эта отвратительная, нечестивая, бесчеловечная, тщеславная ложь? — спрашивал он. — Перед лицом такой катастрофы смиряются самые надменные гордецы и мрачнеют самые заядлые шутники… А у меня она вызвала ощущение сильнейшего раздражения, едва ли не национального позора”.

Это было чересчур для такого сверхпатриота, как Дойл. Уж он-то, окажись с семьей на “Титанике”, без сомнения, сначала убедился бы, что жена с детьми благополучно сели в шлюпку, а потом спокойно пошел на дно вместе с кораблем. 20 мая “Дейли ньюс” напечатала его длинный эмоциональный ответ.

Он обвинял Шоу, что тот избирательно использует факты, подгоняя их под свою — в высшей степени спорную — точку зрения. “А что касается общего обвинения — что нация воспользовалась случаем прославить британский характер — мы и впрямь были бы никудышными людишками, если бы не почитали мужество и дисциплину в наивысших их проявлениях”. И напоследок не преминул уколоть оппонента: “Грустно видеть, как человек, одаренный огромным талантом, тратит его, возводя хулу и напраслину на собственный народ”.

Шоу вернул удар два дня спустя: “Господа, я надеюсь уговорить моего друга сэра Артура Конан Дойла, когда он уже выплеснул из души свой романтический, горячий протест, прочесть мою статью еще раза три-четыре и затем вторично высказаться по данному вопросу. Поскольку ни один разумный человек не может всерьез оспаривать ни единого ее слова”. Шоу защищался энергично и непримиримо. “Капитан “Титаника” не совершал, как это кажется сэру Артуру, никакой “ужасной ошибки”. Нет, никаких ошибок. Он превосходно знал, что льды — та единственная опасность, которая может оказаться смертельной, и, зная это, все же рискнул и проиграл”. Конан Дойл не собирался “вторично высказываться по данному вопросу” и завершил дебаты, высказав кое-что о самом Шоу: “Худшее, что я могу сказать о м-ре Шоу, — в списке его блестящих талантов недостает умения беспристрастно оценивать факты. А равно недостает такта или, может быть, доброты — словом, того, что не позволяет без нужды оскорблять чувства других людей”.

Очень скоро “умение беспристрастно оценивать факты” понадобилось и самому Дойлу. Его по-прежнему одолевали просьбами: раскрыть преступление, найти пропажу или восстановить справедливость. История с Эдалджи закрепила за ним репутацию защитника угнетенных, но оправдывать это звание он не спешил, пока в 1912 году не столкнулся с делом Оскара

Слейтера. Заступничество Дойла вызывает тем большее уважение потому, что обвиняемый, “изрядный мерзавец”, был ему весьма несимпатичен. Но, как позже писал Дойл, “невозможно было, ознакомившись с фактами по делу Оскара Слейтера, осужденного высоким судом Эдинбурга в мае 1909 года, не испытать глубокого недоумения от того, как велся процесс, и быть уверенным, что не была допущена судебная ошибка”.

Вечером 21 декабря 1908 года служанка по имени Хелен Ламби пошла купить газету для своей хозяйки Марион Гилкрист, восьмидесятидвухлетней старой девы, проживавшей в квартире на Квинс-террас в Глазго. Хелен, как обычно, заперла входную дверь на два оборота — таковы были требования старой леди, опасавшейся грабителей. Пока Хелен отсутствовала, Артур Адамс, нижний сосед мисс Гилкрист, услышал, как что-то грохнуло об пол, то есть в его потолок, и затем три отчетливых удара. Он поднялся наверх, разузнать, в чем дело, но никто не отвечал. Тут вернулась служанка. Едва она открыла дверь в квартиру, как навстречу из спальни вышел мужчина, миновал прихожую, освещенную газовым рожком, спокойно вышел на лестницу, спустился вниз и был таков. Артур Адамс плохо его разглядел — он забыл дома очки, — но ему показалось, что незнакомец “выглядел прилично и был хорошо одет”. Еще он отметил, что служанка при виде этого мужчины не выказала никакого удивления. Хелен пошла в гостиную отдать хозяйке газету и обнаружила ее на полу у камина с размозженной головой. Старая леди была мертва. В спальне, смежной с гостиной, на ковре валялась раскрытая деревянная шкатулка с документами, все бумаги были перерыты, а драгоценности, что мисс Гилкрист хранила в гардеробе, лежали на туалетном столике. Исчезла только маленькая бриллиантовая брошь в форме полумесяца.

Позже и Ламби, и Адамс описали мужчину, которого увидели: рост примерно 5 футов 6 дюймов (168 см), темноволосый, чисто выбрит, одет в светло-серый плащ и темную кепку. На другой день четырнадцатилетняя Мэри Барроумен, проходившая мимо дверей квартиры, как раз когда произошло убийство, сказала, что тоже видела мужчину, но он был высокий, довольно молодой и притом кривоносый, в замшевом коричневом плаще или в макинтоше, в котелке и коричневых ботинках. Однако, когда ее хорошенько расспросили, она изменила свое мнение и описала незнакомца уже примерно так же, как Хелен Ламби и Адамс.

Жестокое убийство беззащитной старушки вызвало у жителей Глазго негодование, и полиция, на которую оказывали всяческое давление, спешно искала, кого бы арестовать. Спустя пару дней полицейские выяснили, что сомнительный субъект по имени Оскар Слейтер пытался продать залоговую квитанцию на бриллиантовую брошь-полумесяц. Мало того, он смылся из Глазго в Ливерпуль, где вместе с любовницей сел на “Лузитанию” (оба плыли под вымышленными именами) и отбыл в Нью-Йорк. Этого было вполне достаточно, чтобы полиция уверилась: Оскар Слейтер — именно тот, кого она ищет.

Оскар Слейтер, урожденный Джозеф Лещинер, немецкий еврей, родился в Силезии в 1870 году в семье пекаря. В пятнадцать лет ушел из дома, работал в Гамбурге в банке, а затем перебрался в Британию, где сменил имя. Вел беспорядочную жизнь, якшался с околокриминальным миром, в основном с букмекерами и завсегдатаями игорных домов. В 1902 году женился, но вскоре бросил жену и связался с француженкой, которая говорила, что она “певица в ночном клубе”, — вероятно, сочетая эту профессию с древнейшей в мире. За полтора месяца до убийства мисс Гилкрист эта парочка приехала в Глазго. Несмотря на то что по квитанции Слейтера, как выяснилось, была заложена совсем другая брошь, причем за месяц до преступления, следователи Глазго упорно продолжали числить его главным подозреваемым, и в департамент нью-йоркской полиции была послана телеграмма: Слейтера необходимо арестовать, как только он прибудет в город, а затем экстрадировать в Шотландию. Для этого требовались три свидетеля, способные его опознать. Со свидетелями в Нью-Йорк поехал инспектор шотландской полиции, который беспардонно нарушил процедуру опознания, уверяя, что все трое отлично рассмотрели Слейтера еще до того, как он был препровожден в зал суда. Ламби и Барроумен Слейтера опознали, а близорукий Адамс колебался, но признавал, что сходство есть.

Американский адвокат Слейтера советовал ему не соглашаться на экстрадицию, на том резонном основании, что заложенная им брошь принадлежала вовсе не мисс Гилкрист. Однако Слейтер был уверен, что сумеет доказать свою невиновность в британском суде, и решил вернуться. Его багаж, опечатанный в момент ареста, обыскали сразу же, как только он вернулся в Глазго. Полиция искала орудие убийства. Они нашли маленький обойный молоточек, который, по словам Слейтера, он приобрел в наборе с другими инструментами в магазине “Вулвортс”. Этот молоточек и признали орудием убийства.

Слейтера привезли на суд в Эдинбург 3 мая 1909 года. Он утверждал, что никогда не видел мисс Гилкрист, не имел представления, где она живет, и приехал в Глазго за шесть недель до убийства. Брошь, на которую у него была закладная, принадлежала ему. В тот роковой вечер

он ужинал дома с любовницей. Она это подтвердила. Подтвердила это и их служанка.

Но суду все это было совершенно безразлично. В этом деле очень заметны были быстро набиравшие в обществе силу антисемитские настроения, и тот факт, что Слейтер был “грязным жидом”, играл большую роль. Десятки тысяч евреев приехали в Британию в 1890–1905 годах, спасаясь от массовых погромов на Украине и в Польше. Они селились где могли, многие обосновались в Глазго. Это вызвало всплеск ксенофобии, в частности упоминались какие-то неизвестные болезни, а также революционные социалистические идеи, которыми заражены евреи. Ну и, разумеется, всем известно, что евреи — мошенники, скряги и стремятся к мировому господству. Можно себе представить, насколько объективны были члены суда и присяжные на процессе Слейтера.

Обвинение представило дюжину свидетелей, заявивших, что видели, как Слейтер слонялся неподалеку от дома мисс Гилкрист. Полицейский врач пришел к выводу, что если сорок раз ударить молоточком Слейтера, то можно нанести именно такие увечья, от которых и скончалась престарелая дама.

Ни на молотке, ни на одежде Слейтера следов крови не обнаружили. Обвинитель не объяснил ни как убийца проник в запертую квартиру, ни откуда он узнал, что мисс Гилкрист была богата и хранила драгоценности в гардеробе. Хватило того, что две свидетельницы опознали Слейтера — еврея, да еще и немецкого по происхождению, — и суд признал его виновным. Когда судья собрался огласить смертный приговор, Слейтер в отчаянии воскликнул: “Я ничего не знаю об этом деле! Абсолютно ничего! Я никогда даже имени ее не слышал! Я ничего об этом не знаю! Я приехал из Америки по собственной воле!”

Слейтера должны были повесить в тюрьме Глазго 27 мая, но лихорадочная ненависть, которой город был охвачен сразу после убийства, постепенно уступила место сомнениям. Многим было ясно, что обвинения совершенно несостоятельны. И когда его адвокат начал собирать подписи под прошением об отмене смертного приговора, подписались около 20 000 горожан. В итоге за два дня до казни пришел указ: заменить смерть на пожизненную каторгу.

Прошло почти три года, прежде чем Конан Дойл оказался вовлечен в дело Слейтера. Приступал он к нему с неохотой, но тут большую настойчивость проявил адвокат Слейтера Александр Шонесси. Начав изучать документы, Дойл все сильнее недоумевал — как вообще Слейтера могли признать виновным в преступлении? Как он проник в квартиру жертвы? Почему взял одну брошку, а не все драгоценности? Почему служанка старушки не удивилась, увидев незваного гостя? “Я видел, что этот случай еще хуже, чем дело Эдалджи, и что этот несчастный, вероятнее всего, виновен в этом в убийстве не более, чем я”.

В августе 1912 года вышла восьмидесятистраничная книжка Конан Дойла “Дело Оскара Слейтера”, ценой в шесть пенсов. В ней он весьма доказательно опровергал все пункты обвинения. Слейтер, к примеру, вовсе не смылся из Глазго, а жил в ливерпульской гостинице под своим именем. Обойный молоточек был слишком легок, чтобы нанести им те раны, от которых скончалась мисс Гилкрист. Ни на молотке, ни на одежде Слейтера следов крови не обнаружили. На опознании свидетелям предоставили выбор: “смуглая еврейская физиономия” Слейтера и девять полицейских из Глазго плюс два железнодорожных чиновника характерной шотландской наружности. “Естественно, они выбрали не колеблясь”. “Я не могу удержаться от постоянных сравнений, — писал Дойл, — возникающих, когда я сопоставляю дело Слейтера с другим, которым мне также довелось заниматься, — делом Джорджа Эдалджи. Надо признаться, они разного рода. Джордж Эдалджи был юношей безупречного поведения. Оскар Слейтер мошенник… И все же в этом случае возникает такое же ощущение вопиющей несправедливости, предвзятого отношения”. Дойл призывал пересмотреть решение суда.

Кроме того, Дойл высказал и свою версию произошедшего. Все упиралось в закрытую дверь: либо мисс Гилкрайст знала своего посетителя и сама впустила его в квартиру, либо у него были запасные ключи, которые он раздобыл с помощью кого-то, вхожего в дом. Вероятно, размышлял Дойл, это вовсе не было ограблением. Возможно, убийца искал какой-то документ, а брошь прихватил, чтобы сбить с толку полицию. Тот факт, что служанка не удивилась при виде незнакомца, говорит о том, что она узнала его. Войдя в спальню и обнаружив там следы чужого присутствия, она опять-таки не выразила никакого беспокойства. И лишь когда Адамс спросил: “Где же ваша хозяйка?”, — она наконец пошла на поиски.

Газеты без энтузиазма откликнулись на публикацию “Дела Оскара Слейтера”. “Скотчмен” отмахнулся от его идеи, назвав Дойла “сторонним наблюдателем”. “Глазго геральд” усомнилась, что заявления любовницы и служанки Слейтера можно расценивать как алиби, а в “Таймс” было и вовсе сказано: маловероятно, что пересмотр дела выльется в оправдательный приговор. “Вестминстер газетт” была более беспристрастна: “Если улики против Слейтера и

впрямь таковы, как сообщает автор Шерлока Холмса, то лишь редкостная глупость или откровенная предвзятость могли привести к тому, что его осудили”.

Таким образом, вмешательство Конан Дойла мало что изменило. Однако два года спустя один из полицейских, занимавшихся делом Слейтера, лейтенант Джон Томпсон Тренч, явился к адвокату Дэвиду Куку, чтобы облегчить душу: он признал, что под давлением начальства дал ложные показания на суде. Оказывается, Хелен Ламби знала, кто убийца, и этот кто-то был вовсе не Слейтер. В ночь преступления она прибежала в дом мисс Маргарет Биррел, родственницы мисс Гилкрист, и призналась, что опознала убийцу. Полиции она также назвала его имя, но ее вынудили изменить показания и свидетельствовать против Слейтера.

После признания Тренча власти создали комиссию по расследованию, но свидетели давали показания не в зале суда, а в кабинете судьи, без посторонних, и не под присягой. И Ламби, и Биррел опровергли слова Тренча. Правда, комиссия согласилась, что на суде обвинительная сторона утаивала показания свидетелей, в частности соседа Слейтера, подтвердившего его алиби. В итоге министр по делам Шотландии 22 июня 1914 года вынес заключение: оснований к пересмотру приговора Оскара Слейтера нет. Дойл был в ярости. Позднее он писал в “Спектейторе”: “Все это дело, я уверен, войдет в анналы криминалистики как потрясающий образчик некомпетентности и непрошибаемости властей предержащих”.

Забытый всеми Слейтер сидел в тюрьме в Питерхеде. В 1925 году его сокамерник Уильям Гордон вышел на свободу и умудрился пронести на свободу записку: “Гордон, старина, желаю тебе всяческих удач, и, если тебе нетрудно, пожалуйста, сделай что-нибудь для меня. Расскажи обо мне англичанам. Ты провел со мной бок о бок пять лет, так что знаешь, о чем говорить. Прощай, Гордон, вряд ли мы свидимся, а все же давай надеяться, что это возможно. Твой друг Оскар Слейтер. P.S. Не забудь написать или встреться с Коннан Д. [sic] и с моим кузеном в Германии”.

Гордон передал эту записку Дойлу, приложив к ней свое письмо: “Я провел пять горьких лет в тюрьме Питерхеда, где познакомился со Слейтером. Я обещал ему, что отдам вам это послание. Мне удалось спрятать его во рту и вынести наружу”. Дойл был потрясен, узнав, что Слейтер все еще находится в заключении. Он написал сэру Джону Гилмору, тогдашнему министру по делам Шотландии, уговаривая его амнистировать Слейтера.

Между тем Уильям Парк, журналист, работавший в Глазго, провел собственное расследование и пришел к тем же выводам, что и Конан Дойл: мисс Гилкрист знала своего убийцу и сама впустила его в дом. Закон о клевете не позволял ему назвать имя преступника, но Парк намекнул, что это мог быть племянник старушки, с которым у нее вышла ссора из-за какого-то важного документа. Во время ссоры он, скорее всего, толкнул ее, она упала и разбила голову о ящик с углем, стоявший около камина. Тем самым он оказался перед страшным выбором — дать ей очнуться и обвинить его в нападении или прикончить. И выбрал второе.

Заметка Парка “Сенсационная правда об Оскаре Слейтере” вышла в июле 1927 года. Пресса вновь обратилась к старому делу. Но настоящей сенсацией стала заметка в “Эмпайер ньюс”: Хелен Ламби, которая теперь жила в Штатах, призналась, что она сообщила полиции имя и приметы человека, который был в квартире в ночь убийства. Он несколько раз навещал мисс Гилкрист, а хозяйка всякий раз перед его визитами отсылала ее из дома с каким-нибудь поручением. Однако полицейские велели ей опознать Слейтера.

Это интервью было опубликовано 23 октября 1927 года. Дойл был вне себя. Он написал своему другу Дж. Камингу Уолтерсу, редактору “Манчестер-Сити ньюс”: “Я бы отправил вам статью с признанием Ламби, но, думаю, вы и сами ее уже прочли. Надо полагать, делу конец. Вот так история! Какой скандал! Она говорит, что полиция ЗАСТАВИЛА ее указать на Слейтера. Допрос с пристрастием, “третья степень” воздействия! Какая помойка, настоящая выгребная яма. И ни единого обнадеживающего слова от дуболомов-чиновников… В конце концов я выиграл, но это было долгое сражение”.

Пятнадцатого ноября Слейтера выпустили из тюрьмы — “за хорошее поведение”. В официальных бумагах не было сказано, виновен он или нет. Он провел в заключении восемнадцать с половиной лет. Едва Слейтер вышел, Конан Дойл отправил ему письмо: “Позвольте мне от лица моей жены и от моего собственного выразить вам, как нам горько, что вы стали жертвой жестокой несправедливости наших властей. Единственным вашим слабым утешением может стать то, что ваша судьба, если нам удастся рассказать о ней всем, убережет других несчастных от такой же участи”. Слейтер ответил в самых бурных выражениях: “Сэр Конан Дойл, вы разбили мои кандалы, вы борец за правду во имя справедливости, я благодарю вас от всего своего сердца за то добро, что вы для меня сделали. У меня душа переполнена любовью и благодарностью к вам и вашей жене, почтенной леди

Конан Дойл, и всем честным мужчинам и женщинам, которые из любви к справедливости (и только к ней) помогали мне — отверженному. До последнего вздоха я буду благословлять вас и вашу дорогую супругу, мой дорогой, дорогой Конан Дойл. Подписываюсь просто: с безмерной любовью, ваш Оскар Слейтер”.

Но Дойл считал, что одного освобождения недостаточно, Слейтер должен получить компенсацию. И в конечном итоге суд решил, что Слейтеру причитаются 6000 фунтов компенсации за то, что он 18 лет проработал в каменоломнях. Дойл полагал, что Слейтер должен вернуть ему часть денег, потраченных им на судебные издержки, однако тот вовсе так не считал. Я, заявил Слейтер, не уполномочивал вас, дорогой сэр, выступать от моего имени. Помимо этого Слейтер был уверен, что Дойл получал неплохие гонорары за свои статьи об этом деле (он ошибался). Дошло до того, что рассерженный писатель теперь уже сам собрался подать на своего “подзащитного” в суд, дабы взыскать с него долг. Друзьям удалось отговорить его, но закончилось общение на том, что Дойл отослал Слейтеру следующее письмо: “Вы, похоже, совершенно потеряли рассудок. Но если вы все же отвечаете за свои поступки, значит, вы самый неблагодарный, а равно и самый глупый человек, какого я знаю”.

Глава 17

Затерянный мир

К 1912 году КОНАН ДОЙЛ ВОТ УЖЕ ШЕСТЬ ЛЕТ как не писал романов. Тому было много причин: его отвлекали семейные заботы; он боролся за справедливость в Конго; занимался делом Эдалджи и делом Слейтера; участвовал в реформе закона о разводах; ставил спектакли и вообще вел бурную общественную жизнь. Видимо, сыграло роль и то, что критика, как он считал, недооценила его исторические романы. Пора было создать нечто новое, и идея уже созрела. “Я задался целью, — писал он Гринхоу-Смиту, — сделать в “детской литературе” что-то вроде того, что сделал Шерлок Холмс в жанре детектива. Не знаю, удастся ли мне добиться еще раз такого успеха. Но я надеюсь”.

Так появился “Затерянный мир”, одна из первых книг в жанре научной фантастики, шедевр, который обогатил читателей всего мира и подарил им героя, мало чем уступавшего Холмсу: несносного, драчливого, непрактичного, эксцентричного и бесконечно обаятельного профессора Джорджа Эдуарда Челленджера.

Замысел книги возник у Дойла в 1910 году, когда его пригласили выступить с речью на обеде в Королевском научном обществе, — там чествовали Роберта Пири, недавно вернувшегося из экспедиции к Северному полюсу. Дойл сказал тогда, что современные исследователи почти уже не оставили на карте мира таких мест, куда не ступала бы нога человека, а посему писателям все труднее такие места отыскивать для своих творческих замыслов. “Вопрос в том, куда обратить взор романическому автору, где та обширная, но не слишком ясно обозначенная земля, что годится для захватывающих приключений?” Ответ, впрочем, у него уже был готов.

В первое десятилетие XX века чрезвычайно вырос интерес к палеонтологии, и Конан Дойл этот интерес всячески разделял. Прогуливаясь по окрестностям Кроуборо, он обнаружил в скале окаменелый след огромной ящерицы, о чем сообщил в Британский музей. Оттуда прислали научного сотрудника, чтобы сделать слепки.

В бильярдной комнате в Уиндлшеме хранились два слепка следов игуанодона, также обнаруженных в известковых грядах Даунса, а когда они с Джин в свой медовый месяц плавали по Эгейскому морю, Дойл увидел существо, очень, по его словам, походившее на “молодого ихтиозавра”. Не исключено, что это был маленький дельфиненок, но Дойлу хотелось думать, что это был потомок древних ящеров, невесть как доживший до наших дней.

И фантазия его заработала. “Затерянный мир” начал выходить в “Стрэнде” в апреле 1912 года, а спустя шесть месяцев книгу издали одновременно в Британии и Америке.

Рассказ в ней идет от лица симпатичного ирландского репортера Эдварда Мелоуна, чьим прототипом явно был Морель, с которым Дойл сотрудничал в связи со скандалом в Конго. Мелоун влюблен в прелестную Глэдис, но та не хочет выходить замуж за человека незнаменитого и невыдающегося. Так что, когда ему вдруг выпал шанс отправиться на поиски затерянного в дебрях Южной Америки плато, где сохранилась доисторическая жизнь, молодой Мелоун с радостью за этот шанс ухватился. (Вернувшись домой триумфатором, знаменитостью и героем, он обнаруживает, что Глэдис вышла замуж за стряпчего.)

Во главе экспедиции — профессор Челленджер, властный и безапелляционный, настроение у него скачет по сто раз на дню. Сам автор уверял, что списал его с профессора Уильяма Резерфорда, чей громовой бас оглашал стены Эдинбургского университета, когда Дойл там учился, но назывались и другие имена, в том числе Бернард Шоу, человек весьма эксцентричный, и доктор Джордж Бадд.

Два других члена команды — суховатый, желчный зануда профессор Саммерли и лорд Джон Рокстон, путешественник и охотник (его прототипом, возможно, был сэр Роджер Кейсмент). Именно в его уста Дойл вложил одно из своих глубочайших убеждений: “Бывают случаи, голубчик, когда каждый из нас обязан стать на защиту человеческих прав и справедливости, чтобы не потерять уважения к самому себе”.

Преодолевая различные препятствия, четверо путешественников добираются до затерянного в Южной Америке плато, где “естественное развитие природных законов замедлилось”. Тут обитают птеродактили и игуанодоны, а также пещерные люди и свирепые человекообезьяны. Впрочем, даже в самые критические моменты оба профессора — Саммерли и Челленджер — не прекращают научных споров, горячо выясняя, кто же перед ними: птеродактили или все же диморфодоны.

Дойл оставался верен себе. Если он писал исторический роман, то максимально тщательно изучал документы той эпохи. Работая над “Затерянным миром”, он обратился к трудам известного зоолога Эдвина Рея Ланкастера, в частности к его сочинению “Вымершие животные”, опубликованному в 1905 году. Овладев терминологией и уловив суть, он дал волю фантазии, изобретательно создавая жутких, устрашающих монстров. Вот портреты некоторых из них: “гигантская быстроногая птица, много больше страуса, с шеей как у стервятника и хищной головой, которая делала ее похожей на смерть”; “токсодон — исполинская морская свинка с острыми торчащими клыками”; омерзительная “огромная жаба — с бородавчатой, точно изъеденной проказой мордой, измазанной кровью”.

“Затерянный мир” написан щедрыми красками, видно, что автор получал от работы истинное удовольствие. Он и впрямь каждый вечер читал Джин и гостям, которые в тот момент жили в доме, кусок, написанный накануне, и зачастую не мог удержаться от громкого хохота. Челленджер был ему, безусловно, милее Холмса, и он даже позировал фотографам, изображая профессора, нацепив бороду и накладные брови.

Под конец человекообезьяны захватили обоих профессоров и лорда Джона в плен (ему удалось бежать), причем с Челленджером они обращались бережно, оценив его поразительное сходство со своим вожаком. В результате кровопролитного сражения пленников освободили мужественный лорд Рокстон и отважный Мелоун, затем бравая четверка помогла местным краснокожим победить ужасных человекообезьян, и в итоге все благополучно вернулись на родину.

В Лондоне торжествующий Челленджер предъявил публике, битком набившейся в Куинс-Холл, настоящего живого птеродактиля. “Профессор Челленджер снял выдвижную крышку с ящика, заглянул внутрь и, прищелкнув несколько раз пальцами, сказал умильным голосом (в журналистской ложе были прекрасно слышны его слова): “Ну, выходи, малыш, выходи!” Послышалась какая-то возня, царапанье, и тут же вслед за этим невообразимо страшное, омерзительное существо вылезло из ящика и уселось на его краю. Даже неожиданное падение герцога Дархемского в оркестровую яму не отвлекло внимания пораженной ужасом публики”. В зале начался переполох, птеродактиль испугался, заметался и, прежде чем профессор Челленджер успел ухватить его за ноги, вылетел в окно.

Безусловно, между “Затерянным миром”, “Войной миров” Уэллса, “Путешествием к центру Земли” Ж. Верна или “Робинзоном Крузо” Д. Дефо есть известное сходство. Но ни о каких заимствованиях речь не идет. Дойл оказался превосходным мастером фантастики, замечательно остроумным и изобретательным. Зато его роман вызвал множество подражений и продолжений (одно из самых известных — роман Майкла Крайтона “Парк юрского периода”, экранизированный в 1994 году). Критика была в восторге, роман называли “потрясающим”, “захватывающим”, “самым ярким плодом воображения автора” и… “самым реалистичным”.

Эдвин Ланкастер был очень польщен, что его объемистый научный том вдохновил Конан Дойла на “совершенно изумительную” книгу, и послал ему поздравительную открытку, где выражал надежду, что последует продолжение: “Как вам нравится гигантская змея шестидесяти футов в длину? Или стадо слонов-пигмеев, высотой фута в два? Может быть, четыре путешественника выдрессируют птеродактиля-вегетарианца так, чтобы летать на нем, поодиночке конечно? А человеко-обезьяна может влюбиться в Челленджера и убить всех самцов-лидеров в своем племени, чтобы его спасти”.

Через месяц после публикации “Затерянного мира” научное сообщество потрясло ошеломляющее известие: найдено “недостающее звено” между обезьянами и людьми, обнаружены останки “пилтдаунского человека”! В карьере около деревушки Пилтдаун в Суссексе рабочий отрыл фрагмент черепа, который передал местному археологу-любителю Чарльзу Доусону. Тот установил, что костные остатки принадлежат древнему человеку, и принялся искать нижнюю челюсть, каковую вскоре и обнаружил в том же карьере. Доусон передал свою находку в Британский музей, где ее изучением занялся сэр Артур Смит Вудворт, хранитель геологического отдела музея. Тот пришел к выводу, что кости черепа характерны для человека, а челюсть — обезьяны. Останки были названы “эоантропом Доусона”, но более известны как “пилтдаунский человек”.

Вскоре после того как “Таймс” поместила заметку об этом открытии, Дойл приехал в Пилтдаун. Там он познакомился с Доусоном, который впоследствии рассказывал, что писатель очень интересовался раскопками.

В 1915 году всего в двух милях были обнаружены еще несколько фрагментов “пилтдаунского”

черепа, а также древние орудия труда и останки животных, предположительно того же времени. В числе многих научных гипотез была выдвинута и та, что человек впервые появился на территории Англии. Через год Доусон умер, но Артур Вудворт, яростный адепт “пилтдаунской” теории, провел еще двадцать лет в окрестностях деревни, занимаясь раскопками (из Британского музея он уволился). Однако больше ничего не нашел.

В 1953 году, к несказанному разочарованию британских палеонтологов, “пилтдаунский человек” был объявлен фальсификацией. Он оказался в буквальном смысле получеловеком, полуобезьяной: череп принадлежал средневековому человеку, а нижняя челюсть орангутану. Кости обработали специальным раствором, чтобы их “состарить”. Последующие несколько лет ушли на то, чтобы выявить и другие подделки, связанные с именем Доусона. Впрочем, доказать, что он действовал умышленно, не представлялось возможным. Конан Дойл также упоминался, и разоблачители не раз цитировали “Затерянный мир”.

Впервые предположение, что Дойл напрямую замешан в деле “пилтдаунского человека”, было высказано в журнале “Сайенс” в 1983 году американским ученым Джоном Уинслоу, впрочем не слишком убедительное. Уинслоу обосновал свое предположение тем, что Дойл “рыскал” в окрестностях Пилтдауна, что, как врач, он прекрасно знал анатомию и притом очень интересовался археологией, а как писатель — обладал отменной фантазией и, наконец, обожал розыгрыши и авантюры. А самое главное, имел зуб на британский научный истеблишмент.

Уинслоу отмечал, что в своей книге профессор Саммерли упоминает гастингские песчаники, где были найдены отпечатки динозавров, а Гастингс — неподалеку от Пилтдауна. Со своей стороны, Челленджер говорит о своем “одаренном друге” Ланкастере, который предсказал в 1906 году открытие “недостающего звена”. Очень подозрительно в этом контексте выглядит и язвительная реплика редактора новостного отдела, под чьим началом работает Мелоун: “Требуется лишь смекалка и некоторое знание предмета, и можно подделать все что угодно — и кости, и фотоснимки”.

Очевидно, что все доводы Уинслоу очень шатки, а его соображение, что, дескать, Дойл враждовал с британским научным сообществом, которое отвергало спиритуализм, и вовсе анахронизм: в 1912 году ни о какой вражде еще не было и речи, а Дойл скончался задолго до того, как были выдвинуты эти обвинения. Да и невозможно себе представить, чтобы человек с его представлениями о чести мог опуститься до глупой, заурядной фальсификации. Как бы то ни было, ни истинный автор подделки, ни “недостающее звено” так по сей день и не обнаружены.

В 1913 году вышла повесть “Отравленный пояс”, продолжение “Затерянного мира”. Герои вновь собираются вместе: Земля должна пройти через облако ядовитого эфира, который погубит все живое, и профессор Челленджер хочет отсрочить их общий конец. Для этого он заранее подготовил комнату в своем загородном доме, а друзей попросил захватить с собой кислородные баллоны. Смерти не миновать, уверен он, но они уйдут в царство мертвых последними. Однако человечество не погибло, люди лишь впали в сон, сутки проведя в состоянии каталепсии.

Таким образом, в творчестве Дойла возникла тема, его исключительно занимавшая: жизнь после смерти. Запертый в душной спальне, на пороге неминуемой гибели, Челленджер изменяет своему обычному резкому тону и нежно, возвышенно рассуждает о Природе, которая выстроила “дивные врата и завесила их множеством благоуханных, сверкающих покрывал, создавая вход в новую жизнь для наших странствующих душ”.

Рассуждения Челленджера о смерти отражают мысли самого Дойла, занесенные в его дневник: “Даже если допустить, что спиритуалисты правы, что это нам дает? Отвечает ли это на самый главный, первейший вопрос — является ли смерть концом всему? Представим себе Лондон, охваченный тем же безумием по поводу спиритуализма, каким он был недавно охвачен в связи с боксом. Все начнут поклоняться какому-нибудь медиуму, как поклонялись Джорджу Карпентеру. Что за ужас! Вакханалия безумия и мошенничества. Такой вспышки сумасшествия можно только страшиться”.

Некоторые читатели расценили “Отравленный пояс” в первую очередь как метафору, возможность автору высказать свои опасения насчет политических событий в Европе и все возраставшей германской угрозы. В начале 1913 года Дойл прочитал книгу генерала Фридриха фон Бернгарди “Германия и грядущая война”, сильно его поразившую: автор

настаивал, что Германия может и должна развязать войну, дабы обрести власть, которой она заслуживает, и что переговоры между великими державами бессмысленны.

В феврале в “Фортнайтли ревью” вышел резкий, яркий ответ Конан Дойла, где он обстоятельно опровергал соображения генерала касательно Англии: “Я готов оспорить все его утверждения. Но вопрос не в этом, возражать надо не против аргументов, а против того, к чему они могут привести. Вывод же таков: человек, имеющий немалый вес в Германии, принадлежащий к ее правящей верхушке, откровенно заявляет, что Германия нападет на нас в любой удобный для себя момент. Надо быть безумцами, чтобы не расценить это как самое серьезное предупреждение”.

“Германская угроза” была, безусловно, предметом общественной тревоги. Двумя годами ранее страну охватила паника, когда военно-морской министр заявил, что правительство недооценило возросшую мощь немецкого флота — тринадцать быстроходных, отлично вооруженных дредноутов будут завершены в 1911 году, силы Германии на море вскоре превзойдут силы Британии, чего никто и никогда не мог предвидеть.

В июле 1912 года Британия перебазировала свои линкоры из Средиземного моря в Северное в ответ на усиление там военно-морского присутствия Германии и провал англо-немецких переговоров по ограничению гонки вооружений. Дойл выдвинул теорию, казавшуюся тогда совершенно нереалистичной. Он уверял, что в грядущей европейской войне самую страшную угрозу для Британии будут представлять подводные лодки. В 1901 году Британия спустила на воду свою первую подлодку. Адмиралтейство поначалу возражало против их использования в военных целях. Но уже в 1904-м на флоте числились шесть субмарин, и уверенность командования в их надежности была столь высока, что даже принц Уэльский однажды совершил подводное путешествие по бухте Портсмута.

С самого начала Конан Дойл был убежден, что “этим смертоносным судам” предстоит играть главную роль в будущих войнах, и более всего тревожился, что они могут блокировать подходы к Британским островам: “Как отразится на снабжении островов провиантом стая субмарин, залегших в устье Ла-Манша и на выходе в Ирландское море, — я даже предполагать не берусь”.

Он предлагал оригинальнейшее решение проблемы — проложить туннель по дну Ла-Манша, который соединил бы Англию с Францией. “Дело это представляется мне столь важным, что я сожалею о каждом упущенном дне, о каждой минуте, способной приблизить нас к его реализации”. Он подсчитал, что туннель обошелся бы налогоплательщикам в пять миллионов фунтов, а на строительство потребовались бы три года. В мирное время его можно было бы использовать для туризма, а в военное не только для поставок продовольствия и оружия, но и для быстрой переброски войск с континента и обратно.

Идеи такого рода вообще были очень характерны для Дойла, но он не нашел поддержки ни у политиков, ни у военных специалистов, хотя была все же создана парламентская комиссия для изучения проекта “Туннель”. Но большинство разделяло мнение премьер-министра Герберта Асквита: “Вопрос, сумеем ли мы прокормить наш народ и по-прежнему спокойно плавать по Каналу, — фыркнул он, — имеет простой ответ: да, если у нас будет непобедимый флот и господство на море”.

Но Дойл не отступал. Он направил три меморандума: в военное министерство, в адмиралтейство и в Совет обороны империи. Он вел ожесточенную дискуссию на страницах “Таймс”, опровергая доводы противников туннеля, в частности тех, кто боялся, что в первые же дни войны немцы захватят его и используют для вторжения: “Идея захвата огромной страны через подземный лаз длиной в 26 миль и столько же футов шириной кажется мне абсолютно фантастической”. Неопровержимая логика…

Он выступал по этому поводу, где только мог, но безрезультатно. В июльском номере “Стрэнда” за 1914 год вышел откровенно пропагандистский рассказ Дойла “Опасность! По материалам бортового журнала капитана Джона Сайруса”, в котором вымышленная страна Норландия умудряется с помощью эскадры из восьми подлодок потопить столько торговых судов Британии, что там наступает голод. Командир эскадры капитан Сайрус заметил в этой связи: “Удивительно, как это практичные британцы не разглядели грозящей им опасности. Из года в год они тратили сотни миллионов фунтов на свою армию и флот… однако же, когда пришел час испытания, вся эта внушительная сила оказалась совершенно бесполезна. Если бы у них не было ни единого полка и ни одного броненосца, поражение было бы столь же быстрым”.

Автор явно стремился свести счеты с противниками своей теории. “Британия, — пишет в

судовом журнале Сайрус, — сможет использовать своих превосходных солдат на континенте, когда пророет туннель, но, пока туннеля нет, английских войск для Европы словно бы не существует. Моя родина оставалась в безопасности, но Британию я крепко взял за глотку. Поскольку четыре пятых ее продольствия составляет импорт, то теперь цены поднялись выше некуда. Закрома опустели, а пополнить их неоткуда". Из газет, которые он добывал с подбитых кораблей, капитан Сайрус знал, что в Британии начались общественные волнения, толпы голодающих возмущенно требовали у властей хлеба. А через несколько дней англичане были вынуждены пойти на мировую с Норландией.

Конан Дойл признавал, он писал рассказ не для развлечения читателей, а чтобы "привлечь внимание публики к величайшей опасности, нависшей над нашей страной". В том же номере "Стрэнда" были опубликованы мнения специалистов — крупных морских чинов и уважаемых экспертов. Большинство считали, что сюжет вполне фантастический, в духе Жюля Верна. "Бог создал Британию островом, — сказал адмирал сэр Уильям Кеннеди, — так пусть она островом остается!" Но все были согласны, что Дойл справедливо привлек внимание к проблеме снабжения страны продовольствием. Дуглас Оуэн, преподаватель военно-морского дела, затронул тему ответственности писателя: "Некоторым может показаться, что знаменитый автор приключенческих книг напрасно тратит свой талант, создавая произведение публицистического толка… я уверен, что он приносит величайшую пользу отечеству". Адмирал Пенроуз Фицджеральд раздраженно пропыхтел: "Я не предполагаю, что какая-нибудь цивилизованная нация способна торпедировать безоружный торговый корабль". Ему вторил адмирал Уильям Хендерсон: "Нет, ни один народ себе этого не позволит".

Менее года спустя, 7 мая 1915 года немецкая подлодка торпедировала и отправила на дно лайнер "Лузитания", пересекавший Атлантику. Погибли тысяча сто девяносто пять человек, а все иллюзии по поводу "цивилизованных" методов войны в XX веке окончательно развеялись.

Весной 1914 года Конан Дойл с женой приняли предложение канадского правительства посетить национальный парк Джаспер, расположенный на восточных склонах Скалистых гор. Оставив троих детей на попечение няни и близкой подруги Джин по имени Лили Лодер-Саймондс, 20 мая они отплыли из Саутгемптона на борту лайнера "Олимпик" судоходной компании "Уайт Стар", которой принадлежали и "Титаник", и "Британник". Коротая время в дороге, Дойл записывал смешные фразы и обрывки разговоров со своими попутчиками. Он отлично схватывал чужую манеру разговора, и получались емкие словесные портреты.

Дойлу нравилась Америка, ее оптимизм и самоуверенность, а он, в свою очередь, нравился американцам. Их восхищало его грубоватое обаяние старомодного джентльмена, его любовь к спорту и приверженность честной игре, готовность бороться с несправедливостью. Перед отъездом он сообщил репортеру "Нью-Йорк Американ": "Я убежден, что Соединенные Штаты — страна, которой уготована самая замечательная судьба, какую только видел мир".

Он долго лелеял надежду, что Соединенные Штаты и Соединенное Королевство образуют союз. Уже в 1892 году он вложил эту мысль в уста Холмсу в рассказе "Приключение благородного холостяка": "… всегда приятно видеть американца, мистер Маултон, ибо я один из тех, кто верит: недальновидность монарха и заблуждения министров не помешают нашим потомкам стать однажды гражданами единой мировой державы — под общим флагом".

Когда "Олимпик" вошел в Гудзон, знаменитый детектив Уильям Бернс, который недавно создал "Международное агентство У. Бернса", воспользовавшись таможенным катером, поднялся на борт, чтобы поприветствовать Дойла. Человек деловой и хваткий, он отлично чувствовал веяние времени и быстро стал публичной фигурой. Его даже окрестили "Шерлоком Холмсом Америки". Годом ранее он приезжал в Британию и провел приятный уик-энд в Уиндлшеме. Возможно, именно воспоминания Бернса о тех днях, когда он был частным детективом, натолкнули Дойла на некоторые идеи романа "Долина ужаса", где фигурирует знаменитое агентство Пинкертона, сражающееся с преступными бандами Пенсильвании (1915).

Джин Конан Дойл вела путевой дневник, из которого видно, что она наслаждалась всем происходящим. 27 мая она пишет: "Прибыли в Нью-Йорк рано утром, около восьми.

Толпы репортеров поднялись на корабль и окружили Артура, фотографировали его и меня! Мистер Бернс, великий детектив, явился нас поприветствовать. Много народу столпилось на причале. Грандиозный прием. Весь день у нас в номере звонил телефон, приходили журналисты и брали интервью у А. и у меня!.. Нью-Йорк произвел на меня огромное впечатление, мне так нравятся здешние жители…" И отдельно о женщинах: "Американки

очаровательны. Они так изящны! Думаю, больше нигде нет таких элегантных женщин. Я везде это подмечаю: продавщицы не менее элегантны, чем дамы, которых видишь в театре и в фешенебельном отеле”.

Американские газеты интересовались мнением Дойла обо всех животрепещущих вопросах, в том числе и об избирательном праве для женщин. Борьба женщин Британии за свои права стала предметом пристального внимания прессы всего мира, но, хотя Дойл принимал активное участие в реформе закона о разводах, к суфражисткам он относился с неприязнью, главным образом потому, что они вели себя крайне необузданно.

Воинствующие дамы разбивали витрины магазинов, сражались с полицией — в ход шли шляпные булавки и зонтики, не брезговали поджогами и взрывами, писали на зданиях “Женщинам — право голоса!”. В тюрьмах они устраивали голодовки, а власти в ответ применяли жестокую меру: насильно кормили их через стальные трубки. В феврале 1913 года Эммелин Панкхерст гордо заявила на суде, что берет ответственность за “партизанские действия” (по сути, за терроризм) и будет сражаться до конца. В июне того же года Эмили Дэвисон бросилась под копыта беговой лошади короля Георга на скачках в Эпсоне, отчего и скончалась, — ее похороны вылились в настоящую демонстрацию суфражисток. В ноябре эти фурии дали полиции решительный бой у здания парламента; двести из них были арестованы. “Таймс” назвала их “обезумевшими животными”.

Конан Дойл был человек заметный и публичный, действия суфражисток он откровенно осуждал, а потому стал предметом их ненависти. Ему писали злобные письма, угрожали и даже лили серную кислоту в ящик для писем, после чего у ворот Уиндлшема какое-то время даже дежурил полисмен.

Дойл полагал, что женщины не могут претендовать на право голоса, коль скоро они не платят налогов, а кроме того, очень сомневался, что большинство женщин, исключая горстку оголтелых, так уж сильно интересуются политикой. Его собственная обожаемая супруга не имела желания голосовать, а его равно обожаемая мать доказала, и весьма убедительно, что женщина способна добиться своего и без помощи законодательства. Выиграли бы они обе, имей право голосовать? Нет. Дойл полагал, что движение суфражисток — скорее путь к социальному хаосу, чем к равноправию полов.

Не в его обычае было утаивать свое мнение, а потому он открыто изложил его в беседе с нью-йоркскими журналистами. И упомянул, что нерешительность британских властей может обернуться против самих же суфражисток — они дождутся, что толпа разрешит проблему с присущей ей жестокостью, и дело кончится самосудом.

Заголовки утренних газет привели его в негодование: “Шерлок ждет суда Линча над озверевшими женщинами” (“Нью-Йорк уорлд”); “Линчевание — лекарство от Конан Дойла” (“Нью-Йорк мейл”); “Конан Дойл: пусть умирают от своих голодовок” (“Нью-Йорк Американ”). Он попытался исправить положение в интервью “Нью-Йорк глоб”: “Честно говоря, это нечто ужасающее. Нельзя же так извращать смысл сказанного. Некоторые мои близкие друзья причисляют себя к сторонникам суфражизма, и что же они теперь станут обо мне думать? Ведь все это пойдет по телеграфу прямиком в Лондон, где живо интересуются всем, что происходит в Америке… Меня поставили в крайне неловкое положение — как будто я решился здесь высказать то, на что не отваживался дома”.

Через день после приезда их повели на экскурсию по городу. “Артур и я поднимались на здание Вулворта — 59 этажей! — писала Джин в своем дневнике. — Сверху открывается поразительный вид. Артур был в тюрьме Тумс, а потом на ланче в “Клубе первых колонистов”. Все знаменитости собрались на этом приеме… Артур произнес замечательную речь — очень многие мне потом об этом говорили. Мы ездили на Фондовую биржу, зрелище захватывающее — все ужасно громко кричат. Артура очень часто узнают в лицо”. И впрямь, слава его была велика. Например, в тот же вечер на приеме Дойл искренно развеселился, когда бывший посол США в Лондоне Джозеф Хоут представил его собравшимся как “самого известного современного британца”.

Побывал он и в печально знаменитой тюрьме Синг-Синг на берегу Гудзона. В тот день узники “получили подарок”, один из немногих в году: собравшись в большом зале, они смотрели выступления артистов мюзик-холла Нью-Йорка. “Бедняги, все это вымученное, вульгарное веселье, эти песенки и кривлянье полуголых женщины, должно быть, вызвали у них невероятный отклик! У многих, как я заметил, явные деформации лица и черепа, так что они, конечно, не могут нести полную ответственность за свои действия”. Потом он посидел на “электрическом стуле”, который, по его словам, был “совершенно обычный, крепкий, с плетеным сиденьем и множеством зловещих проводов, свисающих со всех сторон”. Еще его

заперли в камере — семь футов на четыре (два метра на метр двадцать). “Там я провел самые тихие минуты в Нью-Йорке, это был единственный шанс спастись от репортеров”.

Шутки шутками, а тюрьма произвела на него самое мрачное впечатление, и он сообщил газетчикам, что ее “следует снести”. “Это просто позор, что у такого могучего, великого государства тюрьма, устаревшая уже сто лет назад”. Тут же вышли газеты с броскими заголовками: “Конан Дойл хотел бы сжечь Синг-Синг дотла!”

Сказал он и о том, что, как ему кажется, по меньшей мере треть заключенных нуждаются скорее в медицинском, нежели тюремном надзоре, но при этом дал понять, что закоренелых преступников, конечно, надо навсегда изолировать от общества.

Во вторник, 2 июня Дойлы отправились в Канаду в личном вагоне президента Главной канадской железной дороги, который он предоставил в их распоряжение. “Вагон восхитительный, — писала в дневнике Джин. — В одном конце гостиная с диваном и четырьмя креслами, два столика с драпировками и скамеечками для ног, а еще спидометр. Четыре больших окна, еще два в конце вагона и дверь со стеклом. Когда она открыта, можно поставить противомоскитную сетку — и прохладно, и мошек нет. У нас у каждого своя уютная каюта, я так их называю, с широкой постелью, умывальником, стулом и мини-гардеробом с ящиком. Между нашими каютами дверь. Есть еще прелестная обеденная комнатка, там посреди стола большая ваза с цветами. Когда мы вошли, завтрак был уже подан…” Среда, 3 июня: “Форт Уильяма Генри… Изумительные пейзажи за окном. Мы едем вдоль озера Шамплейн, которое 100 миль в длину и в одном месте около 12 миль в ширину. Мой дорогой сегодня весь день отдыхает — он такой нежный и добрый. Только что сказал, что теряет голову, когда я рядом! Ни один мужчина никого так не любил и не проявлял этого на каждом шагу и во всех отношениях…”

Из Монреаля Дойлы доехали в своем вагоне до Виннипега, а затем в Эдмонтон, где Джин записала: “Вчера Артур сказал, что я самый замечательный товарищ, что у него не было ни одной мрачной или серой минутки с тех пор, как мы отправились в это путешествие из Англии”. Джин обожала комплименты и купалась в лучах славы мужа, наслаждаясь вниманием прессы. Вдали от дома и детей, путешествуя с комфортом, она впервые ощутила, что значит настоящая известность, и ей это очень понравилось.

Дойл неутомимо всем восхищался, произносил речи, общался с газетчиками и охотно позировал фотографам. Однако в письме к Иннесу, отправленном из Виннипега, он честно признался, что не в восторге от Канады, и непрерывное путешествие “порядком его потрепало”: “Мой дорогой мальчик, мы тащимся по старому следу, и ничего интересного в этом нет. Второй раз я в Канаду ехать не захочу. Их клубы и газеты наводят скуку, все грубо, некультурно, и никакой истории (кроме как на Востоке), а природа недобрая”.

Впрочем, читая воспоминания Дойла, ни за что не догадаешься, что Канада его разочаровала. Он, например, восхищается Скалистыми горами и говорит, что они покорили его с первого взгляда: “Полоса низких гор вдали обрывала бесконечную равнину, которая тянется без сколько-нибудь заметного подъема полторы тысячи миль. Над горами тут и там возвышаются снежные вершины. Тени героев Майн Рида бродят по этим горам. Да, это они, мои Скалистые горы! Бывал ли я здесь прежде? Что за странный вопрос? Я прожил здесь десять лет, это земля моей мечты. Каких только подвигов я не совершил здесь, среди краснокожих и трапперов, скольких гризли я повстречал в этих диких лесах! И вот они сверкают под утренним солнцем. Что ж, я увидел горы своей мечты. Не многим мальчишкам это удалось”.

Джин вдохновляли куда менее романтичные вещи. В среду, 24 июня, она пишет в дневнике: “Мы приехали в Форт-Уильям в 1.30, нас встретили несколько человек, в том числе мэр города. С ним мы осмотрели окрестности на его автомобиле. Предместья Форт-Уильяма очень красивы. Артур купил земельный участок с маленьким деревянным домом на одной из главных улиц, это очень выгодное вложение. В вагон вернулись в 6.30, и тут пришли две местные дамы, пожелавшие видеть Артура. Потом мы пообедали и легли спать. Всю ночь вагон стоял на станции, а рано утром его прицепили к поезду”.

Джин ни словом не упоминает о событиях, которые разворачивались в Европе, а события, как известно, были судьбоносные. 28 июня наследник австро-венгерского трона эрцгерцог Франц-Фердинанд погиб в Сараеве — его застрелил девятнадцатилетний сербский террорист Гаврило Принцип. По Европе прокатилась волна ужаса и негодования. В Вене студенты устроили антисербскую демонстрацию, а министр иностранных дел Леопольд фон Берхтольд сказал, что “теперь мы сведем счеты с Сербией, пора разорить это осиное гнездо!”, невзирая на то, что

такие заявления могли спровоцировать “осложнения”.

Вернувшись в Англию, Дойл понял, что мир неудержимо катится к войне. 5 июля, когда Дойлы еще плыли домой, кайзер Вильгельм II подтвердил военный союз с Австрией. 23 июля австрийское правительство предъявило Сербии ультиматум с заведомо невыполнимыми условиями. На ответ было дано 48 часов. Затем события развивались стремительно. Сербия отвергла ультиматум Австро-Венгрии и объявила мобилизацию. Российский император предупредил Германию, что Россия не останется в стороне, если Сербия будет оккупирована. 28 июля Австрия объявила Сербии войну. Попытки Британии выступить в роли посредника кайзер отверг как “дерзкие”.

1 августа Германия объявила войну России, 3 августа — Франции, а 4 августа Британская империя объявила войну Германии. Едва распространилась эта новость, как оживленные толпы стали стекаться на Даунинг-стрит и к Букингемскому дворцу, где записывали добровольцев на фронт: надо торопиться, а то ведь война к Рождеству закончится, говорили друг другу молодые люди.

Еще в Канаде Дойл признавал, что у него было “предчувствие надвигающихся бед”, но он и подумать не мог, что война уже на пороге. По иронии судьбы, 29 июня, на другой день после убийства эрцгерцога, палата общин должна была обсуждать проект Конан Дойла о туннеле под Ла-Маншем.

Глава 18

Великая война

В ДЕНЬ, КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА, ДОЙЛ ПОЛУЧИЛ письмо от местного водопроводчика мистера Гольдсмита: “В Кроуборо есть ощущение, что надо что-то делать”. С этим Дойл был всей душой согласен. Он давно считал, что следует организовать отряды самообороны из гражданского населения, а потому сел и немедленно написал листовку с воззванием. Листовки тут же были развешаны по всей округе. Они призывали всех, кому это интересно, явиться на собрание в тот же вечер.

Собрание состоится сегодня, 4 августа, в “Оддфелоуз-Холл”.

Тема: формирование местного отряда или отрядов, где можно будет пройти строевую подготовку и получить боевые навыки, чтобы послужить своей стране в трудное время.

Сэр А. Конан Дойл откроет собрание в 8.30.

Народа пришло немало. Дойл изложил свои соображения: каждому, уверял он, найдется дело, каждому из нас, кто способен держать в руках оружие. Он же первым записался в отряд, который деревенская община решила назвать “Добровольческий запасной полк Кроуборо”, а затем его примеру последовали еще 173 человека. На следующий день были решены основные организационные моменты, и отряд приступил к ежедневным занятиям.

Дойл счел нужным поставить военное министерство в известность и получить официальное разрешение. Кроме того, он подчеркнул, что ни один человек, годный для прохождения действительной воинской службы, в отряд принят не будет. Затем написал статью в “Таймс”, где рассказал о созданном в Кроуборо подразделении и подчеркнул, что, если в других районах жители создадут нечто похожее, это станет отличным резервом для армии. Он добавил, что с радостью поделится материалами, планами и руководствами. Отклик превзошел все мыслимые ожидания: Дойл получил около 1200 заявок из разных городов и деревень с просьбой выслать подробную информацию.

Но вскоре военное министерство забило тревогу — как это, люди тысячами собираются в вооруженные отряды, а никакого руководящего центра у них нет? — и издало категорический приказ: “Немедленно распустить все нерегулярные соединения”. Но в целом, однако, идею признали дельной, а потому был создан комитет, куда вошел и Конан Дойл. И вскоре возникла Добровольческая армия. Отряд Кроуборо теперь именовался Кроуборской ротой шестого Королевского суссекского добровольческого полка.

На протяжении всех четырех лет войны Дойл оставался рядовым Кроуборской роты, с готовностью участвовал в марш-бросках, регулярных занятиях и стоял на посту. “Наша строевая подготовка и дисциплина были превосходны, получив винтовки и штыки, мы быстро научились с ними обращаться, да и на маршах держались очень неплохо, если учесть, что многим было за пятьдесят, а некоторым и за шестьдесят лет. Дойти от Кроуборо до Фрэнта с оружием и полной выкладкой было для нас обычным делом. Там мы целый час занимались строевой подготовкой на вязком заболоченном поле, а затем маршем обратно — всю дорогу с песней. А это добрых четырнадцать миль, не считая занятий в поле”. Ему доставляло живейшее удовольствие быть “одним из наших парней”, и он просто наслаждался, когда какой-нибудь офицер, нагрянувший с проверкой, вдруг понимал, что здоровенный правофланговый рядовой, не кто иной, как автор Шерлока Холмса!

Но ему этого было мало. Впрочем, зная Дойла, не приходится удивляться, что он, несмотря на свои пятьдесят пять лет, решил записаться в регулярную армию. И его секретарь Вуди, и Иннес, который временно командовал 3-й Даремской бригадой полевой артиллерии в чине подполковника, всячески его от этого отговаривали. Зная его, не приходится удивляться и тому, что он не мог упустить “замечательные впечатления”, которых можно набраться на войне, — заблуждение, присущее многим его юным соотечественникам. “Дружище, — писал он брату 28 августа, — Вуди думает о моих намерениях то же, что и ты, но вы меня не убедили. Холодный голос рассудка говорит мне, что вы оба, несомненно, правы. Но у меня всего одна жизнь, а это — грандиозный шанс приобрести замечательные впечатления, да к тому же мой пример может повлиять и на кого-то еще. Это сильнейшее искушение. Когда приходит беда, невозможно оставаться в стороне. Твой нежно любящий А”.

В итоге он поддался-таки искушению и подал официальное прошение в военное министерство, где указывал все свои заслуги и среди прочих своих преимуществ называл, как ни забавно, зычный голос: “Смею думать, что имя мое достаточно широко известно, и, если я пройду

комиссию, несмотря на свой возраст, это может возыметь положительный эффект на остальных. Я могу обучать солдат — я делаю это каждый вечер. У меня есть опыт участия в боевых операциях, я был военным хирургом в Южной Африке. Мне пятьдесят пять лет, но я силен и выносliв, и у меня замечательно громкий голос, так что его слышно очень далеко, что может быть полезно на учениях. Если вы примете мое заявление, то я предпочел бы полк, набранный в Южной Англии, — лучше всего в Суссексе. С уважением, Артур Конан Дойл".

Через несколько дней его прошение было вежливо отклонено.

С фронта приходили неутешительные известия. Немцы оккупировали большую часть Бельгии, вынудив отступить Британский экспедиционный корпус и части французской армии, а российские войска потерпели сокрушительное поражение в Восточной Пруссии, в битве при Танненберге, где в ходе четырехдневных боев понесли тяжелые потери.

Первой жертвой войны в семье Дойла стал капитан Малькольм Лекки, который проходил службу в Королевском медицинском корпусе. Тяжело раненный, он продолжал оказывать помощь своим боевым товарищам, но через четыре дня скончался, и посмертно был награжден орденом "За боевые заслуги".

Что ж, коль скоро на действительную службу его не взяли, Дойл решил, что может обратить свое перо против врага, и написал тридцатидвухстраничный пропагандистский памфлет "К оружию!", который вышел уже в августе. "Вся наша жизнь, — писал он, — была подготовкой к этому великому моменту".

Если прежде Дойл относился к Германии очень хорошо, то теперь он утверждал, что немцы — люди малокультурные, совершенно неразвитые в "духовном и интеллектуальном смысле". Он теперь напрочь игнорировал то, что книги немецких философов, писателей и ученых были неотъемлемой частью любой библиотеки, включая и его собственную; или, например, что первым нобелевским лауреатом по физике был немец. Он уверял, что немцы всегда относились к британцам с затаенной ненавистью. Словом, памфлет этот был чисто пропагандистским, не слишком объективным и показал, что Дойл порой видит мир лишь в черно-белом цвете.

Но как бы то ни было, памфлет, с легкой руки Ф.Е. Смита, члена парламента от партии консерваторов, — он снабдил брошюру своим предисловием, — разошелся огромным тиражом в Британии, США, Дании, Голландии и Аргентине. Дойл также предложил переработать издание, специально для немцев, чтобы они осознали свои ошибки и поняли, что дело их неправое. Непонятно было только, как быть с проблемой распространения этого опуса.

Очень скоро выяснилось, что опасения Дойла касательно немецких подлодок были ничуть не преувеличены. 22 сентября 1914 года немецкая подводная лодка U-9 потопила три британских крейсера "Абукир", "Кресси" и "Хог", которые несли дозор в Ла-Манше между устьем Темзы и голландским побережьем. На то, чтобы отправить ко дну 1459 человек и три военных корабля лодке с экипажем в 28 человек понадобился один час! "Молодой немецкий лейтенант и два десятка моряков погубили столько британцев, сколько пало в Трафальгарскую битву!" — с болью воскликнул Конан Дойл. Он тут же развернул кампанию в прессе ("Дейли кроникл" и "Дейли мейл") за то, чтобы снабдить моряков спасательными жилетами, что, конечно, могло бы предотвратить многие жертвы. "Это хотя бы позволит беднягам продержаться на воде, пока не придет подмога". Его влияние в обществе было столь велико, что адмиралтейство издало указ — приобрести 250 000 спасательных жилетов, со временем ставших обязательным снаряжением на флоте. "Дейли телеграф" писала в этой связи, что "флот должен благодарить сэра Артура Конан Дойла за новую экипировку, благодаря которой было спасено столько жизней".

Но Дойл не собирался почивать на лаврах. Он обратил внимание на то, что деревянные шлюпки легко горят, и предложил заменить их надувными каучуковыми лодками, к тому же более компактными. Какой толк от спасательных кругов и жилетов, если "они лишь продлевают агонию" в холодной воде? В "Дейли мэйл" он опубликовал заметку, где говорилось: "Мы можем жертвовать кораблями, заменяя их другими, но мы не можем жертвовать людьми. Мы должны спасать их. Сейчас нет более насущной задачи. Мы сумеем сохранить душевное спокойствие, только если у экипажей кораблей будет достаточно шансов на спасение".

Он был один из немногих общественных деятелей, кто настолько реалистично относился к своей деятельности, что называл ее "агитацией". "Конечным итогом моей агитации стала выдача спасательных кругов и жилетов, а также (хочется в это верить) оснащение кораблей более надежными шлюпками. Стоит ли говорить, что я не дождался ни слова признательности

от правительства. Но если какой-нибудь бедняга моряк, борясь с волнами, поблагодарил меня в душе, это лучшее, чего я желал бы. Ничто так не удручало меня в эту войну, как мысли о беспомощном положении отважных людей, которых приносили в жертву, когда так нетрудно было бы их спасти”.

Но не все его идеи были поддержаны военным министерством. Так, например, он предложил спускать шлюпки на воду до начала сражений, а также снабдить солдат бронежилетами, о чем писал еще во время Бурской войны. “Мне всегда казалось поразительным: ведь известны тысячи случаев, когда карманная Библия, портсигар, часы и прочие предметы спасали людей от осколков и пуль, — так почему бы не создать надежное средство защиты, вместо того чтобы уповать на счастливую случайность?”

Дойл привлек к сотрудничеству Герберта Фруда, фабриканта из Дербишира, и были созданы пробные образцы жилетов, которые успешно прошли испытания. Реакция была самая идиотская: фельдмаршал Дуглас Хейг, например, написал в своем отчете, что только трусы станут их надевать. А ведь возможно, они спасли бы жизнь родственникам самого Дойла, погибшим в ту войну: его двадцатилетнему племяннику Оскару Хорнунгу, павшему в сражениях на Ипре в 1915 году; его зятю Лесли Олдхему, мужу Лотти, погибшему спустя три недели. Смерть Оскара Конан Дойл воспринял особенно болезненно: в начале войны он обратился к дяде с просьбой, чтобы тот поспособствовал его зачислению в армию. “Я хочу только одного, — писал юноша, — попасть на фронт”.

У близкой подруги Джин Лили Лодер-Саймондс, которая жила вместе с Дойлами, на Ипре погибли трое братьев, еще один скончался в результате несчастного случая, а пятого ранили и взяли в плен.

Одним из немногих приятных событий той поры была публикация в “Стрэнде” повести “Долина страха”, где вновь фигурировал Шерлок Холмс. Она была встречена очень хорошо, и “Таймс” писала, что “перо Конан Дойла помогает нам хоть на пару часов забыть о войне”.

Строго говоря, “Долина страха” — это две повести, тесно между собой связанные. Первая, “Трагедия в Бирлстоуне”, представляет собой классический детектив, убийство в “закрытой комнате”. Вторая часть, “Чистильщики”, рассказывает предысторию, перенося читателей в Пенсильванию. Шерлок Холмс там почти не фигурировал, что немало огорчило публику.

Отсылая Гринхоу-Смиту повесть, Дойл сообщил ему, что это его “лебединая песня в жанре прозы”. Тот очень встревожился и попросил объяснить, что автор, собственно, имеет в виду. Дойл ответил, что финансово он вполне обеспечен и отныне может целиком посвятить себя историческим изысканиям. И в полном соответствии со своими замыслами приступил к масштабному проекту — истории Первой мировой войны, которая между тем была еще далеко не закончена.

Уже в 1914 году он вступил в оживленную переписку с высокопоставленными генералами и попросил их снабжать его свидетельствами очевидцев, документами, письмами и отчетами и рапортами любого рода. Вскоре несколько влиятельных военачальников выразили согласие сотрудничать с именитым автором. Он пишет об этом Иннесу, который тогда был во Франции и тоже поставлял брату информацию: “У меня руки так и чешутся писать историю этой войны. Мне крупно повезло, между нами говоря. Я получил доступ к дневникам генерала Смита-Дориена, обещают, что получу и записи Хейга. Добавь сюда такой источник, как генерал Бальфин, и ты поймешь, что я буду очень неплохо информирован. Я сделаю ценную вещь, которая, возможно, станет моим Magnum opus, моим главным произведением. Горжусь, что могу быть летописцем этой войны. Здесь нельзя рассчитывать на абсолютную точность, но, надеюсь, она будет правдива и интересна…”

Все перечисленные Дойлом генералы занимали ключевые посты в британской армии, и понятно, что сотрудничество с ними вдохновляло Дойла. Но он отнюдь не ограничился этим. Под конец войны он состоял в переписке с пятьюдесятью крупными армейскими чинами, и ежедневно почтальон приносил ему не менее пяти писем от них. Офицер Генерального штаба снабжал его рапортами и выписками из отчетов, что было согласовано с военным министерством. Впрочем, ему было отказано в доступе к официальным архивам, более того, начальник военной разведки был извещен, что Дойл пытается заполучить секретную информацию от высшего офицерства. Сэр Джон Френч, командующий Британским экспедиционным корпусом, которому Дойл намеревался посвятить первый том своей истории, поначалу дал на это согласие, но потом передумал. Его личный секретарь сообщил Дойлу *го* мая 1915 года, что военный цензор считает публикацию книги “нежелательной”, а потому

“если она выйдет в печать, то посвящение следует убрать”.

Но Дойл не обращал внимания на препоны и усердно работал, убежденный, что трудится на благо отечества. Одна из служанок в Уиндлшеме, Кейт Пайн, вспоминала, что он вставал в шесть утра и сразу брался за перо. “Мы не смели тревожить его, никто к нему не заходил, а еду оставляли снаружи, у дверей в кабинет, на маленьком столике. Мы приносили ее и тихонько стучали к нему. Иногда он отвечал “Да, спасибо!”, а иногда никакого ответа не было”.

Все сведения, стекавшиеся к нему из разных источников, Дойл скрупулезно проверял, на что уходило немало сил и времени. Вот ответ на его запрос, который пришел из Парижа: “Будьте осторожны, используя эти данные. Здесь, похоже, была допущена тактическая ошибка… не будем забывать и о руководстве”. Его корреспонденты были зачастую куда более откровенны с ним, чем с коллегами, и позволяли себе жаловаться на глупость и просчеты начальства.

В феврале 1915 года в “Таймс” вышла статья, написанная по материалам германской прессы, из которой следовало, что его пропагандистский рассказ “Опасность!” был взят немцами на вооружение, и атаки немецких подводных лодок проходили по сценарию, предложенному Дойлом; более того, что именно оттуда они почерпнули идею топить все британские торговые суда, вошедшие в немецкие воды, что и было закреплено в приказе от 18 февраля того года. Пришлось немедленно публиковать опровержение: “Стоит ли говорить, как мне больно думать, что написанное мною враг использовал против моей страны. Я писал свой рассказ, предупреждая об опасности, и объяснял, как ее можно избежать”.

Он становился нетерпим, а порой и откровенно жесток. В дешевом пропагандистском издании уверял, что немцы — “нация убийц”; утверждал, что отношения двух стран порушены навеки: “Никогда более ни один немец не будет желанным гостем на нашей земле. Ни один наш студент не поедет в Дрезден учиться музыке, а в Лейпциг или Мюнхен — искусству… Глубочайшая пропасть пролегла между нашими народами…” Узнав, что сестру Красного Креста Эдит Кавелл расстреляли за организацию побега солдат союзников в Голландию, он тут же предложил расстрелять в ответ троих немецких высокопоставленных военнопленных. Его принцип был прост: око за око. А потому — расстрелять всех пленных немецких летчиков, “ибо это единственный аргумент, который понятен их командованию”.

Что ж, он имел возможность произнести вслух то, о чем думали миллионы его соотечественников. Его мысли ничем не отличались от их — люди были в ужасе от того, что творили немцы. Давно уже рухнули радужные иллюзии, что война закончится к Рождеству. Враг оказался силен и беспощаден, и Дойл лишь напоминал согражданам, что война идет не на жизнь, а на смерть.

Леди Конан Дойл тоже старалась быть полезной отечеству. Неподалеку от Уиндлшема она организовала приют для бельгийских беженцев, а ее муж отдал целый флигель в распоряжение солдат и раз в неделю устраивал обед для канадских офицеров. Кроме того, семейный рацион был урезан на четверть — прислуги, впрочем, это не коснулось.

Мэри пошла работать на фабрику, которая выпускала армейское обмундирование, а Кингсли, признавшийся ей, что не в силах нарушить клятву Гиппократа и убивать людей, вскоре поступил в Лондонский медицинский корпус, рядовым. Его отправили водителем на Мальту, где был дислоцирован госпиталь на 25 000 коек.

Конан Дойл, несомненно, считал, что сын его должен быть на фронте, вместе со сверстниками. Убеждения сына он полагал “полубезумными причудами”. В письмах к Иннесу он признавался: “Я никогда не чувствовал, что хорошо знаю его, он живет за очень плотной маской, и все его истинные интересы и мысли спрятаны от меня. Но я уверен, что это добрые мысли. Его единственный недостаток — редкостная скрытность”.

Проведя на Мальте год, Кингсли отказался от прежних убеждений и считал теперь, что никто не должен сражаться и умирать вместо него. Неизвестно, знал ли он, что отец его осуждает, и повлияло ли это на его решение, но, к вящему одобрению Конан Дойла, в апреле 1916 года он оказался во Франции, в действующей армии. Дойл об этом с радостью известил Гринхоу-Смита в бодром патриотическом письме: мол, пусть дадут добровольцам поучаствовать в сражениях, ведь эти войска набраны из “самого качественного английского материала”. В своих воспоминаниях он ни словом не обмолвился, что поначалу его сын вступил в нестроевые части, и с гордостью говорил, что тот был “солдат — изначально, до конца, на все времена”.

Вскоре после того, как Кингсли отправился воевать во Францию, стало известно, что Конан

Дойла “пригласили” на итальянский фронт в качестве независимого британского обозревателя. На самом деле он сам организовал это “приглашение”.

После того как итальянские войска были резко раскритикованы за то, что оставили Трентино в мае 1916 года, не выдержав мощного натиска австрийцев, Дойл связался с министерством иностранных дел и предложил написать доброжелательную статью об итальянцах, если ему при этом позволят побывать и на других фронтах, чтобы он сумел составить беспристрастный отчет. При этом он хотел, чтобы все было оформлено официально, приказом, чтобы другим корреспондентам, имевшим на то не меньше прав, не было обидно, и никто не мог бы сказать, что известный автор пользуется своим положением.

Из министерства ему ответили, что в таком случае придется надеть военную форму, на что он гордо сообщил: “Она у меня есть, я рядовой Кроуборской роты Шестого Королевского суссекского добровольческого полка”. Это не произвело должного впечатления, и ему мягко указали, что для такой миссии нужен офицер. Что ж, предложил он, воспользуемся моим почетным званием заместителя лорд-лейтенанта в Суррее, пожалованным мне вместе с рыцарским титулом в 1902 году, изобретем подходящую форму. В итоге портной изготовил мундир, на котором были удивительные знаки отличия: “нечто среднее между полковником и бригадиром, с серебрянными розами вместо звезд на погонах”. Заодно сшили такие же мундирчики для семилетнего Дэниса и пятилетнего Адриана, и вся компания сфотографировалась в обновках во дворе Уиндлшема.

Он отплыл во Францию на борту эскадренного миноносца в обществе генерала сэра Уильяма Робертсона и других высокопоставленных военачальников. Форма его имела немалый успех. “Почти все офицеры интересовались моими серебряными розами, особенно союзники. Лорд-лейтенант в Британии — это не бог весть что, но если перевести на французский — во всяком случае, на мой французский, — то получается очень внушительно. На меня взирали с огромным почтением: большой человек, в уникальном мундире!”

Его снабдили противогазом и каской, после чего он совершил вылазку на передовую, где осмотрел траншеи и был очень впечатлен “удивительной деловитостью” и “веселой храбростью” солдат. Всего в ста пятидесяти метрах были немецкие укрепления, перед которыми тянулась колючая проволока, и Дойла поразило, насколько спокойно бойцы относились к тому, что противник всего в двух шагах: “Кто бы мог подумать, глядя на их беззаботные лица, что здесь передовая, что мы на фронте и немцы, как стальная волна, могут в любой момент захлестнуть в атаке наши окопы?”

Ему удалось повидаться с братом. Подполковник Иннес Дойл был адъютантом командира 24-й дивизии, расквартированной в Байоле. После обеда братья направились на передовую. “Мне не с чем это сравнить — разве что с огромной железнодорожной станцией, растянувшейся на десять миль, где работа, несмотря на ночное время, кипит вовсю, все семафоры горят, качаются на ветру фонари, грохочут вагоны и шипят паровозы… Никогда не забыть мне этой зловещей, бесконечной суеты в свете мигающих огней, красных вспышек и страшных громовых раскатов — там, где бушевала смерть”.

Возможность повидаться с отцом предоставил Кингсли генерал Хейг, и Дойл взял у него интервью, позже писатель успешно использовал его в своей книге. Впоследствии Дойл узнал, что перед кровопролитным сражением на Сомме Кингсли десять раз совершил ночные вылазки на “ничейную землю” и пометил белыми крестами немецкие траншеи, на которые могла бы ориентироваться артиллерия союзников. Потери британцев были велики: 58 000 были ранены, из них каждый третий умер. 1 июля 1916 года, в первый день битвы, Кингсли был ранен шрапнелью в шею и два месяца провел в госпитале.

С Соммы Дойл отправился в Париж, а оттуда на итальянский фронт. Он надеялся попасть на передовую, но ему “мягко, однако решительно отказали”. По дороге в Монфальконе, небольшой городок, незадолго до того освобожденный от австрияков, открытая машина, в которой Дойл ехал вместе с сопровождавшими, попала под артобстрел. “Раздался такой звук, будто разом лопнули все четыре шины, ужасающий грохот, а затем удары, как если бы кто-то лупил в огромный гонг. Посмотрев наверх, я увидел три облака, мгновенно образовавшиеся над головой — два белых и одно ржаво-красное. Воздух был полон раскаленного металла, а всю дорогу, как потом выяснилось, разворотило напрочь. Металлическую болванку от снаряда нашли в том месте, где только что был наш автомобиль”. К счастью, их машина ехала так быстро, что никто не пострадал.

Дойлу позволили съездить в Трентино, где царили “самые печальные настроения”. Он был уверен, что сумел порадовать местных жителей уже самим фактом появления “человека в британской форме”. Тем более что его, как обычно, приняли за важную персону, а потому

“сердечно приветствовали”. Вообще, из итальянской поездки он вывез “кучу наблюдений” и надеялся, что они смогут изменить отношение англичан к итальянской армии.

В Париже, едва он сошел с поезда, ему сообщили, что погиб лорд Китченер — военный корабль, на котором тот плыл в Россию, подорвался на мине. Китченер занимал в то время пост статс-секретаря по военным делам. Первым его шагом на этом посту было обращение к английскому народу с призывом дать армии 100 000 добровольцев. На плакатах, что были развешаны повсюду, было написано: “Ты нужен своей стране!” Дойла очень опечалила эта смерть, и, увидев, что отель “Крильон” забит “бряцающими оружием” русскими, он был возмущен: ведь именно в “их прогнившую, разложившуюся страну” направлялся Китченер для обсуждения вопросов снабжения русской армии.

В Париже Дойла ждал Роберт Дональд, редактор “Дейли кроникл”, и они вместе отправились в Верден, где уже разгоралось одно из самых кровопролитных сражений Первой мировой. Когда началась артподготовка и снаряды засвистели над головой, Дойл отметил, что на один вражеский выстрел приходилось три-четыре французских — армия была неплохо обеспечена. Вечером на обеде в честь Дойла какой-то французский генерал встал и, холодно глядя ему в глаза, осведомился: “А что, Шерлок Холмс тоже ушел на фронт?” На что тот немедленно ответил: “Но, mon general, он слишком стар, чтобы служить!” За столом весело расхохотались.

В Британию Дойл вернулся, переполненный впечатлениями, исключительно ура-патриотическими — солдаты бодры-веселы, оружие отличное, генералы — светлые головы, мудрые стратеги и умелые тактики. На деле, как известно, все обстояло несколько иначе, но Конан Дойл был скорее пропагандистом, чем военным репортером. Все то, что не соответствовало его патриотическому настроению, он предпочитал игнорировать.

Пока Дойл ездил по фронтам, его соратник по организации реформ в Конго, сэр Роджер Кейсмент, был арестован за попытку провезти немецкое оружие в Ирландию, чтобы поднять там восстание, и был приговорен к смертной казни за государственную измену, шпионаж и саботаж. Дойла этот приговор просто потряс. Вина Кейсмента была очевидна, но, зная его как человека в высшей степени порядочного, Дойл убедил себя, что он просто повредился рассудком. И с присущей ему энергией включился в кампанию по отмене смертного приговора.

В 1911 году Кейсмент получил рыцарский титул за выдающиеся заслуги в консульской деятельности. Но в 1912-м он ушел со службы из-за слабого здоровья и целиком погрузился в политику, установив тесные отношения с ирландскими националистами. А поскольку те всегда искали поддержку у любых врагов империи, то сразу же, как началась война, лидеры “Клан-на-Гейль” — республиканской организации американских ирландцев — встретились с немецким послом в Нью-Йорке и растолковали ему, что восстание в Ирландии будет очень на руку Германии. Они просили оружие, чтобы поднять восстание, в результате которого, они надеялись, Ирландия обретет независимость.

Кейсмент стал центральной фигурой на этих переговорах. Он поехал в Берлин, чтобы предложить немцам дерзкий план: набрать добровольцев в Ирландскую бригаду из числа ирландских солдат, взятых в плен на Западном фронте, переправить их в Ирландию и дать им шанс сразиться за свою свободу. Британия, подчеркивал он, будет вынуждена снять войска с французского и бельгийского фронтов, чтобы уладить внутренние проблемы. 20 ноября Кейсмент начал агитацию среди пленных, но без большого успеха: многие вообще чурались политики, а многие расценили предложение Кейсмента как прямое предательство “и наших, и ваших”.

Бригаду создать так и не удалось, и немцы потеряли к этой идее всякий интерес, пока в 1916 году не получили донесение из Ирландии — восстание назначено на Пасху, присылайте оружие и грамотных военспецов. С большой неохотой они все же согласились отправить 25 000 русских трофейных винтовок, десять пулеметов и несколько миллионов патронов. Все это должно было прибыть в Ирландию на борту немецкого судна “Либау”, выдававшего себя за норвежский торговый корабль Aud Norge. Кейсмент был в ужасе — нужны были как минимум 200 000 винтовок. Он понял, что восстание обречено, и попытался перехватить Aud Norge на немецкой подлодке. Однако британская разведка разрушила эти планы. Aud Norge была задержана британским военным кораблем и препровождена в Квинтаун. Немцы, поняв, что операция провалилась, посадили Кейсмента и двоих его товарищей в маленькую шлюпку, которая перевернулась в заливе Баллихейдж. Им все же удалось доплыть до ирландского берега, но дальше Кейсмент идти не мог, он был слишком слаб. Товарищи его ушли за помощью, а Кейсмента обнаружил полицейский констебль. Три дня спустя началось

Пасхальное восстание, которое было подавлено. Погибли 450 ирландцев, а большая часть Дублина дымилась в развалинах.

Кейсмента посадили в Тауэр. 29 июня 1916 года, после трехдневного процесса, его признали виновным в государственной измене. В своем последнем слове Кейсмент заявил, что виноват лишь в том, что “всегда ставил интересы Ирландии превыше всего”. На судей это не произвело впечатления, и его приговорили к смертной казни. Клемент Шотер, редактор “Сферы”, организовал сбор подписей под прошением о помиловании Кейсмента, он же обратился к Дойлу за поддержкой.

Дойлу нелегко было вступиться за бывшего товарища, ведь факт измены родине не оставлял никаких сомнений. Однако личное расположение к осужденному несомненно сыграло роль, и Дойл попытался обосновать причины, по которым Кейсмента следовало избавить от петли. Во-первых, указывал он, Кейсмент “мог страдать психическими отклонениями” в результате его “многолетнего общественного труда”, связанного с деятельностью в Конго и на Амазонке, поэтому превращение его из горячего патриота Британии в ярого ирландского националиста есть не что иное, как умопомешательство. Кроме того, уверял он, если казнить Кейсмента, то это сыграет на руку Германии — распалит недовольство ирландцев и отвратит от Британии США и ряд нейтральных стран. И напротив, если его помиловать, это поможет “решить ирландскую проблему”. Под прошением о помиловании подписались многие известные писатели, в частности А. Беннетт, Г.К. Честертон, Дж. К. Джером и Джон Голсуорси. Киплинг же прислал Шотеру короткий отказ.

Дойла вызвали в министерство иностранных дел и посоветовали не ввязываться в это дело. Одним из решающих аргументов явился гомосексуализм Кейсмента: полиция и разведка ссылались на личные дневники осужденного, чтобы охладить общественные симпатии к нему. С них были сняты копии и отправлены королю, архиепископу Кентерберийскому и некоторым членам парламента. На Конан Дойла это не произвело большого впечатления — как и в истории с О. Уальдом, он считал, что гомосексуализм — болезнь, но не повод для уголовного преследования, а в случае с Кейсментом — еще одно свидетельство его душевного нездоровья.

Как бы то ни было, прошение о помиловании было отклонено, и 3 августа Кейсмента повесили. Его палач Альберт Эллис сказал: “Он был храбрейшим из всех, с кем меня свело мое печальное ремесло”.

Кейсмент немедленно стал в Ирландии символом борца-мученика, и еще долгие годы там бытовало стойкое убеждение, что его дневники были сфабрикованы британской разведкой, дабы его опорочить. И лишь в 2002 году независимая экспертиза точно установила, что все пять тетрадей написаны рукой самого Роджера Кейсмента.

В эти же дни, в начале августа, “Стрэнд” начал серию публикаций “Британская кампания во Франции и Фландрии”. Как обычно, Гринхоу-Смит не поскупился и заплатил Дойлу 5000 фунтов за авторские права. Его заметки о войне были написаны в обычном для него патриотическом духе. Многие более молодые авторы отнюдь не разделяли такую позицию и писали куда более объективные статьи, но мнение Конан Дойла было скорее отражением не его личной позиции, а представителя ушедшей Викторианской эпохи, убежденного, что любое сражение за империю — не только долг, но и большое счастье. Киплинг придерживался абсолютно иной точки зрения: “Если нас спросят, за что мы умирали, скажите им — наши отцы нам лгали”.

Но влияние Конан Дойла было очень велико, и ему предложили возглавить правительственную пропагандистскую кампанию. Он сослался на недостаток времени, поскольку продолжал писать историю войны. Он также отказался написать официальную биографию Ллойд Джорджа, когда тот стал премьер-министром в декабре 1916-го. Личный секретарь, а заодно и возлюбленная Ллойд Джорджа Фрэнсис Стивенсон записала в своем дневнике про Дойла: “… Он приятный пожилой джентльмен, очень любезный и занятный”. При этом она отметила, что ему нелегко доставать материал для его “Истории”, поскольку ему дают “лишь то, что он, по их мнению, должен знать”.

Как бы то ни было, Ллойд Джордж интересовался трудами Дойла и пригласил его на завтрак на Даунинг-стрит в апреле 1917-го. Знаменитый писатель нашел, что премьер непретенциозен и прост в общении: он лично (слуг за этим завтраком не было) разливал чай и угощал гостя беконом и яйцами. За едой Л. Джордж поинтересовался, что думает Дойл о разных британских военачальниках, и тот не преминул вновь высказаться о проблемах защитного снаряжения для солдат. Он был немало удивлен, когда премьер-министр жестко раскритиковал Китченера, назвав его “заносчивым и недалеким”, сказал, что Китченер не “великий человек”, а “великолепный плакат”. Это сильно потрясло Дойла, и, вернувшись в отель, он записал в

дневнике: “К. стал очень высокомерен. У него случались вспышки гениальности, но обычно он бывал глуп. Не понимал значения военного снаряжения. Был против танков. Против валлийской и ирландской дивизий. Чинил препятствия всему новому…” Однако в своих воспоминаниях Дойл сильно смягчил эти высказывания.

В октябре 1917 года вышел сборник из семи рассказов “Его прощальный поклон”. Читатели могли уяснить из этого названия, что теперь Шерлок Холмс окончательно уходит на покой. Большинство рассказов сборника уже были опубликованы ранее, но тот, который дал название всей книжке, печатался впервые. Холмс сражается со шпионами накануне надвигающейся войны, но захватывающим это повествование не вышло — мало действия, детали не проработаны, сюжет вялый и ясно, что мысли автора заняты чем-то иным. Кончается рассказ пророчеством Холмса:

“— Скоро подует восточный ветер, Ватсон.

— Не думаю, Холмс. Очень тепло.

— Эх, старина Ватсон! В этом переменчивом веке вы один не меняетесь. Да, скоро поднимется такой восточный ветер, какой никогда еще не дул на Англию. Холодный, колючий ветер, Ватсон, и, может, многие из нас погибнут от его ледяного дыхания. Но все же он будет ниспослан Богом, и, когда буря утихнет, страна под солнечным небом станет чище, лучше, сильнее”.

Но буря продолжалась, и в сентябре 1918 года австралийское верховное командование пригласило Конан Дойла посетить их участок фронта на Сомме, подле старинного городка Перрон. В состав группы вошли еще несколько журналистов. Ночью, в сопровождении эсминцев, их корабль пересек Ла-Манш, и рано утром через Аббельвиль и Амьен они отправились на позиции. Дойлу эти места были хорошо знакомы: “Хотя я раньше здесь не бывал, но хорошо представлял себе эту местность. Я словно воочию видел ее, когда писал о проходивших тут сражениях, знал название каждой деревушки и расположение каждой разрушенной колокольни”.

На другой день ему удалось повидаться с братом: 3-й британский корпус стоял наподалеку на левом фланге австралийцев, и Иннеса пригласили на ланч. Затем Дойлы отправились на обед в офицерскую столовую. Это было ночью накануне решающего наступления на линию Гинденбурга, взятие которой по сути означало бы конец войны.

На следующее утро группа Дойла отправилась на передовую. По дороге навстречу им шли раненые австралийцы. Среди них шла и первая партия пленных: “Жалкие, как побитые собаки, без тени благородства в лице и осанке. Никакого сочувствия эти презренные существа не вызывали”. Когда ехать дальше на машине стало невозможно, пошли пешком. Вскоре добрались до батареи британских гаубиц и “под нашими собственными ревущими снарядами оказались всего в тысяче ярдов от линии Гинденбурга”. Батарея вела бой уже шесть часов. Австралийский артиллерийский капитан предложил провести их до наблюдательного пункта, и Конан Дойл немедля согласился, рассматривая это как “исключительное везение”.

Наблюдательным пунктом оказался поврежденный танк; вокруг танка орудовал с инструментами его экипаж, горевший желанием продолжить наступление. К большому сожалению Дойла обзор был невелик, хотя он и смотрел в полевой бинокль. Все кругом грохотало и дымилось, но толком разглядеть “великое сражение, в котором дети света загоняли в землю темные силы”, ему не удалось.

Внезапно проснулась немецкая артиллерия. Ее целью явно был подбитый танк. Снаряды падали все ближе, и пришлось спешно ретироваться. Все тот же капитан пригласил их в блиндаж, где журналистов угостили чаем и вяленым мясом. Дойл чувствовал к этим “веселым храбрецам” искреннюю признательность, но был, впрочем, несколько обескуражен, когда один из солдат предложил ему купить часы — у него на руке болталось аж четыре штуки, а несколько пленных немцев смотрели на эти часы с каким-то очевидно личным интересом.

По дороге назад, уже из машины, они наблюдали страшные сцены, которыми изобилует любая война. “Мы прокладывали путь сквозь людские потоки — американцев, австралийцев, англичан, немцев. И тут произошел совершенно ужасный случай… Мы на миг притормозили, чтобы подобрать две немецкие каски, валявшиеся у обочины… когда недалеко впереди, за поворотом раздался сильный взрыв”. Мгновение спустя глазам предстало жуткое зрелище: “На дороге валялись искалеченные лошади, шеи их вздымались и опадали, а рядом лежал изувеченный человек, весь залитый кровью, и два его остекленевших глаза уставились в

небо”.

Миновав Тампле, они выбрались на шоссе и какое-то время ехали мимо колонны пленных немцев. Разве можно было сравнить, писал Дойл, “благородные, твердо очерченные соколиные лица” австралийских солдат с “бесформенными бычьими подбородками и насупленными бровями немецких мужланов? Стадо скотов, а не людей”.

Дойл очень высоко оценил “бесшабашных лихачей” из Австралии. В тот же вечер, по возвращении, ему представился случай выступить перед ними. Собралось около 1 200 человек, и он произнес речь, восхваляющую их “замечательные подвиги”, но не преминул также отметить, что 72 процента общего численного состава и 76 процентов потерь приходятся на долю англичан. Он подчеркнул: именно солдат из Англии, а не вообще британцев.

Итогом всех его поездок стала шеститомная история: “Британская кампания во Франции и Фландрии 1914–1918”. Дойл очень надеялся, что она завоюет ему репутацию военного историка, но ожидания эти не оправдались. Каждый последующий том вызывал у публики все меньший интерес. Возможно, люди устали от войны и не хотели возвращаться к этой теме. Возможно, сыграла роль жесткая цензура и недостаточная информированность автора, а также перегруженность текста всевозможными деталями. В “Таймс” вышла рецензия, где “с сожалением” было отмечено, что продраться сквозь сотни страниц практически невозможно, что события описаны далеко не самым объективным образом (тут автор статьи признавал, что у Дойла был очень ограничен доступ к информации), и долгой жизни его творению, увы, не суждено.

Дойл отнесся к провалу как к “самой крупной и незаслуженной литературной неудаче” в своей жизни. Его можно понять — он вложил в эту книгу огромные усилия и писал ее с самыми искренними намерениями. Коротко говоря, он пытался отстоять очень простую мысль: “Британия не ослабела. Она все еще остается старой Британией”.

Конан Дойл считал, что именно война отняла у него двух самых близких ему мужчин — сына и брата, хотя ни тот ни другой не погибли непосредственно в боях. 28 октября, за две недели до подписания перемирия и незадолго до своего двадцатишестилетия Кингсли Конан Дойл скончался от пневмонии в больнице Святого Фомы в Лондоне. Его отозвали с фронта в ноябре 1917 года, поскольку в госпиталях Британии не хватало врачей. Он стал жертвой “испанки”, разразившейся по всему миру и унесшей больше жизней, чем война. Его отец был убежден, что ранения, полученные Кингсли на Сомме, так ослабили его, что у организма не было сил справиться с болезнью. Его похоронили рядом с матерью, на кладбище неподалеку от “Подлесья”.

А четыре месяца спустя, 19 февраля 1919 года, умер Иннес. Он находился в Бельгии, и эпидемия настигла его там. У Иннеса осталась жена и два сына. И вновь Дойл утверждал, что именно война подкосила его брата.

Как ни велика была скорбь Конан Дойла, он сумел найти утешение. Теперь он твердо уверовал, что его сын и брат лишь перешли “на другую сторону” и вскоре дадут о себе знать.

Глава 19

На пути к спиритуализму

СПИРИТУАЛИЗМ, ТО ЕСТЬ ВЕРА В ТО, ЧТО ДУХИ покойников могут общаться с живыми, возник в США. Разумеется, речь идет о новом религиозно-философском течении, а не о верованиях наших предков, бытовавших с древнейших времен.

В марте 1848 года Джон Фокс, фермер из Канады, перебрался в Хайдсвиль, на севере штата Нью-Йорк. С ним переехали жена и две дочери, четырнадцатилетняя Маргарет и одиннадцатилетняя Кейт. Через несколько дней они стали слышать странные звуки по ночам — стуки, скрипы и удары. Как-то раз Кейт проснулась с воплем: чья-то холодная рука гладила ее по лицу. Сестра ее, в свою очередь, заверяла, будто кто-то утаскивает у нее по ночам одеяло, а мать говорила, что по лестнице на чердак беспрерывно ходит нечто невидимое.

Джон Фокс по простоте душевной решил было, что это сквозняки — обычное дело в старых домах. Впрочем, стали простукивать стены. И тут младшая дочь обратила внимание на то, как странно отзывается стена — на три стука она трижды стучит в ответ. Кейт дважды хлопнула в ладони — раздался двукратный ответный стук. И тогда девочка сказала родственникам, что нечто или некто пытается с ними пообщаться. Миссис Фокс спросила у “духа”, сколько лет Кейт и сколько Маргарет. Ответы оказались верны. Джон Фокс в растерянности призвал соседей, чтобы они засвидетельствовали таинственное явление. Те поначалу не поверили, а потом сами убедились: “дух” и им на все вопросы отвечал правильно. Составили простенький алфавит, используя все тот же метод стука, и выяснилось, что отвечает некий торговец, ограбленный и убитый в этом доме несколько лет назад.

Новость моментально распространилась по округе, и семья Фокс не замедлила извлечь из этого выгоду. У девочек тут же обнаружился дар медиумов, и в доме стали регулярно устраивать платные демонстрации, на которые приходили толпы любопытных. Потом оборотистое семейство стало разъезжать по стране; навык общения с потусторонними силами креп: духи мелькали за занавесками, по сцене столы кружились. Газеты писали обо всем этом весьма скептически, но нашлись и сторонники, из числа весьма влиятельных граждан. Среди них были, в частности, писатель Фенимор Купер и основатель “Нью-Йорк трибьюн” Хорас Грили, знаменитый газетный магнат. У Грили погиб сын, и он пригласил сестер в свой дом в Нью-Йорке в надежде установить с ним связь. Вскоре после этого Грили опубликовал открытое письмо в своей газете, где клятвенно заверял, что сестры действительно могут общаться с духами. После этого популярность их чрезвычайно возросла.

Конечно, регулярно предпринимались и попытки разоблачения. Говорили, что они используют всякие хитрые приспособления, которые и издают звуки, но уличить сестер не удавалось. А когда на одном сеансе Маргарет спросили, почему дух Бенджамина Франклина демонстрирует столь вопиющую безграмотность в своих ответах, она удалилась из зала с оскорбленным видом.

Слава сестер Фокс росла, и все больше народа шло по их стопам. Медиумы плодились как кролики — многие смекнули, что дельце прибыльное. Словом, к 1859 году, когда Дойл только появился на свет, в Америке уже было более миллиона адептов спиритуализма. По всей стране возникали спиритуалистические церкви, и 25 000 медиумов проводили регулярные сеансы.

Вскоре поветрие распространилось и на Британию. В 1855 году Дениэл Данглас Хоум прибыл в Лондон и втерся в высший свет, где обрел массу поклонников. Хоум умел летать, мог материализоваться в любой точке земного шара и поднимать тяжести, не притрагиваясь к ним. Трое достойных джентльменов (лорд Данрейвен, лорд Линдсей и капитан Уинн) лично наблюдали, как он выплыл из одного окна и вплыл в другое, причем на высоте 70 футов от земли. Дойл считал Хоума “великим человеком” и верил, что когда-нибудь его канонизируют. Верил Дойл и в то, что Хоум незаконный племянник графа Хоума, хотя отец его был простым рабочим, причем сильно пьющим.

Известно, что королева Виктория и принц-консорт тоже участвовали в спиритических сеансах, что, конечно, способствовало процветанию модного течения. В 1855 году вышла первая спиритуалистическая газета “Йоркширский спиритический листок”, за ней последовали и другие.

Несмотря на то что медиумов регулярно ловили на обманах и разоблачали, глубочайшая вера в спиритуализм оставалась незыблема. Даже сенсационное признание Маргарет Фокс, которая публично заявила, что все это — одно сплошное надувательство, уже ничего не могло

изменить. Жизнь сестер закончилась невесело: они были измучены необходимостью врать, притворяться, проходить бесчисленные испытания и проверки, и в результате обе спились. В 1888 году Кейт арестовали за пьянство и непотребное поведение, а сестра ее всенародно призналась, что вся история с Хайдсвилем была выдумкой. Дескать, мать заставила их дурачить народ, чтобы заработать деньги. “Я видела в этой жизни столько вранья и обмана… вот поэтому я и хочу сейчас вам сказать, что спиритуализм — мошенничество самого низкого пошиба”. Казалось бы, тут ему и конец, но истовые адепты легко отмели эти признания “выжившей из ума пьяницы”.

Сестры скончались от алкоголизма, Кейт в пятьдесят шесть лет, а ее сестра в пятьдесят девять.

В Бирмингеме, когда Дойлу был только двадцать один год, он однажды пришел на лекцию “Все ли заканчивается со смертью?”, которую читал американский спиритуалист. Отнесся он к услышанному со здоровым скептицизмом молодости. И в ранних его рассказах, например “Тайна замка Горсторп-Грэйндж”, сквозит откровенная насмешка над оккультизмом.

В Саутси Дойл, по его собственному признанию, был еще “убежденным материалистом” и поражался, “как человек в здравом уме может верить в подобную чушь”. Принцип прост, говорил он: свеча погасла — свет исчез. Впрочем, у него был пытливый ум, он много читал, в том числе работы по телепатии, теософии, оккультизму и буддизму. Все это манило его и возбуждало воображение.

В 1885–1888 годах он нередко участвовал в спиритуалистических сеансах, которые устраивали на дому его друзья. Как-то он спросил у вышедшего на связь потустороннего существа, сколько денег у него в кармане, и получил от того суровую отповедь: “Мы здесь, чтобы учить и развивать, а не отгадывать загадки…” В другой раз дух коммивояжера, погибшего в Эксетере при пожаре в театре, попросил связаться с его семьей, проживающей по такому-то адресу. Дойл, с присущей ему обязательностью, исполнил просьбу, но вскоре письмо вернулось назад — такого адреса не существовало. Эти сеансы несколько тревожили Дойла, ему не хотелось думать, что друзья обманывают его, но иного рационального объяснения он не видел.

Удивляло Конан Дойла, сколько у спиритуализма сторонников среди людей науки. В 1882 году весьма почтенные ученые из Кембриджа создали Общество психических исследований, которое занималось различными паранормальными явлениями. В него вошли будущий премьер-министр А. Бальфур, философ У. Джеймс, натуралисты, физики и астрономы. Впрочем, очень и очень многие достойные люди не скрывали своего пренебрежения к этому: Ч. Дарвин, О. Хаксли, Д. Тиндаль, Г. Спенсер — все они считали, что подобная ахинея не заслуживает серьезного отношения. Чарльз Диккенс писал Троллопу, что хотя и не прочь поразвлечься, но только не в компании спиритуалистов, ибо “ни разу не слышал, чтобы они говорили что-нибудь, кроме ерунды”.

Своими сомнениями Конан Дойл поделился с генерал-майором Альфредом Дрейсоном, товарищем по портсмутскому Обществу литературы и науки, который был одним из первых спиритуалистов в Британии. Тот нашел превосходный аргумент, объясняющий убожество многих потусторонних “сообщений”. “Тот” мир — отражение этого. Здесь полно дураков, там их не меньше. Если множество христиан ведут отнюдь не праведную жизнь, то к самой вере это не имеет никакого отношения.

Конан Дойл продолжал ходить на сеансы, движимый простым житейским любопытством, однако в 1887 году его скептицизм был сильно поколеблен. Сеанс вел профессиональный медиум, который сообщал каждому из присутствовавших нечто важное при помощи так называемого “автоматического письма”: рука его сама, непроизвольно писала слова, диктуемые из мира духов. О Дойле он сказал следующее: “Этот джентльмен целитель. Передайте ему, чтобы не читал книгу Ли Ханта”. Никто не мог знать, Дойл был в этом уверен, что он в те дни читал английского эссеиста, поэта и драматурга Ли Ханта. “Получив такое свидетельство, отныне я сомневался в наличии этого феномена не более, чем в наличии львов в Африке”.

Человеку хочется во что-то верить, ему это жизненно необходимо. Отойдя от религии, Дойл ощущал пустоту, некий душевный вакуум. В “Письмах Старка Монро”, вещи во многом автобиографической, есть, например, такие слова: “Узы, привязывающие к жизни, порвались”. Конан Дойл настаивал на том, что он агностик, а не атеист. Он верил в благодать Божью, но совершенно не принимал религиозных догм и обрядов. “Я мечтаю умереть так же, как жил, без вмешательства церковников, снискав мир и покой, который происходит от того, что человек честно следовал своим духовным принципам”.

Он продолжал интересоваться и наукой, и паранормальными явлениями. Когда в 1889 году в Саутси приехал знаменитый гипнотизер профессор Майер, Дойл вместе с десятком других местных докторов пришел на сеанс. Профессор призвал добровольцев выйти на сцену, и Дойл с готовностью принял приглашение. Со всеми г-н Майер справился играючи: кто-то уснул, кто-то изображал пациента на приеме у дантиста, но с Дойлом вышла осечка. Как ни трудился гипнотизер, по словам местной газеты, “все его попытки провалились. Он развел руками и сообщил, что случай особенный и процесс затянется слишком надолго”.

Как бы то ни было, чем больше Дойл знакомился со спиритуализмом, тем больше он ему нравился. И в мае 1889 года он опубликовал в портсмутских “Вечерних новостях” письмо в защиту этого движения, указывая, что оно может ободрить и вдохновить человечество, и подписался как “Спиритуалист”. Тем самым он впервые официально заявил о своей приверженности к этому течению.

В ноябре 1893 года, через три недели после того, как умер его отец (в этом же году Туи поставили смертельный диагноз), Конан Дойл вступил в Общество психических исследований, чьим президентом только что стал Артур Бальфур. Превращение из материалиста в спиритуалиста состоялось. Приняли его туда с восторгом: “Он может быть полезен и как врач, и как Шерлок Холмс, его сообщения будут приняты публикой с полным доверием”.

На следующий год он впервые принял участие в расследовании паранормального явления. Полковник Элмор, ветеран афганской войны 1878–1880 годов обратился в общество с просьбой осмотреть его усадьбу в Дорсете: по ночам якобы кто-то ходит по комнатам, волоча за собой тяжкие цепи, и при этом тихо стонет его “страдающая душа”. Собака отказывается заходить в некоторые помещения, а большинство слуг уже взяли расчет.

Три члена общества — Конан Дойл, доктор Сидни Скотт и Фрэнк Подмор, известный психолог, — отправились в Дорсет, по дороге в поезде внимательно изучив “свидетельские показания”. Было решено сделать вид, будто приехали навестить старого фронтового товарища, чтобы не пугать жену и дочь полковника.

За ужином говорили об Афганистане. Затем сыграли роббер в вист, и все разошлись по спальням. Но едва дамы заснули, исследователи принялись за дело. Они обшарили весь дом, но ничего паранормального, так же как и следов на полу от “тяжких цепей”, не нашли, и доктор Скотт уехал в Лондон. На другую ночь, однако же, весь дом пробудился от “страшного грохота”. Как потом записал Дойл, “будто кто-то изо всех сил бил тяжелой дубиной. То не был случайный скрип или шорох, отнюдь. Звук был оглушительный”. Дойл и Подмор бросились на кухню, откуда, как им показалось, доносился грохот, но ничего не обнаружили. Оба тем не менее задержались в усадьбе еще на сутки, однако все было тихо. Так они и уехали, недоумевая, то ли в доме и впрямь пошаливала потусторонняя сила, то ли их попросту разыграли.

Но несколько лет спустя дом сгорел, а в саду нашли скелет ребенка лет десяти. И тогда Дойл пришел к выводу, что в усадьбе все же обитало привидение: “Дети, внезапно умершие насильственной смертью, могут оставлять на земле некоторую часть своей жизненной энергии”.

Надо сказать, эту историю он рассказывал по-разному. Джеймсу Пейну, редактору, он говорил, что у Элмора были жена, дочь и сын, и что именно сын, по зрелом размышлении, стоит за всеми таинственными происшествиями. Джером К. Джером уверял, что он слышал от Дойла другую версию: роль привидения исполняла взрослая дочь полковника, “незамужняя дама лет тридцати пяти”. Автор детективов сразу ее заподозрил: когда все выбежали из комнат, разбуженные грохотом, она утверждала, что ничего не слышала и им все примерещилось. И когда на следующую ночь Дойл ее уличил, она созналась, что делала это назло родителям, а зачем, и сама не знает. Он обещал ей сохранить все в тайне, и больше привидение не давало о себе знать. Но на лекциях, которые Дойл читал по всему миру, он твердо придерживался варианта с погибшим ребенком.

В рассказы о Шерлоке Холмсе ему, впрочем, хватило здравого смысла не вводить никаких потусторонних сил — это противоречило бы “дедуктивному методу”. Но в других произведениях — “Сквозь пелену”, “Вот как это было”, “Номер 249”, “Коричневая рука” — Дойл активно использовал сверхъестественное.

Что касается Джин, то поначалу она отнеслась к увлечению мужа очень нервно. Ей казалось, что надо оставить в покое потусторонние силы, поскольку дело это темное и опасное. Это было, пожалуй, единственное расхождение между супругами. Однако в начале войны ее

отношение резко изменилось, и решающую роль здесь сыграла ближайшая подруга Джин Лили Лодер-Саймондс.

Когда началась война, Лили переехала в Уиндлшем. Здоровье у нее было слабое, она страдала бронхиальной астмой, но это не мешало ей быть весьма успешным медиумом. Особенно удавались Лили так называемые “автоматические письма”: спиритуалисты, впадая в транс, записывают то, что им “диктуют духи”. Некоторые медиумы написали под такую “диктовку” целые романы и огромные поэмы (по большей части, впрочем, никуда не годные).

Сначала Дойл с недоверием воспринимал это, но Лили Саймондс убедила его, что и впрямь контактирует с духами. Она получала сообщения от братьев — трое были убиты на Ипре, — ив этих сообщениях содержалась секретная военная информация, которую ей больше неоткуда было узнать. Кроме того, когда на “Лузитании” погибла ее сестра, рука Лили самопроизвольно начертала: “Это ужасно, ужасно и будет иметь большое значение в войне!” Дойл понял, что речь идет о вступлении в войну Соединенных Штатов.

Лили, кроме того, регулярно предсказывала, когда и от кого придет письмо или телеграмма. Но решающим аргументом для Джин стало сообщение, которое Лили получила от ее любимого брата Малькольма Лекки, погибшего в битве при Монсе. Джин никогда не рассказывала, в чем суть, но говорила, что это касалось важного разговора, состоявшегося между ее братом и мужем. Таким образом, Джин и в этом стала горячей сторонницей мужа.

Лили Лодер-Саймондс была приличной дамой из уважаемой семьи. Ни о каком сознательном надувательстве с ее стороны речь идти не могла. Но тогда как же объяснить ее поведение? Допустим, что касается “автоматического письма” — это известный психический феномен. Возьмите ручку, посидите над листом бумаги в рассеянной задумчивости… что-нибудь да напишете, а уж как это истолковать, дело вкуса.

Есть и еще одно важное обстоятельство: Лили обожала, буквально боготворила Конан Дойла, некоторые их общие знакомые полагали, что втайне она была влюблена в него. Вполне вероятно, она всячески старалась угодить ему. А что же могло порадовать его более, чем убедить его жену в существовании “того” мира? “Военные тайны”, которые узнавала Лили, тоже могут иметь вполне реальное объяснение. В доме постоянно гостили, жили и развлекались офицеры. Разговоры велись самые откровенные, так что услышать Лили могла все что угодно — имена, названия частей, полков, населенных пунктов… Да и сам хозяин дома регулярно читал им вслух куски из своей “Истории”. А узнав о гибели “Лузитании” и смерти сестры, кто угодно написал бы, что “это ужасно”. И о разговоре мужа с братом, важном для всех в семье, Джин сама могла упомянуть любимой подруге. Одним словом, кто хочет поверить, тот найдет аргументы. Конан Дойл хотел верить.

Далеко не все в семье Дойла разделяли его новые взгляды. Ни у матери, ни у сестры Иды или старших детей Дойл не нашел поддержки. Мэри Дойл, которой тогда было уже восемьдесят лет, Артур, несмотря на ее явную антипатию к его увлечению, писал 9 мая 1917 года, что он “убежденный спиритуалист”: “Кингсли сейчас на фронте… Я получаю от него бодрые письма, но я очень беспокоюсь о нем. Меня не пугает, что мальчика убьют, отныне меня не тревожит смерть, но я ужасно боюсь увечий и страданий. Все, впрочем, предопределено…”

А Кингсли писал с фронта своей тетке Иде, что у него большие сомнения по поводу спиритуализма, но он не собирался спорить об этом с отцом. Он был искренне верующим христианином и писал сестре Мэри, что спиритуализм и “то прекрасное и духовное”, что есть в религии, несовместимы. Мэри полностью соглашалась с братом и говорила, что ей кажется чем-то “болезненным, неестественным” общаться с тем, кого любишь, через тело постороннего медиума. Но в итоге она сдалась и под влиянием отца приняла спиритуализм.

Ида написала брату, что идея, будто “духи болтаются над землей”, представляется ей весьма сомнительной. Она получила от него резкий ответ, где были такие слова: “То, что мы думаем, не имеет ни малейшего значения”.

К осени 1917 года Конан Дойл окончательно созрел, чтобы публично заявить о своих религиозных воззрениях. Для этого он решил выступить на собрании Лондонского союза спиритуалистов. Проходило оно в Британской галерее художников 25 октября. С самого начала Дойл объяснил собравшимся, что прошел долгий путь размышлений и колебаний, пока не убедился окончательно и бесповоротно, что идеи спиритуализма вполне здравы и объективны. Он говорил почти час, в частности о том, что нет противоречий между официальной религией и спиритуализмом, хотя бы потому, что в основе обеих лежит глубокая вера. Говорил и о том, как происходит переход в мир иной — просто и безболезненно; о том, что духовное тело — аналог физического; что загробная жизнь есть лишь логичное

продолжение земной и что все в мире течет и продолжается в удивительном, волшебном развитии.

Единственное, о чем Конан Дойл не сказал, но во что уже свято верил, — так это то, что он стоит на пороге величайшего в истории человечества открытия.

Глава 20

Апостол

ЕСЛИ ДОЙЛ ОДНАЖДЫ ВО ЧТО-ТО УВЕРОВАЛ, он уже не слушал ничьих возражений, не видел никаких противоречий и не тревожился внутренними сомнениями. Либо ты во что-то веришь, либо нет. Если веришь, то веришь страстно и хочешь, чтобы все остальные тоже поверили.

Так что нет ничего удивительного, что он стал активным проповедником спиритуализма. Над ним могли смеяться, оскорблять его, хулить и порочить, но он ни за что не отступал от своих убеждений. И никакие аргументы и доказательства, что все это надувательство и мошенничество, даже если аргументы исходили от верных старых друзей, роли не играли.

Он уговорил Гринхоу-Смита предоставить ему место на страницах “Стрэнда”, и вскоре изумленные читатели вместо привычных рассказов стали получать странные повествования, публиковавшиеся под заголовком “Неведомые берега”. Например, об эктоплазме, некой вязкой светлой субстанции, которая выделяется через нос, уши и прочие отверстия медиума, а затем служит основой для материализации тел. Из нее, например, созданы привидения.

Вполне понятно, что Гринхоу-Смит неоднократно уговаривал своего уважаемого автора вернуться к выдумкам привычного, художественного толка, которые ему так удавались. Но в ответ он услышал: “Я бы и хотел, но не могу. Не вижу никакой возможности. Я пишу то, что само приходит ко мне”.

Публика недоумевала — солидный джентльмен, воплощение здравомыслия, создатель Холмса и отец дедуктивного метода вдруг превратился в мистика. Драматург Артур Роуз сказал так: “В человеке менее рациональном я бы заподозрил фанатика. И он очень его напоминает, поскольку, например, впадает в крайнее раздражение, едва кто-либо выражает хоть тень сомнения. Однако же “фанатизм” — слово, совершенно неприменимое к этому человеку. Я бы сказал, что в нем нет намека на мистика. Однако в глазах его загорается что-то очень похожее на фанатизм, когда речь заходит о спиритуализме. Его приверженность этому есть не что иное, как истинная вера, ради неё он, сколько я знаю, жертвует и деньгами, и многими другими жизненными интересами”.

Да, это было верное суждение: достаточно прочесть “Новое Откровение”, которое вышло в июне 1918 года, где Дойл излагал свое кредо. Спиритуализм, уверял автор, “принесет в мир невиданное доселе развитие человеческой мысли”. В книге подробно излагалось, как пересекать границу в иной мир, — якобы достоверные сведения, полученные через медиумов. Духи рассказывали, что на том свете все замечательно, никакого ада нет, но для особо искалеченных душ имеются санатории. Подлечился — и радуйся загробной жизни — ни тебе мучений, ни болезней, ни горестей.

“Новое Откровение” вызвало у критиков смешанные чувства. “Дейли кроникл”, где Дойл публиковал свои репортажи с Западного фронта, написала, что это “очень честная, очень мужественная и решительная” книга. “Дейли ньюс” также выразилась с почтением, зато “Таймс” обвинила Дойла в “невероятной неискушенности” и рекомендовала автору получше ознакомиться с фактами. А вот в “Санди экспресс” жирный заголовок ставил перед читателями вопрос: “Конан Дойл сошел с ума?” Впрочем, сама статья была вполне доброжелательная, автор признавал былые заслуги Дойла и его право не только излагать свои мысли, но и быть услышанным. В спиритуализме, заключал журналист, масса вранья и надувательства, но не исключено, что есть там и зерно истины.

Как обычно неутомимый, Дойл много ездил с лекциями по спиритуализму. Сначала побывал на юге страны, затем в центральных графствах, и повсюду собирал полные залы. Он делал краткий обзор своего “Нового Откровения” и подкреплял “философские” соображения слайдами, на которых были смутно видны явившиеся на контакт духи. Основной тезис его докладов был таков: традиционные религии исчерпали себя, а спиритуализм, во многом разделяющий современные научные теории, представляет собой некую “научную религию”, чем-то близкую материализму.

Он должен был читать лекцию в Ноттингеме, когда пришло письмо от дочери Мэри — Кингсли скончался. Однако он не посчитал это поводом отменить турне. Даже в тот самый вечер он не отменил лекцию, а когда ему предложили это, мрачно сказал: “Нет, ни при каких обстоятельствах я не обману ожиданий публики. Они привыкли мне доверять, я должен быть

достоин этого доверия. Да и Кингсли этого хотел бы". Кроме того, будучи убежденным спиритуалистом, он полагал, что Кингсли лишь перешел в иное измерение, откуда вскоре даст о себе знать, о чем он и сообщил аудитории.

Иннесу он написал: "Старина, ты, должно быть, уже знаешь наши печальные новости. Я должен выступать сегодня вечером, а потом вернусь в Лондон, чтобы хоть как-то помочь Мэри. Она держится изумительно. Похороны нашего дорогого мальчика в четверг. Я с трудом все это осознаю и совершенно оглушен. Меня радует лишь то, что мы никогда в жизни не ссорились. Знаю, что ты мысленно со мной. АКД". Похоронами занималась Мэри.

В следующем году Дойл прочел сорок лекций в Англии и Шотландии. У него дома, в кабинете, висела карта, на которой он отмечал все города, где побывал, а на столе лежала папка с сотнями приглашений от спиритуалистических кружков и сообществ. Окликнуться на все он не мог — просто физически не хватало времени. Смерть брата в феврале 1919-го не нарушила расписание его выступлений. Матери он регулярно посылал бодрые, оптимистические отчеты о своей деятельности, хотя она ясно дала понять, что не одобряет ее.

Спиритуалисты обожали и высоко ценили Дойла за решительность и уверенность. На лекции в Альберт-Холле его слова о том, что спиритуализм — величайшее движение за последние две тысячи лет, было встречено бурными овациями. На многочисленные письма от скорбящих по погибшим сыновьям и мужьям родственников он отвечал стандартным ответом: "Все это правда. Ваши любимые живы. Если вы хотите связаться с ними, то обратитесь к хорошему медиуму. Я могу рекомендовать одну даму, она берет 10 шиллингов 6 пенсов за сеанс. Возможно, у вас ничего не получится, а возможно, и получится. И если получится, пожалуйста, дайте мне об этом знать". Эту даму он сам "проверил" и утверждал, что она добивается успеха в 42 из 50 случаев. Даму эту звали Энни Бриттан, ее дважды приговаривали к штрафам за гадание, а о ее вымогательстве и шарлатанстве писал журнал "Труф": "Полгинеи оказывают на Энни Бриттан поистине магическое воздействие. В том, что касается изымания денег, она поистине прозорлива". Про Дойла же журнал писал, что тот "стал жертвой своего воображения". Другие издания издевательски утверждали, что нет, кажется, ничего, во что Конан Дойл не был бы готов поверить, и спрашивали: как это ему удалось овладеть знаниями, скрытыми для остальных смертных?

Он заверял, что лично был свидетелем массы психических феноменов: прямого голосового контакта, аппортов (перемещения предметов в пространстве и возникновения их словно бы "из ниоткуда"), столовращения, "автоматических писем", материализации предметов и многого другого. Он видел вереницы фигур, проходящих друг за другом через небольшую комнату, причем некоторые отвечали на задаваемые им вопросы; наблюдал светящуюся воронку, вращавшуюся под потолком; нимбы над головами медиумов… Словом, каких только чудес он не наблюдал лично. Из мира духов потоком шли послания, потусторонние силы всячески одобряли и ободряли Дойла. Радостно-приветственное сообщение пришло от Кингсли. Уильям Т. Стед, погибший на "Титанике", докладывал, что "заглянул в глаза Христу, и тот сказал, чтобы Дойлу передали: его деятельность на земле — святая и богоугодная".

В августе 1919 года вышла вторая книга Дойла по спиритуализму, "Жизненное послание". Там, в частности, объяснялись "внутренние причины" войн — грехи человечества, включая и "субботние попойки", от которых Господь устал и решил "встряхнуть" нечестивцев. Написано это было плохо — мутно, невнятно, но безапелляционно. Во многом книга повторяла его первый опус "Новое Откровение", но кое-что об устройстве души и тела, а также их тонком взаимодействии было добавлено. Кроме того, описывались основы загробного существования, очень гуманные: если мать потеряла младенца, она может не горевать — на том свете он дожидается ее, чтобы продолжить свое развитие. Физической любви там, понятное дело, нет, зато все очень дружны, и каждый может найти родственную душу. Там большой простор для творчества — художники рисуют, писатели пишут, ученые исследуют, ремесленники мастерят, "но только для удовольствия". Бедных нет, богатых нет, социальной вражды и классовой борьбы нет. Игры, спорт — в изобилии. Все наслаждаются, и все радуются.

У серьезных спиритуалистов это описание не вызвало никакого восторга, они сетовали, что "тот" мир у Дойла очень уж похож на жизнь в богатом лондонском пригороде: "Все прелестно, мирно… прекрасные сады, чудесные цветы, зеленые рощи, прозрачные пруды и очаровательные домашние животные".

Но если спиритуалистов Дойл раздражал, то священников просто бесил. И тем, что провозглашал движение "новой религией", наследующей христианству, и тем, что критиковал Библию, а в особенности Ветхий Завет: "документ, защищающий избиение, потворствующий

многоженству, одобряющий рабство и призывающий сжигать так называемых ведьм”.

В итоге католическая церковь сочла, что Дойл “утратил душевное равновесие”, вероятно под влиянием злых сил. Правоверные католики были убеждены, что Дойл — величайший грешник, отдавший душу дьяволу. Его упрекали в попрании всех норм морали и нравственности, в том, что он способствует духовному падению нации.

В ответ он защищался, горячо и искренне. Он, безусловно, подкупал аудиторию страстностью и убежденностью. Как сказал один критик: “Он говорит с пророческим одушевлением, с глубочайшей уверенностью человека, который убедил сам себя, будто вся его прежняя жизнь была лишь заблуждением”. А что касается многочисленных фактов жульничества среди медиумов, то Дойл легко их признавал: “Обман? Разумеется, обман. Можно написать об этом целый том. Но этот обман обусловлен тем, как неразумно мы обращаемся с медиумами. Они получили самый чудесный и тонкий дар из всех даров Господа, а мы вынуждаем их зарабатывать на жизнь с его помощью”.

Множество поклонников Дойла — автора шедевров о Шерлоке Холмсе — горько сожалели о том, что он превратился в “проповедника”. И многие критики тоже. “Как грустно, что сегодняшний Артур Конан Дойл — спиритуалист — объявил непримиримую войну самому себе, автору превосходных детективов… Сегодня он, увы, есть полная противоположность своему герою. Там, где царил блестящий ум, теперь торжествует вульгарный, заурядный мистицизм… Помнится, когда милый Ватсон нес очевидную чушь, Холмс саркастически окорачивал его: “Право же, дорогой Ватсон…” Неужели сейчас не найдется никого, кто так же спокойно и по-дружески вернул бы самого автора к здравому смыслу? Он, похоже, очень в этом нуждается”.

Дойл равнодушно относился к потоку бранных писем, приходивших на его имя в Уиндлшем, оставляя их без ответа, но одно письмо его “тронуло”. Писал лорд Альфред Дуглас, бывший любовник Оскара Уайльда, а ныне истовый католик: “Сэр, вы отвратительное чудовище, чудовищно ваше окарикатуривание Христа. Самое разумное обращение с вами и вам подобными — как с лошадьми, хлыстом”. Дуглас обвинял Дойла в том, что при помощи спиритуализма он зарабатывает себе славу и деньги так же успешно, как при помощи “своего идиотического Холмса”. Дойл ответил ему немедленно: “Сэр, ваше письмо очень меня порадовало. И напротив того, именно ваше одобрение могло бы меня озадачить”.

Уиндлшем превратился в настоящее поместье, с обширным штатом прислуги. Дворецкий, повар, пять горничных, два садовника, шофер и мальчик — чистильщик обуви, который порой исполнял роль средневекового пажа в зеленой ливрее и круглой шапочке — господам угодно было развлекаться. Садовники помогали шоферам парковаться, а затем обслуга собиралась в кухне и коротала там время. В ежевечерние обязанности служанок входила и такая: следить, чтобы собаки в вечернюю кормежку получали бренди, чтобы спали спокойно и не гавкали попусту.

Дети, разумеется, были под надзором. Но это было отнюдь не то викторианское воспитание, которое получили Мэри и Кингсли. Дэнис и Адриан, одиннадцати и девяти лет, уговорили прислугу участвовать в их играх в саду. Но при этом все должно быть “по-настоящему”: мальчики позаимствовали у отца револьвер времен Бурской войны, и, разумеется, в какой-то момент он выстрелил. “Мы все были потрясены, включая мальчиков, — сказал потом садовник Джеймс Пейн. — Сэр Артур выбежал из дома очень разгневанный, отобрал оружие у детей и велел им немедленно идти в дом. Он сразу же извинился за их поведение, а вскоре и сами они вышли с извинениями”. Это, однако же, не помешало им уговорить Роджера, сына садовника, установить в саду мишень, по которой они палили из винтовки. И когда они прострелили ему руку, никто не удивился.

Дочь Дойла Джин вспоминала, что отец проводил с ними много времени в саду, разделяя их игры. Одно из самых ее ранних воспоминаний: она играет на полу в отцовском кабинете и слышит, как поскрипывает его перо. Однако его общение с мертвыми мешало ему заботиться о живых. Врач-офтальмолог, осматривавший Джин, был изумлен, что ее отец, сам профессиональный медик, не обратил внимания, что дочь сильно близорука. “Помню, меня до глубины души потрясло, что м-р Шерлок Холмс только теперь заметил то, что было бы очевидно любому стороннему наблюдателю: девочка слепа, как летучая мышка…”

Спиритические сеансы стали обычным делом в Уиндлшеме. Они проходили в бывшей детской, рядом с бильярдной, за закрытыми дверями. Прислуге было запрещено беспокоить собравшихся и не звать хозяев к телефону. За год, по подсчетам Дойла, из 70-ти попыток ему

удалось присутствовать при 60 “успешных контактах”. Во время одного из них материализовался Кингсли, положил тяжелую руку на плечо отца и сказал, что счастлив. В другой раз Иннес произнес несколько слов на датском, родном языке своей жены. В письме, опубликованном в “Таймс”, Дойл утверждал: “Прибегнув к услугам добровольного медиума, я — и это не вызывает ни малейших сомнений — говорил с сыном, братом, племянником и некоторыми близкими покойными друзьями. Всякий раз тому было несколько свидетелей”.

Одним из наиболее уважаемых критиков спиритуализма был Джозеф Маккейб, философ, бывший ректор университетского колледжа, монах-францисканец, в 1896 году отказавшийся от сана и вышедший из ордена. Он неоднократно заявлял, что Конан Дойл пал жертвой своего легковерия и теперь вселяет напрасные надежды в сердца тех, кто потерял близких, что недостойно такого выдающегося человека. Маккейб предложил Дойлу устроить публичный диспут, на что тот охотно согласился. Назначили день — 11 марта 1920 года, и место — большой концертный зал Куинз-Холл в Лондоне.

Едва об том было объявлено, публика со всей страны бросилась заказывать билеты, и все они были проданы на месяц вперед. “Диспут назначен на четверг, — писал Дойл матери. — В каком-то смысле это важнейшее событие моей жизни, так что я прошу вас думать в этот вечер обо мне. Как трогательно, что повсюду, по всей стране, спиритуалисты будут слать мне духовную поддержку — я получил множество писем от них. С Другой стороны, Маккейб — один из авторитетнейших атеистов, агностиков и материалистов, он видная фигура. Они хорошие ребята, эти мыслители, но убеждения их негативны и безнадежны. Что же, я иду на битву с легким сердцем… Поглядим…”

Публика встретила их с большим воодушевлением. Первым выступал Маккейб — подвергший спиритуализм самой резкой критике. Это движение, сказал он, “родилось во лжи, взросло во лжи и расползлось по всему миру с легкой руки обманщиков”. Медиумов, которых Конан Дойл считал “настоящими”, Маккейб предпочитал называть “еще неразоблаченными”. Он уверил аудиторию, что Конан Дойл, как и все, кто взаимодействует с мутным потусторонним миром, “бродит в тумане”. (Многие одобрительно захлопали.) Далее он сослался на то, что ни один истинный ученый никогда не будет сторонником спиритуализма, и попросил уважаемого оппонента назвать ему “хотя бы десять имен известных университетских профессоров, которые за последние тридцать лет примкнули к спиритуалистам или хотя бы одобрили их деятельность”.

Дойл охотно принял вызов. Он давно уже сделался искушенным полемистом и блестящим оратором — времена, когда у него на сцене дрожали коленки, безвозвратно миновали. Он извлек из кармана небольшой блокнот и прошел к трибуне. “Мистер Маккейб только что дал нам понять, что невысоко ценит наше интеллектуальное сообщество, — начал он. — Не могу разделить эту точку зрения, ибо отношусь к честным, серьезным материалистам с большим уважением, я сам долгие годы был одним из них. — Он полистал блокнот. — Вот здесь у меня записаны имена 160 чрезвычайно почтенных, отмеченных многими наградами за выдающиеся научные достижения ученых, из них 40 — профессора. Я прошу вас иметь в виду, что эти люди ничего не выиграли, объявив себя спиритуалистами, ибо, заверяю вас, никакой выгоды это не приносит…” Далее он горячо высказался в защиту бескорыстных, честных медиумов, так несправедливо обиженных Маккейбом, и вкратце изложил свою стандартную лекцию о материалисте, который прозрел и увидел свет истины.

В итоге было решено, что диспут закончился вничью — никто не одержал убедительной победы, но и не потерпел поражения. Вечер был признан очень удачным, оппоненты держались достойно и разошлись, оставшись каждый при своем убеждении. Конан Дойл был доволен. Матери он написал, что не питает никаких плохих чувств к Маккейбу, тот “сражался изо всех сил” и вообще “очень умный человек”. В постскриптуме он приписал: “Некоторые внимательные наблюдатели отметили, что под конец Маккейб начал запинаться”.

Вскоре после диспута Конан Дойл задумал большое лекционное турне по Австралии и Новой Зеландии. Путешествие было недешевое, ведь Дойлы брали с собой троих детей, секретаря Вуди и гувернантку Джин по имени Джейкмен. Одни только билеты в оба конца обошлись в 1700 фунтов. Но что такое деньги в сравнении с великой миссией?..

29 июля на прощальном обеде со своими сторонниками Дойл заявил, что в Австралии и Новой Зеландии тысячи семей в эту войну понесли тяжелые утраты, так что его слова утешения найдут там живой отклик. И вот 13 августа 1920 года вся компания поднялась на борт лайнера “Налдера”, недавно построенного специально для маршрута Лондон — Сидней.

Вуди во время полуторамесячного плавания (корабль заходил в различные порты) занимался с детьми уроками, а Конан Дойл не преминул прочесть лекцию о “психической религии” пассажирам первого класса, после чего, как сказал один из старших офицеров команды, все только и делали, что спорили на религиозные темы.

Суэцкий канал произвел на Дойла большое впечатление как достижение инженерной мысли, но ему категорически не понравились огромные рекламные плакаты по берегам, призывавшие покупать виски. (В Америке недавно приняли сухой закон, и Дойл полностью одобрял эту меру.)

Чем дальше лайнер продвигался на юг, тем становилось жарче. Стюарды падали в обморок, а один несчастный пассажир скончался. Дойл был неутомим. Он вновь прочитал лекцию — на сей раз для пассажиров второго класса, плавившихся от жары посреди Красного моря. Сам он, похоже, был просто железный — есть его фотография на борту “Налдеры”: костюм из плотной ткани, воротничок, галстук и мягкая фетровая шляпа. В то время он уже работал над путевыми заметками “Странствия спиритуалиста”.

В Аделаиде семейство сошло на берег, и 25 сентября Дойл прочел первую лекцию. Таун-Холл был забит до отказа, около двух тысяч человек пришли послушать знаменитого писателя, а ныне проповедника спиритуализма. Газеты писали, что он имел несомненный успех, отмечая, впрочем, что тому немало способствовала его литературная слава и замечательный талант оратора. Разумеется, он посетил и несколько спиритуалистических сеансов — он никогда не упускал эту возможность. Кроме того, получил множество писем — в одних его превозносили до небес, в других проклинали на чем свет стоит, советуя “сдохнуть прямо в Австралии”.

Следующая остановка была в Мельбурне. Надо сказать, что, пока Дойл еще плыл на борту “Налдеры”, тамошние пресвитерианцы устроили общественный молебен, умоляя Господа не допустить, чтобы нога нечестивца ступила на землю Австралии. Так что в Мельбурне Дойла ждал прохладный прием. Лишь несколько “преданных душ” робко стояли на вокзале с цветами, которые вручили своему кумиру, когда он сошел с поезда. В газетах писали, что Дойл занимается черной магией и что “мы убеждены — он есть порождение злых сил”.

К этому он отнесся совершенно спокойно. Его только возмутило, что после первой лекции мельбурнская пресса подробно описала платье Джин, его очки и манеру выступления, и — ни словечка по существу вопроса.

Несмотря на враждебность прессы, аудитория хорошо принимала заезжую знаменитость. Кроме того, Дойл был счастлив познакомиться с Чарльзом Бейли, “медиумом исключительной силы”. Особенно тому удавались перемещения объектов в чуть ли не герметически запечатанные комнаты, где происходили сеансы. За шесть сеансов он умудрился перетащить туда 87 старинных монет, 8 живых птиц, 18 драгоценных камней, 2 черепах, 7 табличек с надписями на древних языках, шкуру леопарда и маленького акуленка, обвитого морскими водорослями. Его неоднократно уличали в мошенничестве, но Дойл полностью доверял Бейли. И хотя его несколько смутили потрепанные грязные манжеты на “материализовавшейся” руке, но он отмел эти сомнения. И даже увез в Англию глиняную табличку с надписями, которую показал потом в Британском музее — чтобы с огорчением услышать вердикт: грубая подделка.

В Сиднее принимали не в пример лучше: мужчины подбрасывали в воздух шляпы, а женщины преподносили букеты. Из Сиднея Конан Дойл один отправился в Новую Зеландию, где за две недели прочел восемь лекций. Он всюду наталкивался на гневное сопротивление духовенства. Его называли “исчадием ада” и “мерзким язычником”, но он упорно нес “знание” в массы. Затраты на дорогу удалось окупить: выручка от билетов в Новой Зеландии составила около 3000 фунтов.

Вернувшись в Сидней, решили устроить небольшую передышку: совершили несколько экскурсий по Голубым горам и 1 февраля 1921 года отплыли домой, вновь на борту “Налдеры”. Дойл был вполне удовлетворен поездкой: он выступил в общей сложности перед 50 000 слушателей. А подсчитав все расходы и прибыль, понял, к своему удивлению, что даже заработал 700 фунтов, каковые и передал на нужды спиритуализма. Австралийские газеты, однако, мрачно сообщали, что визит Конан Дойла “полностью провалился и он уехал в крайне расстроенных чувствах”.

Плывя домой через Коломбо и Бомбей, он не имел ни малейшего представления, что дома во время его отсутствия его доброе имя подверглось жестоким нападкам.

Глава 21

Загадочное дело о феях из Коттингли

НЕБОЛЬШАЯ ДЕРЕВУШКА КОТТИНГЛИ, расположенная в графстве Йоркшир неподалеку от Брэдфорда, была бы ничем не примечательным местом, если б не шестнадцатилетняя Элси Райт и ее десятилетняя кузина Фрэнсис Гриффитс. Летом 1917 года Фрэнсис с матерью, незадолго до того вернувшиеся в Англию из Кейптауна, жили у Райтов в Коттингли, в доме 31 по Главной улице (всего улиц в деревне было три). Девочки любили играть у ручья на опушке леса, и именно там в июле Элси сделала первую фотографию Фрэнсис с феями.

За несколько дней до того Фрэнсис поскользнулась на камнях и упала в воду. Она опасалась, что мать будет ругать ее за испорченное платье, и попыталась пробраться в дом незамеченной. Но это ей не удалось, и в ответ на упреки девочка со слезами объяснила, что упала, “когда играли с феями”. Ей было велено идти наверх в спальню, которую сестры делили на двоих, и носа оттуда не показывать.

В результате родилось “документальное” подтверждение правдивости Фрэнсис — всемирно известная мистификация, до сих пор так до конца и не разгаданная. Элси предложила Фрэнсис сфотографировать фей, ибо что могло бы лучше убедить ее недоверчивую маму? Элси любила фей, притом она же была ученицей художественного колледжа в Брэдфорде, и, как говорили, очень талантливой. Кроме того, она работала в фотолаборатории колледжа, где, в частности, делала коллажи погибших на войне солдат в окружении родственников. Отец Элси, Артур Райт, был один из первых в Англии дипломированных инженеров-механиков и увлекался фотографией; у него была фотокамера.

В 1914 году вышла “Книга подарков принцессы Мэри” с замечательными иллюстрациями Артура Шеппертона. Девочки обожали эту книгу со стихами, сказками и рассказами — в том числе и рассказами знаменитого Конан Дойла. Они отыскали картинку, подходящую к стихотворению Альфреда Нойеса “Заговор феи”, и четырех фей оттуда Элси мастерски скопировала, после чего сестры наклеили их на картон. Помимо того в нехитрый “жульнический набор” входили шляпные булавки и полоска бинта с присыпкой оксида цинка. Артур Райт с готовностью дал детям свою камеру, когда Элси сказала, что хочет сфотографировать Фрэнсис у ручья.

Девочки расположили фей около Фрэнсис, которая украсила волосы цветами, подперла ладошками подбородок и мечтательно уставилась в объектив. А феи весело порхали перед ней, размахивая крылышками. Когда Артур Райт проявил фотографию, он принял было фей за обрывки бумаги, но Элси пояснила ему, что это их “подружки”, они часто играют вместе у ручья.

Райт счел, что это детские бредни, убрал пластину и забыл о ней. Но месяц спустя девочки сделали еще одну “волшебную” фотографию. На сей раз позировала Элси: она сидит на холмике и протягивает руку к маленькому, ростом около фута, гномоподобному созданию, которое словно бы пританцовывает перед ней. Райта возмутило, что девчонки не желают признаться, что просто пошутили, и в наказание он запретил им брать фотоаппарат. Но они продолжали с горячим упорством утверждать, будто все это чистая правда.

В ноябре 1918 года Фрэнсис отослала копию первого снимка своей подружке Джоанне Парвин в Кейптаун. “Дорогая Джо, — писала она, — надеюсь, у тебя все хорошо. Я тебе уже написала одно письмо, только оно потерялось, или я его куда-то задевала. Ты играешь с Элси и Норой Биддлз? А у меня сейчас в школе французский, геометрия, домоводство и алгебра. Папа вернулся домой из Франции на прошлой неделе, он был там десять месяцев, и мы все думаем, что война через несколько дней кончится. Тогда мы достанем флаги и вывесим их из окна нашей спальни. Я тебе шлю два фото, на одном я в купальнике у нас на заднем дворе. Это дядя Артур снимал. А на другом я вместе с феями у ручья, снимала Элси”. На обратной стороне второй фотографии она написала: “Мы с Элси очень подружились с феями ручья. Странно, что я никогда не видела их в Африке. Наверное, там для них слишком жарко”. Это письмо, где феи упоминаются наравне с сугубо реальными событиями, просто и невзначай, позднее служило одним из аргументов в пользу достоверности событий.

Мать Элси, Полли Райт, и ее сестра Энни Гриффитс, увидев фотографии, не стали с ходу отметать рассказ дочерей. Обе дамы интересовались теософией. Весной 1919 года Полли Райт присутствовала на дискуссии о “жизни фей” на заседании Брэдфордского теософского общества. После заседания миссис Райт подошла к докладчику и спросила, уверен ли он, что “феи на самом деле существуют”. А то, добавила она на всякий случай, у меня есть парочка их фотографий. На следующем заседании общества ее попросили предъявить фотографии.

Большинство присутствовавших пришли в неописуемый восторг и заявили, что вот оно, наконец, первое беспристрастное свидетельство наличия фей.

Надо помнить, что “спиритические фотографии” были тогда вообще очень востребованы: родственники погибших жаждали не только войти в контакт с близкими, но и запечатлеть их появление. Нужно иметь в виду и то, что о технике фотографирования в то время вообще мало кто имел представление, и многие спиритуалисты свято верили, что камера может зафиксировать то, что неподвластно невооруженному глазу.

Поэтому фотографии фей из Коттингли мгновенно стали известны. К тому же Элси с Фрэнсис были юные и хорошенькие, что также немало способствовало их успеху. Спиритуалисты вообще были убеждены: юность и невинность — залог успеха в общении с потусторонними силами.

В мае 1920 года фотографии попали к Эдварду Л. Гарднеру, знаменитому лондонскому теософу. В свободное от теософии время он с успехом занимался строительными подрядами, но, несмотря на такую “земную” профессию, в духов верил свято. Он написал Полли Райт, что просит переслать ему пластины, с которых сделаны снимки. Получив пластины, он отправил их на экспертизу своему приятелю Х. Снеллингу, спиритуалисту и фотографу. Тот сделал заключение, что снимки не подделка. Главным доказательством он считал, что феи в момент съемки двигались.

Поскольку оригиналы не отличались высоким качеством, Гарднер попросил Снеллинга сделать их четче, и в результате следы того, что феи были вырезаны из бумаги, окончательно исчезли. Очень вдохновленный, Гарднер отправил исправленные негативы на экспертизу в фирму “Кодак”. Там дали уклончивый ответ: никаких доказательств подделки нет, но и утверждать, что фотографии подлинные, тоже нельзя. Один из руководителей фирмы предположил, что, возможно, сначала сфотографировали девочку у ручья, затем увеличили отпечаток, нарисовали фей, а затем сделали отпечаток еще раз. В любом случае, писал он, работа мастерская.

Вот за эту фразу и ухватился Гарднер. Как могла шестнадцатилетняя девочка проделать такую искусную работу, если даже профессионалы из “Кодака” не решаются твердо заявить, что это фальшивка?

Вскоре о фотографиях узнал Конан Дойл, которому рассказал о них редактор спиритуалистического журнала “Лайт”. Разумеется, он был полностью готов поверить в существование “маленького народца”. Недаром его отец бесконечно рисовал всевозможных эльфов, гоблинов, фей и духов. Например, под одним рисунком он подписал: “Я был знаком с таким созданием”. Другое дело, что рисовал он их, будучи в сумасшедшем доме… Но ведь и дядя Дойла Ричард писал в своем юношеском журнале, что его будили по ночам феи и гномы, и именно они принесли ему славу прекрасного художника — вспомним первую обложку “Панча” за 1844 год, где нарисованы волшебные существа в самых непринужденных позах. Ричард Дойл иллюстрировал и одно из изданий “Сказок братьев Гримм”, “Волшебное кольцо”, в 1846 году, и У. Теккерей сказал тогда, что Дик Дойл — воистину “знаток волшебной страны”. Его картину “С феями” приобрел Музей Виктории и Альберта в Лондоне, другую, со сходным сюжетом, Национальная галерея Ирландии.

Двадцать второго июня 1920 года Конан Дойл писал Гарднеру: “Меня чрезвычайно интересуют “волшебные” фотографии, они могут стать эпохальным событием, если нам удастся полностью прояснить все обстоятельства, с ними связанные”. Он просил прислать ему копии и предлагал официально оформить копирайт Райтов. “Я охотно возьмусь оказать вам любое содействие, — ответил Гарднер. — Но дети, о которых идет речь, очень застенчивы и замкнуты. Они из простой семьи, живут в Йоркшире… с детства привыкли играть с феями у ручья неподалеку от своей деревни”.

Дойл встретился с Гарднером в отеле “Гросвенор” в Лондоне, и тот произвел на него впечатление человека “спокойного, уравновешенного и сдержанного”. Но все же, когда ему показали фотографии, он отнесся к ним с осторожностью и решил узнать мнение своих знакомых. Художница Мэй Боули изучила снимки под лупой и сказала, что ручки существ не похожи на человеческие, а бородка гнома напоминает волоски насекомого. Зато друг Дойла Оливер Лодж, физик, активно увлекавшийся парапсихологией, решительно заявил, что фотографии — очевидная подделка. Он посоветовал Дойлу не связываться с этим делом, но тот никак не хотел верить, что две юные барышни могли быть замешаны в беспардонном надувательстве. Кроме того, ему очень хотелось написать статью в “Стрэнд”,

проиллюстрировав ее “чудесными” фотографиями. И потом, что плохого, если он спишется с семьей Райт?

30 июня он отправил два письма, одно Артуру Райту, а другое его дочери Элси. Отцу он писал деловито: “Уважаемый м-р Райт, я видел интереснейшие снимки, сделанные вашей юной дочерью. Они поразительны. Я пишу небольшую статью в “Стрэнд” о свидетельствах очевидцев, подтверждающих существование фей, так что буду чрезвычайно признателен…” Он просил дать ему право опубликовать снимки и обещал либо 5 фунтов гонорара, либо пятилетнюю бесплатную подписку на “Стрэнд”, при этом гарантируя, что семейство Райт будет фигурировать под вымышленными именами, “дабы никто вас не потревожил”. Нельзя сказать, чтобы это было щедрое предложение, учитывая, что сам он получал в этом журнале по 500 фунтов за статью.

Элси он писал очень тепло. Ее фотографии он назвал “чудесными”, обещал прислать свою книгу. “Я вскоре уеду в Австралию, но очень надеюсь, что до того смогу заехать в Брэдфорд и полчаса поболтать с вами, поскольку мне очень интересно послушать о феях. С наилучшими пожеланиями, искренно ваш…”

Но до поездки в Австралию Дойл не сумел выкроить время на визит в Брэдфорд. Зато вместо него туда направился Гарднер и был очень впечатлен простотой семьи Райт: они явно не гнались ни за славой, ни за деньгами. Он был совершенно убежден, что вся история произошла на самом деле. В итоге заключили сделку: Конан Дойл согласился заплатить каждой из девочек по 20 фунтов, о чем 3 августа написал мистеру Райту, упомянув, что в статье дети будут фигурировать как Айрис и Алиса, “поскольку никогда не поздно достать кота из мешка, но, вытащив, обратно его уже не засунешь, а я бы очень не хотел, чтобы вас тревожили охотники за сенсациями”.

Между тем Гарднер вознамерился раздобыть новые фотографии. Девушки, которым в то время было уже девятнадцать и тринадцать, ничуть не возражали против неожиданного внимания и с готовностью согласились попробовать сделать новые снимки летом, на каникулах. Для этого Гарднер снабдил их двумя заряженными фотокамерами. Он очень советовал снимать в ясный солнечный день и отбыл в Лондон, исполненный самых радужных надежд. Но тут на две недели зарядили дожди. Зато в конце августа пришло сообщение от Полли Райт — удалось сделать еще три фотографии! Как и договаривались, мистер Райт тщательно упаковал их и отослал в Лондон Гарднеру. На одной была Фрэнсис и порхающая подле ее лица фея, на другой Элси и фея, протягивающая ей букет колокольчиков, а на последней — две феи, на ветвях дерева. Гарднер тут же отвез снимки Снеллингу, который признал их несомненную подлинность. Ни того ни другого абсолютно не смутило, что у летящей феи сзади было нечто очень похожее на шляпную заколку, а у феи с колокольчиками — удивительно современная прическа. Как не смутило и то, что никого из взрослых во время съемки не было у ручья: ведь феи так застенчивы и пугливы…

6 сентября Гарднер отослал Дойлу в Мельбурн восторженное письмо, к которому приложил копии снимков. Дойл, со своей стороны, тоже был очень доволен и в ответном письме заявил, что “вне всякого сомнения, не может быть и речи о подделке”. “Вне всякого сомнения” — эта фраза стала слишком часто встречаться в его изречениях по любому вопросу, касающемуся сверхъестественного. Однако он понимал, что не все так легко и безоговорочно примут очевидный — ведь очевидный же! — факт существования фей, а потому “дорогой Гарднер, нам придется повторять это снова и снова”, пока “обычный деловой человек не усвоит новый порядок вещей”.

Гарднер вновь поехал в Коттингли, чтобы узнать подробности “фотосессии”. Ему удалось поговорить только с Элси, поскольку Фрэнсис уже вернулась в школу в Скарборо, но зато уж Элси живописала все самыми яркими красками: и как фея порхала и прыгала рядом с Фрэн, и какие у фей удивительные, нежно-пастельные наряды, и сколько нужно терпения, чтобы поймать подходящий момент для фотографирования. Гарднер вернулся в Лондон “убежденный, более чем когда-либо”.

Двенадцатого декабря подлинность снимков подтвердил еще один солидный эксперт, Фред Барлоу, крупнейший специалист в области “фотографии нематериального”, почетный секретарь Общества изучения сверхъестественных изображений.

К тому моменту две первые фотографии уже были опубликованы в “Стрэнде”. Заголовок извещал: “Феи сфотографированы — эпохальное событие, описанное А. Конан Дойлом!” Статья Дойла была написана в уже привычном безапелляционном тоне. Автор заверял читателей, что

он “подверг снимки долгому и серьезному изучению”, рассматривая их под очень сильным увеличительным стеклом, “на манер Холмса”, и убежден в их подлинности. Он также заверял, что вскоре появятся новые фотографии “маленького народца”. “Маленький народец, с которым мы живем бок о бок, отделенные лишь тончайшей перегородкой, вскоре станет нам привычен. И самая мысль о том, что даже невидимые, они всюду рядом, добавит очарования каждому ручью, каждой долине… Признав, что они существуют… мы признаем, что в мире есть волшебство и тайна. И нам будет проще понять спиритуалистические послания, подтвержденные физическими фактами, которые уже теперь представлены нам со всей убедительностью”.

Этот номер журнала разошелся за три дня. Конан Дойл очень рассчитывал, что статья станет сенсацией, и не ошибся — вокруг нее разгорелись самые ожесточенные споры. Спорили, разумеется, не о высоких материях, а о том, фальшивые снимки или нет. Многие помимо прочего удивлялись, что подобного рода заметка была опубликована в респектабельном “Стрэнде”, — даже при всем уважении, которое журнал питал к одному из самых своих прославленных авторов.

Серьезные ученые критиковали Дойла за распространение идей, “способных в дальнейшем вызвать у детей… нервные расстройства и умственные отклонения”. Писали и о том, что “проще поверить в фальшивые фотографии, чем в фей”. Были, конечно, и восторженные заявления о “прелестных, чистых детках, которым одним доступен заповедный мир волшебства”. Сторонники “мира сказок” неоднократно ссылались на неискушенность девочек в технике и фотоделе. А вот журнал “Труф” написал, что “для истинного понимания этих фотографий нужно разбираться не в потусторонних явлениях, а в детях”.

Дойл, как водится, оставил критику без внимания и попросил Гринхоу-Смита опубликовать еще одну статью, “Очевидцы о феях”, снабженную тремя новыми фотографиями. Она вышла в марте 1921 года и изобиловала свидетельствами тех, кто лично встречался с представителями “маленького народца”. Конан Дойл ссылался и на опыт собственных детей: “Младшие мои дети, два мальчика и девочка, очень правдивы и честны. Все они рассказывали мне, что видели неведомое создание, причем рассказывали в подробностях. Каждый из них видел его лишь однажды, и всякий раз речь шла о маленьком существе. Две встречи произошли в саду, одна в детской”. Мир, писал Дойл, гораздо сложнее, чем нам кажется, и призывал людей приобщиться к этой сложности — “исполниться симпатии и желания помочь” нашим “загадочным соседям”.

Но поскольку далеко не все были готовы “исполниться симпатии”, летом 1921 года Гарднер направил в Коттингли известного ясновидящего Джеффри Ходсона — писателя, оккультиста, теософа, светило Теософского общества, автора более пятидесяти книг. Он храбро воевал в танковом корпусе во время Первой мировой, имел награды, и именно военный опыт побудил его посвятить всю оставшуюся жизнь искоренению страданий и войн. Он с готовностью поверил в фей, а девушки беззастенчиво дурачили его, обнаружив, что их посетитель наивен и простодушен. Они ходили с ним на прогулки в лес, поминутно указывая на “фей”, якобы прячущихся в листве и траве. Их забавляло, что Ходсон частенько восклицал: “Да-да, я тоже вижу!” Он провел в Коттингли две недели и, увы, не сумел сфотографировать ни одну фею, однако убедился, что этот край полон эльфов, фей, дриад и т. п. Он даже описал их одеяния и чудесную музыку, которую порой слышал в лесу. “Я убежден в чистосердечии девушек, сделавших фотографии”, — сообщил он в своем отчете о поездке.

В 1922 году Дойл выпустил книгу “Явление фей”, где категорически утверждал, что есть “целый народец, возможно столь же многочисленный, как и человеческий род”. Эта книга окончательно убедила многих читателей, что сэра Артура Конан Дойла более нельзя воспринимать всерьез. Некоторые даже сомневались, не потерял ли он рассудок. Если к спиритуалистическим изысканиям маститого автора можно было относиться с прохладцей либо вежливо игнорировать их — как поступали многие его друзья, — то принять безумные идеи о волшебных существах, населяющих планету, было уже значительно сложнее.

Блестящий писатель, создавший гениального сыщика, все больше напоминал легковерного старика, одураченного парочкой школьниц. В Лондоне шутили, что, когда на спектакле по пьесе Дж. Барри Питер Пэн со сцены просит зрителей — тех, кто верит в фей, — похлопать, чтобы оживить умирающую Динь-Динь, первым всегда аплодирует Конан Дойл. Многие грустно говорили, что Шерлок Холмс мгновенно вывел бы фей из Коттингли на чистую воду.

Дойл не обращал на критику ни малейшего внимания. В предисловии ко второму изданию “Явления фей”, вышедшему в 1928 году, он ничтоже сумняшеся написал, что “открытие

Колумбом нового континента можно считать меньшим достижением, нежели подтверждение того, что на земле обитают существа совершенно иного рода". Он был уверен, что наступит день, когда фей из Коттингли признают, и "перед человечеством откроются новые перспективы познания". Английский писатель Гарри Прайс, исследователь паранормальных явлений, фантомолог, сказал как-то, что Конан Дойл был исключительно доверчив. Коллеги, которые безмерно уважали его за абсолютную честность, огорчались: "Бедный, славный, милый, доверчивый Дойл! Великан с душой ребенка".

Споры вокруг фей из Коттингли не утихали еще десятки лет и после смерти Конан Дойла. Артур Райт умер в 1926 году, изумляясь, как Элси сумела вызвать такую шумиху. Элси эмигрировала в США и вышла замуж за Франка Хилла. Прожив несколько лет в Индии, в 1949 году они вернулись в Британию, вместе с сыном и дочерью. Фрэнсис вышла замуж за военного по имени Сидни Уэй, они жили в Рамсгейте, в графстве Кент. У нее также были двое детей, сын и дочь.

В 1966 году журналисты из "Дейли экспресс" уговорили Элси, которой тогда было уже шестьдесят пять лет, дать интервью. Она отвечала довольно уклончиво. Сказала, что, возможно, на фотографиях удалось запечатлеть "плоды ее воображения". В 1971 году Би-би-си устроила телепередачу с ее участием, и она повторила ту же версию — плоды воображения, запечатленные на пленке. Спустя пять лет обе дамы, Элси и Фрэнсис, выступили по йоркширскому телевидению. Когда Элси спросили, готова ли она поклясться на Библии, что фотографии подлинные, она просто отмахнулась: "Я бы оставила этот вопрос открытым, с вашего позволения". И лишь в марте 1983 года семидесятишестилетняя Фрэнсис наконец призналась в беседе с корреспондентом "Таймс", что для четырех из пяти фотографий они использовали вырезанные фигурки. "Я сыта по горло этой историей. Ненавижу эти фотографии, меня передергивает всякий раз, как они попадаются мне на глаза. Я думала, что это была шутка, но нас не хотели оставить в покое. Эту историю следовало предать забвению еще шестьдесят лет назад".

Элси поначалу воздержалась от комментариев, но через пару недель сказала: "Я даже сыну с мужем никогда не рассказывала, как мы это сделали. Могу поклясться на Библии, что отец не имел к этому никакого отношения, но не могу поклясться, что это были настоящие феи… Я не хочу, чтобы мои внуки, когда я умру, думали, будто их бабка была полоумной".

Все это не совсем так. Фрэнсис продолжала утверждать, что фей они видели на самом деле и что на пятой фотографии они настоящие. Она умерла в 1986-м, Элси пережила ее на два года. Под конец жизни она говорила: "Шутка была рассчитана на пару часов, а продержалась семьдесят лет".

Глава 22

Спиритуалист и иллюзионист

ВЕСНОЙ 1922 года КОНАН ДОЙЛ С СЕМЕЙСТВОМ отправился в очередное турне, на сей раз по Соединенным Штатам. Они прибыли в Нью-Йорк на борту лайнера “Балтика” 9 апреля. Журналисты знали о приезде знаменитого писателя, и в номере отеля “Амбассадор” была организована пресс-конференция. Репортеры заполонили всю гостиную, в кресле восседал Дойл и рассказывал о спиритуализме. В своей обычной, категоричной манере он объявил собравшимся, что никаких сомнений в существовании “иного” мира быть не может: он лично в этом удостоверился, разговаривая с покойным сыном, братом и племянником; он видел материализованное лицо своей матери, видел отчетливо и ясно — каждый седой волосок, каждую морщинку.

Журналистов интересовало все: есть ли “там” секс, чем питаются духи, курят ли они сигары, пьют ли алкоголь — актуальнейшая тема для страны с сухим законом.

Дойлу казалось, что он отлично справился со всеми вопросами, но на другой день был поражен заголовками газет: “Бурное веселье на том свете”, “Женятся ли привидения?”, “Дойл говорит, что в раю играют в гольф”.

Ничего подобного он не говорил. В ответ на вопрос, играют ли духи в гольф, он сказал:

— Нет. У меня нет оснований так думать.

Но репортер настаивал:

— Вы же сказали, что там есть развлечения.

— Да, они говорят, что даже больше, чем здесь.

— Ну, так, может, и гольф среди них.

— Никогда не слышал, чтобы они о нем упоминали.

Среди прочих весельчаков, зубоскаливших на счет Дойла, был и мэр Нью-Йорка Джон Хилан, публично заявивший, что тот торгует “чепухой в воздусях”: “Это такой новый бизнес, и, судя по всему, денежки текут к нему рекой”.

Мэр был несправедлив, Дойл вовсе не зарабатывал на спиритуализме, все, что оставалось после покрытия дорожных расходов, он отдавал на развитие “благого дела”. Возмущенная Джин тут же дала Хилану отпор, заявив в газетном интервью, что видела на свете лишь один город грязнее Нью-Йорка — Константинополь и что мэру лучше бы озаботиться этой проблемой, а не оскорблять уважаемых гостей. На защиту Дойла встали и некоторые общественные деятели, но в целом, надо признать, большого энтузиазма у публики его приезд не вызвал: американцы стали относиться к спиритуализму с пренебрежением — уж слишком многих медиумов изобличили в мошенничестве.

Тем не менее 12 апреля в Карнеги-Холл на первую из шести запланированных в Нью-Йорке лекций пришли 3500 человек. Среди них было много женщин в трауре и с золотыми звездами — знак того, что кто-то из близких погиб на войне. Принимали Дойла хорошо, но на следующий день газеты вышли с заголовками, из которых “Такая миссия у такого человека?!” был еще далеко не худшим. Складывалось впечатление, что обожаемый автор блестящих книг сегодня способен вызывать в лучшем случае жалость.

Помимо ругательных статей визит был омрачен волной суицидов среди поклонников спиритуализма. В Нью-Джерси, например, некая Мод Фанчер убила своего младенца, после чего отравилась, выпив бутылку очистителя “Лизоль”. Впрочем, “волна” — слишком сильно сказано, хотя газеты и трубили вовсю о том, что именно уверения Дойла о скорой встрече с родными на небесах сподвигли несчастную на этот поступок. Дойл заявил, что его поняли превратно и спиритуалисты ни в коем случае не призывают к самоубийству, ибо “нельзя подталкивать руку Провидения”.

Из Нью-Йорка Дойл один, без родных, съездил в Бостон, а затем они уже все вместе направились в Вашингтон. Тамошние спиритуалисты пригласили его и Джин на несколько сеансов, в том числе и с участием духа А. Линкольна. Потом были две лекции в Филадельфии, а затем Чикаго, который Дойлу не понравился, в частности потому, что местным газетчикам показалось, будто его дети “помирают со скуки” от спиритуализма. В интервью журналу

“Американец” Дойл сообщил, что его дети, напротив, глубоко счастливы, ведь им нечего опасаться смерти, они твердо знают, что, перейдя в мир иной, заживут там лучше прежнего.

Вернувшись в Нью-Йорк, Дойл получил приглашение от Гарри Гудини: тот звал его на ежегодный банкет, устраиваемый Обществом американских фокусников. Двумя годами ранее, когда Гудини гастролировал в Британии, они познакомились и подружились. Поначалу Дойл решил было отклонить приглашение Гудини, поскольку знал, что после ужина фокусники будут выступать, показывая номера, “разоблачающие” психофеномены. Он написал Гудини, что относится к “психическим феноменам” как к вещам сакральным, а потому боится попасть в двусмысленное положение: не заявить о своей позиции он не сможет, а сказать о ней — оскорбить хозяев приема. Гудини, человек тонкий и светский, немедленно изменил программу вечера так, чтобы она не задела именитого гостя. “Заверяю вас словом джентльмена, — писал он, — что там не будет сказано или продемонстрировано ничего, что могло бы кого-нибудь оскорбить”. Дойл принял приглашение.

Второго июня они с Джин явились в отель “Мак-Альпин” на углу Бродвея и Тридцать четвертой улицы. Фокусники старались изо всех сил, но никто, разумеется, не мог превзойти Гудини, “величайшего мага и волшебника”. Для начала Гудини позаимствовал у Дойла его смокинг и надел его. Затем Гудини связали, посадили в мешок, мешок завязали и поместили в сундук, как следует закрыв на все замки, а сундук упаковали в брезент. В считаные секунды Гудини выбрался наружу, а когда вскрыли сундук и развязали мешок, там обнаружилась миниатюрная жена фокусника Бесс, притом в смокинге Дойла!

Дойл заранее сообщил, что тоже примет участие в программе, и, когда выступления фокусников закончились, его пригласили на сцену. Пока устанавливали кинопроектор и экран, Дойл в лучших традициях таинственным голосом сказал собравшимся, что они увидят нечто поразительное, но пусть знают: ни на один вопрос он отвечать не будет. “Это не мистика, а явления психического свойства, ибо все на свете есть отражение человеческого духа или сознания, то есть психики. И ничего сверхъестественного на пленке тоже нет — потому что ничего сверхъестественного вообще не бывает. Тут, с одной стороны, воздействие силы воображения, а с другой, — психической энергии. Воображение мое, а энергия исходит отовсюду”.

Предварив просмотр столь интригующим вступлением, Дойл попросил погасить свет. Зажжужал проектор, и глазам потрясенной публики предстали доисторические чудовища. Огромные динозавры, игуанодоны, птеродактили, тиранно- и бронтозавры разгуливали по девственному лесу, явно не подозревая о том, что их снимают. Они охотились, дрались, жрали, а некоторые мирно нежились на солнышке. Зрители были в совершеннейшем восторге, но, когда зажегся свет и посыпались вопросы, Дойл отказался что-либо разъяснить. Как и предупреждал заранее.

На другой день на первой полосе “Нью-Йорк тайме” красовался огромный заголовок: “Динозавры резвятся в фильме на потеху Дойлу!!!” Журналист честно признавался, что не понимает, как все снято, и недоумевал: то ли “англичанин с непроницаемым лицом насмехается над публикой”, то ли ему и впрямь удалось “приподнять завесу” и проникнуть в неведомый мир. “В любом случае чудовища выглядят абсолютно как живые. Если это фальшивка, то поразительно сфабрикованная”.

Дойл был очень доволен… и лишь под вечер сознался, что показал пробную копию художественного фильма, снятого по его роману “Затерянный мир”.

Гудини и сэр Конан Дойл были друзья-противоположности даже внешне: иллюзионист едва доставал писателю до плеча, был кривоног, кучеряв и волосат. Они принадлежали к различным социальным слоям, карьера одного ничем не напоминала карьеру другого, и, наконец, они придерживались диаметрально противоположных взглядов на спиритуализм. Разница была проста, но огромна. Конан Дойл хотел верить и верил, Гудини — хотел, но не мог. Если они в чем и были схожи, так в том, что каждый был абсолютно убежден в собственной правоте.

Гудини, вернее, Эрих Вайс, родился в Будапеште в 1874 году в семье раввина, а спустя четыре года Вайсы перехали в США, в штат Висконсин. Уже в восемь лет Эрих продавал на улицах газеты и чистил прохожим ботинки. В двенадцать он ушел из дома и отправился на заработки в Канзас-Сити, затем вновь вернулся к родным, которые к тому времени уже перебрались в Нью-Йорк. Там юноша работал разносчиком на текстильной фабрике, а все свободное время посвящал легкой атлетике. Он добился в этом немалых успехов, имел призы за плавание и бег.

Судьба его коренным образом изменилась, когда он прочел воспоминания знаменитого

французского иллюзиониста Робера-Гудена. Эрих начал с того, что стал показывать друзьям карточные фокусы, а затем перешел к другим нехитрым трюкам. И постепенно, через Эриха Великого — Карточного короля, превратился в Гарри (от домашнего имени Эри) Гудини — фамилию он позаимствовал у своего кумира, добавив к ней букву “и”.

В 1890 году, после смерти отца, Гарри вместе с братом Тео стали выступать с различными номерами в парках развлечений, пивных залах и бродячих цирках, а в 1893-м дали несколько выступлений на Всемирной ярмарке в Чикаго. На следующий год юноша познакомился с Вильгельминой Беатрис Райнер, выступавшей в музыкальном номере “Сестер Флорал”. Они поженились спустя две недели, и Бесс заняла место Тео в качестве ассистента Гудини, и они стали гастролировать вместе.

Теперь фокусы Гудини уже отличались значительно большей сложностью. Особенно прославил его трюк “самоосвобождение”: он выпутывался из цепей, веревок, наручников, вылезал из закрытых сейфов и тюремных камер. Вскоре он уже предлагал вознаграждение любому, кто сумеет его “пленить”. Но никому это не удавалось: ни тюремные решетки, ни стальные контейнеры, ни гробы, ни бумажные мешки (из которых Гудини выбирался, не порвав бумагу) не могли его удержать.

В 1899 году им заинтересовался Мартин Бек, управляющий самой крупной в Америке сетью театров-варьете. Бек взял Гудини, так сказать, как актера на подхвате — заполнять паузы между номерами, но очень скоро тот превратился в звезду. Через год Гудини отправился в Европу, где также имел колоссальный успех, и с той поры регулярно жил “на два континента”. Бесс неизменно сопровождала его во всех гастролях.

В Британии он бросил вызов полиции: его раздели донага, обыскали, связали и бросили в одиночную камеру, откуда он с легкостью вышел через пятнадцать минут. Полицейские пришли к выводу, что у него уникальные данные для жулика, жаль, что нельзя использовать их “на благо общества”. Впрочем, позднее ходили упорные слухи, что он сотрудничает с американскими спецслужбами и Скотленд-Ярдом.

Многие пытались повторить удивительные номера Гудини, но никому это не удавалось. Он мог выкарабкаться из контейнера с водой, куда был посажен в наручниках, мог пройти сквозь кирпичную стену и даже заставить живого слона раствориться в воздухе.

Со спиритуализмом у Гудини были сложные взаимоотношения. Он был очень начитан в этой области, имел отличную библиотеку по магии, оккультизму и паранормальным явлениям и в конце концов пришел к выводу, что медиумы дурачат публику, а потому посвящал немало времени их разоблачению.

Конан Дойл же был уверен, что Гудини, возможно, сам не подозревая об этом, является сильнейшим медиумом современности, и именно потусторонние силы помогают ему добиваться столь изумительных результатов. Все эти исчезновения из запертых помещений — что это, как не типичная дематериализация? Гудини с этим категорически не соглашался и утверждал, что все его номера — дело сложнейшей техники. Дойл не верил. Однако он одобрял усилия Гудини по разоблачению шарлатанов среди медиумов — они порочили спиритуализм, и он называл их “люди-гиены”, хотя вообще очень неохотно признавал, что среди медиумов есть шарлатаны. А когда кого-то из них уличали, он всякий раз склонен был искать оправдание: например, утверждал, что на них оказывали давление.

Дойл с Гудини познакомились в 1920 году. Иллюзионист прислал писателю свою книгу, в которой разоблачал трюки братьев Давенпорт, показанные во время сценических демонстраций “психических феноменов”. Дойл не поверил, что Давенпорты обманщики, но за книгу поблагодарил. Они стали переписываться, и, когда Гудини выступал в Брайтоне, неподалеку от Уиндлшема, он получил от Дойла письмо: “Почему бы вам не заглянуть ко мне в гости? Я бы и сам приехал, но у меня выдалась редкая неделька отдыха между лекциями, и жена всячески удерживает меня дома. Мы обедаем в час, но, когда бы вы ни приехали, рано это не будет — в любой день”.

Четырнадцатого апреля Гудини приехал и совершенно очаровал леди Конан Дойл и детей, показывая разные нехитрые фокусы, а также рассказывая смешные истории из нью-йоркской жизни. В своем дневнике Гудини записал: “Был в Кроуборо, у сэра А. Конан Дойла. Познакомился с леди Дойл и тремя их детьми. Отобедал у них. Они безоговорочно верят в спиритуализм. Сэр Артур сказал мне, что шесть раз общался с сыном и что обман совершенно исключается. Леди Дойл тоже верит и имеет совершенно невероятные доказательства. Рассказала мне обо всех случаях”.

В мае Гудини с женой обедали с супругами Дойл в лондонском Королевском автомобильном

клубе. За обедом Дойл сообщил Гудини, что буквально пару дней назад он сидел за этим же столиком и тот вдруг начал вращаться — к полному изумлению официанта. Гудини, который называл себя “искателем истины”, попросил Дойла познакомить его с медиумами, заслуживающими доверия, и обещал, что придет на сеанс непредвзятым и с готовностью поверить в чудо. Однако после встречи с пресловутой Энни Бриттан, любимым медиумом Дойла, он отметил в дневнике: “Все это смехотворная чушь”.

Один из медиумов писал Дойлу, что Гудини опасен и его следует остерегаться, но тот не поверил. Вместо этого он написал Гудини письмо, убеждая его поверить в свои “чудесные мистические способности”: “Такой дар дается одному из сотни миллионов вовсе не для того, чтобы забавлять толпу или умножать капитал. Простите мне мою откровенность, но вы знаете, для меня это все жизненно важно”.

Дойл всячески пытался убедить Гудини, что относиться к спиритуализму надо как к религиозным верованиям, Гудини же, в свою очередь, заверял, что он готов, но пускай ему предъявят несомненные доказательства. Этот невысокий человечек был для Дойла загадкой. “За свою долгую жизнь, — писал он, — я сталкивался с самыми разными проявлениями человеческой природы, но такого любопытного, интригующего человека, как Гудини, не встречал никогда. Я знал людей, которые были куда лучше него, многих — куда хуже, но никогда еще не попадался мне человек с характером столь противоречивым, чьи поступки было бы так сложно предугадать и так непросто примириться”.

Дойл, например, вспоминает, что Гудини мог стенать, что с него содрали два шиллинга за утюжку костюма, а через пять минут с легкостью пожертвовать сотни фунтов на покупку обуви для босоногих оборванцев. Немалое уважение вызывала у Дойла и выдающаяся храбрость Гудини. “Никто никогда не делал, а возможно, никогда больше и не сделает таких беззрассудно отважных трюков”.

Гудини также дорожил дружбой с Дойлом и питал к нему искреннее уважение: “Как ни относись к его взглядам на этот предмет [спиритуализм], а невозможно не уважать убеждения этого великого писателя, бросившего все силы на то, чтобы обратить неверующих на путь истинный”.

Вскоре после того, как Дойлы прибыли в Нью-Йорк, Гудини принимал их у себя дома, где с гордостью продемонстрировал замечательную библиотеку, со множеством томов, посвященных спиритуализму. В ответ Дойлы пригласили чету Гудини в Атлантик-Сити в Нью-Джерси, провести уик-энд в отеле “Амбассадор” и насладиться радостями приморского курорта. Дети были в восторге, что снова увидят великого мага, и тот не обманул их ожидания: показывал трюки и просидел на дне бассейна невероятно долго даже для самого тренированного спортсмена.

Все шло замечательно вплоть до вечера воскресенья, когда выяснилось, что Дойлы решили провести спиритуалистический сеанс специально для Гудини, чтобы дать ему возможность пообщаться с покойной матерью. (Он был очень привязан к ней.) Впоследствии Дойл уверял, будто “сеанс был устроен по настоянию Гудини”, тот же утверждал, что предложение исходило от Дойла: дескать, тот пришел на пляж со словами: “у моей жены предчувствие, что сегодня состоится контакт”. К тому времени леди Дойл уже “обрела дар” медиума…

Гудини терзали сомнения, но искушение было слишком велико. И вот уже все трое сидят в номере за столом, окна плотно зашторены, чтобы не проникало закатное солнце. Склонив голову, Конан Дойл произнес что-то наподобие молитвы, прося Всемогущего о содействии в общении с “друзьями по ту сторону”. Он нежно пожал руку Джин и спросил, готова ли она. Рука ее дрогнула и трижды стукнула по столу, что означает у спиритов “да”, после чего робко призвала духов дать ей сообщение.

Потом Гудини записал, что искренне старался преисполниться доверия и даже ни разу не усмехнулся за весь вечер. “Я был готов поверить, я хотел поверить…”

Дыхание Джин стало прерывистым, веки трепетали, она дрожала. Рука ее взяла карандаш и стала выводить слова, словно бы сама по себе. Она писала все быстрей, и лихорадочные строки покрывали все новые листы. Возбуждение ее было столь велико, что муж попытался немного ее успокоить. “Это была необыкновенная сцена, — вспоминал потом Дойл. — Рука моей жены летала как обезумевшая, она писала с бешеной скоростью, а я сидел напротив и вырывал страницу за страницей из блокнота, по мере того как они заполнялись, и передавал их Гудини, сидевшему в полном молчании, с лицом суровым и бледным”.

Сообщение от матери Гудини начиналось так: “О дорогой мой, благодарение Богу, благодарение Богу, я наконец смогла связаться с тобой. Я пыталась — о, как часто я пыталась

— и теперь я так счастлива…” Далее она благодарила Дойлов за помощь, еще раз заверяла сына, что очень счастлива и занята хлопотами по благоустройству дома для милого сыночка, чтобы все было готово, “когда мы воссоединимся”. Потусторонняя жизнь прекрасна и радостна, правда, несколько омрачена разлукой с любимыми, но это ведь только временно. Сколько страниц заняло сообщение, неизвестно: Дойл говорил — пятнадцать, Гудини — пять.

Дойл предложил Гудини задать матери какой-нибудь вопрос, но поскольку тот был явно растерян и подавлен, то вызвался спросить ее сам. Иллюзионист кивнул. Дойл спросил, может ли мать читать мысли своего сына. В ту же секунду Джин снова застрочила с безумной скоростью. Ответ вышел довольно бессвязный. Да, сообщала мать Гудини, конечно могу… но какая все же радость… спасибо, спасибо, друзья… и Бог вас благослови, сэр Артур, за то, что вы делаете для всех нас… Ну и про великое откровение, которое со временем оценят и поймут все на свете.

Тут Джин выдохлась, а Гудини неожиданно сам взял карандаш. Рука его вывела в блокноте слово “Пауэлл”. Конан Дойл был потрясен. Ведь доктор Эллис Пауэлл, редактор лондонских “Финансовых известий”, был его “близким другом и соратником” в деле спиритуализма, и он скончался три дня назад! Дойл немедленно решил, что Пауэлл пытается с ним связаться, но Гудини сдержанно возразил: в тот момент он думал совсем о другом Пауэлле, Фредерике Юджине, своем близком друге, который на днях прислал ему важное письмо. Дойл и слышать об этом не желал.

В итоге они серьезно поспорили обо всем, в частности о сеансе, и это сильно подорвало их дружбу. Дойл говорил, что они из искреннего сострадания хотели дать сыну возможность пообщаться с матерью, как-то утешить его и примирить с утратой; что сам Гудини был поражен, впечатлен и тронут. Гудини же уверял, что сохранял полную невозмутимость и все его надежды ощутить присутствие матери никоим образом не оправдались.

Гудини не стал говорить Дойлу, что мать его изъяснялась на ломаном английском, а уж писать и вовсе не умела. Кроме того, так совпало, что тот день, 17 июня, был днем ее рождения, и Гудини был уверен — она не забыла бы об этом упомянуть. Ну и наконец, он недоумевал, почему на каждом листе леди Дойл рисовала крест: ведь мать его была иудейского вероисповедания, и уж что-что, а крест тут был ни при чем.

Для Гудини сеанс явился окончательным подтверждением того, что спиритуализм — сплошной обман. Разумеется, он вовсе не считал, что Дойлы намеренно вводили его в заблуждение — просто сами они заблуждались. И потому он ничего не возразил — из уважения к хозяину и нежелания расстраивать леди Дойл. После того вечера они еще несколько раз встречались в Нью-Йорке на обедах и в театре, а 24 июня иллюзионист поднялся на борт лайнера “Адриатика”, чтобы попрощаться с семейством Дойлов.

Несколько месяцев Гудини не распространялся о том, что произошло в Атлантик-Сити. Но хотя ему и не хотелось предавать друзей, все же он не желал, чтобы люди думали, будто он и впрямь вступил в общение с матерью, тем более что в каком-то смысле он расценивал это как насмешку над ее памятью и своими сыновьними чувствами. И 30 октября 1922 года в “Нью-Йорк сан” вышла его статья, где он сообщал, что никакого контакта не было, что он испытывал ту же горечь и одиночество, как и всегда после смерти матери. Написал Гудини и о том, что его изумила, так сказать, лингвистическая сторона дела.

Дойл был возмущен, он счел статью предательской и оскорбительной по отношению к Джин. Гудини получил от него весьма резкое письмо. С точки зрения Дойла, не имело ни малейшего значения, что мать Гудини была безграмотна, — ведь она лишь передавала сообщение, а писала-то леди Дойл. (Несколько нелогично, ибо суть “автоматического письма” в том и заключается, что рукой медиума водит дух.) Впрочем, он объяснил Гудини, что духи постоянно повышают свой образовательный уровень, и его мать могла как следует подучить английский на том свете. Он полагал, что Гудини проявил себя человеком узколобым и неблагодарным, страдающим, как он выразился, “комплексом маго-Гудинитис”. Они еще какое-то время обменивались письмами, полемизировали в прессе, и, несмотря на охлаждение отношений, сумели сохранить видимость дружбы.

Турне Дойла по Штатам вновь пробудило там интерес к спиритуализму, и в декабре 1922 года весьма уважаемый “Американский научный журнал” предложил 2500 долларов тому, кто сумеет продемонстрировать настоящий психический феномен при условии строжайшего контроля экспертной комиссии, а еще 2500 тому, кто совершит материализацию. Одним из экспертов был Гудини, чтобы “гарантировать зрителям отсутствие каких-либо трюков”.

Конан Дойл был до крайности недоволен и самим конкурсом, и участием Гудини. Он писал Орсону Мунну, редактору “Американского научного журнала”, что денежный интерес “привлечет мошенников со всей страны”, а в письме к Гудини поинтересовался, о какой непредвзятости может идти речь, если всем известно его скептическое отношение к спиритуализму. “Боюсь, что ваши недавние высказывания не только отпугнут любого порядочного медиума — ведь они люди, а не бесчувственные машины, — но и вообще сделают появление духов невозможным, поскольку они тоже не любят атмосферы враждебности”.

Среди прочих участие в конкурсе решила принять и некая Марджери, с которой Дойл познакомился в Бостоне. На самом деле ее звали Мина Крэндон. Она была красавица, и несмотря на то, что была замужем за преуспевающим бостонским хирургом Лероем Годдардом Крэндоном, у нее не было недостатка в поклонниках, считавших ее величайшим в истории медиумом. Известность ее носила весьма скандальный характер: поговаривали, что на ее сеансах творится черт-те что и нередко она является на них полностью обнаженной. Проводником ей в потусторонний мир служил ее брат Уолтер, пожарный, погибший в 1911 году в железнодорожной катастрофе. Для материализации его духа она использовала эктоплазму из вагины, а на столе хранила восковой отпечаток его большого пальца, снятый на одном из сеансов.

Гудини почти сразу заподозрил обман и, обедая с Дойлом в Нью-Йорке, подробно объяснил, с помощью каких ухищрений Марджери добивается эффекта, но тот упорно отказывался признать, что дело нечисто.

Летом 1924 года Марджери встретилась с членами экспертной комиссии и произвела на всех приятное впечатление, исключая только Гудини, по-прежнему исполненного насмешливого скепсиса. Мистер Крэндон написал Дойлу, что “война будет продолжаться до победного конца”, Гудини будет повержен, а Марджери сумеет доказать — она лучший на свете медиум. Столь воинственные настроения мало согласуются с тем, как Конан Дойл описывал Крэндонов: “самые терпеливые и всепрощающие люди… веселые, с добрым юмором”.

В августе 1924 года Гудини приехал в Бостон, чтобы присутствовать на сеансах Марджери. Первый оказался неудачным: Уолтер скорбно сообщил из ниоткуда, что кнопка электрического замка не срабатывает и потому он не звонит, как было условлено. Крэндоны заявили, что звонок испортил Гудини.

На другой вечер Марджери, по настоянию Гудини, поместили в большой деревянный “контрольный шкаф”. Из него сверху торчала ее голова, а руки были просунуты в боковые отверстия. Свет погас, и через пару минут раздался гневный вопль Уолтера: “Зачем ты это делаешь, Гудини? Чертов сукин сын! Зачем ты, негодяй, подбросил сюда рулетку?” Дело было в том, что Гудини просунул руку в боковое отверстие, чтобы проверить, то там делает медиум. Уолтер страшно негодовал и проклял Гудини на веки вечные, обещая ему всяческие несчастья. Тут же зажегся свет, и на полу в шкафу обнаружился складной метр, с помощью которого можно было подстроить передвижение предметов. Гудини уверял, что он ни при чем, но никто ему не поверил. В результате большинство согласилось с тем, что доброе имя Марджери осталось не запятнано, а вот репутация Гудини, дескать, сильно пострадала.

Это нисколько его не обескуражило, и он отправился в турне по Америке, показывая “фокусы” медиумов с последующим их разоблачением. Успех был колоссальный. Он предложил 5000 долларов любому медиуму, чей трюк он, Гудини, не сможет повторить точь-в-точь. Кроме того, выступил на заседании конгресса, посвященном закону о запрете на гадания и предсказания: “То, что они называют спиритуализмом… жульничество от начала до конца. Есть только два вида медиумов: умственно неполноценные, которых должны наблюдать врачи, и вполне здравомыслящие мошенники”. Он произнес яркую речь в бостонской филармонии, где в свое время выступал и Дойл, в которой назвал и его, и Лоджа, и всех иже с ними “угрозой человечеству”. Публика была потрясена: все же речь шла об известных, уважаемых людях, и вряд ли к ним были применимы слова “мошенники”.

Между Дойлом и Гудини завязалась яростная газетная полемика. В одной статье Гудини писал: “Я утверждаю, что сэр Артур Конан Дойл представляет собой угрозу для общества, поскольку люди считают его великим спиритуалистом, исходя из того, что он великий писатель… Я лично предупреждал сэра Артура, но, похоже, он не способен внять голосу разума. Жаль, что человек с таким литературным дарованием в преклонном возрасте принялся за такие вопиющие глупости”. Он даже угрожал подать на своего бывшего друга в суд, утверждая, что тот творит противозаконные вещи, ибо “слегка спятил на старости лет” и “его несложно одурачить”. В феврале 1925 года комиссия журнальных экспертов вынесла решение, где было сказано, что они “наблюдали феномены, механизм которых не всегда вполне понятен, но не было ни единого, который нельзя было бы повторить с помощью

обычных средств”.

Надо сказать, что и репутация Марджери пошатнулась, когда обнаружили, что отпечаток большого пальца духа ее брата один в один совпадает с отпечатком доктора Кервина, дантиста ее мужа.

Как и предсказал Уолтер, Гудини прожил недолго. 22 октября 1926 года он был в Монреале и готовился к выступлению. В уборную к нему зашла компания студентов из университета Мак-Гилла, и один из них спросил, правда ли, что он легко выдерживает любой удар в живот. И прежде чем Гудини успел напрячь пресс, нанес ему несколько сильных ударов. Гудини не знал, что у него в результате разорвался аппендикс, отчитал лекции в Монреале, а затем приехал в Детройт, где дал представление, после чего слег. Он скончался от перитонита 31 октября.

После его смерти Дойл открыл секрет: был еще один сеанс, на который явился дух матери Гудини, где она горестно сообщила, что предвидит безвременный конец своего одаренного сына. Но поскольку тогда у Дойлов были теплые отношения с иллюзионистом, они не стали передавать ему эту печальную новость, в надежде, что произошла ошибка. Однако предсказание оправдалось. Таким образом, пусть и покойнику, Конан Дойл сумел доказать истинность спиритуализма.

В качестве примирительного жеста вдова Гудини предложила писателю всю библиотеку мужа по оккультизму, но тот колебался. Бесс заверила Дойла, что муж всегда относился к нему с огромным уважением и восхищением. Дойл ответил: “Мужчина, завоевавший любовь и уважение достойной женщины, и сам безусловно человек честный и порядочный. Мне жаль, что между нами бывали трения”. Он заверил Бесс, что никогда более не скажет ни единого дурного слова о Гудини.

До конца своих дней он утверждал, что Гудини обладал сверхъестественными способностями. Через два года после его смерти он написал статью в “Стрэнд”, где доказывал, что именно дематериализация лежит в основе его поразительных трюков.

Но в конце концов Гудини отстоял свою правоту. Незадолго до смерти он условился с Бесс, что подаст ей с того света заранее закодированное сообщение, если это хоть как-то возможно. Десять лет подряд, в годовщину его смерти, Бесс Гудини устраивала сеанс, в надежде получить весточку. Никакого сообщения не пришло.

Глава 23

Говорит Фенеа

В 1921 году ДЖИН КОНАН ДОЙЛ ОБРЕЛА ДАР, который ее муж назвал “вдохновенным письмом”. Он отмечал, что сначала она, по “врожденной честности и скромности”, побаивалась новых способностей, опасаясь, что речь идет просто о самовнушении, но постепенно детальность сообщений убедила ее, что они исходят от внешних источников.

Сперва Джин общалась с покойными друзьями и родственниками. Все они были неизменно ласковы, сообщали вещи самые приятные и утешительные — и почти всегда именно такие, которые хотелось услышать Дойлу, особенно в том, что касалось его спиритуалистической деятельности: его мать, Иннес и Кингсли — все дружно сожалели, что не поддержали спиритуализм, пока были на этом свете. Вилли Хорнунг, скончавшийся от пневмонии, когда Дойл плыл домой из Австралии, говорил: “Я так рад, что я здесь, Артур, это замечательно! Если бы только я знал об этом на земле, сколько добра мог бы принести… Если бы люди знали!” Малькольм Лекки уверял Дойла, что жизнь “по ту сторону” насыщенна и интересна, она наверняка понравится им с Джин, когда они туда прибудут: “Мы помогаем обустраивать ваш дом. Мы знаем, что вы оба любите.

Он уже сейчас выглядит прелестно”. Лили Лодер-Симондс тоже регулярно была на связи и призывала “старушку Джин” отбросить всякий скепсис: “Больше доверия!”

Не отставала и мать Дойла, неустанно заботившаяся о сыне и не забывавшая похвалить невестку за хлопоты о его благополучии.

Иногда возникали и незнакомые духи. Они тоже хвалили Конан Дойла за труды на ниве спиритуализма и предупреждали о грядущих “великих переменах”. Странным образом из этого активного общения между мирами оказалась выключена Туи. Она ни разу не дала о себе знать, не интересовалась, как идут дела, и не пела хвалебную песнь загробному счастью. А ведь она так любила мужа. Но если молчание Туи и удивляло Дойла, он ни словом об этом не обмолвился. К тому же определенная логика в ее молчании была: ей не хотелось, видимо, чтобы в качестве посредницы выступала та, которая еще при жизни почти полностью заняла ее место. Молчал и отринутый от семьи во время земного существования отец Дойла, его дух не пересекал “невидимой границы” и не рассказывал о том, чем утешается он после смерти.

Спустя пять месяцев по возвращении из Америки пришло сообщение от Мэри Дойл: скоро к ним явится “духовный проводник”, который возмет на себя бразды правления. “Его зовут Фенеа. Он очень, очень высокий дух, направленный специально для работы с вами на земном уровне. Он умер тысячи лет назад на Востоке, подле Аравии. Среди людей он был первым. Он хочет, чтобы я сказала тебе, мой дорогой, что впереди у тебя еще много работы”. Конан Дойл спросил: “В этом мире?” Дух сообщил: “В этом”.

Первый контакт с Фенеа состоялся 10 декабря 1922 года, и с той поры он стал прямым руководителем Дойла по связям с загробным миром, хотя являлся нерегулярно, исходя, вероятно, из неких высших соображений. Дойл писал, что иногда они месяцами ждали его, а потом “он вдруг возникал посреди разговора, прямо за обеденным столом, приветствуя нас странным характерным голосом и восточными жестами”.

Фенеа был писцом в городе Ур, что в 140 милях к югу от столицы шумеров Вавилона. Жил он там за 3000 лет до нашей эры. И вот ведь — бывают же такие совпадения — незадолго до того совместная археологическая экспедиция Британского музея и университета Пенсильвании под руководством сэра Леонарда Вулли начала в Уре раскопки. Пресса писала о них во всех подробностях…

Фенеа давал Дойлу и его семье довольно здравые советы. Детям он рекомендовал прилежно заниматься и вести себя как следует; их отцу — побольше отдыхать, не пить крепкий чай, ходить пешком в любую погоду, одну милю с утра и другую днем, и дважды в день принимать висмут в качестве лекарства от болезней желудка.

Что касается более высоких материй, то деятельность Дойла дух приветствовал, а кроме того, предрекал, что Англии суждено стать центром мира, своего рода маяком, к которому из тьмы потянутся страждущие души. Фенеа очень тепло относился к леди Конан Дойл, никогда не упуская возможности похвалить ее, и отмечал ее редкий дар медиума — с ней он мог “работать в полной гармонии”.

Дети (Дэнису было тринадцать лет, Адриану — одиннадцать, а Джин-младшей — девять) частенько присутствовали на сеансах. Дух неизменно хвалил и их, особенно мальчиков, всячески призывая самосовершенствоваться. Он прочил им большое будущее, но при условии, что они будут много и усердно работать, ибо, как он однажды выразился, “невозможно приготовить яблочный пирог, если у тебя нет яблок”.

Вскоре после того, как Фенеа стал своим в их доме, Дойл спросил у него, стоит ли ему еще раз съездить в Америку с проповедническим турне. Выяснилось, что это будет нелишним, и 3 апреля 1923 года семья вновь приехала в Нью-Йорк, вместе с няней и двадцатью чемоданами багажа. В дороге корабль попал в шторм, Дойл поскользнулся на палубе, вывихнул колено и два дня провел лежа в каюте. Туда явился вызванный во время сеанса Кингсли и так профессионально сделал массаж, что все как рукой сняло. Эту историю Дойл не замедлил рассказать репортерам.

Планы у него были самые обширные — посетить восточное и западное побережье, Средний Запад и Канаду. Владелец отеля “Билтмор” Джек Боуман любезно предложил свой личный номер в распоряжение семьи, и было решено, что Джин с детьми останутся в Нью-Йорке, а Дойл в одиночестве отправится в очередной “крестовый поход”.

В то время в Штатах враждебность официальной церкви по отношению к спиритуализму вообще и к Дойлу в частности была даже сильнее, чем в Британии, и духовенство, в лице преподобного П.Дж. Кормикана, не преминуло воспользоваться его приездом. Журнал “Труф” напечатал гневную статью преподобного, в которой он обвинял писателя в том, что тот способствует физическому, интеллектуальному и духовному разложению масс, называл спиритуализм “современной некроманией”, а его последователей безумцами. Кормикан считал это движение едва ли не абсолютным злом, упоминал о склонности его адептов к самоубийствам, а кроме того, указывал на бесчисленные случаи мошенничества, вранья, богохульства, вымогательства, “разрушения семей и попрания устоев”. Нелепо и богопротивно думать, говорил он, что христианство исчерпало себя как религия и готово уступить место модным аморальным бредням. И под конец он не забыл загнать последний гвоздь — упрекнул Дойла в том, что тот приехал за американскими деньгами.

На защиту мужа выступила Джин. Она произнесла горячую речь по радио, где заверяла всех, что материальная сторона вообще не играет роли для ее супруга и нее самой. Она сообщила, что готова ютиться в двухкомнатной квартирке без удобств, лишь бы не утерять той благодати, которую несет новая вера. Слушали ее около полумиллиона человек. Дойл сказал, что это была речь ангела.

Куда бы Дойл ни обратил взор, всюду он находил связь с загробным миром. Пока он был в Нью-Йорке, пришло известие, что скончался лорд Карнарвон, знаменитый египтолог и собиратель древностей, возглавлявший британскую экспедицию, которая обнаружила гробницу Тутанхамона в ноябре 1922 года в египетской Долине царей. Его смерть вызвала настоящую истерию среди газетчиков, наперебой принявшихся писать о “проклятии фараонов”, и Дойл подлил масла в огонь, сказав, что это “опасная игра — открывать древние захоронения”. “Многие, конечно, тогда смеялись над нашими страхами, — писал он позже, — но взгляните на эту цепочку смертей: лорд Карнарвон, руководитель экспедиции, мертв. Достопочтенный Обри Герберт, присутствовавший на раскопках, мертв. Сэр Дуглас Рейд, радиолог, чье оборудование использовалось для определения возраста гробницы, мертв. Профессор Лефлер, исследовавший гробницу, мертв. Двое французских египтологов, которые помогали в раскопках, мертвы…” С точки зрения Дойла, ни один здравомыслящий человек не мог отрицать, что мистическая связь между этими событиями налицо.

Итак, он в одиночку отправился на Средний Запад, регулярно посылая с дороги нежные письма своей обожаемой жене.

В Кливленде он застал финал танцевального марафона, который длился 60 часов, и счел, что это одновременно и отталкивающее, и вызывающее уважение своим мужеством действо. Индустриальный Питтсбург произвел на него угнетающее впечатление: “Я лично придерживаюсь мнения, что Господь создал человека, чтобы он мог совершенствоваться умственно и духовно, но не затем, чтобы он делал болты и шурупы”.

Побывав в Канзас-Сити и Денвере, семейство направилось в Солт-Лейк-Сити в штат Юта — духовный центр мормонов, довольно неприязненно описанный Дойлом в “Этюде в багровых тонах”. Он немного нервничал, как они его примут, и был очень тронут, столкнувшись с самым сердечным приимством. Далее путь лежал в Калифорнию. Живя в Лос-Анджелесе, они наведались в Голливуд и познакомились с Дугласом Фэрбенксом и его женой Мэри Пикфорд — её Дойл счел “сильнейшим медиумом”. Впоследствии он отослал ей несколько заметок на

тему паранормальных явлений, за которые его поблагодарил Фэрбенкс, выразивший надежду на новые встречи.

Дойлы также съездили на остров Санта-Каталина, в то время почти целиком принадлежавший Уильяму Ригли, королю жевательной резинки. Дойл был далеко не в восторге от американского пристрастия к этому продукту. Даже Венера, по его словам, выглядела бы вульгарно со жвачкой во рту. “Свет не видывал такой непристойной привычки. Человек может пить и выглядеть по-королевски, курить и оставаться отличным, порядочным малым, но мужчина, а еще того хуже, женщина, беспрестанно жующие, начинают походить на животное”.

Затем они отправились в Сан-Франциско, Портленд, Такому и Сиэтл, а оттуда морем в Ванкувер, чтобы продолжить свое путешествие уже по Канаде. Там на него сильное впечатление произвел бейсбол. Дойл решил, что это во всех смыслах замечательная игра, и было бы неплохо, чтобы она прижилась в Британии. Более того, он даже утверждал, что она лучше крикета, страстным любителем которого он был долгие годы. Турне по Канаде завершилось в Монреале, где Дойл прочел две лекции и расследовал дело о полтергейсте.

Дойл подсчитал: за три месяца он с семейством проехал 15 000 миль, и за это время выступил сорок раз. Прежде чем отправиться домой, они устроили себе трехнедельный отдых на Лун-Лейк в Миннесоте, где Дойл вчерне набросал отчет о поездке, озаглавив его “Наше второе американское путешествие”.

Все годы, что Дойл посвятил спиритуализму, он не бросал писать. Правда, выходило у него нечто все более эклектичное и эксцентричное. В конце 1923 года он создал на редкость слащавое описание счастливой семейной жизни в Уиндлшеме того периода, когда его детям было 5–9 лет. Лучшим доказательством, что издатели готовы были опубликовать все, что выходило из-под пера Конан Дойла, может служить это произведение, озаглавленное “Трое из них — воспоминания”. Автор решил, что лепет юной Джин надо передавать, сохраняя фонетику (“класная клыса”), и преподробно описал безоблачное детство своих младших отпрысков, у которых есть “папа, любитель пошалить и попроказничать, с которым так здорово играть в индейцев”, и “мама, леди Светлая Радость”.

Если “Трое из них” снабжали читателя огромным количеством сведений о детях Конан Дойла — возможно, не слишком этому читателю интересных, — то в следующей книге информации, наоборот, недоставало. “Воспоминания и приключения”, опубликованные в 1924 году, получились излишне скупыми на подробности и довольно отвлеченными, дающими слабое представление о внутреннем мире их автора. Тут, видимо, сказалось инстинктивное нежелание посвящать кого-либо в свою частную жизнь, а потому “Воспоминания” скорее похожи на сухую хронику фактов. “Воспоминания” были к тому же далеко не полными: Дойл ничего не пишет ни об алкоголизме отца, ни о Брайане Уоллере, ни о своем романе с Джин Лекки. А спиритуализму, игравшему такую роль в его жизни, отведены лишь полтора десятка страниц в самом конце, хотя и сказано, что это очень важная работа, “которой и мой голос, и мое перо будут служить всю оставшуюся жизнь”.

Работая над “Воспоминаниями”, Дойл организовал выставку своего отца в лондонской галерее “Брук-стрит”, дав ей название “Смешное и страшное”. Художественный критик “Таймс” заметил, что работы Чарльза Дойла “исполнены притягательной, дружелюбной фантазии”, и хотя они не насмешили и не напугали его, но “вполне очаровали”. Бернард Шоу, с которым Дойл в свое время яростно полемизировал, сказал, что картины настолько хороши, что заслуживают отдельного зала в национальном музее, а критик Уильям Болито отметил разительное сходство между феями Чарльза Дойла и существами из Коттингли, в которых так верит его сын.

Весьма небезынтересны оценки Дойла собственных ранних произведений, приведенные в “Воспоминаниях”. Он считает, что “Торговый дом Гердлстон” (1890) — вещь “никудышная”, “Открытие Рафлза Хоу” (1891) — “не самое заметное достижение”, “Загородом” (1892) и “Паразит” (1894) —“очень посредственны”. Он невысоко ценил своих самых известных и удачных персонажей — Шерлока Холмса, бригадира Жерара и профессора Челленджера, зато очень гордился “Сэром Найджелом” (1906) как своим “высшим достижением в литературе”.

Однако Дойл не вовсе забыл старого друга. Бум, который переживало кино, возродил интерес к Шерлоку Холмсу. За два года, 1921-1923-й, актер Э. Норвуд сыграл Холмса в сорока пяти короткометражках (по десять — двенадцать минут) и двух “среднеметражках” (минут по двадцать), в том числе и в “Собаке Баскервилей”. Уступив настояниям Гринхоу-Смита

сочинить что-нибудь про Холмса, в 1920-м Конан Дойл написал “Происшествие в доме с тремя фронтонами” и на следующий год “Камень Мазарини” — совсем слабый рассказ, написанный от третьего лица, а не доктором Ватсоном. По сути, это переделанная пьеса Дойла “Бриллиант из короны”, и видно, что автор работал второпях, без всякого интереса. Затем Дойл за несколько лет сочинил еще десять рассказов про Холмса, но даже самые горячие поклонники вынуждены были признать, что в них нет былого блеска и силы.

Объяснялось это просто: Дойл потерял интерес к художественному творчеству. Времена, когда он мог прервать раунд в гольф и броситься за письменный стол, давно канули в прошлое. Он и “Землю туманов” (1926), первый роман после десятилетнего перерыва, написал, чтобы еще раз изложить свои соображения о спиритуализме. Гринхоу-Смиту он сообщил, что долго ждал вдохновения, и наконец оно пришло, а в такие периоды он пишет очень быстро — двенадцать — пятнадцать тысяч слов за три дня.

В предисловии автор поясняет, что роман (там вновь фигурирует профессор Челленджер) полуавтобиографический. Вплоть до того, что “некоторые разговоры, записанные во время сеансов, переданы со стенографической точностью”. Из четырех главных персонажей “Затерянного мира” остались живы трое, профессор Саммерли скончался за год до начала событий. Журналист Мелоун пишет статью о спиритуализме, Челленджер поначалу настроен решительно: все это, дескать, полная чушь, — но Саммерли присылает сообщение с того света… В романе нет ни ритма, ни интриги, зато очень много мистики. Нетрудно догадаться, что под конец Челленджер становится сторонником спиритуализма.

Читатели, а равно и критики книгу приняли плохо, все отмечали, что это беззастенчиво пропагандистская вещь. “Слишком большая пилюля, слишком тонкая сладкая оболочка”, — язвительно фыркнула “Таймс”. Многие критики сетовали, что роман недостоин пера такого одаренного писателя, как Конан Дойл.

Занимаясь “Землей туманов”, Дойл на время отвлекся от своего эпохального детища — двухтомной истории спиритуализма, но не забросил других обязанностей, с ним связанных. Он был активным членом всевозможных обществ, организаций и комитетов, президентом Лондонского союза спиритуалистов и Британского колледжа психических исследований, был избран председателем Международного спиритуалистического конгресса в Париже. Регулярно возникали слухи, что ему бы давно пожаловали титул пэра, если бы не его религиозные взгляды.

Постепенно интерес к спиритуализму упал, но Дойл продолжал считать, что это величайшее в истории религиозно-философское течение, за которым будущее. Высказывания его становились все более резкими, безапелляционными, а порой и совершенно абсурдными. Он утверждал, например, что никогда не был так близок с сыном при жизни, как после его смерти; говорил, что общается с ним чуть ли не каждую неделю, и спрашивал: разве это не доказывает, что мир устроен в корне не так, как нам представляется? А то, что нам кажется лишь “мрачной завесой смерти, на самом деле не есть ли розовый восход?”.

Он пытался воспользоваться радио для связи с потусторонним миром, ведь сообщения духов есть не что иное, как “электрическая трансмиссия”. Состоял в тесной переписке с человеком, утверждавшим, что установил контакт с Марсом при помощи радиоволн. Исключительно порадовал его оппонентов тот факт, что на сеанс к Дойлу — так он заявил — явились собаки, разумеется потусторонние. “Мы чувствовали, как они снуют у наших ног, а одна положила вполне весомую голову мне на колени. Это была моя любимая старая колли. В другой раз ее видел один из наших друзей-ясновидцев”. Он считал, что это доказывает, будто на том свете домашние питомцы живут в уюте и довольстве рядом со своими хозяевами.

Неудивительно, что осмеянный, осыпаемый бранью и подвергавшийся нападкам со всех сторон Конан Дойл предпочел до поры до времени держать при себе подробности самого важного сообщения, которое поведал ему “духовный проводник”.

Глава 24

Прощай, Холмс!

ЛЕТОМ 1924 года ВО ВРЕМЯ СЕАНСА ФЕНЕА СООБЩИЛ, что близок конец света. К тому времени леди Конан Дойл овладела уже не только “автоматическим письмом”, но и “инспирированной речью”, когда медиум, впадая в транс, способен “озвучивать” сообщения духов. Именно таким образом Фенеа и поведал, что мир стоит на грани катастрофы библейского масштаба — с наводнениями, землетрясениями, войнами и прочими ужасами. По его словам, предыдущая война “ничто, ничто, ничто по сравнению с тем, что ждет впереди”. Человечество, мол, погрязло в грехах, и Господь решил, что пора использовать очистительный огонь.

В сообщении содержалось немало подробностей, Дойл старательно внес их в блокнот, озаглавленный им как “Предсказанный ход событий”. Апокалипсис должен был начаться в конце лета 1925 года с гигантской бури, которая вызовет пожары и наводнения. В Америке разразится гражданская война, Нью-Йорк будет полностью уничтожен пожарами, Японию и Африку затопят прибрежные воды, Россия, “это темное пятно на карте мира”, просто перестанет существовать, как, впрочем, и Ватикан, “погрязший во зле”. Множество людей погибнет, но “избранные”, то есть спиритуалисты, выживут, чтобы основать спиритуалистическую Утопию.

Дойл предполагал, что землю окутает облако ядовитого газа — точь-в-точь как в его “Отравленном поясе”, — но “избранные” окажутся нечувствительны к ядовитым парам. Фенеа предсказывал, что Англия станет “светочем во мраке”, и говорил, что задача Конан Дойла — подготовить людей к грядущим испытаниям.

Медиумы вообще регулярно предсказывали конец света, многие из них расценивали Первую мировую войну как первый акт трагедии, но Дойла не смутил тот факт, что ни одно из пророчеств не оправдалось. Он свято верил Фенеа, а потому распечатал четырехстраничную памятку — сводную инструкцию по поведению в условиях апокалипсиса. Он разослал ее друзьям-спиритуалистам, в том числе и Оливеру Лоджу, предупредив, однако, что следует избегать паники и газетной шумихи. Тем более что спиритуалистам-то нечего опасаться: “Они перейдут в мир иной, минуя смерть в ее обыденном понимании”. Но некоторые “избранные” задержатся, чтобы создать новый мировой порядок, в котором роль всех религий возьмет на себя спиритуализм. Кроме того, каждому из приверженцев этого течения следует понимать, что в их обязанности входит утешение и вразумление человечества. И только “закоренелых”, то есть преступников и неверующих, ждет гибель.

Лето 1925 года пришло и ушло, но Армагеддона не случилось. Фенеа с помощью леди Дойл объяснил, что подготовка займет больше времени, чем ожидалось, ибо “враг” оказался сильнее, чем можно было предвидеть. Тут Дойл проявил рассудительность и более уже не называл точной даты катастрофы: отныне он предпочитал говорить, что она случится “скоро”. Но его уверенность в приближающемся конце света ничуть не поколебалась.

В ожидании апокалипсиса он много времени проводил в своем лондонском книжном магазине. Он открыл его в январе 1925 года в доме номер 2 по Виктория-стрит, под вывеской “Магазин духовной книги”, и очень надеялся, что это место станет “центральным хранилищем” знания. Помимо того он основал собственное издательство “Сайкик пресс”, где активно публиковал свои же труды на эту тему, ибо издатели совсем утратили к ним интерес. Среди услуг, предлагаемых книжным магазином, была библиотека, на которую можно было подписаться за два шиллинга шесть пенсов в месяц или одну гинею в год. Внизу Дойл устроил небольшой музей со спиритуалистическими фотографиями и артефактами. Его дочь Мэри, обращенная-таки в новую веру, помогала отцу вести дела, но он хотел сам держать все под контролем, а потому снял квартиру поблизости от магазина (и от стадиона “Лорде”, куда он ходил смотреть крикетные матчи). Приятель Дойла Джон Лемон вспоминал, что был немало удивлен, зайдя в магазин и увидев там знаменитого автора с закатанными рукавами, увлеченно разбирающего книги и сортирующего их для отправки “во все концы света”.

Побывал в “Духовной книге” и Джордж Доран, американский издатель Дойла. Он надеялся уговорить его написать “биографию” доктора Ватсона. Дойл любезно его выслушал, согласился, что идея занятная, но посетовал, что не может отрывать время от более важной работы. И тут же предложил Дорану осмотреть музей. “Он мягко взял меня за руку и сказал: “Но прежде позвольте мне показать вам кое-что”. Отвел меня в боковое помещение и показал акварельный рисунок, более всего напоминавший идеализированную Ривьеру где-нибудь между Ниццей и Монте-Карло, — синее море на переднем плане, а в глубине прекрасные дворцы, шале, горная цепь и голубое небо. Так, пояснил мне Дойл, выглядит место в раю,

предназначенное для духовно продвинутых. Он был совершенно уверен в его реальности”.

Конан Дойл надеялся, что выручка с продаж в магазине составит около 1500 фунтов в год, но предприятие не приносило ни цента. Его это не обескуражило, и он нередко говорил друзьям, что, если другие преуспевающие авторы тратят деньги на дорогие яхты или на скачках, он предпочитает свой “духовный” магазинчик.

Конан Дойл подсчитал, что, включая доходы от лекций и книжных продаж, он потратил на спиритуалистическое движение 250 000 фунтов — огромная сумма, по нынешним временам многомиллионное состояние.

Но Дойл отнюдь не бедствовал. Помимо съемной квартиры в Лондоне и магазина он приобрел Бигнелл-Вуд, большой, крытый соломой коттедж возле Минстеда в Нью-Форесте — подарок Джин на день рождения, ведь ей всегда так нравились тамошние места. В доме было центральное отопление, семь спален, четыре гостиные, помещения для прислуги. В саду протекал ручей, где водилась форель, а с участка можно было через ворота попасть прямо в лес — словом, это было тихое пристанище для отдыха от насыщенной трудами жизни. Садовник по имени Эзра построил курятник, домик для уток и загон для коз, чтобы обитатели Бигнелл-Вуда были обеспечены пищей на случай грядущей катастрофы.

Вскоре после того, как они там обосновались, Фенеа сообщил, что ему нужна особая комната для сеансов, окрашенная в розовато-лиловый цвет. Туда-то и явился дух Чарльза Диккенса с просьбой к Конан Дойлу: дописать за него роман “Тайна Эдвина Друда”. “Я чрезвычайно польщен, мистер Диккенс”, — ответил Дойл. “Просто Чарльз, если вы не возражаете, — отозвался Диккенс, — по-дружески”. Несмотря на этот обмен любезностями, Конан Дойл роман Диккенса дописывать не стал, как и неоконченный роман “Ожидание” Дж. Конрада, обратившегося к нему с того света с таким предложением.

А вот многие литераторы, еще не покинувшие бренный мир, почли за лучшее отдалиться от Конан Дойла. Джером К. Джером публично заявлял, что сеансы, проводимые в его доме, — “легкомысленная чушь”, основанная на “бессвязной логике”. Когда Джером скончался в 1927 году, то прислал сообщение: “Передайте от меня Дойлу, что я понял, что был не прав, как и он. Мы никогда не осознаем своих величайших ошибок в момент, когда их совершаем”. Дж. Барри не нападал на друга открыто, но не желал обсуждать с ним спиритуализм в частных беседах.

Грандиозный труд Дойла “История спиритуализма” был завершен в 1926 году. Он попросил у Оливера Лоджа разрешения посвятить “Историю” ему. И сообщил, что это “заслуживающая внимания, взвешенная работа, в которой нет ни одного резкого заявления”.

Критики, однако, рассудили иначе. Газеты упрекали Дойла за безапелляционный тон, за то, что он абсолютно игнорирует бесчисленные случаи обмана и мошенничества. Дойл, как водится, отмел все эти выпады, назвав их авторов “самонадеянными невежами”. Он издал за свой счет небольшой памфлет “Опыты психического познания”, где заявлял, что призван нести спиритуалистическое знание в массы. 19 ноября на съезде спиритуалистов, проходившем в Альберт-Холле, он попросил встать тех, кто лично общался с умершими. Поднялась половина зала. Дойл радостно описал этот факт в письме к Лоджу, присовокупив, что это — “одно из самых замечательных событий, когда-либо случавшихся в Лондоне”.

Затем он косвенным образом поучаствовал в расследовании таинственного исчезновения Агаты Кристи, королевы детективного жанра. 4 декабря автомобиль Кристи был обнаружен в Суррее, в нескольких милях от ее дома в Санниндейле. Машина стояла с зажженными фарами, внутри никого не было. Полиция бросила на поиски все силы, газеты только об этом и писали, и, когда через неделю Агату Кристи не удалось найти, было решено, что она погибла — либо в дорожной аварии, либо покончив с собой, либо стала жертвой убийцы.

Начальник полиции Суррея обратился за советом к Конан Дойлу в надежде, что тот применит свой дедуктивный метод, как было в случае с Эдалджи и Оскаром Слейтером. Но Дойл порекомендовал раскрыть тайну с помощью медиумов. Он уже развивал эту идею в рассказе, опубликованном в “Стрэнде” в 1920 году, советуя каждому крупному полицейскому отделению прибегать к услугам штатных ясновидящих и медиумов. Да, они могут и ошибиться, а кто же не ошибается? Но в том, что касается “ключевых мотивов и внутренне обусловленных связей, их помощь будет бесценна”.

Он обратился к Хорасу Лифу, медиуму, специалисту по психометрии, то есть способному извлекать информацию о человеке из его вещей. Лифу дали перчатку Кристи, и едва он ее

взял, как тут же сказал: “Агата!” Дойла это очень обнадежило, ведь никто заранее не говорил медиуму, в чем проблема (конечно, газеты уже целую неделю только об этом и писали, но разве это аргумент?). Лиф сказал, что у хозяйки перчатки “неприятности” и действует она не вполне осознанно. Но она точно жива. “Вы все узнаете в ближайшую среду, я полагаю”.

И ведь оказался абсолютно прав! В среду утром, 15 декабря, все газеты вышли с сенсационным рассказом о том, что Агату Кристи обнаружили в водолечебнице отеля в Йоркшире, где она зарегистрировалась как Тереза Нил. Дело было в том, что муж попросил у нее развода, чтобы уйти к некой Нэнси Нил, с которой у него был роман. Кристи никогда так и не объяснила, почему решила вдруг исчезнуть, и среди прочих версий упоминалась внезапная потеря памяти, депрессия и даже желание привлечь внимание публики. Разумеется, Дойл расценил предсказания Лифа как очередное подтверждение спиритуалистических возможностей. О чем написал в “Морнинг пост”, призывая использовать медиумов в помощь полиции, ссылаясь при этом на опыт Франции и Германии.

В июне 1927 года последние двенадцать рассказов о Холмсе были напечатаны в сборнике “Архив Шерлока Холмса”. В предисловии Дойл со всем почтением распрощался с героем: “Боюсь, что м-р Шерлок Холмс, подобно иным знаменитым певцам, пережившим свое время, но не желающим покидать сцену, беспрестанно устраивает “последние” выступления. Пора с этим покончить, он должен уйти. Итак, читатель, скажем: прощай, Шерлок Холмс!”

Дойл благодарил читателей за их неизменную любовь, но даже самые преданные поклонники знаменитого сыщика не могли скрыть разочарования от последнего сборника. Нельзя сказать, что там нет и следа былого таланта рассказчика. Например, в “Загадке Торского моста” сложная, запутанная интрига подана мастерски. Есть и чувство юмора, — чего стоит одна телеграмма из “Человека на четвереньках”: “Сейчас же приходите, если можете. Если не можете, приходите все равно. Ш. Х.”. Но при всем том совершенно ясно — нерва в повествовании нет, Дойл утратил связь с происходящим вокруг. Его Холмс из скептика-реалиста превратился в философствующего зануду, рассуждающего о смысле жизни, а точнее, о его отсутствии. Закончив последний рассказ сборника, Дойл отправил Гринхоу-Смиту письмо: “Это последний полет Шерлока, его суставы поскрипывают, как и у самого автора, но это лучшее, что я мог сделать. Простимся же с ним навсегда”.

Несмотря на то что Конан Дойл всегда утверждал, что последние рассказы не слишком уступают ранним, мало кто из критиков готов был с этим согласиться. Элиот заметил как-то, что великий автор детективов “интеллектуально деградировал”, а Вудхауз считал, что он пал жертвой собственного высокомерия.

Но главная причина заключалась в том, что время Холмса ушло. Наступила эпоха нового детектива, и на смену прежним авторам явилась целая плеяда молодых, одаренных, а главное, современных писателей. Дороти Сейере представила публике своего аристократичного детектива-любителя лорда Питера Уимзи, Агата Кристи — привередливого, насмешливого бельгийца Эркюля Пуаро и благовоспитанную старую деву мисс Марпл, а Честертон — обаятельнейшего патера Брауна, неизменно озабоченного моральной и религиозной подоплекой преступлений, которые он расследовал с таким блеском.

На фоне этих новых сыщиков Холмс выглядел анахронизмом — определение, применимое и к его создателю. Догматические воззрения Дойла отпугнули от него немало старых друзей. При этом с возрастом он становился все нетерпимее. Однажды он впал в ярость, обнаружив, что отель на курорте в Борнмуте заполнен едва ли наполовину, между тем как все гостиницы Французской Ривьеры забиты англичанами до отказа. Он направил открытое письмо в “Дейли экспресс” с предложением в законодательном порядке обязать соотечественников тратить деньги дома, а всех, кто уезжает на отдых за границу, лишать гражданства.

В тот год, когда вышел “Архив Шерлока Холмса”, Дойл решил — вопреки советам друзей — издать записи бесед с Фенеа. “Говорит Фенеа”, безусловно, самое нелепое произведение, под которым стоит имя Конан Дойла. Но поскольку он был убежден, что сообщения его “духовного проводника” жизненно важны для человечества, то разослал экземпляры книги всем, кого считал влиятельными фигурами, с сопроводительными письмами, где призывал отнестись к апокалиптическим предсказаниям Фенеа с должным вниманием. Большинство, однако, их проигнорировало.

Критика разгромила книгу. Уэллс в “Санди экспресс” назвал Фенеа “пошлым занудой” и саркастически осведомился: отчего это кошмарные пророчества говорливого духа не сбылись? Дойл был разгневан, что собрат по перу так небрежно развенчал его труд, и указал на то, что

многие предсказания Фенеа оправдались, например в отношении России (он имел в виду революцию и все последующее). Уэллса же Дойл сравнил с кардиналами, насмехавшимися над Галилеем.

Но даже многие сторонники издевались над Дойлом, высмеивая его стремление точно определить дату конца света. Их вообще начала раздражать его деятельность. Сэр Оливер Лодж возражал против намерения Дойла основать в Лондоне Спиритуалистическую церковь и в письме к своему другу говорил, что пусть это намерение — вполне логичное следствие миссионерской активности, оно не становится от этого более разумным.

Но ни пренебрежение коллег, ни общественное мнение, ни письма с угрозами — в одном из них Дойла называли “дьяволом, обосновавшимся в Уиндлшеме”, — ничто не могло заставить его свернуть с избранного пути, хотя было уже ясно, что битва проиграна. Спиритуализм неумолимо сходил на нет. Наступил “век джаза” — термин, введенный американским писателем Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом. Наступила эпоха фривольности и сумасбродства, взбалмошная, мечтающая о наслаждениях здесь и сейчас. Люди не желали вспоминать о прошлом и думать о будущем.

Память о страшной войне потускнела, и мало кто хотел оживить ее, общаясь с духами погибших. Конан Дойл все больше напоминал персонажа своих средневековых романов — героического, но неуклюжего, очаровательно старомодного, но неуместного. Рыцаря. Динозавра.

Глава 25

Последнее путешествие

НА СЕМИДЕСЯТОМ ГОДУ ЖИЗНИ, ОГЛЯДЫВАЯСЬ на пройденный путь, Дойл мог быть доволен. Пусть мир и отверг спиритуализм, но во всем остальном он был на редкость удачлив — знаменит, богат, довольно крепок физически, обожаем женой и детьми, окружен заботой и комфортом в Уиндлшеме. Он по-прежнему боготворил Джин и каждую весну выходил в сад, чтобы набрать ей первых подснежников, слал ей нежнейшие письма и записочки, стоило им разлучиться хоть на несколько часов. Из Лондона — в Уиндлшем (январь 1927): “Любимая, ты всегда будешь для меня самой чудесной женщиной на свете. Я и впрямь ночью мечтал о тебе”. Из Лондона — в Бигнелл-Вуд (апрель 1927): “Только одно словечко любви, моя милая девочка. У меня всего час, чтобы закончить речь, поэтому прости за коротенькие каракули. Навеки твой А”. Она также очень его любила. “После 23 лет нашего супружества, — писала Джин в дневнике в 1930 году, — всякий раз, как я слышу голос мужа или как он заходит в комнату, все словно озаряется светом, и пространство вокруг наполняется радостью”.

Врачи рекомендовали Дойлу бросить крикет, но он все же позволял себе ежедневно один раунд. Сыновей баловал безмерно, покупал им спортивные автомобили, на которых они гоняли по узким улочкам Кроуборо и нередко попадали в аварии, к немалому раздражению соседей. Дойл оплачивал их штрафы и не слишком пытался урезонить “мальчиков”; впрочем, однажды, когда Адриана задержали за сильное превышение скорости, пригрозил, что отберет у него машину, если он не пообещает ездить помедленней.

Прислуга в Уиндлшеме тепло отзывалась о хозяине. “Он был добрый и справедливый, — вспоминал шофер Билл Латтер, — иногда тихий, задумчивый. Но мог и рассердиться, если считал, что его указания не выполнены. Любил поболтать, просто с кем угодно, кто ему был интересен. Часто по дороге из Льюиса в Брайтон мы видели бродяг, идущих от одного работного дома к другому, и он просил меня остановиться, выходил из машины и спрашивал у бродяги, не возражает ли тот, чтобы он немного прошелся рядом. Они всегда соглашались. Тогда он просил меня ехать вперед и ждать его. По дороге он успевал расспросить человека о его жизни, узнать, почему тот предпочитает бродяжничать. Похоже, ему нравилась их свобода. Он давал им пять шиллингов, садился обратно в машину, и мы ехали домой. Однажды было очень холодно, шел снег, и он велел мне не ждать, а после вернуться за ним. Домой он приехал в одних носках — отдал бродяге свои ботинки”.

Не утратил он и чувства юмора. Уильям Фойл, один из основателей знаменитого книжного магазина на Чаринг-Кроссроуд в Лондоне, был частым гостем в Уиндлшеме. Нередко он приезжал вместе с юной дочерью Кристиной. Как-то она спросила Конан Дойла, доводилось ли ему общаться на сеансах с духами знаменитостей. Дойл ответил, что доводилось, и среди прочих упомянул Оскара Уайльда.

— А что он вам сказал?

— Что быть покойником очень скучно! — И громко расхохотался.

Он любил общаться с молодежью, с удовольствием проводил время в компании с молодыми людьми, но не терпел, когда кто-нибудь из его детей нарушал нормы приличия. “У отца была железная воля, — вспоминал Адриан, — и он не мог ни понять, ни простить малейшего отклонения от того своеобразного кодекса чести, которого придерживался сам”. Однако он был очень снисходителен к юношеской жизнерадостности, к увлечению сыновей “горячим джазом”, с удовольствием ездил с Дэнисом на его спортивном автомобиле со скоростью до ста миль в час, и позволял Джин-младшей выкуривать одну сигарету в месяц, после того как ей стукнуло десять лет. Все, чего он требовал от сыновей, — быть джентльменами. Они могли припомнить лишь два случая, когда отец вышел из себя: когда Адриан грубо обошелся со служанкой и когда шестнадцатилетний Дэнис заявил, что их попутчица в поезде — уродина. Взбешенный Дойл отвесил ему подзатыльник и сказал: “Ни одна женщина не может быть уродиной. Любая женщина прекрасна. Но некоторые прекраснее других”.

Он обожал новые технологии, с удовольствием позировал в наушниках и с радиоприемником для обложки еженедельника “Попьюлер вайерлесс”, но в чем-то остался глубоко в прошлом. Его многое раздражало, — например, что женщины стали курить в общественных местах — и упорно цеплялся за заветные викторианские ценности. Нисколько не интересовался современным искусством, считал постимпрессионистов ненормальными и был среди тех, кто поставил подписи под требованием убрать из Гайд-парка барельеф работы Джейкоба Эпстайна, на том основании, что это “художническая анархия”.

Всеобщая забастовка 1926 года потрясла Дойла, он полагал, что социализм — явление неанглийское и неприемлемое. Идеи членов так называемой Блумзберийской группы буржуазной интеллигенции, куда входили В. Вульф, Э. Форстер, Б. Рассел, Дж. Кейнс и другие, с их критикой морали, религии и эстетики, были ему абсолютно чужды. Он по-прежнему предпочитал В. Скотта и У. Теккерея модным знаменитостям — Лоуренсу, Фицджеральду, Хемингуэю, Джойсу… Писатели послевоенного поколения, посмеивавшиеся над понятиями, которые Дойл считал священными, подрывали самые основы того, во что он верил.

В 1927 году “Стрэнд” провел опрос среди своих ведущих авторов на такую тему: кого из знаменитых литературных персонажей они хотели бы создать? Г. Уэллс и Джон Бакен выбрали Фальстафа, Комптон Маккензи — Дон Кихота; называли также д’Артаньяна, Дон Жуана, Робинзона Крузо. Но никто не упомянул Шерлока Холмса, хотя Гринхоу-Смит совершенно справедливо отметил, что Холмс — наиболее известный персонаж английской литературы, “достижение, которым мог бы гордиться любой писатель”. Выбор самого Дойла очень показателен: он назвал теккереевского полковника Ньюкома как идеального английского джентльмена.

В тот год Дойл начал работать над научно-фантастическим романом “Маракотова бездна”. Экспедиция профессора Маракота в глубоководной камере опускается на дно океанической впадины в Атлантике, где обнаруживает затерянный город, населенный потомками атлантов. Выясняется, что когда-то атланты, жившие в те времена на суше, из праведных и прекрасных людей постепенно превратились в легкомысленных, жестоких и беспутных. Были среди них и люди достойные и серьезные, предупреждавшие о гибельности порока, но к ним, как водится, не прислушались: “Толпа глумилась над теми, кто пытался ее спасти”. Паралелль со спиритуалистами очевидна. Один критик отозвался о романе Дойла следующим образом: “Удивительно путанная… написанная второпях, невнятная история, в которой неудачно соединены приключения и спиритуализм”.

Но пока многие недоумевали, зачем почтенный семидесятилетний автор занимается подобной ерундой, Конан Дойл сочинил еще два научно-фантастических романа — “Дезинтеграционная машина” и “Когда Земля вскрикнула”. В обоих вновь фигурирует профессор Челленджер. Во втором романе он решает проверить свою теорию: Земля — живой организм; она не знает о том, что ее населяют люди, подобно тому как люди не знают, сколько и каких микробов на них живет. Челленджер хочет сообщить Земле о своем существовании и бурит глубочайшую шахту, чтобы, пройдя слой земной коры, добраться до живой плоти, “сероватого вещества, мерцающего и сияющего, которое поднималось и опадало, медленно пульсируя”. Словом, до мозга планеты. Когда это “сероватое вещество” укололи буром, Земля “вскрикнула”. Таким образом, теория профессора оправдалась. Затем по всем континентам начали извергаться вулканы, но главное, Земля узнала: на ней живет Челленджер!

Дойл был не вполне удовлетворен, и, закончив роман, писал Гринхоу-Смиту: “Я не думаю, что это лучшая моя вещь”. Вскоре он попытался убедить Гринхоу-Смита напечатать еще одну его статью о феях под заголовком “И снова феи”, поскольку получил новые фотографии из Германии. Но на сей раз редактор отказался, и тогда Дойл выпустил второе издание “Явления фей”, а фотографии поместил в приложении. Человек более робкий побоялся бы вновь стать объектом насмешек, но Дойл был решительно убежден, что феи существуют, а очевидные доказательства экспертов в области фотографии отметал, называя их “совершенно абсурдными”.

В июле 1928 года Конан Дойл выступал свидетелем защиты на суде по делу двух спиритуалисток, обвиненных в соответствии с законом о бродяжничестве от 1824 года. Согласно этому закону “всякий, занимающийся гаданием или использующий какие-либо приемы, инструменты и средства для вымогательства и обмана любого подданного Его Величества, должен быть признан мошенником и бродягой”.

Миссис Клэр Кентлон, знаменитого медиума, члена лондонского Союза спиритуалистов, в разное время посетили три сотрудницы полиции, одетые в штатское, после чего ей было предъявлено обвинение в том, что она занимается гаданием. Мисс Мерси Филлимор, секретарь Союза спиритуалистов, обвинялась в соучастии. Все три сотрудницы полиции показали на суде, что дух, посредством которого миссис Кентлон общалась с потусторонними силами, североамериканский индеец по имени Белый Вождь, давал крайне нелепые, не поддающиеся толкованию предсказания. Особенно публика развеселилась, когда одна из свидетельниц рассказала, что под конец сеанса Белый Вождь спросил, который час, и заявил,

что у него осталось десять минут. Судья, хотя и не сомневался в виновности обеих дам, обвинение отклонил, но настоятельно посоветовал миссис Кентлон не иметь более дел с “бесплотным духом, которому тем не менее важно, не пришло ли время пить чай”.

Несмотря на оправдательный приговор, Дойл был возмущен самим фактом обвинения. Он немедленно написал письмо в “Таймс”, особенно упирая на “возмутительную провокацию со стороны полиции”. Он также счел нужным поставить в известность министра внутренних дел сэра Джойсона-Хикса, но получил твердый, вежливый ответ: никаких надежд на то, что закон будет отменен, питать не стоит. Отказываясь признать себя побежденным, Дойл организовал кампанию за отмену закона о бродяжничестве. На обеде в лондонском ресторане “Холборн”, устроенном в его честь п октября 1928 года, он призвал спиритуалистов голосовать на выборах за ту партию, которая вознамерится отменить закон, ущемляющий их свободы.

В октябре 1928 года Дойл согласился дать “видеоинтервью” для “Мувитон ньюс”, но только при условии, что говорить он будет не только о Шерлоке Холмсе, но и о спиритуализме. Съемка проходила в саду в Уиндлшеме. Дойл сидел в кресле, у его ног устроился ирландский терьер Пэдди.

Дойл, сняв шляпу и неотрывно глядя прямо в камеру, говорил двадцать минут подряд, глубоким хриплым голосом с явственным шотландским акцентом. Это было безупречное выступление, притом абсолютно искреннее. Он начал с того, что люди всегда интересуются двумя вещами: как он придумал Холмса и почему занялся психическими феноменами. “Холмс — это чудовищный плод довольно скромного зернышка… Забавно, что на свете столько людей, абсолютно убежденных, что он реальный человек. Я получаю письма, адресованные ему. Письма, в которых просят прислать его автограф. Письма его глуповатому другу Ватсону. Некоторые леди извещают, что с радостью нанялись бы к нему в экономки”.

Затем он переключился на спиритуализм, упомянув, что, хотя многие и спрашивают, когда будет очередное продолжение историй про Холмса, ждать этого не следует — он намерен посвятить оставшиеся годы вещам куда более серьезным и важным, нежели художественная литература… Он уподобил себя передаточному звену, которое помогло множеству несчастных, потерявших на войне своих близких, услышать вновь дорогой голос, ощутить пожатие любимой руки. Сказал, что их благодарными письмами можно было бы заполнить до потолка целую комнату в его доме, затем встал, подозвал собаку, улыбнулся в камеру и произнес: “Ну, до свидания” — и ушел в дом.

Лучшей рекламы спиритуализму нельзя было и пожелать. Противники Дойла изображали его печальным, спятившим стариком, но вот он на экране — исполненный дружелюбия, иронии и здравого смысла. Зрителям оставалось только восхищаться.

В ноябре 1928 года Конан Дойл отправился в путешествие по Африке с обширной программой лекций. Спустя несколько дней после того, как корабль отплыл от Саутгемптона, в Бискайском заливе они попали в жестокий шторм, и некоторые пассажиры даже получили травмы — так сильно швыряло судно. Дамы и слабые прятались по каютам, а шестидесятидевятилетний Конан Дойл стоял на палубе и всматривался в бушующее море. Он, похоже, был счастлив, наслаждаясь разгулом стихии. Когда погода наладилась, он прочел лекции о спиритуализме — отдельно для пассажиров каждого класса.

Когда 12 ноября корабль бросил якорь в Тейбл-Бей, поблизости от Кейптауна, Конан Дойл сошел на берег, чтобы дать радиоинтервью. Впоследствии он признавал, что принимали его хуже, чем в Америке. “Аудитория лишь терпела, можно сказать, снисходила до меня”. Вопросы и реплики из зала зачастую были откровенно недоброжелательны. Какой-то мужчина осведомился, отчего все спиритуалисты еще не отправились добровольно на тот свет, коли там так хорошо. Одна печальная дама поинтересовалась, придется ли ей и там жить со своим нынешним мужем, на что Конан Дойл заверил ее, что никакой необходимости в этом не будет: если между супругами не было духовной связи на этом свете, никто не станет их принуждать поддерживать отношения на том.

Семья Дойл провела в Кейптауне две недели, после чего перебралась в столицу Оранжевого свободного государства, Блумфонтейн. Дойл смог посетить павильон, где во время Бурской войны располагался госпиталь. Это было тридцать лет назад, и мало что изменилось с тех пор.

Он посетил и памятник жертвам той войны — двадцати шести тысячам женщин и детей, погибшим, как были здесь уверены, из-за зверских условий, созданных британцами в

концлагерях. Разумеется, он не преминул сказать, что умерли они от естественных причин — их хорошо кормили, о них добросовестно заботились, ведь Британия воевала только с мужчинами. Этот случай получил широкую огласку, некоторые газеты написали даже, что Конан Дойл сказал, будто жены и дети погибших не заслужили памятника. У гостиницы, где остановились Дойлы, моментально собралась толпа агрессивно настроенной молодежи, но все обошлось. Впрочем, Конан Дойл написал краткое извинение в “Кейп тайме”, где было сказано, что его неправильно поняли.

Был и такой случай: кто-то из зала выкрикнул, что Дойл использует своего покойного сына ради пропаганды спиритуализма, — он так возмутился, что хотел заколоть обидчика зонтиком.

Они побывали в Питермарицбурге, Дурбане, Претории и Йоханнесбурге, который Дойл обозвал “дьявольским местом”, и прибыли в Родезию, ныне Зимбабве. Еще в Кейптауне Дойл получил “сообщение”: глубоко почитаемый им Сесиль Родс желает что-то ему сказать. Понятно, Дойл устремился к его могиле в Матопо-Хилз, неподалеку от Булавайо.

И вот ужасающе жарким летним днем они взобрались по извилистой тропинке к могиле, на плите было высечено: “Здесь покоятся останки Сесиля Родса”. Конан Дойл перво-наперво сделал несколько фотографий, в надежде, что на них проявятся “психо-феномены”, но тут, как он позже признался, его постигло “полное разочарование”. Затем он попросил жену сесть с карандашом и блокнотом на камень у могилы. Поначалу ее дар “автоматического письма” не проявлялся, но “неожиданно рука ее ожила и начала записывать сообщения Родса”. Дойл, не до конца еще уверенный, спросил:

— Мистер Родс, это в самом деле вы?

— Да, это я.

— Говорить с вами — честь для меня. Ваши земные деяния поразительны.

— Нет, сэр. Ничто не сравнится с религиозными деяниями. Только их можно назвать достижением. Мои усилия затронули лишь скромную область…

Далее Родс сообщил, что давно хотел связаться с Дойлом, поощрить в его трудах и сказать, что память о нем будет в сердцах людей, в их душах. Он обещал скорую встречу и “долгие грядущие беседы”.

Дойл был очень растроган. Вся Родезия представлялась ему “великой страной”, а ее европейские обитатели “очень воодушевленными и патриотически настроенными людьми”. Он даже предсказал, что через сотню лет Родезия “станет лучшим доминионом под флагом Британии”. К черному большинству он относился патерналистски, что никак не подразумевало, например, идеи образования, хотя, по его словам, “они очень легко обучаемы”. Но он полагал, что образование влечет “чувство неудовлетворенности”.

Здоровье его становилось хуже, о чем он теперь нередко упоминал в письмах: “Силы уже не те, в гольф больше не играю”, “Стало получше, но курить пока нельзя — показательный признак”. Осматривая водопад Виктория, Дойл жаловался на боли в груди и приступы головокружения, но никакой, даже коротенькой передышки не внес в свое расписание, несмотря на жару и усталость от постоянных переездов. Он выступал перед полными залами в тогдашней Северной и Южной Родезии, в Уганде, Танганьике и Кении.

Поездка прошла с переменным успехом, а на лекции в Найроби и вовсе случился крайне неприятный инцидент. Дойл показывал фотографии духов, среди прочих из дома с привидениями в Сомерсете, как вдруг выяснилось, что “привидение” сидит в зале! Артур Спенсер Палмер, зубной хирург, работавший в Найроби, был поражен, узнав себя на экране в роли “духа покойного”. Он тут же встал и воскликнул: “Это привидение — я!”

Леди Конан Дойл, сидевшая рядом с мужем на сцене, с трудом сдержала негодование, но Дойл пригласил Палмера подняться на сцену, и тот подробно объяснил, где, когда и кем была сделана фотография. И хотя черты лица не вполне угадывались, Дойл был вынужден признать, что фотография — подделка. Конечно, такие конфузы не могли способствовать утверждению спиритуализма.

По дороге домой Дойл, хотя и неважно себя чувствовал, все же дал лекцию для пассажиров — в основном колониальных чиновников и плантаторов, возвращавшихся с семьями обратно в Англию. Потом он отдельно выступил уже перед корабельной командой. В Суэце им удалось съездить на машине за сотню миль — осмотреть пирамиды.

Семья сошла на берег в Марселе и, проехав всю Францию, пересекла Ла-Манш и оказалась на родном острове. Результатом поездки стала книга в защиту спиритуализма — “Наша зима в Африке”. В Америке ее публиковать не захотели: Джордж Доран счел, что это повредит продажам книг о Холмсе.

Двадцать второго мая 1929 года Конан Дойл отметил в Бигнелл-Вуде свое семидесятилетие. Местные жители шептались, что он проводит какие-то таинственные мистические ритуалы. В саду стояли керамические гномы “в натуральную величину”, которые, по мысли Дойла, должны были привлечь в гости окрестных фей. Для той же цели он нередко просил восьмилетнюю дочку садовника взобраться на старое дерево у ворот, а сам на небольшой граммофон ставил пластинки с “духовной” музыкой и ждал с камерой наготове, надеясь запечатлеть их появление.

Но как бы скептически ни относились к нему соседи, все они бросились на помощь, когда в августе 1929 года в доме начался пожар. Дойл возвращался с утренней прогулки и увидел, что из-под крыши двухсотлетнего здания бьет пламя. Тревогу уже успел поднять старший садовник, заметивший, что искры из кухонной трубы падают на соломенную крышу. Пожарным потребовалось почти полчаса, чтобы приехать из Саутгемптона, но к тому времени соседи и обитатели поместья успели многое вынести в сад.

“К счастью, — сказал потом Конан Дойл репортеру “Таймс”, — это всего лишь загородный дом, а не наше основное жилище. Так что угрозы самому ценному, то есть моей библиотеке, не было. Мы многое спасли, но мне очень жаль, что погибла коллекция Дэниса, которую он собирал во время наших поездок по свету. Но он благородно думал не о ней, а помогал выносить вещи из дома”. Через местную газету Дойл от души поблагодарил всех соседей, помогавших при пожаре. С присущим ему юмором он отметил: “Они выносили из дома мебель и ценные вещи, хотя парочка “спасателей” порывалась унести наше добро совсем уж далеко. Но это досадное исключение: подавляющее большинство действовало абсолютно бескорыстно. Я очень всем благодарен”.

Несколько недель спустя Барри, к тому времени уже сэр Джеймс Барри, пригласил к себе супругов Дойл на выходные. Каждое лето он снимал большой дом неподалеку от Челтенхема, куда обязательно звал в гости друзей и собратьев по перу. Устраивались веселые литературные вечера, но Дойла хозяин приглашал с опаской — стоило ему завести свою обычную волынку про спиритуализм, как гости начинали зевать и веселье угасало.

В дневнике Дойла сохранились заметки об этом визите: “Барри говорит, что каждое утро, встав с постели, Шоу кричит: “Ура! Я Шоу!”” “Барри не питает симпатии к нынешнему поколению писателей. Их слишком волнует секс. Тем не менее нам пора уже отойти в сторонку и дать возможность молодым проявить себя”.

На каждом шагу Конан Дойл сталкивался с тем, что его литературный герой живет своей жизнью и слава его не меркнет. В тот год вышли четыре повести о Холмсе под одной обложкой, и книга получила хорошие отклики. О ней тепло отозвался Х. Пирсон из “Уикли”. Автор поблагодарил критика в письме, но присовокупил, что в каком-то смысле ненавидит Холмса, ибо тот препятствует “правильному отношению” к его “серьезным работам”.

Много забот и времени отнимало у Дойла его издательство “Сайкик пресс”, где регулярно печатались шестипенсовые пропагандистские брошюры по спиритуализму, зачастую с критикой официальной религии. Нередко его можно было видеть и в книжном магазине, хотя прежний живой энтузиазм явно уступал место утомленной раздражительности.

В октябре 1929-го он отправился с лекциями по Голландии, Дании, Швеции и Норвегии. Одному из друзей он сказал, что хотел бы выступить во всех некатолических европейских столицах. Но здоровье его стало резко ухудшаться. Джону Лемону он писал: “Последние двенадцать лет были отданы тому, чтобы донести знание возможно большему числу людей, и в результате мы проехали 75 000 миль и выступили перед четвертью миллиона человек”. Он жаловался, что совсем устал и плохо себя чувствует. В Копенгагене ему стало плохо с сердцем, но он не прервал поездку и давал лекции, превозмогая боль.

В середине ноября Дойл вернулся в Англию. Он был так слаб, что не смог сам сойти на берег в Дувре, а с лондонского вокзала Виктория до квартиры его пришлось везти в кресле на колесах. Врач поставил диагноз “стенокардия” и рекомендовал как следует отдохнуть, но Дойл заявил, что на следующий день у него запланированы два важных выступления (это был День

перемирия, в честь окончания Первой мировой, отмечавшийся и ноября). Он должен был выступать в Альберт-Холле и в Куинз-Холле. Доктор развел руками и сказал, что это огромный риск и он снимает с себя всякую ответственность.

Конан Дойл, сам врач, отлично понимал опасность, но все равно решил ехать. В такси по дороге в Альберт-Холл у него случился приступ, и войти в здание он смог, лишь опираясь на сыновей, которые едва ли не на руках донесли его до зала. Ему оказали первую помощь, но и тут он не захотел отменить выступление и нашел в себе мужество выйти на сцену — дважды в тот день.

Затем он уехал в Уиндлшем, и врач прописал ему строгий постельный режим. Это не мешало Дойлу отвечать на многочисленные письма: ответы он диктовал своему секретарю Вуди. Его дочь Мэри вспоминала, что отец не терял живости и ясности ума: “Он занялся рисованием, хотел учиться музыке и заинтересовался теорией реинкарнации, о чем написал статью. Он часто говорил со мной о далеких прошедших годах, и сказал как-то, что надеется, в будущей жизни у него будет много времени на дружбу. По-прежнему говорил о спиритуализме со всеми посетителями и несколько раздражался, когда кто-то заявлял, что придерживается более “открытых взглядов”. “У них такие открытые взгляды и головы, что оттуда все выпадает и в итоге там пусто””.

Вскоре после Нового года он почувствовал себя в силах дать последний бой и ввязался в полемику по поводу спиритуалистических сеансов итальянского маркиза Скотто, которого члены общества обвиняли в пособничестве медиумам-обманщикам. Дойл, разумеется, отстаивал его интересы и требовал, чтобы “с этого во всех отношениях благородного, законопослушного человека были сняты все беспочвенные обвинения”.

Более того, он обвинял общество в том, что оно превратилось в организацию антиспиритуалистов, и заключил, что общество “содействует распространению зла”. Дойл призывал и остальных членов присоединиться к нему, но лишь шесть человек последовали его примеру и отказались от членства.

Здоровье его немного улучшилось в первые месяцы 1930 года. Он внес ряд дополнений в автобиографию, написал несколько эссе, в том числе “За гранью непознанного”. “Невозможно не восхищаться, — писал журнал общества психических исследований, — той настойчивостью, с какой сэр Артур продолжает отстаивать совершенно безнадежное дело”.

Смерти он ничуть не боялся, напротив, ждал от нее возможности встретиться “за гранью” с друзьями и близкими.

Он нарисовал тушью небольшой рисунок в стилистике своего отца. На нем он изобразил себя старым конем-работягой, впряженным в тяжело нагруженную телегу — книгами, статьями, лекциями… “и возможно, самый тяжкий груз из всех — это “Шерлок Холмс””. Извилистый жизненный путь начинается в 1859 году в Эдинбурге и завершается в 1930-м в Уиндлшеме. Три ветеринара в цилиндрах обсуждают состояние коня: “Он тащит тяжелую ношу и проделал долгий путь. Но если хорошо о нем заботиться, подержать на конюшне месяца полтора и полгода выгуливать на травке, то он будет готов вновь пуститься в дорогу”.

Первого июля Конан Дойл выбрался в Лондон, в Уайтхолл, чтобы возглавить депутацию к министру внутренних дел Джону Клинесу, депутацию, добивавшуюся отмены закона о бродяжничестве. Он являл собой грустное зрелище — слабый, трясущийся, опиравшийся на руку жены. Он попытался было встать, чтобы изложить суть дела, но смущенный Клинес быстро сказал: “Умоляю вас, сидите, сэр Артур”. Жена протянула ему нюхательные соли, и он сумел произнести заготовленную речь, в которой просил прекратить нападки на спиритуализм и защитить медиумов.

Это испытание оказалось непосильным для его здоровья. Дойл вернулся в Уиндлшем, чтобы более не покидать его никогда. Он почти не мог уже обходиться без кислородной маски. Попытки связаться с Мэри и сообщить ей, что отец при смерти, оказались безуспешными. Двое суток подряд Джин дежурила у его постели. В два часа ночи 7 июля Дэниса с Адрианом отправили за кислородным баллоном в больницу в Танбридж-Уэллс. В половине восьмого Конан Дойл сказал, что хочет встать. Его закутали в халат и усадили в большое кресло у окна, откуда хорошо были видны окрестности. “Тебя надо наградить медалью “Лучшей сиделке””, — прошептал он жене.

Два часа спустя, окруженный женой и тремя детьми, он скончался. Леди Конан Дойл уверяла, что последние его слова были: “Ты чудо”.

Эпилог

Писали о нем и как о “защитнике угнетенных”, и о “благороднейшем, честном муже”. Соболезнования слали писатели, редакторы, художники, газетчики и простые читатели. Например, пришло трогательное послание от пожизненно заключенного в Синг-Синге: “Только большой ум, большое сердце и большая сострадательная душа могли подвигнуть человека написать письмо в тюрьму, такое, как написал мне Конан Дойл”.

Его называли “последним рыцарем” и благословляли за то, что он сделал для общества. Пришло несколько писем от моряков, с благодарностью вспоминавших его заслуги в деле экипировки флота: “Он и не знал наших скромных имен, но он спас наши скромные жизни”.

Триста человек — семья, друзья и собратья-спиритуалисты — собрались п июля в саду Уиндлшема, где на лужайке стоял дубовый гроб. Вокруг цвели розовые кусты. Родственники заранее известили всех, что не надо соблюдать траур, похороны будут церемонией скорее радостно-спокойной, чем печальной.

День был солнечный, присутствовавшие оделись в обычные платья. Мэри Конан Дойл играла гимны на пианино; звучал 121-й псалом, особенно любимый Дойлом (“Подыму взоры мои к горам — оттуда придет помощь ко мне…”), и другие. Затем леди Конан Дойл, в сером шифоновом легком платье с розой на плече, произнесла надгробную речь: “Господь благословит его за прекрасную, бескорыстную жизнь, за мужество и бесстрашие, за то, что неустанно боролся с несправедливостью и помогал найти утешение скорбящим…”

Затем гроб пронесли мимо теннисного корта вниз по садовой дорожке к свежей могиле, выкопанной возле садового домика, где Дойл любил работать. Там на столе лежал блокнот с последними записями. Трава подле могилы была усыпана свежесрезанными цветами. Гроб, украшенный красными розами, медленно опустили в могилу, и леди Дойл бросила на крышку одну красную розу. Тут она едва не потеряла сознание, но Адриан вовремя поддержал мать.

Через два дня, в воскресенье 13 июля, в Альберт-Холле состоялась поминальная церемония, организованная Ассоциацией спиритуалистов Марилебона. Задолго до семи вечера зал был уже забит битком, многие прибыли издалека и были одеты в торжественное платье. Среди публики были не только спиритуалисты, но много и просто любопытствующих — прошел слух, что Конан Дойл, возможно, явится на этот вечер, и они не желали пропустить такое событие. На следующий день газеты писали, что в зале было 10 000 человек, вдвое больше того числа, на которое он был рассчитан.

На сцене, украшенной цветами, стояли кресла, в том числе одно с табличкой “Сэр Артур Конан Дойл”. Прибыли члены семьи — Дэнис и Адриан во фраках и с цилиндрами, леди Конан Дойл, Мэри и Джин-младшая в строгих вечерних платьях. Вдова заняла место слева от кресла мужа, как она всегда делала на его лекциях.

Церемонию открыл председатель ассоциации, он поприветствовал собравшихся и прочитал обращение леди Дойл, в котором она заверяла всех, что дух ее мужа незримо присутствует рядом с ними, и благодарила гостей за то, что пришли, от его и своего имени. Прозвучал гимн, преподобный Драйтон Томас прочел “Отче наш”, а затем друзья и коллеги Дойла стали выходить на сцену с прощальными речами. Много говорили о его преданном служении избранному делу, о той огромной работе, которую он проделал на этом поприще. Кто-то, впрочем, вспомнил и о его “преданном служении крикету”, чем искренно повеселил публику, а другой выступавший заставил ее расплакаться, воздев руки и воскликнув от всего сердца: “Господь да благословит тебя, Дойл!”

Когда речи отзвучали и стихла органная музыка, к микрофону вышел председатель ассоциации и сказал: “Сегодня мы попытаемся провести очень волнующий опыт. Нас вдохновляет на это мужество и вера нашего покойного лидера, сэра Артура…” Далее он сказал, что это будет нелегко, при таком количестве собравшихся, но, с другой стороны, в зале столько спиритуалистов, что, возможно, их совместные усилия помогут медиуму.

Затем на сцену поднялась миссис Эстелла Робертс — в длинном черном платье с белым воротничком и букетиком роз на плече. Ей был сорок один год, и она считалась сильнейшим медиумом в Лондоне. Дойл очень ее ценил.

Воцарилась тишина. Зрители напряженно смотрели на миссис Робертс. Она молча стояла, концентрируя энергию, потом заговорила. Сообщила, что в зале присутствуют несколько духов: “Рядом с джентльменом, вон там, почти лысым. Да, с вами! Я вижу рядом с вами молодого человека в форме. Ему года двадцать четыре. Да, высокий, широкоплечий. Уголки

рта немного опущены. Он уходит, неожиданно уходит. Он назвал вас дядей. Вы его дядя Фред! Это верно?” Всякий раз, как она задавала вопрос, кто-нибудь в зале утвердительно кивал.

Это длилось с полчаса, и понемногу публика устала. Зрители потянулись к выходу, утомленные долгим сеансом. “Боюсь, я не смогу продолжать, — заявила миссис Робертс, — меня отвлекает движение в зале”. Но это не помогло, и народ продолжал уходить. И тогда миссис Робертс вдруг воздела руки и воскликнула: “Он здесь!”

Не было никаких сомнений, о ком она говорит: все дружно посмотрели на пустое кресло справа от леди Конан Дойл. Та вскочила на ноги, глаза ее сверкали. Медиум, казалось, следила взглядом за невидимой фигурой, приближавшейся к ней. “На нем вечерний костюм, — проговорила она и склонила голову, точно прислушиваясь к чьим-то тихим словам. Лишь сидящие поблизости могли разобрать, что она говорит. — Сэр Артур сообщил, что один из вас был сегодня утром в садовом домике. Это верно?” Леди Конан Дойл, сияя улыбкой, подтвердила, что была там с утра. “У меня для вас сообщение”, — сказала медиум. В этот миг кто-то дал знак органисту, и зазвучала музыка. Люди в зале видели, что медиум что-то говорит леди Дойл, а та счастливо кивает в ответ. Через несколько минут под звуки торжественного хорала зал опустел.

После церемонии миссис Робертс, еще не до конца успокоившаяся, рассказала репортерам, что увидела сэра Артура “во плоти” еще в самом начале вечера, что он помогал ей, подбадривал ее во время сеанса, а под конец подошел и передал сообщение для семьи. Она сказала, что это сугубо личное и вдаваться в подробности она не вправе.

Леди Конан Дойл заявила газетчикам, что совершенно убеждена — сообщение было от ее мужа. “Я уверена, что он был здесь, так же как я уверена, что говорю сейчас с вами. Я получила от него радостную весть, весть в поддержку и помощь мне. Вы понимаете, что это останется тайной”. Она так никогда ее и не открыла.

Хронология

1859 22 мая родился Артур Конан Дойл.

1868 Начало обучения в подготовительной школе Ходдер.

1870 Начало обучения в колледже Стоунихерст.

1875 Сдача выпускных экзаменов, переезд в Фельдкирх.

1876 Поступление на медицинский факультет Эдинбургского университета, знакомство с Джозефом Беллом, прототипом Шерлока Холмса.

1879 Напечатаны первые рассказы, анонимно.

1880 Работа врачом на китобойном судне в Арктике.

1881 Окончание университета; Чарльз Дойл попадает в клинику Блайэрно.

1882 Работа с Дж. Баддом в Плимуте, открытие собственной практики в Портсмуте.

1885 Женитьба на Луизе (Туи) Хоукинс.

1887 Опубликована первая повесть о Шерлоке Холмсе, “Этюд в багровых тонах”.

1889 Рождение дочери Мэри Луизы (28 января); опубликованы “Знак четырех” и “Мика Кларк”.

1891 Публикация первых рассказов о Шерлоке Холмсе в журнале “Стрэнд”; Дойл оставляет медицину и посвящает себя литературе.

1892 Рождение сына Кингсли (15 ноября); Холмс погибает в Рейхенбахском водопаде.

1893 Смерть Чарльза Дойла (ю октября); у Туи обнаруживают туберкулез.

1896 Работа военным корреспондентом в Египте; опубликованы “Бригадир Жерар” и “Родни Стоун”.

1897 Встреча с Джин Лекки.

1900 Работа в военном госпитале в ЮАР в Бурскую войну.

1901 Выход “Собаки Баскервилей”; смерть королевы Виктории.

1902 Дойл возведен в рыцарское достоинство.

1903 В “Стрэнде” публикуется второй цикл рассказов о Холмсе.

1906 Дело Джорджа Эдалджи; смерть Туи (4 июля).

1907 Женитьба на Джин Леки.

1909 Рождение сына Дэниса (17 марта).

1910 Рождение сына Адриана (19 ноября); дело Оскара Слейтера.

1912 Рождение дочери Джин (21 декабря); выход “Затерянного мира”.

1914 Начало Первой мировой войны; Дойл организует отряды волонтеров.

1915 Начало работы над шеститомной “Историей действий английских войск во Франции и Фландрии”.

1916 Поездка на фронт во Францию и в Италию.

1918 Смерть Кингсли (28 октября).

1919 Смерть Иннеса (19 февраля); начало выступлений со спиритуалистическими лекциями.

1920 Поездка в Австралию; смерть матери, Мэри Дойл (30 декабря).

1922 Поездка с лекциями по США; выходит “Явление фей”.

1923 Вторая поездка с лекциями по США и Канаде.

1926 Выход “Истории спиритуализма”.

1927 Выход книги “Говорит Фенеа”.

1928 Поездка с лекциями по Южной Африке.

1930 7 июля Артур Конан Дойл скончался в Уиндлшеме.

Примечания

1

Конан Дойл А. “Три Гарридеба”. *Перевод Н. Дехтеревой.*

2

Песня из оперы Россини “Золушка”. (*Здесь и далее, кроме случаев, оговоренных особо, прим. перев.*)

3

Rhubarb — это и ревень, используемый в качестве слабительного, и “чепуха, ерунда”, и неразборчивое “бла-бла-бла”; а *Pill* — “пилюля, таблетка” и “неприятный, нудный человек”.

4

Здесь и далее “Этюд в багровых тонах” цитируется в переводе *Н. Треневой.*

5

Вторая афганская война началась в ноябре. (*Прим. автора.*)

6

На то, что Артур станет дипломированным врачом. (*Прим. автора.*)

7

Шетландские острова — архипелаг на северо-востоке Шотландии. (*Прим. ред.*)

8

Bonny по-шотландски — “красивый, здоровый, цветущий”.

9

“Лакомые кусочки” или “Пикантные подробности”.

10

Габорио Эмиль (1832–1873) — один из зачинателей жанра детектива.

11

Перевод *М. Беккер.*

12

Монмут Джеймс — побочный сын английского короля Карла II. (*Прим. ред.*)

13

Перевод *Н. Облеухова.*

14

Так у Чарльза Дойла. (*Прим. автора.*)

15

Здесь и далее “Знак четырех” цитируется в переводе *М. Литвиновой.*

16

Перевод *Ю. Левченко.*

17

Приквел (*англ.* prequel, контаминация приставки pre- “до-” и sequel — “сиквел, продолжение”) — книга или кинофильм, время действия которых происходит до событий ранее созданного произведения.

18

Перевод *Н. Войтинской.*

19

Уэллс Джордж Орсон — американский кинорежиссер, актер, сценарист.

20

Лентяй, бездельник (*англ.*).

21

Перевод *Ю. Жуковой.*

22

Перевод *Д. Лившиц.*

23

По-английски Undershaw (от under — “под” и shaw — “заросль, роща, лесок”).

24

Вельд (veldt) — южноафриканская степь.

25

Наталь — государство буров, существовавшее в 1839–1843 гг. и граничившее с Капской колонией. Часть нынешней провинции ЮАР Квазулу-Наталь.

26

Гладстон Уильям (29 декабря 1809-19 мая 1898) — английский государственный деятель и писатель. Четыре раза был премьер-министром Великобритании.

27

Билль о гомруле — билль о предоставлении Ирландии собственного парламента и органов исполнительной власти. (*Прим. ред.*)

28

“Собака Баскервилей” здесь и далее цитируется в переводе *Н. Волжиной.*

29

Рассказ “Пустой дом” здесь и далее цитируется в переводе *Д. Лившиц.*

30

Перевод *Н. Волжиной.*

31

Перевод *Н. Дехтеревой.*

32

Нью-Форест — район на юго-востоке Англии.

33

Перевод *М. Кан.*

34

“Популярная радиотехника” (Popular Wireless Weekly).

35

Родс Сесиль Джон — английский и южноафриканский политический деятель, бизнесмен, инициатор английской колониальной экспансии в Южной Африке, скончавшийся в 1902 г.